ISSN 0130-1616. Знамя. 1990. № 11. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Ноябрь

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

11
НОЯБРЬ
1990

Москва
Издательство
«Правда»

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»

Сергей Златорунский

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

●

Мы родились под зелеными штофами,
С детства нас водочный дух ошарашивал.
Только Есенин разгульными строфами
Нашу печальную молодость скрашивал.

Не обошла нас нужда откровенная.
Хочешь не хочешь — а к рюмке потянешься.
Нас понесло в лихолетье военное,
Жизнь завертела нас — и не оглянешься.

Мы поднимались на кручи и на горы,
В пропасти лезли, как в ямки обычные.
Голод и холод, этапы и лагери —
Все мы прошли, ко всему мы привычные.

Русь подмели, по Европе протопали,
В Азии шлялись — хмельные, раскосые.
Все, что награбили — с дурости пропили,
И победили мы — голые, босые.

Что нам Германия, что нам Италия,
Что Колыма? На том самом на катере
Всех мы теперь посылаем подалее —
К Господу Богу и Божией матери.

Поле пустое, снарядами взрытое...
Счастьице добрые люди развеяли.
Зло накопилось подспудное, скрытое,
Много его, да не мы его сеяли.

Ты бесшабашная, ты беспокойная!
Мы не в себе, если нет потрясения...
Пьяная Русь, воровская, разбойная,
Нету тебе ни конца, ни спасения.

1961

Жалобы римлянина

Зачем вся эта мощь и этот блеск,
Все эти необъятные просторы
Империи, и этот шум и треск
Триумфов, и трофеев эти горы?
Что даки мне, что Рейн, и что Дунай?
Далекая Британия нужна ли?

И этот, солнцем выжженный Синай,
Где Бог евреям диктовал скрижали?
Зачем мне эти чуждые миры
И плебсу развращенному подачки?
Зачем вино, лукулловы пиры,
Сраженья гладиаторов и скачки?
И для чего походы на парфян,
Изысканные женские наряды,
И на арене травля христиан,
И на море могучие армады,
Когда один меж дедовских гробов
Брожу я, словно тень, ломая руки,
Когда я раб среди своих рабов
И вечером схожу с ума от скуки?
Блудница тащится вдоль стен, пьяна,
Вот мим идет, развратом изувечен,
И дыбится всех против всех война,
И Вечный город, вижу я, не вечен.
Здесь дети предают своих отцов
Из-за сестерций, припасенных к сроку,
И здесь мой сын средь юных наглецов
И меж гетер весь день кури́т пороку.
Зачем вся эта роскошь и почет
В Сенате, раболепном и покорном?
Зачем овации? Какой расчет
Искать утехи в красноречье вздорном,
Когда твой друг куда-то заслан вдаль,
Не отвечает на привет приветом,
Когда всю ночь грызет меня печаль
И страшная тоска перед рассветом?

Март 1979

*Sancta simplicitas**

Остерегайся также святой простоты. Для нее нечестиво все, в чем нет простоты, и она охотно играет с огнем — костров.

Ф. Ницше.
«Так говорил Заратустра»

Реви, реви да грейся у костра,
Тупое человеческое стадо!
Не ты ль распяло своего Христа,
Не ты ль Сократу было горше яда?
А Бруно твой, который призывал
Тебя в просторы, к радости и свету,
Как сноп твоей соломы, запылал.
И, наконец, твой Гус — мелькнул и нету!
Сгорел и он на хворосте твоем.
Огонь глупцов нередко больно жжется.
Но долго будешь чухаться по нем,—
Пал человек, а Слово остается
И жалит, и терзает, и разит
Сильней костров и ярче света светит,
И высится превыше пирамид.
И Глупость прогоняет хлестче плети.
Терзайся! Голова твоя пуста,
Коль не набита каверзами злыми.

* Святая простота (лат.).

Вот, вот она, святая простота
С кумирами и баснями своими,
Вот, вот она хвалы свои мычит
Порочному злодею на усладу
За то, что по торцам ее влачит,
За то, что кнут он держит, не лампаду,
За то, что тешит взор ее огнем,
Огнем костров. Беда тебе какая,
Поймешь ли ты, что погибает в нем
Вся соль земли, вся суть ее святая?!

1947

У ворот автобазы

Чудовища съезжаются к воротам,
Чадя зловонной гарью и бензином,
А там еще, еще за поворотом,
Рыча и воя, прутся по трясинам.

Дорога уничтожена. Громады
Внезапно вырываются из мрака,
И в ужасе бегут, прося пощады,
И человек, и птица, и собака.

Пыль, духота. Листва свернулась в дудку,
Чем возместить вселенскую потерю?..
И остро подбирается к желудку
Тоска по зверю, по живому зверю!

Тиранозавры правят. Никнет разум.
И хочется назад — к природе, к дедам...
Приди, Потоп, и уничтожь их разом,
Чудовищ, порожденных нашим бредом!

6 марта 1970

●

Мне недужится что-то. Налей-ка мне стопку, приятель!
Вот и Зощенко умер — умнейший в России писатель.
Не замедлят и с нас отряхнуться земные оковы.
Под себя подгребут сатирический цех михалковы.
Да и что подгребать? Кроме них, никого уж и нету —
Всех, почти до единого, критики сжили со свету...
Вы ложились рядами, гонимые дети Отчизны,
И свистела над вами свирепая плеть укоризны
Ретрограда, гасившего мысль на Неве величавой,
И доселе покрытого этой сомнительной славой.
Да и он ли один? Сколько их, прекратителей, было!..
Слышишь, псы завывают. Морозцу опять подпустило.
Зябко, зябко. Земля, обогрей бесприютного сына!..
Мне недужится что-то... Давай по второй. Все едино!

1958

●

Ветер, ветер! Ты повсюду веешь,
Вольный, ты не хочешь знать границ,
Ты морские пажити лелеешь,
Крутишь ядовитый прах столиц...

Ты один для всех. Зимуют люди,
Заслонясь щитами стен и крыш.
Из одной ты вылетаешь груди
И в другую весело летишь.

Попрошу я у тебя не много:
Мне не надо фунтов и пезет,—
Выдуй нашу глупость ради Бога,
Из журналов, книг и из газет.

Посреди родимого улуса
Нечем стало, ты поверь, дышать.
Превратиться я готов в зулуса
И, куда глаза глядят, бежать.

Вот вовсю во имя росской чести
Русского шельмуют сгоряча,
И еврей с ним погибает вместе —
Всем им рубят головы сплеча,

Всем во имя выдумки, химеры,
Спеси, нам не свойственной никак,
Снова расплодились изуверы,
Вновь в почете шутовской колпак.

Нет уже ни силы, ни терпенья
Видеть этот волчий перепляс.
До чего дойдет остервененье,
И кого наделают из нас?

Правда, мы привыкли к поношенью,
К торжеству насилия и зла,
Но идет ведь все к опустошенью,
Все сметает страшная метла.

Вопреки всему мы любим, любим
Наш несчастный и печальный край.
От себя его мы не отрубим.
Он для нас один — и ад, и рай.

Верим — расточится злая свита,
Дрогнет мрак, и Глупость задрожит
И больную грудь «космополита»
Благодатный ветер освежит.

1948 г. Грозный

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

Имя Сергея Александровича Златорунского широкому читателю неизвестно. Да и избранному, скажем так, читателю тоже неизвестно. Потому что, как сообщает нам в письме автор, в течение очень многих лет его читателями и слушателями, как правило, бывали два-три близких ему человека. Объяснение тут простое: большую часть своих произведений С. А. Златорунский написал в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы, и если бы в ту пору он попытался активно расширять круг своих читателей, то скорее всего не дожил бы до наших дней. Ибо еще в конце тридцатых годов ему, в ту пору молодому восемнадцатилетнему человеку, с безжалостной очевидностью открылось то, о чем миллионы соотечественников заговорили лишь спустя десятилетия.

В начале шестидесятых годов С. А. Златорунский послал в Рязань на отзыв А. И. Солженицыну свою поэму и неожиданно для себя получил благожелательный отклик. Между ними, как пишет Сергей Александрович, «завязалась живая переписка, прерванная не по нашему желанию». Сам С. А. Златорунский себя профессиональным литератором не считает: «...пять лет,— пишет он,— поглотила армия (уточним: речь идет о войне, в которой автор письма участвовал с 1942 года и которую завершил на востоке с капитуляцией Японии.— А. Ш.) и тридцать пять лет — работа в грозненской нефтеперерабатывающей промышленности». Так бывает: человек словно самой природой предназначен к писательскому труду, но время и обстоятельства по-своему определяют его судьбу. Недавно С. А. Златорунский за свой счет небольшим тиражом издал книжку стихов разных лет. Несколько стихотворений из этой книжки мы предлагаем вниманию читателя. Пусть читатель судит сам, насколько верна или неверна авторская самооценка: «Когда мне возвращают рукописи, я не удивляюсь и не возмущаюсь. Знаю, что как писатель я не состоялся...»

А. ШИНДЕЛЬ

Григорий Бакланов

СВОЙ ЧЕЛОВЕК

ПОВЕСТЬ

Глава I

Дом этот, двухэтажный, кирпичный, с полукруглым крыльцом и белыми колоннами, пережил трех хозяев. И каждый, вселившись, начинал что-то перестраивать внутри, что-то пристраивал снаружи, изгоняя дух прежних хозяев и утверждаясь прочно. Оттого, с какой стороны ни поглядеть, дом ни одной своей частью не походил на другую.

Года за три до смерти Сталина въехал сюда академик Елагин. Шепотом передавали, что он-то и есть автор предпоследнего гениального сталинского теоретического труда, который, как писалось в ту пору, открыл новые горизонты. За свои заслуги, оставшиеся безымянными, был Елагин произведен из членов-корреспондентов в полные академики и купил дом в престижном загородном поселке. Еще говорили, что другой дом, на Николиной горе, ему подарен, потому, мол, не всегда живет он здесь, но точно никто ничего не знал, а кооперативные расходы он нес исправно, все, что причиталось, платил в срок.

При Елагине заложено было это полукруглое крыльцо, пробили парадный вход, вместо обычной двери вставили двухстворчатые, а полукруглый, с белыми резными балясинами и белыми перилами, балкон подперли две белые колонны, как два стража стали они при входе. Летними вечерами, когда в хвою сосен опускалось солнце, любил Елагин, нога на ногу, сидеть в домашних тапочках на балконе, поклоном на поклон отвечать жителям поселка, прогуливавшимся по улице внизу. Сладостен был вечерний воздух, который вдыхал он на своем балконе, сладок покой и тишина. Сбылось-таки, сбылось несбыточное, давнее видение далеких, отошедших лет. В ту пору он, молодой отец, и перепуганная до слез жена привезли в коляске четырехмесячного, беспрерывно поносившего сына к профессору. Случилось это за городом, летом, в воскресный день, когда помощи ждать неоткуда, а ребенок погибал на глазах. И как они метались двое, как бегали вокруг глухого забора, стучались, кричали несмело — замшелая калитка лесной дачи вросла навечно. А когда все же из хвойного мрака впустили их, показалось, попали в иной мир: сухо, тепло, открытый солнцу и свету участок, огромная клумба роз — чайные, пунцовые, черные, еще какие-то невиданные — все это пахло до сладости на губах. И белые окна свежевыкрашенной маслом зеленой бревенчатой дачи. А над двумя белыми колоннами, на полукруглом балконе, меж двух могучих голубых елей умиротворенно, как скворец в скворечнике, грелся на вечернем солнце старичок-профессор. Казалось, ничто в тот момент не могло их интересовать, ребенка бы только спасти, а вот запомнилось и вспоминалось не раз, и чем дальше, тем ярче стояло перед глазами: клумба, дача с белыми окнами, а какой воздух легкий, нигде больше такого не вдыхал.

Целая жизнь минула, пока сбылось: такой же балкон, так же покачивается тапочка на пальцах ноги. Внизу, в ванночке, выставленной на солнце, перезрелая незамужняя дочь в очках с толстыми стеклами пускает на воду желтых утят, а давно бы пора ей собственных детей нарожать, купать их. На радостные взвизги дочери подымается улыбающееся в седых волосах, набрякшее от наклонного положения лицо жены из клумбы роз, откуда чаще возвышается ее обширный зад. А по дорожкам, обсаженным флоксами девятнадцати сортов, прогуливается в задумчивости сын, делая жесты руками: сам с собой разговаривает. Весь он — и внешность, и солидность, и походка — вылитый доктор наук, не меньше. «Все, все при нем!» — восхищалась домработница Феклуша, она одна только и восхищалась. И приходило на ум кем-то сказанное: природа, потрудившись на гениев, отдыхает в их потомках. В четыре года сын уже бегло читал, когда съезжались гости, выходил с книгой, и все умилялись. В шесть начал проявлять склонность к наукам, и вот он тридцатитрехлетний — возраст Христа! — облысевший, похожий на пятидесятилетнего, а все еще проявляет склонность к наукам и подает надежды... Елагин вздыхал, отворачивался и опять вздыхал: не так, не так все задумывалось. Как жить без него будут? Временами, себе в том не признаваясь, он испытывал физическую брезгливость к сыну: к его покатой полной спине, к плоскостопой походке, будто лапами пришлепывает, а не ногами.

После своего негласного научного подвига и всего, что следом снизошло, он враз как-то ослабел духом. Его не радовало подобострастие коллег, не в радость было, что жители поселка смотрят на него с завистливым восхищением, кланяются, ниже пригибая шею, а если он за руку поздоровается, отходят от него, будто награжденные. Как только он поселился здесь, некоторые разбежались знакомиться, приглашать в гости, сблизиться домами. Знали бы они, как до сердечного обморока пугают его малейшие намеки на то, что сопричастен великому сталинскому свершению. Слишком хорошо была ему известна судьба авторов некоторых других гениальных сталинских трудов: не только сами исчезали, имена их стерлись навеки. И, бывало, проснувшись ночью, леденел, ждал. А несчастная привычка оглядываться, которая появилась с тех пор... И это при его величественной внешности.

Всю жизнь, занимаясь вопросами отвлеченными, он любил при случае писать и говорить о народе-языкотворце, но представлял себе народ в роли доброй молочницы Клаши, которая по утрам привозит на велосипеде молоко к ним на дачу, переливает тяжелую желтоватую струю из большого бидона в их бидон, стоящий на порожке: «И-и пейтя-а, и деткам парное...» И все это с ясной улыбкой на круглом заветренном лице.

Но однажды, когда бутили фундамент под гараж (очень ему само это слово понравилось: бутили), увидел он, как рабочие вместо камней спихивают в траншею свежевывороченный, весь в мокрой глине пень срезанного дерева, поддели ломами и вот-вот обрушат его. Елагин возмутился, вышел на балкон, как был — в тяжелом верблюжьем халате с шелковыми шнурами, вышел крикнуть сверху: «Послушайте, что же вы делаете? Есть ли совесть у вас?..» И тут услышал внизу визгливый, так что вначале и не узнал его, ликующий Клашин голос: «За одну лошадь, за две коровы да пару овец раскулачивали в нашей деревне, ссылали с детишками за Урал, а теперь и машины у их, и дома каменные, двухэтажные и — не кулаки!..»

Повесив кошелку с бидонами на руль велосипеда, она не то что-

бы пристыдить рабочих, как должна была бы, по понятиям Елагина, она зло радовалась, Клаша, столько лет носившая им молоко. И еще он лицо ее увидал в этот момент. И смутился, струсил, позорно отступил в глубь комнаты, не крикнув, не сказав ничего. И пень обрушили в траншею, в чем он не признался жене. А когда после первой же зимы трещина пошла по стене гаража, вместе с женой изумлялся: с чего бы? Так хорошо, так добросовестно работали... Впервые в тот раз ощутил он свою беззащитность, всю непрочность своего положения, если — не дай бог! — что-то произойдет. И из двух сил милей показалась та, что карала беспощадно, но и защищала избранных, под ее покров устремился оробевшей душой.

А уже кончалась эпоха, но мертвый все еще держал души живых, помыслить люди не смели, что время, в котором они живут,— прошлое, задержавшееся искусственно, оно представлялось им и настоящим, и вечным, другого будущего для себя не видели. И кто бы поверил, что вскоре свершится немыслимое, разверзнется тайное: по организациям, на партийных собраниях начнут оглашать списками имена недавно еще неприкосновенных лиц, предадут гласности, как в закрытых заведениях развлекались власть имущие с молодыми девицами и актрисами — зачем, к чему это, ну зачем? Ведь так подрываются сами устои. И будет вынужден академик Елагин жалко оправдываться перед коллегами (особенно любопытствовали старики), заверять, что не грешен, мол, единственно сладкий крем от торта слизывал с голого плеча красавицы-актрисы, ровесницы его дочери, крем — да, а на большее не посягал, ибо, во-первых, не способен, что жена может засвидетельствовать... Тут он, конечно, грешил на себя. Эти опытные, умелые девочки открыли ему, что он вполне еще способен. Впервые за свою, в неведении прожитую жизнь, целиком и безраздельно отданную академической науке, узнал он многое и о многом пожалел. И на сына стал смотреть с превосходством.

Когда Евгений Степанович Усватов покупал этот дом, став четвертым по счету владельцем, Елагина уже не было в живых: обширный инфаркт избавил его от любознательности коллег, от дальнейших разбирательств. Покупал Евгений Степанович дом перед реформой, на старые деньги, и после не раз приходил сын Елагина, вовсе уже облезлый, но манерами и солидностью — профессор. Вбил себе в дурную свою голову, что, мол, что-то ему недоплатили, что еще ему причитается, должны... Деньги, полученные за дачу, попали у них под реформу, потратить вовремя толком не сумели, и вот считал теперь этот сыночек, что должны ему каким-то образом компенсировать это, устроить хотя бы на хорошее место его и сестру: «Вы человек нашего круга...» Его отпихивали, а он вновь и вновь лез к привычной кормушке, возле которой подрастал с детства, и вдруг почему-то перед ними она захлопнулась, когда прежние знакомые сохраняют посты, да еще столько новых людей кормится. По справедливости им тоже должны бы что-то выделить, дать, а их оттирают...

В одно из очередных посещений Евгений Степанович, уже ненавидя этот тупой взгляд, которым упирался в него младший Елагин, тем сильней ненавидя, что действительно недоплатил, задарма взял дом, такой теперь втридорога продать можно, подвел Елагина к крыльцу, откуда нанятые солдаты строительного батальона выгребали какие-то сгнившие чурки.

— Вот, вот, что я у вас купил! — кричал Евгений Степанович, крепкий еще в ту пору, сорокалетний, а солдаты, голые по пояс, в рукавицах и с ломами в руках, охотно смеялись над лысым очкариком.— На легкие деньги закладывалось! А я не ворую. Глина под

Москвой на полтора метра промерзает, а тут и на полметра не вырыто. Еще смеет приходить!..

А ночью, проснувшись внезапно, услышал Евгений Степанович, как кто-то ходит по дому. Полная луна стояла за окном, вискозная штора светилась и искрилась, черная тень еловой лапы махала по ней. Со сна да и от страха не враз сообразил, что это его сердце бухает в подушку, удары сердца отдаются в ушах. И заново увиделось, как подталкивал он Елагина к черной разрытой яме, как изгонял его с участка, мелькнула в последний раз в калитке понурая спина, лысый затылок... И что-то для себя во всем этом почудилось. Но при дневном свете смешны бывают ночные страхи.

Заново, на полную глубину, на все полтора метра заложен был фундамент под крыльцо, которое каждую зиму вспучивало и отламывало от дома, обновили растрескавшиеся колонны, полностью перестелили полы на первом этаже, каждую доску с исподу промазывали антисептикой, и раз, и другой раз, и наконец в пустых комнатах, где настежь были распахнуты свежеокрашенные окна, пахло масляной краской и гуляли сквознячки, хозяином прошелся Евгений Степанович по новым полам, попрыгал на них (он был один, никто со стороны этого не видел), вновь прошелся, вновь попрыгал — хорошо пригнано, ни одна доска не зашевелилась, не скрипнула под ногой.

На другой год обнесли участок сплошным забором. Проезжал однажды Евгений Степанович мимо стройки, разговорился с прорабом. «Да есть тут, привезли как раз бетонные столбы, лежат не по назначению...» И поставлен был забор на бетонных столбах. И новоселье, а теперь и свое шестидесятилетие, и награждение орденом справлял Евгений Степанович за городом, на даче, на вольном воздухе.

Глава II

Общество съехалось самое престижное. Помимо людей одного с Евгением Степановичем ранга, был космонавт с женой, был известный шахматист, он приехал на белой английской машине «лендровер», все с интересом разглядывали ее. Был писатель, автор нашумевших в последнее время романов. Был исполнитель авторских песен с гитарой и почти таким же, как у Высоцкого, хриплым голосом.

Скромно держались, сознавая свое могущество, деловые, торговые люди, ворочавшие состояниями. Не без их участия обеспечивались многие удобства жизни и шумные застолья, и этот стол не обошли они своим вниманием. В дальнейшем один из них, произнося тост, предложил тихим голосом, который, однако, всеми был услышан, выпить за тех, кто «все обеспечивает».

Юбиляра, Евгения Степановича, поздравляли с орденом, хотя официально об этом еще не было объявлено. Орден был желанный, именно тот, которого Евгений Степанович ждал и — что греха таить! — приложил к тому немало усилий, ибо скромность, как сказал известный поэт,— самый верный путь к забвению. Евгений же Степанович, тоже не лишенный дара мыслить образами, определял это по-своему: служащему человеку не напомнить о себе вовремя — все равно что потерять скорость на водных лыжах, сразу начинаешь погружаться и тонуть. Это сравнение он где-то вычитал, но оно так ему понравилось, так впору пришлось, что сразу и совершенно естественно посчитал его своим.

Теперь, когда тревоги, связанные с награждением, остались позади, возникла, как нередко бывает, некоторая неудовлетворенность, определенный дискомфорт в душе. А тут еще и Елена, со свойственной ей твердостью выражений, возьми и скажи: «Меньше бы ушами хлопал, и тебе бы не такую железку отстегнули». И перечисляла безжалостно: этот, этот, этот — что, больше тебя заслужили? Но Евгений Степанович смирил себя, не хотелось в такой день самому себе портить настроение.

Впрочем, во всех его делах и начинаниях она была верной помощницей, советы ее он ценил. Когда защищал кандидатскую диссертацию, Елена обзвонила по телефону и «левых» и «правых». «Левым» она говорила: «Как вы не понимаете, он ваш. Из тактических соображений не может показывать это явно. Вы посмотрите, как они действуют, как переманивают к себе людей, как заполняют все пустующие экологические ниши. А вы отталкиваете. Если вы не поддержите, правые затопчут его копытами...» И «правым» она говорила: «Он же ваш, ваш, надо его поддержать. Левые сговорились растоптать его, мне рассказали...» И его поддержали и «левые», и «правые».

С полудня массивные сварные ворота с завитушками поверху, окрашенные в голубой цвет, были распахнуты во двор, а на улице вдоль забора, в тени стояли машины, в некоторых дремали шоферы. На другой же стороне улицы на гребне кювета, куда с участка доносило запах жарящихся шашлыков и дым березовых углей, сидели студенты автодорожного института, из рук в руки передавали пакеты молока, бутылки воды.

Как-то, возвращаясь с работы в загородную прохладу — день в Москве был раскаленный,— попал Евгений Степанович в пробку: стелили асфальт на шоссе, в сизом чаду елозили многотонные катки, асфальт был черный, жирный, хорошего качества. Евгений Степанович давно намеревался заасфальтировать въезд в дачу, он созвонился с кем следует, и ему пообещали прислать машину-другую асфальта и «человечков пяток» студентов, «бойцов стройотряда», как на армейский манер именовали их в летнюю пору.

Но, как всегда у нас, что-то где-то не состыковалось, хотя вот же космические корабли стыкуются на орбите, что-то где-то не сработало вовремя, не сконтактировалось, и вместо четверга прислали в субботу (тут и гости названы, тут и асфальт стелят — все враз), но уже ничего нельзя было отменить, и Елена Васильевна, смягчая улыбкой, говорила гостям: «Пожалуйста, не обращайте внимания на наши эскапады...» Слово «эскапады» означало не совсем то и даже вовсе не то, но из гостей понимали его смысл немногие, а оно звучало и, как все непонятное, воспринималось как должное.

Студенты, одетые разномастно — кто в протертых джинсах, кто в тренировочных штанах, кто в пляжной кепке, а кто и вовсе нечто из газеты соорудив на голову, все в оранжевых, выгоревших на солнце жилетах, в которых они отрабатывали на шоссе свой третий, трудовой, семестр, откуда и перекинуты были на более важный объект: асфальтировать въезд в дачу,— ждали вторую машину асфальта, били друг у друга комаров на потных спинах и, вдыхая запахи жарящегося шашлыка, запивали их молоком из пакетов, а легковые машины все подъезжали и подъезжали.

Жарить шашлык пригласили шурина, брата Елены Васильевны, человека нетрезвой жизни. Его не жаловали в их доме, проще сказать, на порог не пускали, но шашлыки он жарил непревзойденно. Евгений Степанович строжайше запретил подносить ему, но тем не менее несколько раз — «Ну, как дела?» — подходил и всматривался. С багровым от жара углей сальным лицом, то и дело подхватывая клок волос, падавших с лысины на ухо, шурин обмахивал фанеркой выложенные рядком шашлыки, кропил их, а шофер еще и еще пода-

вал нанизанную на шампуры, серую от маринада баранину, два полных таза стояли на траве. Шашлыки истекали жиром, жир капал на угли, сизый чад распространялся под соснами по участку, вся улица пахла шашлыками, а на столы, составленные на террасе, выносилось и ставилось, выносилось и ставилось, и пышная хозяйка с огромной, черной, черней воронова крыла, прической, уложенной на голове, выходила извиняться перед гостями, что, мол, не все готово. Ждали Басалаева, все знали, что без него не начнут.

Гости разбрелись по участку, стояли вокруг белой машины, на которой приехал знаменитый шахматист. Рубчатый след ее остался в воротах по свежему асфальту («Ничего, ничего, загладят»,— успокоил хозяин). Как о чем-то вполне всем доступном и понятном в их кругу, шахматист рассказывал, что брал машину в Англии прямо на предприятии, минус тэкс, налог, а так бы она обошлась ему не в три, а в четыре с половиной тысячи фунтов. Паундов. Он охотно влезал внутрь, передвигал рычаги, и вместе с ним кузов подымался. «Очень удобно, если вдруг завязли в грязи. Она для сельских дорог, для ихних колхозничков. Правда, у них дороги!..» И у Евгения Степановича, который переходил от группы к группе гостей, мелькнула шаловливая мысль: в прежние бы, в не столь отдаленные времена такой бы разговор... Происходят в жизни, происходят перемены, да к лучшему ли?

Гости были все одного круга, разговор шел самый интересный: о планируемых назначениях и перемещениях по служебной лестнице, о том, что носится в воздухе. Только отставной полковник, с которым Евгений Степанович, как выяснилось недавно, служил в одной армии, не чувствовал себя здесь своим. Каждый раз, когда на него обращали внимание, он с готовностью глуховатого человека улыбался напряженной улыбкой, но внимание обращали не на него, а на пять рядов ярких наградных планок на его сером пиджаке. Сам же он, совершенно заурядной внешности, да еще и малого роста, вызывал скорей недоумение. Тут были люди и телосложением, и видом всем куда более подходящие под эти пять рядов боевых наград.

Выйдя на пенсию, полковник посвятил себя ветеранским делам, мечтал создать хотя бы маленький музей их армии, выпустить книгу о боевом пути, который был им прослежен с большой точностью. И по ходу этих разысканий обнаружилось, что в числе здравствующих, можно сказать, выдающихся людей служил некоторое время в их армии и Евгений Степанович Усватов, занимающий ныне столь ответственный пост.

С папочкой документов, надеясь заинтересовать идеей музея, он робко позвонил у дверей. Была у него еще и своя тайная мысль, свой интерес: старший его сын вознамерился поступить во внешнеторговую академию, так, кажется, она называлась, решил пойти по этой стезе, а верней сказать, невестка решила не быть дурой, изменить жизненный статус, и полковник, за всю свою жизнь и за две войны — финскую и Отечественную — как-то не сумевший завести нужных знакомств, но очень любивший своих внуков, пошел к Усватову на прием, с папочкой стоял просителем под дверями, захватив на всякий случай прельщающий список товаров, как их теперь называли, повышенного спроса, на которые записывали ветеранов. Но встречен был холодно. Евгению Степановичу не требовалась ни стенка «Орфей» отечественного производства, ценою в одну тысячу пятьдесят рублей, ни холодильник «Минск», ни даже машина «Москвич» — он имел доступ к «товарам повышенного спроса». В дальнейшем, в своем кругу, Елена Васильевна пересказывала все это как

анекдот, и особый успех имела стенка «Орфей» отечественного производства, про нее кто-то воскликнул, смеясь: «Сделана ночью из сэкономленных материалов!..»

Но правильно говорится: ненужных людей нет, а есть люди, которые не нужны до поры до времени. И когда полковник, побуждаемый невесткой и сыном, предпринял вторую попытку, он был встречен радушно и даже приглашен за город, чего уж вовсе никак не смел ожидать. Польщенный, обескураженный, он срочно отправился в военторг, поскольку обнаружился досадный непорядок — у него не хватало двух наградных планок, упустил как-то в последнее время, недосмотрел,— и там по списку ему подобрали и на общей колодке смонтировали по четыре в ряд пять рядов его боевых, военного времени, и послевоенных наград, полученных к датам.

И вот с драгоценным подарком — газетой их дивизии, таких только две хранилось в его архиве — он приехал электричкой, долго шел от станции по жаре, по песку, искал, расспрашивал и явился раньше всех, поскольку боялся быть неточным. Как раз в это время стелили асфальт в воротах, ему указали калитку с другого угла участка.

Супруга Усватова Елена Васильевна («Простите, как?» — нацелил он свое ухо, за которым был у него розовый, как вставная челюсть, маленький слуховой аппарат. Она назвалась вновь, но как уж не расслышал с первого раза — Васильевна? Власьевна? — осталась неуверенность, и переспрашивать больше не решился, избегал называть ее по имени-отчеству), так вот супруга Усватова, поразившая его огромной прической, была крайне любезна. «Однополчанин Евгения Степановича,— представляла его гостям.— Вместе прошли весь фронт». Он улыбался напряженной улыбкой, держа в уме ходатайствовать за сына, взглядом растерянным выбирал, к кому бы лучше обратиться, кто поймет. Все это были люди могущественные, с широкими возможностями, что им стоит? Ведь подтолкнуть только, а там и пойдет, и пойдет... Не такие дела решаются на рыбалках, в застольях, бодрил он себя, хотя догадывался смутно, что решаются-то решаются, да ничего в жизни не дается просто так и кого попадя не пускают запросто в избранный круг.

Евгений Степанович издали приветствовал его взмахом руки, а Елена Васильевна, чаруя улыбкой, разъяснила, в чем состоит главное его предназначение: «Вы, конечно, расскажете гостям о Евгении Степановиче на фронте. Всем будет очень интересно послушать». Полковник смешался: «Мы же даже не в одном полку...» Но большие воловьи ласковые глаза Елены Васильевны похолодели. «Нет, нет, вам есть что порассказать».

От шелкового прикосновения ее руки остался запах французских духов на ладони и полнейшая растерянность в душе. Но, может, так надо? По телевизору увешанные наградами фронтовики, старые, заслуженные люди, свезенные из разных городов, удостоверяли боевое прошлое Леонида Ильича, чуть не вырывали друг у друга право повспоминать, и такие рассказывали подробности, что ему, воевавшему, слушать было стыдно. Когда к двадцать первой годовщине Победы удостоили Леонида Ильича Брежнева звания Героя Советского Союза, тем самым в его лице как бы возвысив всех фронтовиков, ехал полковник в троллейбусе, и вдруг подвыпивший мужчина, по всему видно, окопник, громко, на весь троллейбус, не боясь: «Он что, до этих пор в блиндаже сидел? Только сейчас его обнаружили?..»

Полковник и сам считал, что неловко все это, не стоило бы, придя к власти, польщаться, но чтобы так, при всех, про Генерального секретаря, про Верховного Главнокомандующего...

Глава III

На большой застекленной террасе, светлой от свежеструганной вагонки, которой недавно обшили и потолок, и простенки, и сплошную стену, шумно сидели гости за сосновыми, под старину столами из толстых досок. Было уже и съедено, и выпито немало, и лица потны и оживленны, а все вносилось и ставилось, вносилось и ставилось. Пироги пекла Ангелина Матвеевна, большая мастерица своего дела, в доме ее звали Евангелиша, гостям представляли — «наша гостья», но за стол не сажали. Вносила же пироги под восторженные возгласы, и разрезала их, и поздравления принимала сама хозяйка.

Умению жены организовать все так, чтобы само все делалось и все были довольны и оставалось только принимать поздравления, Евгений Степанович не уставал восхищаться. Сколько ни сменялось исторических формаций, сколько бы ни являлось миру всяких сократов и гегелей, а была, есть и будет в жизни все та же простая и вечная комбинация: ездока и лошади. Либо ты едешь, либо ездят на тебе. Так уж лучше в седле, чем под седлом.

— Ну, ты, Еленушка Васильевна, скажу тебе со всей большевистской прямотой, и мастери-ица! — тяжело дышал перегрузившийся едой Басалаев, почетнейший из гостей.— Иналучился я, и нагрибился, а уж пироги-и!.. И где ты эти грибки маринованные до сей поры сберегла?

— В холодильнике, в фаянсовом бочоночке, как знала!

— Хороши-и! Придется меня нынче подъемным краном приподымать.

Тут, шашлыками на шампурах вперед, вбежал с участка шурин, уже не красный от жара углей, а синий, запаленный. Чуть обугленное, с дымком, сочное мясо капало жиром.

— Ему-то налей,— с привычкой говорить при человеке, как в отсутствие его, хозяйски распорядился Басалаев. Но Евгений Степанович промолчал, выждал, пока шурин, захватив в руку освободившиеся, позванивающие шампуры, убежал.

— Нельзя...

Временами он оглядывал гостей за столом. Все это были люди, достигшие положения в жизни, жива была бы мать, прослезилась бы умиленно: «Какие люди собрались у тебя, Женя!..» Они и шутили, и смеялись, но временами на разных лицах вдруг проступало одно и то же, знакомое ему выражение непреклонности: «Нет!» Он по себе это выражение знал, мышцами лица чувствовал.

С царственной улыбкой Елена Васильевна пошла вокруг стола, загадочно предвещая нечто, и остановилась за спиной забытого всеми среди разговоров полковника, мягко положила ему на плечи свои широкие ладони.

— А сейчас Андрей Федорович что-то расскажет нам...

«Сергей Федотович»,— хотел было он поправить и даже дернулся, но слишком блестящим было общество, сробел, не решился заострять внимание на себе.

— Я вам сейчас раскрою секрет: Андрей Федорович — однополчанин Евгения Степановича. Вместе, можно сказать, прошли дорогами войны, вместе брали Берлин...

И опять полковник дернулся, хотел сказать, что их Третий Украинский фронт южней шел, но мягкие руки с вишневым маникюром надавили ему на плечи.

— Сейчас, сейчас, дорогой Андрей Федорович. Знаю, видела, хотите попросить слова, поделиться...

— Просим, просим! — зааплодировали дамы. И он встал, как приговоренный, старый человек. Все это тягостное для него застолье, когда и словом не с кем перемолвиться, никто к нему не обращался, разве что — «Передайте вон ту розеточку!» — и он никого собою не обременял, только вслушивался в тосты, панически соображая, а что же он-то скажет, когда придет его черед. А ведь придет... И он почти ничего не ел. Если бы не благое дело — надежда все-таки выхлопотать музей их армии в память павших и живых — да если бы сын с невесткой не побуждали, не стал бы он срамиться на старости лет. «Вместе Берлин брали...» Где Берлин, а где их фронт! Зачем ему чужие заслуги?

— Я, конечно, не смогу так описать в живописном состоянии, я только хочу сказать, мы южней шли. Будапешт... Медаль еще учреждена... Вена... Тоже тяжелые были бои.

— Но и — Берлин! — настаивала Елена Васильевна.— Я иногда слушаю, как они вспоминают вдвоем... Вот подлинные ненаписанные романы!

И ярким ногтем погрозила писателю, тот принял упрек, покаянно прижал ладонь к сердцу.

— Да, литература в долгу перед народом, надо это признать...

И полковник, окончательно произведенный из Сергея Федотовича в Андрея Федоровича, понял: отступать некуда, все пути назад перекрыты. И рассказал про давний бой под Староглинской, в котором был он тяжело ранен, а после посмертно награжден орденом боевого Красного Знамени. Его и представляли посмертно, а знали бы, что жив, ему того ордена не видать, так он считал. Немцев они тогда не пропустили, это правда, но и своих полегло столько, что не подвиги он за собой числил, а за погибших корил себя. Вот этот бой и отдал он сейчас Усватову, от себя подарил, видно, так уж требовалось: позвали коня на свадьбу — значит, воду возить.

— Браво, браво! — зашумели, зааплодировали все.

— Нет, каков скромник наш Евгений Степанович!

— А мы ничего и не знали.

— И не узнали бы!

И Басалаев сказал:

— Кто воевал, тот про себя не очень-то и рассказывает. А то приходят некоторые, требуют, стучат себя в грудь: мы, мол, мешками кровь проливали... А где мы воевали, мы молчим. Бывало, автомат в руки и — впереди всех.

Евгений Степанович, довольный, скромно отводил от себя славу:

— Не будем переоценивать мою роль. Сергей Федотович представил тот бой, будто чуть ли не один я...

— Не скромничай, не скромничай!

— Вот как выясняется, через столько лет.

— Это хорошо, живой свидетель нашелся.

— Я все же должен сказать со всей определенностью, что Сергей Федотович несколько умалил свою роль, а он тоже в том бою... Но не будем вдаваться в подробности.

— Нет, почему же! — требовала Елена Васильевна.— Подробности очень интересны. Подробности, подробности!

И она первая зааплодировала своими, от природы крупными, для работы созданными, но давно уже холеными, надушенными и мягкими руками. И дамы поддержали, и, возможно, пришлось бы полковнику еще и подробности вымучивать из себя, но Евгений Степанович дальнейшее славословие пресек и отмел.

— Я просто поражаюсь другой раз, сама себе не верю, что он воевал с оружием в руках, так он в жизни бывает раним,— говорила Елена Васильевна растроганным голосом.— У нас тут береза стояла

засохшая, надо было ее спилить. Я позвала рабочих. Когда она падала на землю, он не смог этого видеть, ушел в другой конец двора. «Ты слышала, как она застонала? Она стонала, как живая...» Вы не поверите, у него слезы были на глазах, я, женщина, и то так не переживала.

Но тут Басалаев, упираясь ногой под столом, а рукой — в лежанку, на которой сидел у стены, завозился, завозился, поднял себя тяжко.

— Я долгую речь произносить не буду, минуток эдак в сорок-сорок пять уложусь, если мне будет дано слово.

Слово ему дали, и Евгений Степанович, пока все шумели одобрительно, успел перешептаться с женой:

— Шофера Басалаева надо покормить.

— Их там вон сколько! Стоят вместе, курят.

— Отозвать в сторонку. Евангелише скажи. И проверь! Ненакормленный шофер — неуважение к хозяину. Басалаев может поинтересоваться.

— ...Были мы как-то с Антониной моей Никаноровной — вон она сидит, не даст соврать,— были мы в театре. В ложе... А смотрели мы пьесу. И кто ж, вы бы думали, автор? Усватов. Евгений вот наш Степанович. Занимать такую должность и еще в свободное от работы время... Это, я вам доложу, дело непростое, пусть товарищ писатель, присутствующий здесь, на меня не обидится.

Писатель не обиделся, с полным пониманием кивал.

— Так что же мы свои таланты не ценим? А чтоб в гении у нас пробиться, так это надо прежде умереть. Помер раньше времени — гений! А возьмем хоть того же Шекспира. Ну, задал он вопрос: «Быть или не быть?» Так мы на этот вопрос отвечаем однозначно: быть!

— Бы-ыть!— закричали гости и зааплодировали.

И со стопкою в руке Басалаев расцеловался с Евгением Степановичем.

— Живи! Живи и созидай!

И Евгений Степанович расчувствовался и прослезился, хоть знал, что врет Басалаев, врет, а все равно как-то верилось.

Вот тут согбенно вбежал на террасу шурин, придерживая на себе целлофановую пленку, внес очередные шашлыки, прикрывал своим телом. И такой жар шел от его тела, что пленка вся побелела, запотела, а сверху с нее текло. Теперь только и заметили за шумом и гамом голосов, что дождь хлынул. А шашлыки уже никто не способен был есть, уже глаза им не радовались.

Дождь после тягостного зноя, давившего весь день, хлынул крупный, с градом. Белые градины били по стеклам, скакали по жестяным отливам подоконника. При закрытых окнах стало душно. Сверкали молнии, почти невидимые в дожде, но один раз так треснуло над самой террасой, так осветилось, что женщины закричали.

Охлажденные дождем, стекла террасы запотели от тепла, которым изнутри дышал дом и распаренные тела переевших людей. Где-то над кровлей, в дожде, а может, и над дождем пролетали самолеты, гудение возникало сквозь застольный шум и отдалялось, возникало и отдалялось. А потом, приблизясь, зарычало во дворе, и, протерев запотелое стеклышко, Евгений Степанович увидел: разгружается въехавший в ворота самосвал, выше, выше встает кузов, с него сползает рассыпчатая гора черного асфальта, вся в пару от дождя, и две фигурки в оранжевых жилетах припрыгивают, приплясывают вокруг нее с лопатами в руках.

Когда дождь стих, распахнули окна, и такой благодатью, таким

легким дыханием повеяло из сада, от мокрой зелени, что все на террасе ожили, вытирали платками лица и шеи. Евгений Степанович выбежал глянуть хозяйским глазом, что делается. Мокрые от дождя студенты разносили лопатами и прикатывали жирный асфальт катком, впрягшись в него. И он опять увидел ту студентку, ту молодую женщину, которую отметил еще раньше. Она сидела тогда на траве, спустив в кювет ноги в подсученных до колен тренировочных штанах, стройные, сильные, золотистые от загара ноги, пила из пакета молоко, запрокидывая голову. Губы ее были в молоке, и она с таким вкусом жизни отхлебывала, какого он давно уже в себе не знал. И он позавидовал этой молодой жизни, потянуло к ней.

Она почувствовала взгляд, мельком, как на чуждое, доисторическое нечто, глянула тогда на него и отпила из треугольного пакета, передала его парню. Напрасно, напрасно она так глянула, он еще многим способен обрадовать, многое показать в жизни, чего она, бедняжка, и не повидает, жизнь прожив.

И сейчас, выйдя, он прежде всего ее увидал. Опершись подмышкой на лопату-грабарку с длинной рукояткой, перекрестив загорелые ноги, стояла она, чуть изогнувшись, и так хорош, так красив был изгиб молодого ее тела, так хороша была она вся на его глаза, разгоряченные несколькими стопками водки и вином! Королева в лохмотьях! Как можно, чтобы такая — в автодорожном? Почему в каком-то автодорожном? Во ВГИК ее. В ГИТИС. В МГИМО! Ах, не знает она своей судьбы.

— Где вы прятались от дождя? Как же так, надо было сказать...— мелко засуетился он. И — студентам, парням: — Туда, туда лопаток пяток асфальта подкиньте, там впадина. И — прикатать.

Он суетился так близко, что запах пота ее уловил от мокрой одежды, от ее молодого тела. Ему ударило в голову. Подогретый вином, он видел себя сейчас перед ней не шестидесятилетним стариком с крашеными волосами и не очень удачно, несмотря на большие возможности, вставленной нижней челюстью, от которой происходили определенные трудности при жевании, а вполне еще молодцом.

И тут заметил он метавшуюся по улице незнакомую женщину, мгновенно почувствовал опасность, исходившую от нее. Она металась от машины к машине, лицо ее было то ли в дожде, то ли в слезах, возможно, дачница чья-то, здесь и дачи сдавали овдовевшие семьи, хотя он, Евгений Степанович, всегда был против этого, в поселке не должно быть посторонних лиц. Она перебегала от шофера к шоферу, упрашивала, что-то у нее случилось, и проходивший мимо грибник в старой соломенной шляпе, дочерна пропотелой, в высоких резиновых сапогах, постоял с корзиной за спиной, с ведром в руке, сказал враждебно и громко:

— Да вон их сколько машин без дела стоит!

И ткнул палкой во двор, но Евгений Степанович уже поспешно ретировался.

Глава IV

Он вернулся на террасу. Елена разрезала арбуз. Огромный, сахарный, красный — это было то самое, что требовалось сейчас переевшим людям: освежало. Его специально прислали к этому дню из южных краев, в Москве в эту пору арбузы еще не продавались. Скромные, безмолвные, загорелые люди внесли один за другим несколько неподъемных арбузов и дынь — исключительно из благодарности — и так же скромно и молча удалились.

Пока на кухне в пару Евангелиша срочно перемывала горы посуды, Елена округлыми движениями большого ножа отрезала огромные

ломти и раздавала на чистых тарелках, которые непрерывно поставляли из кухни. Она срезала ломти вкось, так что середина заострялась конусом, и вот этот конус, самую сахарную середку, как бы мешавшую ей отрезать всем равномерно, она сняла ножом и очень естественно переложила на тарелку себе. И продолжала вновь отрезать и передавать.

Под впечатлением только что виденной им молодой женщины он словно впервые увидал, как Елена вся расплылась, какое тяжелое, крупное у нее лицо. И зачем она вообще так мажется? Крупинки засохшей туши на ресницах, эта пышная прическа неестественно черных волос, от которой голова вдвое огромней...

И тут ресницы приподнялись, Елена глянула на него проницательно из-под тяжелых, наплывших век и с медленной улыбкой подала ему через стол ломоть арбуза на тарелке. И под ее взглядом блудливые его мысли завиляли.

Гости наслаждались арбузом, отдыхая от еды и разговоров, а приглашенный исполнитель авторских песен, притопывая носком ботинка, прихлопывая по гитаре, отчаянно звенел струнами и пел — орал «под Высоцкого». И так же надувались жилы на шее, и голос хриплый, сорванный. А на дальнем конце среди шумного застолья, как голубки — их дочь Ирина и молодой дипломат, которого она привезла с собой. Евгений Степанович нет-нет, да и поглядывал туда, не выпускал из вида. Там дело слаживалось, шел тот разговор, когда взгляды значат больше слов. Молодой человек явно не гений, но высокого роста, солидной внешности, костюм носит хорошо и весь — от носков итальянских ботинок до узла галстука на горле — в импортном исполнении. А в нагрудном кармане пиджака мундштуком внутрь, обкуренной дырой наружу — трубка. Талейран, кажется, завещал молодым дипломатам, как сделать карьеру: одеваться в серое, держаться в тени и не проявлять инициативы. Этот не проявит, Ирина будет проявлять, дочь у них — умница. Они правильно с матерью рассчитали привезти его сюда, показать общество.

Еще когда план сегодняшнего мероприятия только созревал, вырисовывался в черновом варианте, в первой, так сказать, прикидке, была у Евгения Степановича смелая мысль пригласить пару-тройку цыган с гитарами, пусть попляшут, поорут, украсят торжество. Знал он, как приглашают на дачи юмористов развлекать гостей, не тех, что и по телевизору, и на эстраде, а тех, кого не выпускают на публику, держат в тени. И они читают незалитованное: особый смак посмеяться вроде бы над собой, в узком кругу ограниченных лиц, как говорят остряки, позволить то, что для широкой публики не позволено. Но остерегся, решил обойтись шахматистом, космонавтом, писателем и исполнителем авторских песен.

— Натопи-и...— хрипел тот из души из самой.

— Не топи! — подголоском вступил писатель, вызвав поначалу недоуменные взгляды. Но он так страдал лицом, что поняли: этот знает, как надо, имеет касательство. Он действительно присутствовал однажды, когда Высоцкий пел свою знаменитую «Баньку», и запомнил, как кто-то из актеров подголосничал: «Натопи!» — «Не топи».— «Натопи-и!» — «Не топи...» И так до трех раз.

— Натопи-и-и ты мне баньку пю бе-елому,— хрипло прорвался исполнитель.

После разговоров о служебных перемещениях, после всего выпитого и съеденного, когда на столе остывали бараньи шашлыки, а на них уже и глаза не глядели, вот это сейчас и требовалось: растревожить себя чужим страданием, размягчить душу. И исполнитель надрывался, будто все это — его собственное, пережитое: «Против сердца кололи мы Ста-а-лина-а-а, чтоб он слышал, как рвутся сердца-а...»

И, неподвластно разуму, чувствовал Евгений Степанович мурашки по лицу, да, искусство — опасная вещь, за ним глаз да глаз нужен.

Опять пошли тосты: за него, за Елену. «За Еленушку нашу Васильевну!» — кричал Басалаев. Со стола уносили недоеденное мясо, ставили торты, и уже другой огромный арбуз разрезала Елена все теми же округлыми движениями.

И вдруг ясно увиделось: на том самом месте, где она сидит, как раз там, где ее ноги, лежала тогда на досках террасы ее мать, замерзшая, в нищенском демисезонном пальто, перешитом из железнодорожной шинели, в валенках на босу ногу... Страшно вспомнить, как они примчались тогда в этот жуткий мороз и увидели ее. А потом, на вот этом столе...

— Сейчас будет чай,— улыбалась гостям Елена, видя, как засидевшиеся мужчины потянулись размяться, покурить. И взглядом направила его взгляд во двор. Там по дорожке уходила их дочь Ирина с молодым дипломатом. Он пыхал трубкой, рука его лежала на ее талии, ближе к бедру, и под его рукой Ирина на ходу покачивала бедрами. Да, за нее можно не беспокоиться, есть в ней главное, что в нашей жизни необходимо.

Тут Евангелиша внесла перед собой и грохнула на стол сияющий самовар, старинный, медный, с медалями, который привезли Евгению Степановичу несколько лет назад, кажется, из Тамбова, там он ему приглянулся, и на террасе приятно запахло дымком углей, сосновыми шишками.

Гости разъезжались под дождем. И под дождем машины обгоняли на шоссе студентов в оранжевых жилетах; подсучив штаны, они босиком шлепали по теплым лужам, кеды несли в руках, а кто и на палке за плечом.

Про полковника как-то забыли под конец. С восклицаниями и прощальными поцелуями рассаживались все по машинам, он постоял в общей суете, но так и не решился никого обеспокоить собой. Несколько раз в течение вечера удавалось ему все же то с одним, то с другим влиятельным лицом заговорить о музее для их армии, но, выразив официальное сочувствие, его тут же отпасовывали: к сожалению, не мой вопрос. А о своем деле переговорить так и не решился, не смог и теперь шел на станцию пешком, прикрывая лысину размокшей газеткой.

Закрыв за гостями ворота, оставшись вдвоем с женой на опустевшем дворе, Евгений Степанович, как все хозяева, когда разъедутся гости, почувствовал огромное облегчение.

— Ну, слава Богу! Кажется, остались довольны.

— Довольны, довольны. Еще бы не довольны. У Еремеевых так принимали? Было столько всего на столе? У меня даже мышцы лица устали улыбаться.

— Ты молодец. Значит, думаешь, довольны остались?

Ему хотелось похвал. И она похвалила его, и он похвалил ее.

— Знал бы кто-нибудь, как я устала!

— А Басалаев? Как тебе показалось?

— Доволен твой Басалаев, доволен.— Елена Васильевна загадочно улыбнулась. Когда она в очередной раз от самовара то ли с третьей, то ли с четвертой чашкой чая подошла к Басалаеву, он, отягощенный, красный, незаметно хватал ее за подколенку: полное тело тянет к полному телу, она понимала это. А вслух громко говорил при этом: «Международные проблемы — международными про-

блемами, а у нас еще и свои есть, внутренние, нерешенные дела». И рука его уже вознамеривалась подыматься выше, как, наверное, он с официантками привык или по воспоминаниям молодости что-то смутно померещилось.

— Ну, это хорошо, если доволен,— сказал Евгений Степанович скорей в ответ своим мыслям и выглянул за калитку. В матовом свете фонарей сквозь дымку дождя два зонта парили невесомо над мокрым асфальтом. Он постоял во дворе, переждал, пока женские голоса приблизились, стали громче и начали удаляться. Тогда опять вышел. В кювете, вместе со сброшенными туда остатками закаменевшего асфальта, валялось несколько лопат и грабли.

— Никак не научим мы наш народ работать добросовестно! Обязательно нагадят, бросят...

Он глянул в один конец, в другой — улица была пуста. Быстро перебросил через забор к себе на участок лопаты и грабли, общим счетом — шесть штук. При этом говорил:

— Безобразие, как у нас относятся к общественной собственности. За столько лет не сумели воспитать...

Лопаты были так себе, но грабли вполне хороши и грабарка, та самая, на которую опиралась студентка, хорошая, легкая, с хорошей рукояткой.

Еще раз переждав дам под зонтами, которые теперь возвращались, они вдвоем с Еленой, торопясь и толкаясь боками в калитке, закатили во двор, в гущу кустов, где он будет не виден, брошенный каток, им студенты прикатывали асфальт. И долго потом Евгений Степанович оттирал ладони: и о кору сосны, отчего они, словно в копоти, еще черней стали, и, нагибаясь, о мокрую траву, и тряпкой.

На террасе убирали со столов. Залитые дождем жирные угли мангала чадили. Пока Елена Васильевна отдавала распоряжения внизу («Боже мой, как я устала!»), Евгений Степанович тщательно вымыл руки с мылом, поднялся к себе наверх, распахнул створки окна. После грозы, ливня, града сеялся мелкий дождичек, похоже, на всю ночь зарядил. Земля, прокаленная жаром, впитывала и впитывала, и воздух был свежий, дышалось легко. Он хотел было причесать перед оконным стеклом мокрые волосы, но вспомнил, достал из стенного шкафа махровое полотенце, вытер голову насухо. Теперь дожди такие, что можно и вовсе без волос остаться. А когда-то, в детстве, выскакивали, бывало, под дождь поплясать в лужах, девчонки нарочно мочили косички, чтобы гуще волос рос. Создало себе человечество веселую жизнь. Евгений Степанович и рубашку переодел сухую фланелевую: что-то зябко стало. Хотя, если подумать трезво, бережемся-бережемся, а потом все это идет в землю, и мы же и едим. Вон они, грядки клубники, дождь их поливает. Не убережешься.

Внизу, из-за террасы вышел шурин, расстегнутый до пряжки. Стоя возле бочки с дождевой водой, курил, подставив дождю мощный живот, заросший диким волосом. Что терять такому? Выпил, поел, охлаждает брюхо на дожде. Вообще зачем ему жизнь, задается он этим вопросом? И большинство людей так: поел, попил, ну, еще телевизор посмотрел.

— Собаченя, собаченя... У-у, собакин! — слышалось снизу ласковое гудение.— Что ж ты меня мокрыми лапами, подлец? Холодными... По животу! И еще рычит. Не нравится, не нравится ему... У-у, цуцыня! Ох, и достанется нам завтра! Тебе-то что, а мне проредят от уха до уха. Твою жену, скажут, не зовут, а ты, скажут, идешь! Тебя, скажут, на порог туда не пускают, шашлыки жарить

потребовалось — позвали. Тебе, мол, кто ни поднеси. Но вот в этом она не права. Это со зла. Я такой человек: зовут, не могу обидеть...

— Он что, остался ночевать? — спросил Евгений Степанович недовольно, когда Елена поднялась наверх и подошла, еще не отдышавшаяся от двух маршей деревянной лестницы, проскрипевшей под ней.

— Я не пустила. Еще гости не разъехались, он уже был хорош. Очень нужно от Лины выслушивать упреки. Проспится, утром поедет. Вот мы родные сестры, а какие мы разные.

Она стояла рядом.

— Ну, не умница у тебя жена? Такая орава съехалась. Поцелуй!

Он поцеловал ее и обнял, и некоторое время они стояли так у окна, и он даже почувствовал что-то вроде влечения.

— Ты не много пил? Ну, ладно, ладно,— засмеялась она, поняв.— Я оценила. Шестьдесят — не двадцать пять, я оценила вполне.

Хвоя за окном вздрагивала от капель, и на ее фоне дождь казался сильней. А когда раскачивало фонарь, взблескивала вода в бочке, в которую текло из трубы. И блестели вдали мокрые железные ворота и лужа воды под ними на свежем жирном асфальте.

— Ты не поверишь,— сказала Елена,— но я хочу есть. Когда гости, суета, я всегда остаюсь голодной.

— Пожалуй, я тоже выпил бы чаю...

Она накрыла им на террасе, на углу стола. Электричества они не зажигали и при свете уличного фонаря, после всего шума и гама очень уютно и тихо попили чаю вдвоем и закусили. А все равно тревога в душе не проходила. Так бывало у него несколько раз в жизни после сильного перепоя, когда на следующий день хоть в петлю лезь от предчувствия беды. Но теперь-то в чем дело, почему? Такой день, такие люди съехались, вся улица заставлена была машинами. Что отравляет радость? И сам себе неожиданно ответил:

— Прочности нет, вот чего не стало в жизни. Все, все, казалось бы, есть, все! И вот другой раз в президиуме сидишь, а радости никакой. Даже это отнято!

Он чувствовал, как раздражение закипает в нем, изжогой идет по душе.

Спустя время, когда дождь поутих, они вышли прогуляться перед сном под зонтами. И он говорил ей негромко на темной улице, когда из света фонаря, под которым блестели дождевые брызги, они опять входили в тень:

— Я начинаю понимать тех, кто возит за стеклом его портрет.

— Даже не говори при мне, пожалуйста! И еще к ночи. Неизвестно, что с нами было бы, поживи он еще.

— С нами? Ничего! Человек, если его не коснулось, мог быть уверен. Потому что порядок был!

— А что он с моей родней сделал? Я до сих пор боюсь, когда-нибудь в твоих анкетах обнаружится.

— Обнаружиться не может, там этого нет.

— Вот этого я и боюсь.

И они оба оглянулись и некоторое время шли молча.

— Устойчивости нет,— пожаловался Евгений Степанович.— Твердости. Придет какая-нибудь сволочь: «Не, ребята, вы поели, теперь надо нам поесть». Нынешний — неплохой человек, добрый. Так разве наш народ понимает? Народ наш к палке привык. Я тоже когда-то Сталина осуждал, эйфория Двадцатого съезда. Но при нем был порядок. А сейчас что? Все стало какое-то недолговечное. Вчера по телевизору его награждают, а он рукой за столик держится, без опоры не стоит. Такое государство, такая страна!

— И зачем он говорит то, что не может выговорить? Опять — Джавахарлал... Неужели некому подсказать?

— Это? Некому. Никто не решится.

— Правда, что у него вшит заграничный стимулятор?

— Если б у него у одного. Почти у всех у них.— Евгений Степанович обреченно вздохнул.— И не заграничный, а наш. Только изготовлен там. Наши так не умеют.

— Одно могу сказать: дай Бог ему здоровья! — горячо, исступленно пожелала Елена. А он опять вздохнул.

— Определенности хочется. Прочности! — И вдруг высказал заветное, само вырвалось из души: — В идеале — народ должен любить не рассуждая.

Но даже во сне томило беспокойство. И муторно было, и просыпался, будто воздуха не хватало сердцу.

Глава V

Иной раз в трезвую минуту (а случалось это, как правило, в пору неудач или душевной тревоги) Евгений Степанович заново обдумывал свою жизнь. В конце концов достиг он немалого, но чем выше поднимался, чем неохватней открывались возможности, тем реже радовала жизнь. Где-то когда-то прочел он: солнце светит всем одинаково — и зверю, и человеку, и дереву,— только разную они отбрасывают от себя тень. И постоянно чья-то тень ложилась на него.

В школе, в классе так пятом или шестом, посадили к нему туповатого второгодника Фомина, Фому: сверстники ушли дальше, а он остался сидеть на той же парте. Фома списывал у него контрольные по математике, но и списать толком не умел, выше тройки не подымался. И в любом споре забить его ничего не стоило, надо было только спорить быстро: от мысли до мысли Фома пробирался пешком. Но и через день, и через два он все-таки додумывал свою мысль: «Вот ты давеча говорил...» — «Чего я говорил? Ничего не говорил!..» — «Как же? Мы еще тогда под лестницей стояли...» — «Врешь ты все, Фома. Под какой-то лестницей...» И доводил Фому до бешенства, ничего ему так не нужно было, как свою правду доказать.

И вот у такого Фомы был чудный дар. Случалось, наглухо задумается посреди урока, а рука сама уже открывает блокнот, уже штрихует в нем карандашом. И то зажмурит вздрагивающие веки, как слепец, что-то ему там, во тьме, пробреснуло, то глянет быстро, зорко, а карандаш стелет, стелет тени, и из чистого листа бумаги, из теней проступает лицо давно знакомое — вон их учитель стоит у доски, пишет крошащимся мелом, поверх очков растерянно озирается, и в знакомом этом лице схвачено то, чего никто из них не замечал до сих пор, даже страшно становится: вдруг он и про тебя знает самое потаенное.

До Фомы лучше всех в классе рисовал он, Женя Усватов, все знакомые отца говорили: у мальчика явный талант. Однажды он по клеткам перерисовал портрет Некрасова: лысина, бородка, но особенно хорошо глаза получились, прямо живые, с живой влагой в них. Клетки он аккуратненько стер резинкой и принес портрет в школу — похвастаться перед Фомой. Тот глянул и будто отодвинулся от него, чужой стал, неприятный. «Завидует!» — обрадовался Усватов.

А вскоре их повезли за город, рисовать осенний лес. И впервые он испытал то, что, наверное, называют вдохновением. Он рисовал и видел радостно, как все сейчас соберутся вокруг него и подойдет

учитель и скажет всем, пораженный: «Вот! Смотрите!..» Но собрались вокруг Фомы, нехотя и он подошел. Фома ничего не вырисовывал — штрихи, блики, тень, свет,— но чудным образом все ожило: и даль, и лес, и небо высокое, и день золотой прощально дышал осенью. «Ну и ничего особенного»,— хотел уже он сказать, побледнев, но заговорил их учитель, неудавшийся художник: «Вот, вот чему я хотел научить вас.— Голос его дрожал, и рука вздрагивала.— Но этому научить невозможно. Я тоже не могу. Не дано...» И отошел, быстро смаргивая.

На следующий день была контрольная по математике, и Усватов закрылся от Фомы промокашкой. Но сообразил вовремя, что узнает весь класс, и сделал вид, мол, пошутил только. Он знал: за двойки Фому били дома. «Неужели отец бьет?» — выспрашивал он. «Бьет, сволочь!» — угрюмо сознавался Фома.

А потом случилось так, что на перемене Усватов зашел в класс, никого там не было, а на учительском столе лежал раскрытый журнал. Обычно математик ставил точку против фамилий тех, кого наметил спросить на уроке, и сидевший на первой парте маленький Ляпин оповещал: «Тебя спросит!» Это было главным его промыслом: подглядывать в журнал. Перед ним заискивали, а он, случалось, и врал, чтобы попугать. И ученик трясся весь урок, а потом Ляпин говорил, будто грехи отпуская: «Радуйся: не успел тебя спросить...»

У Фомы в этой четверти выходила твердая тройка по алгебре, и Усватов не удержался: журнал раскрыт, в классе никого нет, ручка на столе, чернильница... Рука сама потянулась, и он поставил Фоме жирную точку. И поспешно вышел. А в коридоре ужаснулся мысли: перо мокрое, в чернилах, войдет учитель, заметит сразу: «Кто моей ручкой пользовался?» В общей толпе ребят входил он в класс какой-то приплясывающей, не своей, вихляющей походкой. Зыркнул глазами по столу — ручка на месте, перо успело обсохнуть. И Фома был вызван к доске и получил по своим способностям заслуженную двойку, и дома его били. «А мне хорошо было? — думал Усватов.— Мне, может, было еще больней».

Он рано понял, да и отец говорил не раз: всего на всех поровну в жизни хватить не может. Если у кого-то много, значит, у другого отнято. Отнято было у него, тень Фомы лежала на нем. Где тут справедливость, почему дано такому Фоме, а не ему, когда ему, если разобраться, оно гораздо нужней.

Из Фомы ничего толком так и не вышло. Перед войной — в тридцать девятом или сороковом году — отца его посадили. Был он тоже, как их учитель рисования, неудавшийся художник, запивал. И вот его посадили, а огромный портрет Сталина, который он нарисовал, по-прежнему вывешивали на здании обкома, отец Фомы сидел, а товарищ Сталин, в шинели, ростом в три этажа, приветствовал демонстрации трудящихся. И все в классе знали, кто рисовал, и на первомайской демонстрации, и в Октябрьские дни они проходили под портретом.

В сорок первом году Фома пропал без вести. Рассказывали, был он в плену, бежал, прошел чуть ли не всю Германию, но в Польше снова попал в плен. После войны отбывал срок уже в наших лагерях: за измену родине. Вернулся в Воронеж где-то в середине пятидесятых годов. Пил. В один из своих приездов в родной город Евгений Степанович встретил его, угостил, посидели вдвоем за столиком на открытом воздухе. Другая жизнь шумела вокруг, мальчики, которых в их пору на свете не было, толпились у кафе, сидели на парапете из труб, как стрижи на проводе, ухаживали за девочками, проносились на мотоциклах. И, глядя в слепо слезящиеся пьяные глазки

Фомы, на его небритое, сморщенное, старое лицо, Евгений Степанович утверждался в мысли: ничего серьезного в нем и не было, сильный талант прорвется, проложит себе дорогу в жизни, если даже мягкая травинка прорывает асфальт.

— Что ж ты? — спросил он.— Ведь когда-то неплохо рисовал.

Фома бормотал несвязное, сквозь это бормотание прослышалось:

— Возьми еще сто пятьдесят... И кружку пива.

И уже вслед:

— Двести возьми!

Они, конечно, представляли собой странную пару, если со стороны посмотреть: Евгений Степанович, чистый, в костюме, хотя и не дорогом, но новом, подстриженный, в галстуке, осторожно ставящий локти на стол, чтоб не испачкаться — перед ним уже открывались перспективы, он делал первые, достаточно уверенные шаги,— и Фома, окончательно опустившийся, пахло от него, как пахнет у пивных; впрочем, возможно, это по зрительному впечатлению так показалось.

— Не женился? — и подождав ответа: — Слушай, а бабушка, мать живы?

Он вдруг вспомнил, ясно увидел седенькую старушку, прямо прозрачную на свет. Она угощала их вареной рыбой и какими-то очень вкусными медовыми сладостями, как будто лапша, запеченная в меду, рассыпчатая, тающая во рту. И смотрела на него ласково, погладила по затылку холодной рукой — благодарила за то, что он помогает ее внуку по математике.

— Повесили маму.

— Кто?

— Немцы.

— За что?

— Не знаешь, за что людей убивают? За то, что не сволочь. Человек — вот за что. И еще у бабушки на глазах...

Пьяная слеза капнула в кружку с пивом. Фома вытер щеку грязной ладонью, тут только и заметил Евгений Степанович, что на руке его, на правой, нет указательного пальца.

— Маму немцы повесили, отца наши забили в лагерях...

Старушечьим беззубым ртом Фома нехорошо улыбнулся. Евгений Степанович уже тяготился этой встречей. Да и пил Фома неаккуратно, расплескивал пиво, пришлось-таки достать платок, оттирать пятнышко на рукаве. Расставаясь, он дал Фоме десятку, и тот не только не испытал благодарности, но взял как должное, еще и улыбнулся подлой, понимающей улыбкой, презирал его в своем ничтожестве.

...Всю ночь шелестел дождь в хвое, и под этот шорох Евгений Степанович то засыпал, то просыпался: он зяб при открытом окне под одеялом. Под утро поднялся восточный ветер, что-то царапало и било по водосточной трубе, и ему приснился жуткий сон. Будто, спасаясь, он залезает головой под террасу, в паутину, в духоту, в пыль. Задыхающийся, весь в поту, он проснулся, с бьющимся сердцем сидел на кровати: глупость какая-то, под террасой — кирпичный цоколь, там даже продухи забраны сеткой, мышь не пролезет. Но какой-то же во всем этом смысл должен быть, сны зря не снятся. Или, может, мясного на ночь переел?

Он сделал легкую утреннюю гимнастику: помахал руками, поприседал, замечая с огорчением, как вздрагивают у него груди. Да, шестьдесят — не двадцать пять, ничего тут не поделаешь, а все же обидно. Но, приняв душ и растеревшись, почувствовал себя освеженным. Побритый, чистый, пахнущий мужским одеколоном (совместное производство Франция — СССР), сел завтракать в тренировочном костюме, в котором он иногда бегал по утрам. После всего, что

вчера было съедено и еще не переварилось полностью, после выпитого давал себе знать известный дискомфорт в желудке, есть не хотелось.

Без аппетита съел он пару яиц, хорошо сваренных «в мешочек», намазывая горчицей белок, съел с поджаренным в тостере, зарумянившимся, хрустящим хлебом, на котором таяло масло, несколько темно-розовых, сочных, белых внутри редисок, выбирая самые крупные, намазывая каждую сливочным маслом и посолив. И захотелось есть. Но в двенадцать ему предстоял завтрак с венгерской делегацией, зря перегружаться не стоило.

Евгений Степанович выпил кружку крепкого чая со сливками (кофе предстояло пить с венграми из маленьких чашечек). Чай был настоящий, «липтон», и пар над кружкой ароматный: приятель привез из Лондона.

Машина уже ждала за калиткой, вся сверкающая, шофер ходил вокруг нее, протирал. И едва только Евгений Степанович, в светлом летнем костюме, в белой рубашке с твердым крахмальным воротником и в меру ярком галстуке, открыл калитку, мотор сам заработал на малых оборотах.

Как правило, приготовив завтрак и накрыв ему одному, Елена, еще не прибранная, уходила к себе досыпать. И нередко он уезжал, не видя ее. Она вставала позже, выпивала чашку крепкого кофе, закуривала, и начинались телефонные перезвоны. Но чаще — так было и в этот раз — она высовывалась в последний момент в окно второго этажа и кричала через весь участок, что ему не забыть в городе. Он слушал невнимательно, смотрел, как постелен асфальт, с досадой находил огрехи. Не забыть сказать, чтобы присыпали песком за воротами, не так в глаза будет бросаться свежий асфальт: людям же все надо знать, как, что, почему, откуда?.. Не расслышав и половины наставлений (все равно она еще не раз в течение дня позвонит секретарше, и та напомнит, по списку), Евгений Степанович бросил «дипломат» на заднее сиденье и уже усаживался рядом с шофером, когда выбежал к машине шурин с каким-то сальным газетным свертком под мышкой.

— Ты мог бы и не спешить,— сказал Евгений Степанович, отодвигая «дипломат» на заднем сиденье, освобождая ему место.— Мне на работу, а ты мог среди дня...

Молча сопя, шурин лез в машину. Захлопнул дверцу, в хамской свойской манере шлепнул шофера по плечу.

— Погоняй!

Все на нем было мятое, словно так и спал где-то под кустом одетый, в рубашке, в брюках. Небрит.

— Мы тебя — до метро,— не поворачивая головы на подголовнике, не утруждая голоса, сказал Евгений Степанович.— Дальше мы в другую сторону.

Никак не улыбалось ехать с ним по городу, да еще имел шурин привычку выглядывать наружу, опустив стекло. А то вдруг крикнет бесцеремонно у какой-нибудь палатки: «Останови!..» Не зря говорится: глупый родственник хуже умного врага.

На перекрестке улиц старая, не последней модели, как у Евгения Степановича, черная «Волга» загородила им дорогу. Шофер просигналил раз и другой. Наконец из калитки властно, строго вышел к машине генерал. Но, узнав Евгения Степановича, почтительно приветствовал его.

Мелькали по сторонам дороги, мелькали и отставали пешие люди, идущие на станцию. Некоторые приостанавливались с неявной надеждой, Евгений Степанович не видел, разложив папку на коленях,

он просматривал служебные бумаги, он уже работал. Блестели при утреннем солнце седоватые его виски, но больше седых волос не было, голова была так же темна, как тридцать лет назад, только несколько рыжеватый оттенок появился. Но вблизи, когда он вот так наклонял голову, можно было заметить, что обозначившаяся на затылке лысина, кожа ее,— того же рыжеватого оттенка. Евгений Степанович давно уже подкрашивал волосы, оставляя седоватыми виски, на фотографиях это выглядело солидно, представительно.

Свежий после утреннего душа, выглаженный и чистый, он за приспущенным стеклом машины представлял собой привычное зрелище для тех, кто толпился на автобусных остановках, осаждал автобусы, не давая закрыться дверям. Выражением лица, манерами, повадкой он был точная копия людей его ранга, ехавших в этот утренний час из-за города к месту службы.

Глава VI

Кроме обычных дел, которые ждали его в этот день, предстояло выдержать поток поздравлений. Именно так он сформулировал: поток поздравлений — и, взяв с утра тон легкой иронии, почувствовал себя защищенным. Приличия требовали принимать то, чего всеми способами добивался, жаждал страстно, как нечто помимо тебя свершившееся, как общую заслугу всего коллектива, который в данном случае он лишь олицетворяет. Так выглядело и говорилось всякий раз, когда показывали по телевизору награждение высоких лиц, а теперь это показывали народу чуть ли не ежедневно. С должной скромностью, с печальным, постным выражением, как потерпевшие, выслушивали награжденные слова поздравления, которые им прочитывали по бумажке, а потом, в свою очередь, доставали из кармана заранее подготовленную ответную речь, где провидчески было и «благодарю за теплые слова, сказанные в мой адрес», и прочие, полагавшиеся по ритуалу формулировки, а награду относили не на свой счет.

И не раз Евгений Степанович мысленно видел себя на месте награждаемых, примерялся, как если бы не кому-то, а ему вот так вручали, и это транслируется, и вся страна слушает, смотрит... И он вставал и прохаживался по комнате, успокаиваясь. Для него, служащего человека, приобщенного к тайнам официальной жизни, многое в этом зрелище прояснялось всякий раз. Он усматривал невидимые для обывателя скрытые пружины действия, замечал, кто с кем, за кем и в каком порядке выходит и стоит, делал соответствующие умозаключения. Если некоторое время на приемах, на страницах газет, на экране телевизора не появлялся Брежнев, сразу возникали тревожные слухи, зарубежные голоса, которые все же можно было расслышать сквозь глушение, усиливали эти слухи, муссировали, подсчитывали, сколько он уже не появляется, возникали догадки, строились предположения. «Одно могу сказать,— всякий раз говорила Елена в таких случаях,— дай Бог ему здоровья!» И когда по телевизору вновь показывали Леонида Ильича, все вглядывались: как ходит? Как выглядит? Вслушивались в речь: достаточно ли членораздельно произносит слова? И на некоторое время все непрочно успокаивалось.

В машине Евгений Степанович раскрыл свежую газету, которую каждое утро покупал для него шофер и привозил на дачу. Сообщать о его награждении не будут, он знал, сообщается либо о награждении лиц более высокого ранга, либо более высокими орденами. И все

же не удержался, первым делом просмотрел вторую полосу. Нет. Опять анонимно. Полного удовлетворения не было. Разумеется, свой орден он не наденет. Сейчас вообще меньше стали на себя надевать. Говорят, эта Джуна пользует Леонида Ильича и будто бы она не посоветовала носить все награды, мол, происходит какое-то вредное излучение. И сразу сверху вниз по всей лестнице спустилось, все соответственно стали скромней, поснимали с себя лишнее. Ох, нехорошо, нехорошо это все, нехорошо! Шарлатаны всякие, целители, прорицатели всегда являются в определенные периоды истории. И перед концом Сталина (а уж, казалось бы, как все прочно стояло!) тоже начали возникать чудеса, прошумели открытия, которых, как потом выяснилось, и в природе не было: какой-то проходимец Бошьян, какие-то еще, еще... Теперь уж и не вспомнить. А еще раньше, до революции, не случайно Распутин явился при дворе. Тоже перед концом. Сильной власти прорицатели не нужны.

Мысль об определенных периодах истории была не его мысль. Елена же, прослышав про чудеса, тоже прорывалась к Джуне: «Вот у такого-то тряслась голова, а после трех сеансов совершенно перестала трястись. Он даже недавно женился на молодой». Было не совсем ясно, что ей лечить, голова у нее, слава Богу, не тряслась, но слухи о чудесных исцелениях множились, и он начал искать ходы. Подсказали: художник Н. подарил Джуне картину и его правая рука, которой он уже не мог держать кисть, действует теперь исправно. Евгений Степанович пригласил его к себе в кабинет, был чай с печеньем, состоялся большой творческий разговор: «Как, у вас до сих пор не было персональной выставки?..» Но оказалось, картину дарил вовсе не он, и разговор о персональной выставке отпал сам собою, хотя художник некоторое время еще звонил, добивался.

Потом разузнали под большим секретом, что режиссер Б. лечился у экстрасенса от импотенции, очень помогло. Он и режиссера приглашал, был чай с печеньем, всячески обласкивал его, подвел к разговору об экстрасенсах, и тот, старый, насквозь прокуренный циник, сказал тогда про шарлатанов и прорицателей, которые являются в большом количестве в определенные периоды истории: перед концом. И это — в его служебном кабинете, громко. «Провокация!» — ахнул в душе Евгений Степанович, сразу окаменев лицом. А тот еще и усмехнулся нагло, подмигнул на телефоны: мол, понимаю, понял, молчу.

У метро Евгений Степанович высадил родственника (интересно все же, что у него там в свертке, что он набрал с собой?), и машина стала намного просторней. Среди троллейбусов, «Москвичей», «Жигулей», автобусов все чаще попадались солидные черные «Волги», они обгоняли, он обгонял, узнавал номера машин, затылки в заднем стекле, он въезжал в свой круг, и непроспавшийся, мятый родственник со свертком под мышкой был ему здесь совершенно ни к чему. У каждого отыщется родня, которой нет основания гордиться.

Пока транспорт стоял перед светофором, Евгений Степанович, раскрыв папку на коленях, подписал несколько бумаг, а когда поднял глаза, вздрогнул: из-за стекла стоящего впереди троллейбуса, сверху, опершись локтем о поручень, смотрел Леонид Оксман, его однокашник, Леня. Евгений Степанович тут же сосредоточился на бумагах, но, едва все тронулось с места, глянул. Троллейбус удалялся, по его выпуклому стеклу скользили солнечные блики, небо, облака, кроны деревьев валились в него, и не разглядеть было, Леня там отдаляется за стеклом или показалось? И уж, во всяком случае, нечего ему вздрагивать.

В Комитете, едва он вылез из машины и вошел, улыбки замелькали, как вспышки блицев. Стеклянные двери сами распахивались, знакомые, незнакомые поздравляли, он благодарил, кивал, улыбался ответно. Кто-то придержал лифт, подставив ладонь под светящийся глазок фотоэлемента, пересек луч, но, когда двери вновь сходились, ногой вперед, козлиным скоком, разодрав их, протиснулся внутрь гражданин с папкой. «Проситель!» — безошибочно определил Евгений Степанович, потому и в лифт за ним стремится, для тесного общения. А в папке с золотым тиснением, удостоверяющей причастность гражданина к какому-то юбилейному торжеству, прожект.

Пока лифт подымался, Евгений Степанович любезно беседовал с дамами в кабине и одновременно, холодным взглядом удерживая просителя на расстоянии, давал понять, сколь неуместны и безрезультатны будут любые попытки взять его приступом, как только что взят был приступом лифт.

— Евгений Степанович! — пискнуло уже на выходе.— Вы меня, конечно, не помните, но Василий Порфирьевич сказал, что...

Торопящийся, неприступный, Евгений Степанович шел не оборачиваясь. То обстоятельство, что они вместе проехали в лифте пять этажей, не может быть приравнено к знакомству и никаких преимуществ не дает. Войдя к себе, сказал секретарше:

— Там один нахал прорывается. Я занят, не принимать!

Галина Тимофеевна, начавшая свою секретарскую карьеру лет эдак тридцать с лишним назад, в ту пору, как рассказывали, молоденькая, рыжеватая, хорошенькая, пользовавшаяся огромным успехом и благосклонностью, а теперь величественная и седая, в голубизну, но с таким же ярким маникюром, так и мелькавшим, так и порхавшим над клавишами, когда она печатала по слепому методу, поняла его с полуслова, и можно было не сомневаться — уж она никого непредусмотренного не пропустит.

Когда-то, когда Евгений Степанович впервые хозяином переступил порог этого кабинета, он поражен был и размерами его и великолепием. Все — и кресло крутящееся, с высокой спинкой, перекатывающееся на колесиках, и обширнейший стол под красное дерево, и другой, торцом к нему приставленный маленький столик с двумя креслами, куда в отдельных случаях и он пересаживался, демократично уравнивая себя с посетителем, и большой стол для заседаний с двумя рядами стульев, и перспектива, и батарея телефонных аппаратов, и еще другая комната, комната отдыха, где был холодильник и диван,— все радовало и восхищало. Даже настольный перекидной календарь с розовыми, переходящими в голубизну муаровыми листами был совершенно особенный. А вымпелы, кубки, множество подарков, выставленных за стеклом, которыми обмениваются официальные делегации, а сафьяновые папки с медными уголками, на которых золотом вытиснена его фамилия и инициалы. Раньше он только мог видеть такие папки, входя для доклада, теперь они лежали у него под рукой, приятно было трогать их кожу. «Как важно, когда человек любит свое дело,— прочувствованно говорил Евгений Степанович.— Если хотите, это одна из главнейших проблем нашего времени».

Но годы шли, и выше устремлялась мысль, и кабинет на глазах ветшал, старел, уже не радовал. Особенно почему-то раздражал встроенный в окно ящик кондиционера, кустарщина, бедность, перед иностранцами стыдно. Мысленно Евгений Степанович видел себя уже в других кабинетах, чувствовал себя обойденным.

Но сегодня, едва он сел в кресло, Галина Тимофеевна внесла кипу поздравительных телеграмм, сверху — правительственные с красным грифом.

— Потом, потом, прежде — дело!

Однако едва она вышла, сразу же начал читать. Сколько раз сам он утверждал принесенные на подпись тексты поздравлений, вот эти самые слова, стоящие всегда в том же самом порядке, но сейчас читал, растроганный. Удивительно тепло, а главное, в этих привычных словах чувствовалась неподдельная искренность. Он разложил их в должном порядке: по значимости тех, кто подписал. И прошелся, прошелся по кабинету, прошелся за спинками пустующих стульев вдоль длинного стола. Сталин, как известно, любил мягко прохаживаться за спинами сидящих, не смеющих головы повернуть; можно представить себе, что чувствовали они, слыша за спиной у себя шаги судьбы.

Вновь вошла Галина Тимофеевна с блокнотиком в руках, прочла по порядку все дела на сегодня. И была такая неприятная новость: умер его однокашник, сегодня похороны, приходили, просили передать... С запинаниями, будто произнося непривычную на слух иностранную фамилию, Галина Тимофеевна прочла записанное у нее в блокноте — «Ку-ли-ков»— и взглянула с вопросом. Она всякий раз затруднялась, выговаривая фамилию человека, ничем не знаменитого, не занимающего положения: есть ли вообще такой?

— Я им сказала, вы сегодня крайне загружены. В двенадцать — венгры. Но они настаивали, просили передать непременно.

— Да, да, да,— нахмурясь, пробубнил Евгений Степанович.— Надо послать телеграмму... Соболезнование...— и заколебался.— Вы взяли координаты?

Его предшественник, которого сменил он в этом кресле,— верней, жена предшественника строго-настрого запрещала докладывать о смертях и похоронах людей, близких по возрасту, особенно об однокашниках. Все в Комитете знали это, легендой стало, как однажды к празднику он подписал жирным фломастером поздравление, пожелание больших творческих успехов, здоровья, бодрости, счастья в личной жизни давно умершему человеку. «Как же вы так его пропустили! — выговаривал он Галине Тимофеевне, та молча слушала.— Не годится забывать. Для нас лишнюю открытку отправить ничего не стоит, а человеку приятно. Запомните: ничто так не ценится, как внимание». Открытка эта где-то сохранялась в недрах Комитета.

— Во сколько гражданская панихида? — быстро спросил Евгений Степанович.

— В одиннадцать ровно.

— Так...— Евгений Степанович соображал.— Где?

Галина Тимофеевна назвала адрес: улица 25 Октября, бывшая Никольская,— в арке, как въезжаешь в нее от «Метрополя»... Виктор знает, на всякий случай она предупредила его. Редакция журнала «Лес и степь». На втором этаже, в конференц-зале.

Евгений Степанович взглянул на часы: можно успеть. Он распорядился, чтобы в десять сорок пять машина ждала у подъезда, принял в темпе одного за другим четырех человек, привычно распасовал вопросы по горизонтали и вертикали, откуда, отяжеленные резолюциями, они снова к нему же и вернутся, один вопрос, имевший срок давности, решил, подписал несколько срочных бумаг, все остальное — потом, потом. И, чувствуя удовлетворение и прилив сил от быстрой, четкой работы, от хорошо разыгранной партии, дал знак Галине Тимофеевне пригласить соавтора.

— Введите! — пошутил он.

Был в конце тридцатых годов, стоял во главе нашей кинематографии человек, возглавлявший до этого областное управление НКВД. Рассказывали, ему докладывают: режиссер такой-то. «Введите!» Тем и запомнился, хоть пробыл недолго, вскоре сам разделил судьбу тех, кого раньше вводили к нему. В хорошую минуту Евгений Степанович позволял себе так пошутить.

Соавтор был молодой, из провинции, можно сказать, лимитчик, в жизни его ничего еще не определилось. Он ожидал сейчас в приемной, словно бы изготовясь к докладу. Евгений Степанович мог дать ему путевку в жизнь, мог сделать москвичом, а это дорогого стоит. Однажды он уже дал путевку в жизнь, из грязи поднял прежнего своего соавтора, тоже молодого, тоже подающего надежды, и тот за добро отплатил черной неблагодарностью. А так хорошо все складывалось! Совместно они написали пьесу на кардинальнейшую тему. Была премьера. Евгений Степанович не выходил на аплодисменты, оставался сидеть в ложе. На сцену целовать ручки актрисам выбегал молодой честолюбец. А когда уже все выстраивались во главе с режиссером и аплодировали в сторону ложи, тогда лишь Евгений Степанович показывался из темноты на свет, доброжелательно умерял аплодисменты.

И был потом банкет. «Не скупитесь,— предупредил он молодого человека, провинциала, неопытного в таких делах.— После скажете мне, во что это вылилось». Вылилось, как можно было заранее предположить, в порядочную сумму: зал был заказан в «Праге». Евгений Степанович приехал, когда уже все сидели, и пока он шел к главному столу, к микрофону, его сопровождали аплодисментами. Весь вечер он принимал поздравления, его славили в тостах, славили обильный стол, соавтор мотался к метрдотелю, бегал на кухню, и в тот момент, когда застолье начало превращаться в обыкновенную пьянку, чем обычно и заканчивается в этой среде, Евгений Степанович, видя, как уже размазывают окурки по тарелкам с едой, встал и направился к выходу. Соавтор догнал его у лифта, теснил к стене: «Евгений Степанович, там актеры поназаказывали водки, лишних шесть бутылок шампанского... У вас есть что-нибудь с собой?» Голос жалкий, вид затравленный, потный. «Как же это вы так, дорогой мой? Так не делается». Он вынул и дал ему две десятки. «Все, что есть при мне. Надо было предупредить заранее». Как раз подошел лифт, в кабине, отделанной под орех, сидела пожилая лифтерша. «Надо было раньше... Выкручивайтесь...» — и Евгений Степанович ступил вовнутрь. Дверцы сомкнулись, лифт пошел вниз.

Он не остался в долгу, рассчитался со своим соавтором в максимальном размере: пробил ему прописку в Москве, устроил государственную однокомнатную квартиру. Какими деньгами это измерить? Но правильно сказано: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Этот поганец, пока они совместно трудились, успел, как выяснилось, еще и самостоятельно пьеску накропать, пытается ее теперь пристроить. Но мало этого: Евгений Степанович предложил ему идею новой работы, тот бесстыдно увильнул. Ничего, пусть помыкается.

— Введите! — повторил он шутливо.

С этой минуты, кто бы ни рвался к нему в кабинет, Галина Тимофеевна будет неизменно говорить: «У Евгения Степановича совещание. Не могу сказать, сколько продлится... Наведывайтесь...» Все телефоны отключались, кроме того единственного, который не отключается никогда, вносили кофе, бутерброды (соавтор, как правило, был голоден). На этот раз придется обойтись без кофе, он сразу предупредил:

— К сожалению, у нас всего двадцать минут: в десять сорок пять я вынужден ехать на похороны. Такое вот незапланированное обстоятельство. Однокашник, вместе когда-то учились в институте. Способный был человек, но как-то у него не пошло... Между прочим, английские военные психологи считают, что пятьдесят процентов таланта и сто процентов характера в конечном итоге — больше чем сто процентов таланта и пятьдесят процентов характера,— Евгений Степанович загадочно пощурился, помял пальцами мягкий кончик носа.— Нда-а-а... Кое-что тут есть для размышления. В связи с этим трагическим происшествием проклевывается один любопытный сюжет, я вам как-нибудь расскажу, возможно, это и станет нашей следующей работой. Я уже ощущаю канву. Если хорошо вышить по ней... А какая любовная линия!

— Так, может быть, не стоит сегодня читать, раз так напряжено? — соавтор с робкой надеждой перестал вытаскивать из папки исписанные, исчерканные листы какого-то нестандартного формата. Было приказано: давать ему лучшую финскую бумагу сколько потребуется, бумагу он брал, а писал все на этих неряшливых листах, на обороте чего-то, говорил, иначе у него не получается. Евгений Степанович, любивший аккуратность во всем, решительно не понимал этого.

— Нет, нет, ничего не отменяется, приступим.

И соавтор за маленьким столиком начал читать, а Евгений Степанович, сидя в роскошном своем крутящемся кресле, вольготно откинувшись и временами поворачиваясь, слушал.

Несколько дней назад состоялось совещание, вернее сказать — актив, на котором выступил сам Гришин. Говоря о литературе, он выразил недовольство тем, что в отдельных произведениях стал проявляться подтекст. «Подтэкст»,— произносил он.

— Прямо сказать боятся, а в подтэксте...— и он делал жест, как бы поддевал под ребро оттопыренным большим пальцем. Следом выступили два именитых писателя и обосновали вредоносность подтекста. Это был сигнал. Вернувшись с совещания, Евгений Степанович отреагировал должным образом, созвал узкое совещание, и отныне в пьесах особое внимание обращалось на подтекст. И сейчас он не просто слушал, он выверял на слух.

— Ну, что же,— сказал он, когда двадцать минут истекло.— Неплохо. Что-то уже рождается, что-то вытанцовывается,— неопределенно похвалил он. Работа в Комитете научила его не торопиться с окончательными оценками, избегать точных формулировок.— Мне нравится ваша палитра. Жаль, что пока еще не прозвучала в полной мере моя мысль о том, как вещизм калечит души людей, молодые души. Нам предстоит в ближайшем будущем пройти испытание сытостью, эта угроза движется на нас с Запада. И тут важно не потерять наши нравственные ценности, не оторваться от своих корней, не превратиться в общество потребления. Между прочим, у нас с вами маловато в тексте народных выражений, они обогащают язык. «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет!» Смотрите, как образно мыслит народ. Используйте где-нибудь. А вообще оставьте мне эту сцену, я немного пройдусь по ней.

Ровно в десять сорок пять он сидел в машине. Тактически правильно, что он едет. Занят, тысячу раз занят, нужен, всем нужен, просьбы и обязанности виснут на нем, как репьи на собаке. Не боясь унизить себя сравнением, он часто использовал этот образ: «Как репьи на собаке». В конечном счете никто его не осудит, если в силу большой занятости он не сможет отдать последний долг, но что-то сказало ему: надо!

Он вошел. Какие-то незнакомые люди узнавали его, кланялись, расступались, шепотом направляли. Толстая женщина, совершенно седая, с круглым плоским лицом — тут еще и свет неважный — пожала ему руку.

— Спасибо, Женя. Мы не поздравили тебя, ты прости...

Кто «мы»? Он не узнал ее. Но тут сквозь слезы, сквозь эти морщины на сером лице, сквозь время она улыбнулась, и он узнал: Марта! Когда-то она учила его танцевать, было такое короткое увлечение танцами. После занятий в актовом зале кто-то садился за рояль... Девушек в их институте после войны было вдвое, если не втрое больше, чем парней, но у Марты — несколько поклонников, однако танцевала она с ним... Он был немножко влюблен. И вдруг она выскочила замуж за человека старше ее и вообще, кажется, ничего из себя не представлявшего. Однажды он встретил их на улице и не по тому даже, как они были одеты, а по нервным лицам понял их жизнь. Ну, что ж, подумалось не без удовлетворения, она сама себе выбрала.

— Это я настояла известить тебя, я знала, ты придешь.

Он сделал жест: как могло быть иначе? Шепот Марты сопровождал его, перед ним еще расступились, и он увидел покойника. На сдвинутых столах в гробу лежал старый бородатый мужик. И это Куликов, розовый мальчик, самый молодой на их курсе. Когда был выпускной вечер (устроили его, помнится, в ресторане «Балчуг» в складчину), он вспрыгнул на стул, вскинул высоко руку с бокалом, расплескивая на себя шампанское. «За любовь! За звезды на небе!..»

Казалось, это не он, а его дед-крестьянин лежит сейчас в гробу посреди собравшихся людей. Прямая мертвая борода, наполовину седая, темные провалы под скулами и на висках, суровые брови над глазницами и редкие, поднявшиеся, как пух, седые волосы на голове. Исчезло неглавное, смерть возвратила к сущности. Мысль эта понравилась Евгению Степановичу: надо запомнить.

Когда его пропустили вперед, ко гробу, человек, по бумажке читавший речь у изголовья, запнулся, узнав его, но Евгений Степанович привычным движением глаз и чуть-чуть руки показал: продолжайте, продолжайте! Ему нередко при своем появлении приходилось делать этот жест: продолжайте. И после чувствовал он на себе взгляды, отвлеченные от покойника.

Лет, наверное, тридцать они не виделись. Какую же за эти годы жизнь прожил Куликов, если она превратила веселого, наивного мальчика в иссохшего сурового старика? Он испугался внутренне самой возможности такой жизни.

В перерыве между ораторами какая-то женщина, опоздавшая, положила к ногам покойника цветы, и Евгений Степанович ощутил нечто вроде укола стыда: надо было послать шофера купить цветы, гвоздик, что ли. Но он отвык, большей частью приходилось возлагать не от себя лично, все заранее приготовлялось, специальные люди были для этого, а он возлагал. Впрочем, от него, как понимал он, и не ждут, достаточен сам факт его присутствия.

Он стоял со скорбным, но твердым достойным выражением, лицо омрачено воспоминанием и думой. Краем глаза видел: опоздавшая женщина все пробиралась, пробиралась в тесноте, вот она обняла какую-то старуху, стоявшую в изголовье, поцеловала крепко, и обе заплакали, промокая слезы. И вдруг в этой старухе он Тамару узнал. То-то все время чувствовал какое-то беспокойство, чей-то недоброжелательный взгляд на себе. Но — Боже мой! — что делает с людьми жизнь.

Как только кончилась панихида и начали выносить венки с лентами, Евгений Степанович сразу же распрощался: «В двенадцать часов — венгерская делегация... назначено... никакой возможности отменить...» Его благодарили, жали руку, и подвернулся какой-то вовсе не знакомый бодрый тип, тиснул своей потной рукой: «Лутченков!»— с приятностью во взоре. Болван! Мне-то что, что ты Лутченков. Подходит, сует лапу, не спросясь.

Евгений Степанович словно свежего воздуху вдохнул, выйдя к своей машине, словно из подземелья поднялся на свет. Вот такой серой, как эти похороны, как эти лица, могла быть и его жизнь. Каждый день пешком подыматься с портфелем по этой истертой подошвами мрачной каменной лестнице, а там теснота, как на коммунальной кухне, эти узкие интересы... Да еще, когда выходишь с работы, каждый раз видеть толпу цыган: какая-то камера хранения напротив — несколько ступенек вниз,— они толкутся около нее с барахлом, спекулируют, гадают прохожим.

Сидя в машине, за стеклом, он выдерживал приличествующее событию омраченное выражение лица: впереди, в похоронный автобус подсаживали женщин, в основном толстых и немолодых. И опять он увидел Тамару; две женщины шли по бокам ее, будто вели под руки. В черном газовом шарфе на седых волосах она подошла к открытой двери автобуса, поставила ногу в туфле на подножку, но не осилила сразу, ее подсадили. И он подробно видел из машины и желтую туфлю ее, ношеную, бедную, без каблука, на микропорке летом, с выпершей косточкой, и пухлую, бессильную ногу, обмотанную до колена под чулком эластичным бинтом: тромбофлебит, наверное, расширение вен. Ее подсаживали, а она руками хваталась за поручень, подтягивала себя.

А как была она хороша в молодости! Смуглое, загорелое, твердое, гибкое тело в сарафане так и мелькало среди вишен, как легка была на ногу. Они с Куликовым только поженились, и почему-то ее очень смешило, что он — Куликов. «Куликов!» — звала она и смеялась. Втроем на гроши поехали они на Украину, сняли хатку — он предложил Куликову идею: вместе написать книгу. Идея была его. Тамара кормила, готовила, а они по очереди ездили на велосипеде за хлебом и за молоком: хозяйка была вовсе бедная — ни коровы, ни козы, одна курочка. И когда раздавалось счастливое кудахтанье, хозяйка тут же шла искать по двору только что снесенное яичко, чаще всего Тамаре же и приносила его в сухих ладонях, еще теплое, полюбила ее.

В полдень звали обедать, они выходили, потрудившиеся, садились за стол, который вдвоем же и сколотили во дворе, а Тамара мелькала от стола к летней кухоньке. Голые ее руки над столом, загорелые плечи, сильные загорелые ноги, уходящие под легонький васильковый сарафан... Взгляд его тяжелел, он старался не смотреть и все равно видел ее каждую минуту, каждое ее движение чувствовал. В душные летние ночи, когда они спали в хате и там погашен был свет, он не мог заснуть на сеновале. И случилось то, что не могло не случиться. Как горяча, как хороша была она.

К обеду вернулся Куликов на велосипеде, привез молоко и хлеб, они ели ледяной — из погреба — свекольник, в котором не распускалась сметана, плавала комом, Тамара то присаживалась за стол, то хозяйничала у плиты под навесом, переворачивала на сковородке окуньков, и он видел, как улыбнулась она потаенно, сама с собой, видел эту ее улыбку.

Книгу так и не написали, все как-то разладилось. И хотя Тамара больше не подпускала его к себе, яростно, ненавидяще, Куликов что-

то почувствовал. Рассказывали, что жизнь у них в дальнейшем не складывалась: то расходились, то вновь сходились. Было это все сто лет назад, и, конечно, не он причиной. Когда смотришь на старую женщину, такую, как Марта или Тамара, каких здесь большинство, можно ли вообще представить себе, что когда-то что-то у нее было, могло быть. И какое теперь это имеет значение, если жизнь прожита?

Автобус впереди тронулся наконец, они пережадали немного, и машина помчала его по Москве. Отчего-то давило темя. Много все же впечатлений для одного утра. Как сговорились, то один, то другой возвращаются из небытия...

Он приспустил стекло, откинулся на заднем сиденье справа, где безопасней всего при ударе, прикрыл глаза. Пожалуй, не следовало ему ездить на похороны, уже не по возрасту подобные мероприятия, пора с этим кончать.

У себя на этаже, в туалете, где яркий свет, зеркала, кафель, а дурные запахи заглушены сладковатым дезодорантом, он, моя руки, придирчиво вглядывался в свое лицо в просторном зеркале во всю стену, оттянул мокрым пальцем одно, другое веко. Слизистая была живая, может быть, чуть больше гиперемирована, чем следует: читать много приходится! И цвет лица, в общем, неплохой, в глазах жизнь, а не тусклая покорность старости.

А позже, за длинным столом, где после непродолжительной официальной беседы шумно столпились проголодавшиеся венгерские гости, вся делегация, переводчики, сопровождающие лица и принявшие участие наши товарищи (к обеденному столу наших товарищей всегда набиралось раза в два больше прибывших, и все охотно пили, ели, закусывали), Евгений Степанович с особенным удовольствием, с ощущением полноты жизни выпил рюмку ледяной водки, закусил рыбкой, севрюжкой горячего копчения (аж заломило скулы от набежавшей во рту слюны!), налил сразу вторую, заел крошечным, тающим во рту слоеным пирожком с мясом и почувствовал: отпустило, снизошла на душу мягкость, затуманилось все радужно. И сквозь этот туман представил на миг, увидел, что происходит сейчас в другом конце Москвы, за Москвою: мраморный гулкий холод пустого зала крематория в Архангельском, тишина и еле звучащая траурная музыка. И вот по блестящим металлическим каткам надвинут гроб, он опускается, сошлись, сомкнулись шторки над ним, все кончено...

Высокими бокалами с вином гости потянулись к Евгению Степановичу, но он, не чокаясь, держа бокал в руке, рассказал вдруг, как проводил сегодня в последний путь хорошего, еще институтских времен, товарища своего, славного человека, и волны сочувствия хлынули на него со всех сторон, и, растроганный, он принял их в свое сердце. А когда, намазав предварительно хреном, отрезал и положил в рот кусок заливного говяжьего языка, добрые глаза его увлажнились.

Глава VII

Евгению Степановичу, Жене, было пятнадцать лет, когда отца его перевели на работу в Москву. Много позже, взрослым человеком, понял он, что это для их семьи было спасением.

Собирались в спешке, что-то раздаривали дальним родственникам, что-то бросали, и вот, когда уже билеты были взяты, завтра уезжать, его свалила скарлатина. Заразился он от одноклассника, ходил проведывать его, а в последний раз открыл ему дверь незнакомый человек в штатском. Открыл, обыскал взглядом, впустил, строго сказав: «Садись». И уже не выпустили. И весь обыск в квартире, и арест Костиного отца — все это происходило при нем. Во втором часу ночи, ни жива ни мертва, прибежала за ним мать. Она обзвонила всех товарищей, искала по городу, звонила сюда, но тут не снимали трубку. Ее тоже впустили, посадили на стул. Вот так и сидели вдоль стены знакомые люди, не общаясь друг с другом. Постучалась соседка, за утюгом забежала. «Я только за утюгом...» — повторяла она, как бы заранее открещиваясь, отрицая любые иные контакты. За ней спустя время пришел муж. Он как раз искупался и запросто, по-соседски сунулся было в дверь и теперь мерз в тапочках на распаренных ногах, в сетке на голом теле, а на мокрой голове — носовой платок, завязанный на четыре угла.

Фамилии всех переписали, оставив каждого в ожидании и страхе. В пять утра Костиного отца увели. От двери он еще оглядывался, что-то сказать хотел, но только беспомощно разводил руками.

— Зачем ты туда ходил, зачем? — узнав, кричал на Женю отец, и такого лица у него Женя никогда не видел, это было синюшное лицо удавленника.— А ты, идиотка, зачем шла? Зачем, я вас спрашиваю? Встань, мерзавец, когда отец с тобой говорит!

Но сквозь свой испуг и страх Женя видел, как до смерти перепуган отец, как жалок он, всегда окружаемый в доме таким почетом. Это было из тех открытий детства, которые не забываются. Позже он понял страх отца, страх перед высшей силой, и не осудил его и сам не раз вблизи этой грозной силы переступал и через стыд, и через многое переступал.

Отец уехал один, мать осталась с ним. Болел он тяжело, бредил, плакал, задыхался, и в страшном бреду какие-то огромные мужики в сапогах, от которых пахло дегтем, топали по квартире, двигали вещи. А то вдруг вновь видел, как уводят Костиного отца, только это был не Костин, а его отец, его раздувшееся синее лицо оборачивалось в дверях. А когда жар спал, оказалось, лежит он в пустой комнате, мебель сдвинута, мамин большой, из карельской березы, платяной шкаф зашит в рогожи. И вот этот запах рогож, свежего лыка было первое, что он ощутил как выздоровление. Приходили грузчики в чистых брезентовых фартуках, топали, выносили вещи. Совсем еще слабый после болезни, он ехал с матерью на извозчике в тряской пролетке на вокзал.

Отец встречал их в Москве. Еще мелькали на перроне головы, лица, поезд замедлял ход, а мать уже различила его в толпе: «Вон, вон наш папа! Не туда смотришь... Вон!» Летняя белая сетчатая кепка, белый китель — отец был не похожий на себя, какой-то полувоенный, строгий. Вместе с ним вошел в купе шофер, молодой парень физкультурного вида, зашнурованная футболка только что не лопалась на его могучей груди. Он улыбался им радостно, и, пока отец, сухо поцеловав мать, расспрашивал, как доехали, парень похватал чемоданы сильными руками, на которых, к зависти Жени, вздувались мускулы, снова забежал, снова передал вещи носильщику, а они трое вышли налегке.

Потом ехали по Москве под белесым от жары июльским небом, под троллейбусными проводами, и вспомнилось, как Фома в школе рассказывал, будто сам читал в Библии, что наступит время, когда провода опутают землю, и прилетят железные птицы, и придет конец света... Но в Москве был сплошной праздник: многолюдье на улицах, машины, троллейбусы, милиционеры в белых гимнастерках, в белых перчатках указывали им путь.

Дверь в гостиницу распахнул бородатый швейцар, будто из доре-

волюционных времен, и они, как во дворец, вошли в мраморное великолепие. По мраморному полу прогуливались люди, сидели в креслах, солидный иностранец, забросив ногу в ботинке на колено, держал перед собой развернутую газету, и, пока они шли, их обдавало волнами сигарного, табачного дыма, а от парфюмерных киосков, где сверкали под электричеством разноцветные флаконы, пахло, как из маминой пудреницы.

Шли они так: впереди отец в ботинках тридцать восьмого размера (их покупали ему тайком, в детском магазине), он уверенно постукивал каблуками, следом они с матерью, позади шофер нес чемоданы: один под мышкой, два — во вздрагивающих от напряжения руках. Люди почтительно здоровались с отцом, а на этаже коридорная поспешила отдать ключи от номера, и горничная, в белом переднике с крылышками, словно бы ждала их и умилилась Жене. Он знал с детства, что отец совершенно не может терпеть боли, его боль была особенно больная, он сникал, если у него поднималась температура, однажды мать купала его в ванне, как ребенка, а он капризничал. Но сейчас, когда они шли по мрамору и ковровым дорожкам, отец казался ему необычным человеком, он был выше себя ростом, а чемоданы, которые несли за ними, каким-то образом оказались раньше них в номере.

В первую ночь в Москве в гостинице «Москва» он почти не спал. Дыхание огромного города, гудки автомобилей за окном, свет фар, кружащийся по потолку, кремовая шелковая занавеска на окне наливалась светом, свет и тени кружились... А едва задремывал — белые милиционеры посреди улицы взмахивали жезлами; вздрогнув от гудков автомобилей, он вскочил, ударился лбом в стену: все в комнате поменялось местами, он не сразу сообразил, где он, почему.

Окончательно проснулся поздним утром, и опять было ощущение праздника: музыка за окном, яркое солнце под высокими лепными потолками, и мама в голубом халатике, вся в солнечном свете, носит от чемоданов к шкафам платья на плечиках.

Завтракали они на другой стороне улицы Горького в кафе: сосиски, которые он больше всего любил, взбитые сливки, а из репродуктора на улице гремело: «Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить...» И когда они вернулись к себе в номер, там уже было прибрано, проветрено и чисто.

Случалось, ночью мама будила его, он садился в кровати, ему ставили на колени тарелку, и он, обливаясь соком, держа в липких пальцах, съедал огромную грушу или гроздь винограда «дамские пальчики» — это отец вернулся с работы, а возвращался он поздно. Он приносил бутерброды с нежнейшей, удивительно пахнущей ветчиной на свежей булке, бутерброды со свежайшей севрюгой горячего копчения; и губы, и руки долго еще пахли копченой рыбой, приятно было нюхать их под одеялом.

Однажды спросонья ему показалось, что отец пришел пьяный. Шумно, возбужденно рассказывал он, что сегодня видел товарища Сталина, и товарищ Сталин при всех спросил его: «Усватов, Усватов... Слушай, что такое Усватов? Может быть, ты присватался к нам, Усватов?..»

— Я помертвел! А товарищ Сталин подождал, посмотрел на всех и вдруг — нет, ты можешь это себе представить! — двумя пальцами вот так шутливо сделал мне козу: «Усватов!»

Женя босиком вышел послушать, и отец при нем вновь повторил все, глаза его пьяно блестели, и, ткнув больно сына в живот, показал,

как товарищ Сталин сделал ему козу: «Усватов!» Долго эта «коза» служила отцу охранной грамотой.

Но стал Женя замечать, что мать как бы побаивается и вежливой горничной в белоснежном переднике, и коридорной, которой они сдавали ключи, проходя мимо, а она смотрела им вслед. И почему-то мать обязательно старалась сказать ей, где они были, откуда идут.

Они ждали квартиры, но продолжали пока что жить в гостинице, и по утрам горничная убирала в номере, а в школу и из школы он шел через вестибюль, где пахло духами и заграничным табаком и где выстраивались в ряд иностранные чемоданы с наклейками, ему нравилось проходить мимо них, нравилось, что швейцар, теперь уже знавший его в лицо, открывает перед ним массивную дверь. И все бы хорошо, но что-то происходило между отцом и матерью, шепоты длились за полночь, случалось, проснется, а у них горит свет. И днем мать ходила подавленная, тихая, спросишь, а она не слышит. И отец как будто стал избегать его. Однажды он с вопросом глянул отцу в глаза, и тот, как застигнутый, засуетился, засуетился и ни с того, ни с сего сунул ему рубль: «На, купи себе мороженое».

Наконец им дали квартиру. Тот же шофер перевозил их, отец был на работе. Они долго ехали по Москве, потом пошли какие-то переулки, булыжная мостовая, деревянные старые дома, заборы. У водонапорной колонки на улице девочка в красном ситцевом платье мыла под струей босые ноги. И вот здесь, на пустыре, окнами на железную дорогу стоял дом, серый, пятиэтажный. Проходящие мимо поезда оглашали его гудками, обдавали угольным дымом паровозов. Шофер внес вещи, распрощался как-то виновато, и остались они с матерью вдвоем. Голое окно, матрац на четырех ножках, узенький дубовый буфет со стеклянными створками наверху. А у стены стоял все тот же зашитый в рогожу их платяной шкаф. Чей-то ребенок плакал в квартире. Ничего не понимая, Женя вышел посмотреть. Дверь напротив их двери была открыта, и он увидел такую картину: на столе, задрав короткую рубашонку, стоял плачущий мальчишка и писал в открытый эмалированный чайник, попадал в него струей. Пробежала по коридору вспатланная женщина, дверь в комнату захлопнулась, и там начался крик и рев. Ничего не понимая, он спросил мать:

— Мы здесь будем жить?

Мать стояла лицом к окну, четко обрисованная светом.

— А где же моя комната?

Она обернулась, против света он смутно различал ее лицо.

— Я тебе не говорила, пока могла... Но ты уже большой. У твоего отца другая семья.

Ошпаренный догадкой, что вот этот плачущий ребенок, эта страшная вспатланная женщина и есть другая семья отца, он обнял мать, не к себе прижал, а к ней прижался от страха. Но она-то поняла по-своему, в нем она впервые защитника своего увидала.

— Ничего, сыночек, ничего...— И благодарно гладила его вздрагивающей рукой, а он на горле у себя, под подбородком, чувствовал вспотевший лоб матери: он был уже почти на голову выше ее.

И началась их скудная жизнь вдвоем. В квартире еще две чужие семьи, общая ванная, вечно завешанная чужим бельем, запах детской мочи, корыта на стенах — он брезговал этой ванной,— три стола на кухне; на одном из них, возвратясь из школы, он подогревал себе суп или жарил на электроплитке картошку и не мог дождаться, пока разогреется, бежал в комнату, где в буфете был хлеб,— ах, как чудно и буфет внутри, и само дерево пахли черным хлебом! — отрезал себе ломоть, намазывал маргарином, плашмя макал в сахарный песок

и крался на кухню, чтоб застать мальчишку за воровством. Привлеченный запахом, тот, случалось, таскал жарящуюся картошку со сковороды, а однажды был застигнут на том, что подставил табуретку и прямо из кастрюли выгребал гороховую гущу из супа и ел. И Женя придумал средство: когда никого в квартире не было, он бил мальчишку мокрым полотенцем по голой попе, гонял по коридору и бил, благо пожаловаться мальчишка все равно не мог,— он оказался глухонемым, только мычал и выл.

Поверил бы кто-нибудь сейчас, видя, как по утрам Евгений Степанович Усватов садится в умытую, сияющую машину и едет в должность, проглядывая по дороге служебные бумаги, или, увидев его за массивным столом в его рабочем кабинете, а тем паче когда он возглавляет ответственные совещания, которые он умел проводить с таким изяществом и блеском, поверил бы сегодня кто-нибудь, смог бы себе представить Евгения Степановича в такой роли: с мокрым скрученным полотенцем в руке гоняет он по коридору плачущего глухонемого пацана и настегивает, настегивает со сладостью; тот однажды обделался со страху, и пришлось, преодолевая гадливость, подтирать за ним, замывать его над ванной, на весу. Но возымел-таки свое действие этот педагогический метод — даже улыбки его боялся соседский мальчишка, застывал при виде его.

А рядом, в том же городе, но в иной жизни, в ином мире, где белоснежные горничные до последней пылинки вычищают ковры и коврики, где сияют начищенные медные ручки, а бородатый швейцар открывает массивные двери, обитал его отец. Он тосковал по этой жизни, она снилась ночами. А мать приносила с фабрики, она работала там бухгалтером за гроши, жидкий кисель, похожий на клей из крахмала. И он ел его с хлебом.

Теперь почему-то часто вспоминался ему тот мальчик, ровесник его, которого мать тайно от отца подкармливала у них на кухне. Это была страшная зима тридцать второго-тридцать третьего года, толпы голодающих из деревень хлынули в город. Отец рассказывал за ужином — он и тогда поздно возвращался с работы, ужинал один в большой комнате за большим столом, накрытым крахмальной скатертью, ел всегда одно и то же: разрезанная на половинки большая холодная котлета на белом хлебе с маслом, стакан теплого, без пенки молока, стакан крепкого, очень сладкого чая, это необходимо было для лучшей работы мозга, который, как говорила мать, он постоянно перенапрягал,— ужинал он и, методично прожевывая (у него была пониженная кислотность, и врач советовал тщательно прожевывать), рассказывал, что по ночам теперь, ближе к утру, ездят по городу телеги и подбирают замерзших на улице, вывозят их за город в овраг и там будто бы закапывают. Греться на вокзале эти люди боятся, их вылавливает милиция и отправляет обратно, и они прячутся по подъездам, по подворотням, а утром находят замерзших.

Женя сам не раз видел, как лошадь привезет фургон с хлебом, и на хлебный дух, на пар, который валит оттуда, сбегается толпа голодных: бабы, дети в лаптях,— и что-то невообразимое начинает твориться, когда их отгоняют гуртом, как овец, а лошадь, по глаза в подвешенной торбе, пережевывает тем временем овес.

Их семья, подобно другим семьям ответственных работников, была прикреплена к закрытому распределителю, и мать приносила оттуда полные сумки продуктов, помогала родственникам и еще постоянно кого-то подкармливала у них на кухне втайне от отца, а его просила не рассказывать, не волновать отца зря: он очень много работает. Но Женя чувствовал: тут дело в чем-то другом, иначе

бы мать не говорила с ним заискивающим голосом. И тайна мучила его.

Дольше всех в ту зиму подкармливался у них на кухне мальчик его возраста. Когда мать впервые привела его и размотала с него тряпки, он показался даже полным, но мать сказала, что это он опух от голода. Он приходил каждый день, знал свой час, ждал его заранее, мать кормила его и что-то давала с собой. Женю в это время не пускали на кухню, но ему хотелось посмотреть на мальчика, которого они кормят, ему было интересно, может быть, он бы даже подружился с ним. И однажды, держа в руке хлеб, намазанный гусиным салом, он вошел. Он был упитанный мальчик в коротких штанах, с голыми коленками — в доме хорошо топили. И впервые увидел, как мать при чужом мальчике застыдилась его, своего сына, ее будто жаром обдало, а тот испуганно перестал есть. И еще заметил Женя, прежде чем его вытолкали из кухни, что на мальчике его курточка, старая, правда, но как раз та, которую он любил. А потом у них пропали отцовские калоши. И, сам не зная, как это получилось, просто само так вышло, сказал при отце: «А может быть, это тот мальчик взял, который приходит обедать?..» Как? Что? Почему? Кто к ним приходит обедать? Разразился ужасный скандал. Отец кричал, что страна во вражьем кольце, что мы вынуждены, вынуждены проводить индустриализацию такими методами, покупать станки за границей, не имеем права быть жалостливыми, иначе нас раздавят, сомнут!..

Мать всегда восторженно слушала его, а если были гости, восхищенными глазами оглядывалась на гостей: слышали, как умно он все сказал? И когда, поздно возвратясь с работы, он ужинал, один за этим большим столом, и говорил замедленно, с паузами, тщательно прожевывая и запивая, она, для него одного одетая, как в театр, с уложенными в парикмахерской волосами, внимала каждому слову. Но сейчас она робко возражала: «Как же так — отнять хлеб? Как же так, чтобы дети умирали от голода? Это же за их жизни покупаем...»

— Хорошо! —закричал отец.— Я не съем эту котлету! Ты можешь моей котлетой накормить их всех?

И он ушел из-за стола, швырнув бутерброд с недоеденной котлетой, и опрокинулся стакан молока на крахмальную скатерть. А ночью, проснувшись, Женя слышал, как мать грела ему молоко и подавала бутерброды в постель, и отец злился, капризничал, но все же в конце концов поел.

Вот этот мальчик в его старой курточке, который с того дня больше не появлялся у них на кухне, почему-то теперь нет-нет да и вспоминался ему. Он стыдился перед одноклассниками своей бедности, тяжелого запаха в квартире, стыдился нищенской обстановки. В их классе были ребята из бараков, но были из большого дома на Можайском шоссе. С ними он старался дружить. И однажды Борис Пименов позвал его к себе после уроков. Размахивая портфелями, громко болтая, они прошли мимо лифтера, поднялись в лифте. На звонок из-за мягко обитой двери раздался грубый породистый лай, и, когда вошли, огромный пятнистый дог кинулся лапами ему на грудь, обслюнявил поганой своей слюной. Борис хохотал, трепал пса за уши. «Он еще глупый, щенок. Знаешь, сколько ему? Семь месяцев. Дитя! Знаешь, какой он будет!..» И Женя тоже смеялся, стараясь показать, что ему это совсем ничего, он не испуган, тоже тянул руку погладить омерзительно голую собаку, но в душе был оскорблен. Пес шел за ними, постукивая когтями. Сияли в больших комнатах натертые полы, большой стол в столовой под абажуром был накрыт

бархатной скатертью с бахромой, с кистями, в серванте за стеклом позванивали разноцветные бокалы.

Как когда-то у него прежде, была у Бориса своя отдельная комната. В ней свисали с потолка кольца, была шведская стенка, блестели на коврике никелированные гантели. Они поупражнялись на кольцах, побоксировали с грушей, и их позвали обедать. Подавала на стол пожилая женщина крестьянского вида в белом платочке в синий горошек, а мать Бориса, высокая, полная, величественная, сидя напротив, расспрашивала, кто он, что. Женя ел, не подымая глаз: его смущал, но притягивал взгляд глубокий вырез ее атласного вишневого халата.

Вечером он поссорился с матерью, кричал, что ему это надоело, надоело и вообще — хватит с него!

— Хватит! Надоело! — кричал он так, что слышали соседи.

И мать, желая оправдаться и за себя, и за их бедность, впервые сказала:

— Отец не ушел бы от нас, если бы не арестовали дядю Геру и тетю Марусю.

Это были ее брат и сестра.

— Не ври на отца! Он не потому ушел!

И мать поняла, что́ он недосказал. Она увидела себя его глазами: погасшую, плоскогрудую, сильно поседевшую. И смолчала, не решилась ничего ответить.

Глава VIII

Предстояло ответственное мероприятие: выезд большой делегации в Узбекистан. И возглавлял делегацию Евгений Степанович Усватов. Теперь в телефонных разговорах он как бы между прочим ронял: «Тут я деньков на десяток отбуду во главе большой делегации...» Или: «Планируется ответственный выезд — везу большую представительную делегацию...» Если же кто-то, кого он не хотел принять, настойчиво добивался, Евгений Степанович говорил: «Давайте условимся так... Я сейчас полистаю настольный календарь, там у меня расписано... В четверг на той неделе? Нет, в четверг не получится... В пятницу? Устраивает?.. Отлично! Твердо договариваемся: в пятницу на той неделе у нас состоится большой творческий разговор». Но поскольку отъезд делегации назначен был на среду, «большой творческий разговор» сам собою откладывался на неопределенные времена. Отказывать Евгений Степанович не любил.

С того момента, как решение о поездке было принято, заработал механизм, списки делегации заново уточнялись, утрясались, подрабатывались, корректировались, и настал день, когда, отпечатанные на плотной финской бумаге, скрепленные особой большой скрепкой, под которую подложен был розовый ярлычок, они легли на стол Евгения Степановича в сафьяновой коричневой папке с латунными уголками и золотым тиснением — Усватов Е. С.

Вообще говоря, такая папка ему не полагалась, как не полагалась она и другим должностным лицам его уровня, но он не пожелал этого знать, и подчиненные расстарались. Были даже представлены на выбор два варианта: красная сафьяновая, цвета лучших удостоверений (ее особенно рекомендовали), и коричневая. Евгений Степанович — так уж и быть! — скромно выбрал коричневую.

В их Комитете искусств не было по штатному расписанию должности первого заместителя. Был председатель и просто заместители. Евгений Степанович такие бумаги подписывать не стал, он до тех пор собственноручно переправлял и возвращал на перепечатку, пока

всеми, в том числе машинистками, не было усвоено: первый заместитель. Конечно, шептались по углам, конечно, нашептывали председателю, но старый носорог, как называл его Евгений Степанович, на открытый конфликт не пошел, не решился, и вскоре даже на дверях кабинета появилась табличка: «Первый заместитель председателя».

— Так! — сказал Евгений Степанович, подвигая к себе список делегации, и взял сигарету в угол рта. Но не зажег. Лет десять назад бросил он курить, но, сосредоточиваясь, нередко брал сигарету в рот, и подчиненные могли видеть, как он усилием воли преодолевает вредную привычку.— Так! — повторил он, приступая.

А справа от стола почтительно ожидал возможных указаний поседевший на службе начальник главка с желтым умным лицом и маленькими прижатыми ушами: Панчихин Василий Егорович. Под постукивание пальцев по столу Евгений Степанович по первому разу проглядел список и поднял недоуменный взгляд. Панчихин, давний единомышленник, пользовавшийся особым доверием, а потому тем более почтительный на людях и несколько фамильярный при личном общении, но очень точно чувствующий грань, ту незримую черту, заступать за которую не следует, скромно развел руками.

— Ориентировали — не более восьмидесяти человек. Восемьдесят два — это уж мы взяли грех на душу. Если призовут к ответу, будем стоять, как партизан на допросе.

Евгений Степанович нахмурился, громче побарабанил пальцами по столу. Пальцы были толстые, красные, в школе он стеснялся перед девочками своих потеющих рук. Но после войны он всем говорил, что поморозил руки на фронте, и эти отмороженные на фронте руки вызывали уважение.

— Нас могут не понять! — сказал он, значительно нахмурясь.— Сколько весной ездило в Азербайджан?

— Сто четырнадцать человек.

— Вот видите! В Узбекистане нас не поймут, и будут правы узбекские товарищи.

Ту делегацию весной возглавлял Комраков, с которым они последнее время, можно сказать, шли ухо в ухо и претендовали на одно и то же место, если допустить, что Евгению Степановичу не удастся пересесть в кресло носорога. И принимал Комракова в Азербайджане Первый человек, их катали по Каспию на катерах и разгоняли облака, сыпали с самолетов какую-то соль, палили из пушек, чтобы ясная погода сопровождала делегацию на всем ее пути, а ему, Усватову, определяют восемьдесят человек. Он вновь надел очки и теперь уже с фломастером в руке принялся изучать список пристально. По предварительным сведениям, Первый человек Узбекистана не собирался принимать их. Значит, следовало побудить его к этому, надо поднять уровень делегации, включить в нее таких людей, которых по положению обязан принимать Первый.

Несколько фамилий Евгений Степанович вычеркнул, одну — жирной чертой, и Панчихин, все так же стоявший справа от стола, принял это как собственный недосмотр. Отныне, когда бы этот человек ни позвонил, Панчихина не окажется у телефона.

— Та-ак,— сказал Евгений Степанович, закончив вторичное изучение списка, и потянулся рукой к зажигалке, взял, повертел в пальцах, но не зажег сигарету, вновь усилием воли преодолел себя.— А почему, например, нет в списке...— и он назвал фамилию именитого старого писателя.— Почему его нет в составе делегации?

Панчихин скромно потупился. Для именитого старца этот уровень низок, не такой требуется глава делегации. Но взгляд Евгения Степановича был светел, он не желал ничего знать.

— Больно уж капризен,— бормотал Панчихин, отводя глаза: друг друга они понимали.— Без жены не ездит.

— С женой! — именитый старец был ему нужен, значит — ничего не жалеть.— С детишками, с невестками, с внуками, с правнуками! С собакой, если потребуется, черт побери!

— Самолетом опасается летать,— мялся Панчихин, боясь позора.— Трудный характер.

— Талантливых людей с легкими характерами не бывает.— Евгений Степанович умудренно покивал, покивал, покивал.— Талант — тяжкая ноша,— говорил он очень лично и как бы забывшись, а Панчихин почтительно внимал. Возникла пауза.— Так о чем мы? Да, талант...— возвратился Евгений Степанович издалека.— Талант — всенародное достояние, и мы должны это помнить. Придется нам с вами потрудиться. Как у него называется этот его известный последний роман?

— «Радости и печали».

— Не путаете? Есть еще какие-то «радости», я уж не помню, у кого.

— У Федина — «Первые радости», а у Василия Феоктистовича — «Радости и печали».

— Проверьте, чтоб накладки не вышло.

Однажды, еще в пору становления, у Евгения Степановича от большого старания произошла-таки «накладочка» и научила его на всю жизнь. Желая расположить к себе влиятельного композитора, он воспользовался древнейшим методом, проверенным веками: лестью. Врет тот, кто говорит, что на него лесть не действует. Таких людей нет, а на кого не действует, тому просто плохо льстили. И он похвалил композитору его кантату, похвалил, не проверив — черт попутал! — а кантата оказалась не его и даже, наоборот, его врага и завистника, то есть того, кому этот композитор до желчи завидовал всю свою жизнь. «Не мое, не мое!» — закричал тот плачущим голосом, а Евгений Степанович так растерялся, так вдруг оплошал, что замахал на него руками: «Ваше! Ваше!..» Прошло время, композитор отбыл в мир иной, и Евгений Степанович получил возможность рассказывать об этом случае в дружеских застольях, разумеется, не упоминая имени, но все и так всё знали и догадывались, и успех был полный.

По команде Панчихина срочно разыскан был в недрах Комитета человек, который читал-таки роман «Радости и печали», его допросили, и книга с закладками (отмечено несколько изюминок) легла на стол Евгения Степановича, а Галина Тимофеевна, прежде чем соединить по телефону, положила перед ним бумажку, на которой своим аккуратным почерком написала имя-отчество самого писателя, его жены, без нее ни один опрос не решался, и трубку брала она. И вскоре Евгений Степанович имел возможность приветствовать ее, наговорить кучу комплиментов.

У жены известного писателя был детский голос, ангельский лик и железный нрав. Как нередко случается с молодыми женщинами, вышедшими замуж за человека значительно старше себя, она катастрофически быстро старела и все больше и больше нуждалась в украшениях. Поговорив о Самарканде и Бухаре («Как, вы не бывали в Бухаре? Анна Васильевна, поверьте мне, вы не видели одно из семи чудес света!»), он между прочим, к слову рассказал, что именно там, в Бухаре, выделываем мы лучший в мире каракуль: черный, коричневый, золотистый, белый, розовый, голубой. Каракуль произвел должное впечатление, именитый старец был приглашен к телефону. Осведомившись, не прервал ли он творческий процесс, и сделав уважительную паузу, в течение которой в трубке слышалось «м-м-м... бу-бу-бу...», Евгений Степанович сказал проникновенно:

— А я вчера, признаюсь, взял с полки ваш роман «Радости и печали»... Уж, кажется, читал, читал не раз, но захотелось что-то для души, не все же про дела, про наши стройки... И зачитался! До трех ночи!

Он чувствовал себя в ударе, жестом показал Панчихину сесть, он давал открытый урок.

— До трех ночи не мог оторваться. Первый раз читают и случайную книгу, но перечитывают только подлинное. Какая чудная палитра красок! — кося глазом в книгу, он пересказал абзац близко к тексту.— Это наш золотой фонд.

Писатель живо поинтересовался, какое у него издание.

— Вот не могу вам точно назвать год, роман у меня дома,— говорил Евгений Степанович, раскрыв титул, где были все данные.— Голубое такое, худлитовское издание...

Оказалось, надо было читать не это, а позднейшее, зеленое, там он кое-что улучшил и дополнил.

— Не знаю, не знаю, что еще можно улучшать. И знаете, я почувствовал что-то бунинское...

Молчание на том конце провода стало угрожающим, напряглось, Евгений Степанович смекнул, что ступил не в тот след.

— Лишь в том смысле бунинское, что все зримо, все пахнет! Ах, как устроен у вас этот аппарат! Я просто жил в мире запахов. Но главное — мысль. Это то, чего всегда не хватало Бунину. Какая глобальная, всеобъемлющая мысль.

Дальше все шло, как с горочки: Самарканд, Бухара, Анне Васильевне надо отдохнуть, что там Швейцария, что там заграницы... Кстати, в Узбекистане хотят издать его роман. Оттуда звонили, его приглашают персонально... Не дав сразу окончательного ответа, хотя и так было понятно, что едет, старец некоторое время поговорил о том, как нам всем не хватает вот такого простого, душевного общения, когда прочел книгу — и захотелось позвонить, сказать то, что на душе. Для некрологов прибрегаем, а доброе слово надо говорить при жизни, не откладывая на потом, что угодно можно отложить, но только не доброе дело, не доброе слово...

Едва Евгений Степанович положил трубку, Панчихин восхитился:

— Нет слов!

— А вы сомневались! Чем грубей, тем верней. Люди искусства — особые люди. Перехвалить нельзя, можно только недохвалить.

К концу дня было получено согласие четырех художественных руководителей московских и ленинградских театров, трех известных кинорежиссеров, целого ряда народных артистов и артистов, и каждому новому на вопрос: «А кто да кто едет?» — как бы между прочим перечислял имена тех, кого уже уговорил. Списки вновь перетрясались, перетасовывались и наконец, отпечатанные на лучшей бумаге, вновь легли на стол. Теперь в делегации был сто двадцать один человек, на семь человек больше, чем в делегации Комракова. И каких семь человек! А он их возглавит. Закон драматургии: не царь играет себя, статисты играют царя.

После хорошо разыгранной партии захотелось отблагодарить Панчихина, ведь это у него прошел он науку, так что теперь и сам мог поучить. Они сработались, и тем особенно удобен был Панчихин, что давно уже никуда не стремился — вышли годы, вышел запал,— он властвовал на своем посту и ценил, что к его советам прислуши-

ваются. И еще в одной роли был он незаменим: при нем Евгений Степанович мог быть добрым, мог разрешать, в дальнейшем Панчихин отказывал. Так они и действовали: Усватов разрешал, Панчихин отказывал. Но тайной страстью Панчихина была его коллекция спичечных коробок, их у него было несколько тысяч, и из всех поездок, из заграничных командировок, благо там фирменные спички во всех гостиницах, сколько взял, столько еще положат, Евгений Степанович привозил ему целые наборы.

Он заказал чаю в кабинет. Было, правда, соображение: не затревожится ли старик, не перед пенсией ли его обласкивают? Перед пенсией, перед пенсией. Скоро будет перебирать свои спичечные коробочки, чего доброго напишет исследование о них. В той многоходовой комбинации, в результате которой предполагаемый зять Евгения Степановича (умница Ирина, там дело налаживается) получит должность в нашем посольстве в Таиланде (страну получше пока что вытянуть не удавалось, но и это неплохо для начала), в этой комбинации потребовалось для неустроенного молодого человека место Панчихина. Так при многовариантном обмене квартир не все участники знают друг друга и уж, конечно, не догадываются, кто в итоге будет ублаготворен больше всех, ради кого все приведено в движение. И Панчихин, деятельно помогая составить делегацию, не подозревал, что это его лебединая песня, что сам он приближает свою отставку, уход на покой.

Им подали три сорта печенья, в том числе обсыпанные крупной солью тоненькие крендельки-восьмерки, которые Панчихин любил.

— Под пиво бы, а, Василий Егорович? Как мыслишь?

— А вот угощу я вас как-нибудь, Евгений Степанович, подлещиком собственного копчения. На даче у нас речка...

Нет, не догадывается, не подозревает. Отхлебывая крепкий чай из стакана в подстаканнике, Евгений Степанович с интересом наблюдал. И что любопытно: самых проницательных поражает слепота, как только дело заходит о них самих. Потому-то с людьми и можно делать что угодно, до последнего момента не верят в худшее, а когда поверят, поздно уже, поздно что-либо изменить.

Блестел серебряный зачес Панчихина, несколько растрепавшийся к концу рабочего дня, пористый нос чуть раскраснелся от горячего чая, от приятной беседы.

— А помните, Евгений Степанович, как разлетелся наш тогдашний республиканский министр культуры к одному высокому лицу? Между прочим, мастер был играть на гармошке. «Что ж ты не заходишь?— говорит ему товарищ П., они когда-то были на одинаковых ролях.— У меня вот как раз юбилей...» А он — ххи-и!..— Василий Егорович издал вовсе потаенный смешок.— Уж, кажется, опытнейший человек, а тут разлетелся с подарком за город, на дачу. Да подарок-то дорогой, поднапрягся. Останавливают у шлагбаума. «Да как же, я приглашен, вот подарок...» Справились по телефону. Подарок велено взять, а сам пошлепал обратно. Рассказывал, мимо него по шоссе «Чайка» за «Чайкой», «Чайка» за «Чайкой»...

— Расстроился-то он хоть не до слез? — смеялся Евгений Степанович.

— Наоборот! — Панчихин взорлил, куда только мягкость девалась! Все отвердело, взгляд непреклонен, строг.— Нет, Евгений Степанович, он не расстроился, он был восхищен. Всем нам в назидание рассказывал: «Как же я, дурак старый, свой ранг забыл?..» Вот так даже не стеснялся себя называть и в лоб ударял костяшками. Если бы во всех звеньях хозяйственного механизма наличествовал такой порядок, как у нас, такое понимание долга и места, государство наше стояло бы незыблемо!

И Евгений Степанович от его слов почувствовал знакомую, сосущую тоску по твердости и порядку.

— На нас, Евгений Степанович, скажу я вам, все здание держится, нами прочно поставлено и скреплено! — Панчихин говорил с достоинством и даже как бы грозясь, и седина его блестела почтенно.— Мы обручи, сбей обруч, и клепка рассыплется. О н,— Панчихин указал вверх, в заоблачные выси,— о н это понимал!

«Прав, прав старик,— думал Евгений Степанович, и сердце билось учащенно.— Ах, как бы он мне еще пригодился. Да вот за все приходится платить. А жаль!..»

Впрочем, и он тоже долго тут не задержится. Евгений Степанович чувствовал, как у него до боли набухли все ростовые почки, только распуститься им здесь не дают, некуда расти. Нынешняя его должность все дала, что могла дать, и орден был последним знаком внимания. А как бы он заиграл в новой роли! С новыми силами, с увлечением, как когда-то, когда вступал на этот пост. И сколько им тогда было предложено эффектных мероприятий, наполовину несбыточных,— сразу произвел впечатление энергичного, думающего администратора. Пора подыматься выше, оставив разгребать все тем, кто придет на его место. С них не спросится, новым людям заново дадут время проявить себя.

Но одно он знал сейчас наверняка: если поездку сделать нерядовой, придать ей значение и вес, а по возвращении удачно доложить, это будет шаг в нужном направлении.

Глава IX

К тому времени, когда пора было отправляться в путь, Евгений Степанович побывал «на этажах» и, перенося из кабинета в кабинет, кто что сказал, но как бы и не ссылаясь, не договаривая, сумел повысить значение выполняемой миссии, внушил, что от этой поездки следует ожидать многого. Его видели в коридорах власти, и будто бы на одном этаже усомнились, справится ли он, но на другом, более высоком, сказано было: «Усватов справится!» И эти слова, преодолевая скромность в интересах дела, он тоже передавал конфиденциально.

Сладок был миг, когда он подъезжает к этому зданию и, уже открыв дверцу машины, поставив ногу на асфальт, договаривает шоферу последние распоряжения, а дальше — с замкнутым государственным выражением лица, ни на кого и ни на что не отвлекаясь, торопясь, но достоинства не теряя, мимо как бы случайно остановившегося у края тротуара человека в штатском, мимо прохожих, которые тут все на одно лицо, из машины — в подъезд, а там короткая процедура проверки, и его пропускают. И это ни с чем не сравнимое чувство, что ты причислен к немногим, допущен, всякий раз наполняло силой, сознанием сопричастности, готовностью служить.

Сладостно было выйти из подъезда и увидеть, как на той стороне, где выстроились в ряд блещущие никелем радиаторы, уже выезжает тебе навстречу машина, и ты садишься, захлопываешь дверцу и некоторое время едешь молча, как бы обремененный думой.

Первым результатом его хождений было то, что делегация увеличилась еще на девять человек. Евгений Степанович привел аргументы, был понят, и срочно вылетели четверо деятелей культуры из Киева, по одному от каждой Прибалтийской республики и из Молда-

вии. И старейшая грузинская актриса летела из Тбилиси в Москву, чтобы отсюда, соединившись со всей делегацией, лететь в Ташкент.

Вечером накануне отлета Евгений Степанович принял душ и в пижаме, не спеша укладывал чемодан. Он всегда делал это сам, сверяясь по списку. В такие моменты расставания особенно дружны бывали они с женой, и квартира их казалась особенно уютной, хотя и не хватало в ней еще одной комнаты и ряда современных удобств, но тем не менее, когда предстояло улетать из нее, все здесь было мило и глазу, и душе.

Он уложил подкрахмаленные рубашки, мягко приминая их подушечками ладоней, уложил несессер с бритвенными принадлежностями, на всякий случай взял еще и бритву «филипс» с плавающими ножами — бывает, нужно в самолете побриться,— и тут сообщили ему, что на подлете к Внукову, уже на заходе на посадку разбился Ту-104 из Ленинграда. Евгений Степанович посмотрел на жену, она как раз вошла с обмерами своей фигуры и списком покупок, которые надо сделать в Узбекистане («Вам там, конечно, предоставят возможность»), положил трубку и ничего не сказал ей. Оживленная, она показывала ему старинное, с зелеными камнями, украшение из серебра, которое получила, правда, из Армении, но в Узбекистане, она уверена, тоже можно найти, а он слушал терпеливо. В другое время, возможно, и рассердился бы: «Я собираю чемодан, ты мешаешь, я могу забыть!» — но сейчас кротость снизошла на него, ему приятно было сознавать, что он ничего не сказал ей об аварии, пусть узнает, когда он вернется.

И еще подумалось, что сейчас позвонят от именитого старца, которого он особенно уговаривал, и выяснится, что тот не может лететь.

И действительно, тут же раздался звонок, говорил, разумеется, не он сам, а жена, ее жизненным назначением было оберегать старца, ставшего народным достоянием: «Василий Феоктистович, к сожалению, не сможет... Его творческие планы...»

— Как жаль, как жаль! — веселился в душе Евгений Степанович: благородный старец был ему уже не нужен, на него как на приманку он выманил многих, и уровень делегации поднялся настолько, что принимать все равно будет Первый человек, это уже обговорено и решено.— Я, собственно, если быть откровенным до конца, думал в первую очередь о вас, милая Анна Васильевна! Самарканд!.. Бухара!.. А какой каракуль! Науки произрастают на теплой ладони государства, почему бы, думаю, и искусствам не ощутить тепло? Лучшим его, так сказать, представителям...

Все складывалось удачно, и очень хорошо, что эта пара не едет: не выслушивать капризы, не ублажать. Евгений Степанович еще раз проверил по списку, все ли уложено. Выяснилось, чуть не забыл тапочки. Тапочки были дорожные, в специальном кожаном футляре на молнии, они объездили с ним чуть ли не полсвета, и все было благополучно, значит, приносили счастье.

В семь утра машина мчала его в аэропорт. Отвалившись на заднем сиденье справа, Евгений Степанович рассеянно взирал на дома, на открывавшиеся постепенно просторы — мелькало, мелькало и уносилось все. Подувал ветерок в приспущенное стекло, он был еще свеж, незагазован. Жизнь, если смотреть философски, не суетиться зря,— хорошая штука, один у нее изъян: нельзя повторить. Говорят, где-то, в неведомых просторах, будто бы вновь все воссоединится из частиц через миллионы лет, но пойди жди... Он слышал об этом краем уха, но при случае, если собиралось дамское общество, умел

как бы в состоянии провидения подпустить туману: «У меня вообще такое чувство, что однажды это уже со мной когда-то было...» Дамы — большая сила, никто так не формирует мнение о тебе, как жены руководящих лиц.

Еще издали, в непривычно пустом, гулком здании аэропорта увидел он свою делегацию. Словно озябшие куры, жались они друг к другу среди чемоданов, озирались в ожидании его. Евгений Степанович издали весело помахал им. Перекинув светлый плащ через руку, шире расправив грудь (шляпа сама чуть-чуть съехала набекрень), он шел к ним беспечной, вальяжной походкой, а шофер поспешал за ним с чемоданом в руке.

Да, пустоват, пустоват был аэропорт после аварии; надо полагать, пассажиры вспомнили, что есть еще и железнодорожный транспорт, и срочно посдавали билеты. Тем веселей и уверенней приветствовал он свою делегацию. Старейшей грузинской актрисе галантно поцеловал руку, и, когда нес ее к губам, тяжелый браслет съехал с запястья, а крупные зеленые камни на усохших пальцах стукнулись друг о друга. Это были именно такие камни, какие заказывала Елена. И так же, как холодны камни, холодна была истончившаяся глянцевая кожа ее руки с черными вздувшимися жилами, он испытал мгновенную брезгливость, коснувшись губами. А когда поднял голову, встретил трагически вопрошающий взгляд черных ее глаз.

— Все будет хорошо,— интимно заверил ее Евгений Степанович.— Безопасней всего лететь непосредственно после аварии, уж тут все проверят и перепроверят десять раз. Через месяц — не поручусь, а сейчас можете быть совершенно спокойны.

Было что-то необъяснимое, недоступное его пониманию в этих великих стариках и старухах. Вот уже и жизни нет в ней никакой, холодная кровь течет в черных ее жилах, но привезут в театр, соберут, можно сказать, из тлена, по косточкам, а выйдет на сцену и — откуда что взялось! — орлица, зал замирает не дыша.

Уже на поле, на бетонной тверди (как раз из тучки, гонимой ветром — хорошая примета! — прощально покропил дождь, раскрылись разноцветные зонты над женщинами, запахло мокрым бетонным полем), вот тут, когда по трапу, словно с небес спускаясь, пошла к ним длинноногая стюардесса в короткой юбочке, кто-то прошептал: «Самоубийцы...» Евгений Степанович узнал этот голос, рядом с ленинградским композитором, всклокоченным и как бы не от мира сего, стояла вполне земная его супруга. От коньячка и постоянной сигареты в темно накрашенных губах голос в ее заплывшем горле был хрипловат. Евгений Степанович мило, ободряюще улыбнулся ей.

И вдруг услышал, как писатель-юморист сыграл на губах под похоронный мотив: «Ту сто четыре — самый быстрый самолет, Ту сто четыре — самый быстрый самолет... Экономьте время. Экономьте деньги...» Евгений Степанович возмущенно покачал головой и отвернулся. Уж, кажется, никто не упрекнет его ни в национализме, ни тем более — в антисемитизме. Но есть у них эта бестактность в крови, нескромность, неумение видеть себя со стороны. Есть, есть эта черта. И вообще почему среди них столько юмористов? Что, ничего другого нет в нашей жизни, как только осмеивать? И почему в делегацию включили трех юмористов? Двух вполне достаточно.

В огромном Ил-86 на триста с лишним пассажиров не было первого класса, и Евгений Степанович демократично сидел вместе со всей делегацией, вместе со всеми прослушал информацию: «Рейс выполняет экипаж... Командир корабля...» И подумалось: словечко «выполняет» не случайно здесь, по Фрейду, по Фрейду. Рискованный

трюк в цирке — выполняют. Фрейда он, правда, не читал, но, когда речь заходила о подсознательном, к месту упоминал Фрейда. И не развивал мысль дальше: умолчание всегда многозначительней.

Триста с лишним жизней пристегнулись ремнями к креслам, и огромная махина двинулась к взлетной полосе. Взревели турбины, разгон, и в иллюминаторе под ними косо накренилась земля — оторвались. Все начало стремительно проваливаться вниз, уменьшаться: машины, дороги, дома, лесок застлало прозрачной дымкой, и дымку пронесло, и вот уже в холодных высях — минус пятьдесят пять за бортом — нестерпимо ясно сияли жерла огромных турбин под крылом. И все это грозно покачивалось. Вся эта жуткая тяжесть под простертыми крылами медленно наплывала на неподвижные внизу квадраты полей, извивы речек, овраги, дороги. Какой-то маленький белый самолетик встречным курсом рыскал внизу над землей среди кучевых облаков и их теней. И над всем этим покачивались турбины, подрагивало крыло. А в салоне уже и газеты читали, расположась в креслах, одна дама уютно достала вязанье. Но вот вопрос: если одна из этих турбин оторвется и полетит вниз ко всем чертям, так ли уж важны, дорогие мои сограждане,— но только честно, положа руку на сердце,— так ли уж важны и нужны будут вам все эти наши «стыдно — не стыдно», «можно — нельзя»?..

Надев серые передники, стюардессы катили по проходу некое подобие бара, одна отступала, другая катила на нее. «Лимонад? Газированную воду?..» И подавали в крошечных пластмассовых пиалах. Серые переднички, белые кофточки, красные газовые косынки на шеях, заметный макияж — все очень мило-хорошо. Вот и в том самолете, лет пять или шесть назад тоже, наверное, переоделись стюардессы, покатили бар. Да нет, не успели. Он только вылетел из Адлера, набирал высоту и — нырнул в Черное море. А летели в нем все после отпуска, отдохнувшие, загорелые, прощально глядели на море в иллюминаторы, кто-то, небось, сбегал с утра пораньше искупаться, ухватить и это напоследок, монетку бросил по примете, чтобы вернуться, мокрый купальник или плавки вез с собой... Долго потом в «Вечерней Москве» печатали извещения в больших траурных рамках: такой-то (ученые степени, звания, занимаемые должности), такая-то... Все больше — парами, парами. Ничего официально не было сообщено, у нас огорчать не принято, но все всё знали, а слухами еще и удваивалось.

Почему-то эта трагедия особенно запомнилась ему; он все возвращался к ней мыслью и сегодня вспомнил по понятным причинам. Тут была какая-то развязка всех узлов, разгадка главного. И, может быть, освобождение. Если при ударе о воду самолет не развалился, не разгерметизировался, а вошел в воду, нырнул в черную глубину, и там — представить себе это! — все они сидели, пристегнутые ремнями, пока не выдышали весь воздух... Сидели... Там черт-те что творилось. Но не в этом суть, другое важно: имели для них смысл в тот момент все наши «дозволено — не дозволено», все, чему мы такое значение придаем? А если нет, так какого же черта мы тащим на себе весь этот груз, как черепаха свой панцирь? Если у смертной черты все это теряет смысл, так почему всю жизнь нет-нет, да и разъедает душу?

Он ведь узнал тогда у светофора Леню. Ехал с дачи, после этого празднества, а впереди остановился троллейбус. Евгений Степанович поднял глаза от бумаг и вздрогнул: на задней площадке троллейбуса, за стеклом стоял Леня, смотрел мимо него. Евгений Степанович поспешно опустил глаза, воткнулся взглядом в раскрытые на коленях бумаги. А чего, собственно говоря, испугался он? Ему ли пугаться? Они

настолько далеки сейчас друг от друга, на таких разных уровнях, но вот какое-то предчувствие не оставляет его, словно отсюда ждать беды. И в нем крепла неприязнь к этому человеку. Впрочем, где-то, то ли у Достоевского, то ли у Толстого, есть эта мысль, что мы не прощаем тех людей, кому мы причинили зло, что-то в этом роде.

А какое, собственно говоря, зло причинил он? Так получилось в институте, что сдружились они трое: Куликов, Леня и он. Ну, Куликов был мальчик, не воевал, они относились к нему снисходительно. А в гробу лежал старик, старый русский крестьянин, вот что поразило тогда. Недавно он снился. Жуткий сон: стоял в белой рубахе, босой, пальцы на ногах все налезли друг на друга, и звал Евгения Степановича к себе, рукой исхудалой, мосластой манил. Но Евгений Степанович не пошел, это он, проснувшись, вспомнил точно. Куликов звал без голоса, беззвучно, а он не приблизился к нему. И все равно что-то в этом сне было, не все мы знаем про нашу психику, что, как и почему нам является.

Люди не хотят понять, что бывают времена, когда отдельный человек бессилен. Не мы поступаем, время диктует поступки, мы такие, какими время делает нас. Кто обрек того мальчика, которого мать прикармливала у них на кухне? Или тех, чьи замерзшие трупы подбирала телега по утрам и вывозила за город в овраг? Всех вместе, в масштабах страны, в масштабах преобразований и политики, которая творилась,— понятно. Но мальчик тот, на него даже и пальцем никто не указал. Стать самому такой же безымянной жертвой в череде безымянных? А если тебе от природы многое дано, если ты на большее способен? И это все погубить? Нет, он не желает стать навозом на клумбе истории, даже если потом на ней будут расти прекрасные розы.

Ровно гудели турбины, все было привычно — и кресла, и подлокотники,— вновь прозвучало: «Прослушайте информацию». Сняв очки за дужку, покачивая их в руке, Евгений Степанович слушал. Трасса пролегала над такими-то и такими-то городами, полет совершался строго по трассе.

В Ташкенте, конечно, все уже подготовлено, весь ритуал: машины, цветы, приветственные речи, улыбки. Он выйдет первым, застрекочут камеры, рукопожатия, объятия, касания щеками, и пассажиры, которых оттеснят, пропуская сначала делегацию, будут наблюдать издали радостную встречу: вот, оказывается, с кем они летели!.. Евгений Степанович сунул сложенную газету в сетчатый кармашек кресла впереди себя, откинулся затылком на белую бумажную салфетку, прикрыл глаза.

Есть все же необъяснимые психологические загадки. Что тогда влекло его? Почему весь тот день он неотступно был при Лене? Он предчувствовал. Не хотел оставлять Леню одного? Но тот мог подумать и по-другому: приставлен к нему.

Они ходили по Пятницкой, по набережной, где-то пили пиво в палатках. И еще сильней продрогшие от холодного пива, от ветра с Москвы-реки, ходили по Воробьевым горам. И была какая-то внутренняя дрожь.

— Сволочи! — говорил Леня.— Опять пошло: евреи не воевали... Вычислили: в пехоте их было всего два процента. Это мне Ширяев говорит!

— Не надо было тебе с ним связываться.

— А чего я ему сказал? Я мешки, говорит, с сахаром по девяносто шесть килограммов на горбу таскал, шейный позвонок сместился... Ах ты, боже мой! Так ты, говорю, шею где свернул, на фронте или на сахарном заводе?

— Этого он тебе никогда не простит, неужели ты не понимаешь?

— Плевал я! Понятно? Плевал.

И, страдая за него, Евгений Степанович чувствовал: Леня обречен. А тот говорил:

— Два процента... А я где руку оставил, не в пехоте? Еще поражаться можно, что два процента, когда евреев всего-то два процента, не больше. Ведь кто в пехоте во все века — у кого грамотешка поменьше, крестьян всегда гнали в пехоту. А кто евреям землю давал? Запрещено было им землю давать в России.

Евгению Степановичу казалось, что Леня говорит слишком громко, он оглядывался, поспешил улыбнуться, когда посторонний человек обернулся на ходу.

— И я-то дурак... Меня в училище направляли. А этот майор в военкомате, тыловая крыса, прищурился: «Что это вы все в училища устремились, в академии проситесь, в тыл подальше, когда народ воюет?..» Сволочи такой доказать захотел. Все везде начиналось с этого их. А народ — дурак, не понимал никогда, что ими заквасят, а из него испекут.

Платил за пиво Леня. Евгений Степанович пытался было заплатить, но Леня усмехнулся криво:

— Мне они, может, уже и не понадобятся.

Неужели он понимал? И опять ходили, и опять он говорил:

— Не воевали... А по числу Героев Советского Союза евреи за войну на третьем месте. И чуть не половина — посмертно. Тоже сумели пролезть?

Но по-настоящему испугался Евгений Степанович, когда Леня сказал:

— Мы с фашистами воевали, а фашисты дома дожидались нас.

Прямо оборвалось все в животе, когда Леня сказал это, и голова похолодела под фуражкой. Он отбежал за куст — пиво холодное позывало,— огляделся. Поблизости — никого. Но ветер, ветер мог донести слова. Вот в этот момент он понял окончательно: Леня обречен. Впрочем, не только в этот момент, раньше. К его матери приходила гадать на женихов Лидка, бухгалтерша из домоуправления. Она рассказала матери по секрету, что им приказано составить списки живущих в доме евреев. И все равно не мог он уйти, бросить Леню. Был жуткий страх. И было необъяснимое, жуткое любопытство.

— Разве с этим возвращались с фронта? — говорил Леня.— Такой представляли себе жизнь после войны? Я на фронте впервые узнал себе цену. Бывало, лежат перед окопами... Кто в этой атаке убит, кого — три дня назад. Черные на жаре... Вроде бы чего стоит человеческая жизнь? А все равно народ душой разогнулся. Напугались народа. Опять гнут под тридцать седьмой год. Кто у нас на курсе самые доверенные, всеми делами заворачивают? Самые сволочи: Мухин, Ширяев и Зятьков. Мухин всю войну Кремль охранял.

— У них были командировки на фронт,— сказал Евгений Степанович жалким голосом.

— Чего-о?

— Мухин сам рассказывал. Их посылали... Чтоб каждый убил по одному немцу.

Леня расхохотался зло.

— Ты видел там таких? В командировку на фронт... На веревке им приводили, каждому — по одному: убей, мол, зверя-немца...

Дрожь колотила Евгения Степановича, внутренняя дрожь, это бывало с ним. Леня заметил:

— Ты что, замерз?

— Нет, это непроизвольно.

А вечером он оказался в общежитии. Это было необъяснимо. Никогда потом не мог он последовательно вспомнить и объяснить себе, как это получилось. Они сидели на кроватях, все трое — Мухин, Ширяев и Зятьков — словно ждали его. Была такая комнатушка полуподвальная с решеткой в окне, Ширяев и Зятьков жили в ней вдвоем. Когда на зимние каникулы уезжали домой, Зятьков все то сало, которое не успел съесть, перетапливал в банку и ставил за решеткой с внутренней стороны: если даже разбить стекло, все равно банку не вынешь. И весь курс, а голодные на курсе были почти все, карточки еще не отменили, весь курс знал это и видел. Девочки в общежитии стряпали оладьи невесть из чего и жарили их на рыбьем жире, купленном в аптеке, а банка с перетопленным салом, со шкварками дожидалась Зятькова на холоде за решеткой: отец у него был директор МТС, сала присылал вволю.

Они сидели на кроватях, как в купе, друг против друга, и еще был с ними солдат охраны из той самой части, в которой раньше служил Мухин: увольнительную получил, пришел попроведать земляка. И почему-то не удивились, что он, Усватов, в поздний час вдруг заявился к ним. А ведь он дружил с Леней, любил его. И все равно не удивились. Значит, заранее предполагали в нем такую возможность. Тут было что-то унижавшее его.

Впрочем, он пытался защищать Леню:

— Он фронтовик, инвалид войны... В пехоте воевал.

Но и сам чувствовал, что здесь все это окончательно губит Леню — и то, что фронтовик, и что руку на фронте потерял. Собою, таким, он портил общую картину, которая создавалась и внедрялась.

— Ха! В карете прошлого далеко не уедешь,— усмехнулся Ширяев доброй своей усмешечкой. Странная у него была эта усмешка: чем более жестокие вещи говорил, тем добрей, ясней улыбался. Сам он не воевал, служил на Дальнем Востоке, потом повредил шейный позвонок, таская мешки с сахаром, так что и война с Японией его миновала.

И, когда он улыбался доброй своей улыбкой, солдат охраны тоже усмехнулся, но холодно, знающе, и говорил он не «я», а «мы», как бы не от себя лично, а от всемогущего ведомства. Он был в выходном суконном обмундировании, в начищенных яловых сапогах, ноги в сапогах ставил твердо, от них крепкий запах кожи и ваксы. И какая-то сила заставляла Евгения Степановича исповедоваться перед ними тремя, перед этими высокими яловыми сапогами, прочно поставленными на полу, страх выжимал из него признания.

— По-моему, дело слишком ясное,— подытожил Ширяев, улыбаясь.— Во всем этом явно проглядывает диалектическая последовательность.

Ширяев всегда и во всем отыскивал и находил диалектическую последовательность.

Но вот эту фразу, что мы с фашистами воевали, а фашисты дома дожидались нас, эту Ленину фразу Усватов не сказал, уберегся, что-то остерегло.

А этажом выше, почти что над ними, пока они вот так сидели голова к голове, колено к колену, Леня в общежитии укладывался спать или, может быть, читал, и это совпадение тоже потом мучило.

Леню взяли не в эту ночь и не на следующую, за ним пришли через неделю. Он поздно провожал свою девушку, вернулся, лег, только заснул, и тут его разбудили: «Оружие есть?»

— Пулемет под кроватью,— со сна пошутил он. Нашел с кем шутить.

Они в самом деле заглянули под кровать. А когда его уводили, Ширяев подошел и при всех поцеловал его, об этом потом рассказывали шепотом, как не побоялся, как при всех подошел и поцеловал.

Что пережил Усватов! Три года сидели они рядом, и вдруг Ленино место опустело. И пустота эта ясней ясного говорила, кто все это время сидел рядом с ним. По ночам он плакал во сне, а днем на лекциях, раздавленный страхом, ждал, что теперь его вызовут, будут допрашивать, и все лихорадочно вспоминалось. Как-то пошли они с Леней в суд. Из любопытства. И там, за загородкой, стояла женщина в синем халате, бледная, как святая, и суд стоял перед своими высокими креслами, все трое: судья и заседатели. Зачитывали приговор: восемь лет за то, что вынесла с фабрики флакон одеколона «Кармен». «Деточки мои!» — кричала она, когда ее уводили, а дети были тут же, в зале.

Потом они шли мимо метро, и молодой парень, инвалид войны, их ровесник, пьяненький и дрожащий, торговал на морозе папиросами поштучно, держал в посинелых культышках раскрытую пачку «Беломора». И Леня шепотом рассказал, что есть такой закон, который прозвали Законом о трех колосках, по нему даже детей двенадцатилетнего возраста могут расстреливать, если подобрал или настриг на колхозном поле колоски и унес домой. И будто бы этот закон подписал Калинин. Что если Леню, например, заставят признаться и он расскажет про колоски, то следом его призовут: «Почему молчал, не донес?»

И еще вспоминалось, тогда об этом говорили по Москве: будто судили мальчишек и, когда огласили приговор, они дружно встали, крикнули: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!..» И они с Леней тоже обсуждали это. Как быть? Голова холодела от мыслей. Пойти сейчас самому рассказать? «Почему раньше не пришел?» А вдруг Леня признается?

На перемене, когда курили во дворе, кто-то словно нарочно рассказал анекдот, как спрашивают в камере арестанта, за что он сидит. «А я не активный». Выпивали втроем, разговаривали по душам, и он поленился пойти сразу, куда следует, рассказать все: ладно, мол, до утра дело подождет. А утром его уже взяли — нашлись активней его. Евгений Степанович вдруг мучительно покраснел при всех, и все это заметили.

Его действительно вызвали вскоре. Но дальним чутьем угадывая, он рассказывал только то, что знали, слышать могли не менее трех человек.

А когда выбирали парторга на курсе, Зятьков выдвинул его кандидатуру:

— Проверенный товарищ!

И Ширяев, и Мухин поддержали. Впрочем, наверное, это где-то заранее наверху было обсуждено и решено.

А ведь он любил Леню, действительно его любил. Никто, ни один человек не знает, как душа его стонала и плакала, как временами не хотелось жить, настолько самому себе был он гадок.

Из иллюминатора, сверху, когда совершили посадку, увидел Евгений Степанович то, что и ожидал увидеть: блестели на нестерпимом солнце черные машины, поданные прямо к трапу, гололобые, загорелые люди в тюбетейках и полосатых халатах, люди в строгих костюмах и шляпах, тонкие девушки в шелковых ярких халатах, с цветами в руках, с длинными косами, какие-то огромные трубы, названия которых он не знал,— все в ожидании, все ждало.

Бортпроводницы, заранее предупрежденные, придержали пассажиров, и вот из темной глубины открывшейся двери в легком светлом костюме ступил на трап Евгений Степанович, вышел первым. Сухой азиатский ветер сдул на сторону его подкрашенные в собственный цвет волосы, обнажив лысину, он подхватил их рукой, в другой руке были «дипломат» и шляпа. Дружно ударили внизу барабаны и бубны, заревели длинные трубы, поднятые жерлами вверх, трое мальчиков в тюбетейках, на высоких ходулях, скрытых гигантскими полосатыми штанинами, заплясали яростно, девушки с цветами двинулись навстречу. Улыбки, объятия, троекратные поцелуи, а операторы со стрекочущими кинокамерами обходили со всех сторон, приседали, нацеливались. Пассажиры, которых наконец-то выпустили, наблюдали с интересом, проходя с чемоданами в руках, как прямо тут же, на бетонном поле, делегацию рассаживают по машинам, а бубны бьют, и мальчики на ходулях пляшут, не жалея себя, и кружатся невесомо девы в ярких халатах, плывут, плывут в воздухе тонкие их руки, и косы относит в кружении.

Глава X

Фрукты в двухкомнатном номере-люкс, и цветы, и вино, и коньяк в холодильнике (Евгений Степанович приоткрыл дверцу, чтоб убедиться) — все говорило об уровне, на котором принимают делегацию. Он скинул туфли, прошелся по мягкому ковру, снял пиджак, ослабил галстук и вытянулся в кресле. Тихо жужжал кондиционер, холодило ноги в носках. Полагалось сейчас умыться — «привести себя в порядок», как это называется в подобных случаях, через полчаса делегация соберется внизу, в холле, где он всех ознакомит с программой. А пока он лежал в кресле, руки — на мягких бархатных подлокотниках.

Все относительно, все познается в сравнении. Лет двадцать пять назад («Неужели двадцать пять лет пролетело? Да, что-то около того...») была его первая поездка «в составе делегации». Пятьдесят шестой, урожайный год. Целина. Организовали несколько пропагандистских бригад на уборку. Их четверо: агроном из министерства, журналист какой-то сельскохозяйственной газеты, а возглавлял бригаду инструктор ЦК, молодой, но уже защитивший кандидатскую диссертацию в подведомственном институте: обеспечил себе на крайний случай тылы в жизни. Было время борьбы с культом личности, и главу делегации они прозвали «культ».

Шестьсот с лишним километров машиной по оренбургской жаре, то черная пылища, то красная, на красноземных, стеной вставала за ними, как на пожарище, но, в общем, хорошо было мчаться. Искупались по пути в ледяной речке, и уже за полночь, в кромешной тьме, фарами ощупывая дорогу, прибыли в совхоз. А там еще какое-то совещание в конторе. Он ничего не соображал, жужжание голосов, жужжание мух на потолке, глаза слипались, он только вздрагивал, таращился, и опять его кидало в сон.

Но раненько утром с директором совхоза сидел он на мостках, опустив ноги в воду, и что-то жарилось во дворе в летней кухне, тушилось что-то мясное с помидорами в огромной кастрюле, сюда только запахи доносило. И вот необъяснимая странность психологии: очень хотелось Евгению Степановичу, чтоб его тоже пригласили к завтраку. Он знал: «культ» приглашен, должен будто бы подъехать и секретарь райкома. Конечно, всех пригласить невозможно, да и зачем? Но он так рассчитал в уме: агронома звать необязательно, журналист тоже не обидится, он из какой-то не очень такой уж газеты, по-

завтракают втроем с шофером. А ему очень хотелось, чтобы его пригласили, он готов был и колбасу свою принести: были у него с собой две палки копченой московской колбасы, ее разрежешь наискось, а она блестит и пахнет, пока прожевываешь, слюной истечешь. Всю ее готов был отдать.

Директор совхоза, грузный степняк, подгреб толстой рукой к себе голенького внука, грел его собою и, щурясь от низкого встречного солнышка, а может, по степной привычке, когда весь день на ярком солнце да на ветру, рассказывал, что и две тысячи лет назад жили здесь люди, какие-то он травки отыскал, которые что-то доказывают, какие-то злаки одичавшие, да и канал этот не сам же собою образовался, кем-то прорыт. Евгений Степанович заинтересованно поддакивал и мучился сомнением: пригласит, не пригласит?

Вздохнув, старик взял за руки внука, окунул стоймя с мостков, у того все худые ребрышки проступили, пополоскал, как малька, в воде. А потом шлепнул на дорогу.

— Беги, обсыхай!

И в своих широких «семейных» трусах грузно обрушился в воду. Евгений Степанович прилежно поплавал за ним следом, все еще не теряя надежды, но зван к завтраку так-таки и не был.

Да плевать бы ему на того директора сейчас с восьмого этажа, где он отдыхает в номере-люкс, положа руки на мягкие подлокотники, а вот тогда почему-то казалось, ничего нет слаще на свете, как только чтоб его позвали с ними за один стол.

Вся тогдашняя поездка была очередной галочкой в чьем-то отчете, он это сразу смекнул. Мол, не только совхозы-колхозы, вся страна принимает участие в уборке урожая, и у них в командировочных удостоверениях стоял штамп «уборочная», и на бортах грузовиков, из щелей которых текло зерно, было набрызнуто масляной краской через трафареты: «Уборочная». А урожай в тот год действительно был несметный: где раз прошел дождь, давали председателям колхозов орден Ленина, где два раза дожди пролились — Героя Социалистического Труда. И хлеб везли по хлебу, по зерну, дорогу в степи на элеваторы указывало рассыпанное из кузовов зерно, его можно было черпать ведром на выбоинах. У совхозного шофера, который возил их, было ведерко из старой автомобильной камеры, заваренное с одного конца, им он черпал домашним гусям на прокорм.

И конечно, для такого урожая не хватило элеваторов, зерно не успевали просушивать, вагоны подавались не вовремя: брали скорый хлеб с целины, содрали вековечный травяной покров со степи, и уже начались пыльные бури, так что солнце затмевало.

Они, четверо, тоже мотались по району, кого-то уговаривали, кому-то грозили, увеличивая общую неразбериху. А зерно грелось в буртах, впервые он узнал, как это бывает: сунешь руку, а оттуда влажно пышет... Так в буртах часть несметного урожая и ушла под снег. Потом рассказывали, весь нижний слой этих буртов, сантиметров пятнадцать-двадцать, распахивали весной плугами: заклеклая эта масса ни на что уже не годилась, на удобрение не шла. Но отчет они привезли хороший, боевой, как было сказано: где сколько выпущено стенных газет, какие проведены совещания, примеры передового опыта... Заметку Евгения Степановича напечатала даже «Комсомольская правда», и на него впервые обратили внимание.

Был, правда, постыдный момент уже в самом Оренбурге, на обратном пути, но это осталось между ними, до Москвы не дошло. Как раз набрали они по дороге грибов, остановились у лесочка, а там чудо: стоят подосиновики один в один, как в сказке, высокие, крупные, яркие. Агроном сбегал за плащом, не пожалел свой плащ старенький ради такого дела, и они набросились, прямо-таки опьянев. А грибов чем дальше в лес, тем все больше, в глазах рябит. «У нас в степу опасаются,— говорил шофер.— Еще потравишься, какие-то ядовитые есть...» Плащ был уже полон, когда сообразили: что ж это они все подряд берут? И перестарки, как лапти, и червивые попадаются. Высыпали кучей, стали брать одни молодые, крепенькие, ножки толстые, шляпки оранжевые. А потом на озере, в камышах подстрелили утку с выводком — у шофера в багажнике оказалась двустволка, стрелять вызвался сам «культ». Он долго подбирался, долго целился стоя. Утка с утятами плавала на малом пространстве воды. Грохнул выстрел. Второй. Это уже по утятам, они разбегались по воде, прямо-таки бежали на перепончатых лапах, трепеща крохотными неоперенными крылышками, взлететь не могли. Раздевшись нагишом, стыдливо прикрываясь ладонью, доставать полез, разумеется, шофер. У берега было топко. Где-то в камышах крякал уцелевший утенок, может, и подраненный: жаловался. Пособрав тех, что нашел, шофер нес их за желтые лапки, мотались отвисшие головы. Утка была еще жива, дергалась.

В ресторане «культ» прошел к директору, представился, и шофер с агрономом начали таскать на кухню с заднего хода грибы и утят. В маленькой их делегации сама собой установилась негласная иерархия: «культ», за ним — Евгений Степанович, а если что надо было помочь, шоферу или по хозяйству, охотно вызывался агроном. Он только под конец жизни попал в министерство бумаги писать, был он среди них самым сноровистым, все умел.

Пока на кухне жарилось, в зале накрыли им под пальмой, сдвинув два стола под одну скатерть. Шофер для приличия поотказывался было, но стреляли из его ружья, в воду, в камыши он лазал и, вымыв руки в туалете, причесавшись с водой, он сидел за столом уваженный, как тесть на именинах.

Наверное, все же официантки лишнего суетились вокруг них, так и порхали, так и порхали, и в зале это было замечено. Чаще начали позванивать ножом по бутылке: «Девушка!..» Краем уха Евгений Степанович уловил недоброжелательное: «Начальство явилось...» А когда внесли на блюде утку с утятами, а на двух больших черных сковородах — черные грибы в сметане, им одним, ни у кого на столах такого не было, в воздухе начало накапливаться электричество. Но все было такое аппетитное, так всем есть захотелось, а особенно когда выпили по первой рюмке ледяной водки и закусили зеленью, что не сразу обратили внимание.

— Начальство... Им все особое! — раздалось за соседним столом громко. Другой голос урезонивал поощряюще:

— Ладно, Петро, выпил и сиди. Ты вот пьешь да закусываешь, а начальство в это время о тебе думает, душой за тебя болеет.

— Ирка! — крикнули оттуда.— Сколько я должен ждать? Почему меня не обслуживаешь?

— Не гавкай! — спокойно, не оборачиваясь, сказала официантка. Она как раз подошла к их столу осведомиться: сами они разложат грибы или поухаживать?

— Сами, сами,— поспешно сказал «культ». И всем — приглушенно, чтобы, кроме них, никто не услышал: — Не обращать внимания.

И по второй рюмке налить уже не разрешил, а как раз половина бутылки оставалась и еще в проекте было другую заказать под такую закуску. Но за соседним столом все громче раздавалось по их адресу, они сидели, пригнетенные, делали вид, что к ним не относится. Утятки, когда их ощипали да пожарили, оказались крошечные,

как воробьи, косточки мягкие. Но уже кусок в горло не лез, ели молча, не подымая глаз. А парень, поощряемый безнаказанностью и жадным любопытством зала, уже шел сюда, стал над ними, ноги расставив:

— Чего народ ест, жрать не желаете?

Попробовал было агроном сказать что-то примирительное, но робко, неуверенно, это еще больше разожгло. Глядя на них на всех по очереди, не понимая, что делается, шофер, спроста, громко спросил:

— Дать ему в морду?

— Не связываться! — зашипел «культ», весь белый. И они продолжали не замечать, ели, пригибая шеи к тарелкам, а парень над ними все больше наглел.

— Да вы мужики или не мужики? — раздалось из зала.

Раздавленные позором, они были сейчас не мужики, они были должностные лица. Не хватало только, чтобы вслед им, приехавшим с ответственным заданием, полетела в Москву бумага: пьяная драка в ресторане. Пойди потом доказывай, разбираться не станут: бумага есть бумага. Делались такие вещи на местах, «культ» знал, специально подстраивали, чтобы опорочить человека, занимающего пост.

— Вот что значит ослабить вожжи, распустить народ...— дрожливо, белыми губами пробормотал он.— Милицию надо вызвать.

Но уже налетели на парня официантки в белых передниках, в белых наколках, бесстрашные белые царевны, замахали на него салфетками, закричали. И вызванный кем-то, вразвалку явился милиционер, сама строгость.

А потом и вовсе было позорное, когда утром всех их пригласили в милицию, и они приехали на машине, а из камеры привели вчерашнего героя, помятого, непроспавшегося, и он униженно просил прощения, а опущенные глаза поблескивали ненавидяще. И начальник отделения пытался замять дело, мол, выпил лишку, надо ли судьбу парню ломать? И агроном к тому же склонялся: с кем не бывает... Но тут выяснилось неожиданно, что парень этот — демобилизованный недавно за какие-то грехи офицер, вроде бы за непочтение к начальству. И не просто офицер, а политработник, никак не определится «на гражданке», выпивает зря. Вот тут «культ» вскипел: значит, там он политбеседы проводил, а у самого вот что зрело на уме! Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Нет, это уже не пьяное хулиганство, это политическое выступление. И — агроному:

— Садись, пиши, у тебя почерк хороший.

Бумага была составлена, вся из железных формулировок, и они расписались под ней, все четверо.

И в тот раз Евгений Степанович ясно почувствовал, каково это будет, если тебя никто и ничто не охраняет, если ты один на один останешься с теми, о ком во всех речах, как о великом младенце, положено говорить только в превосходной степени.

Глава XI

Вечером у театра, у парадного подъезда блестел большой черный ЗИЛ, а в ряд с ним — черные «Волги». И все пустое пространство было ограждено турникетами, за ними дежурили наряды милиции, стояла милицейская машина с мигалками, а по эту сторону ограждения толпились любопытные, неохотно расступались, пропуская приглашенных. И внутри, на переходах и лестницах, ведущих на сцену, неприметные люди в штатском просвечивали каждого натренированным взглядом, как рентгеновскими лучами.

Яркий свет сцены, полутьма и тишина зала внизу, там сливались в рядах разноплеменные лица, это были лучшие люди, каждый из них приглашен почетно. Целая жизнь отделяла Евгения Степановича от той давней поры, когда и он впервые получил пригласительный билет на заседание, куда-то в задние ряды, в конец зала, оттуда и видно, и слышно было плохо, но чувство причисленного, приобщенного, проверенного человека возвышало его. Кто этого не испытал, не поймет. А кто у нас не испытал?

А еще раньше, году, наверное, в пятьдесят первом или пятьдесят втором — ближе к смерти Сталина, когда уже сильно все напряглось — ехал он с корреспондентским удостоверением от некоего малоизвестного журнала. Это было купе общего вагона, и они четверо сидели под верхними полками: заводской инженер, с которым потом они оказались в одном номере гостиницы, немолодая женщина-энтузиастка и пожилой лейтенант внутренней службы. Как-то так выяснилось, или само собой стало понятно, что за служба и в каких лагерях он эту службу несет. Дыханием ли этих незримых лагерей повеяло, но вдруг возникло необъяснимое, радостное желание засвидетельствовать в его присутствии преданность, они наперебой начали говорить угодные, правильные вещи, особенно старалась женщина-энтузиастка, еще немного, и она бы сердце свое праведное вынула на ладонь, но и Евгений Степанович не отставал — о, эта радость самоотречения! А лейтенант, пожилой служака, всего-то и выслуживший две маленькие звездочки на погоны, поощрительно и молча принимал заверения, разумеется, не беря на себя никаких обязательств. И все равно переполняло ликующее чувство проверенного человека, все они здесь едут проверенные. А что-то гаденькое, в самом себе придавленное, все же попискивало в душе. Но другой стороной сознания — вот ведь странная вещь, как устроен человек, Евгений Степанович не раз поражался этой странности и в конце концов пришел к мысли, что таково свойство творческих натур,— другой стороной своего сознания ясно представлял, какими лейтенант видит их сквозь тот, ему ведомый лагерный мир, знает про них такое, чего и они про себя не знают, и не дай Бог знать и даже мыслью там оказаться. Когда рядом дышит пропасть бездонная, только тогда и оценишь, и возликуешь, что тебя миновало. Каждый ходил по краю той пропасти, у каждого под ногой вот-вот могло осыпаться.

И это тоже осталось в прежней его жизни, как в глубоком, темном колодце, давно уже Евгений Степанович не ездит в общих вагонах, а совсем в иных, двухместных купе, где иная публика, иные удобства. И вот, сохраняя достоинство и порядок, вслед за Первым он вышел на яркий свет сцены, и зал единодушно встал и рукоплескал стоя, пока они шли, а потом некоторое время и они тоже, выстроившись за столом президиума, соблюдая ритуал, аплодировали залу. Но Первый сделал жест, и стихло по мановению, начали садиться.

Все это будет показано по телевидению, как они стояли, как сидят рядом — Первый и он, и будут снимки в газетах... Еще не улеглось у Евгения Степановича волнение после того, как он, выйдя на трибуну, достав из бокового кармана листки с заготовленным текстом, произнес короткую вступительную речь, открывая торжественный вечер деятелей культуры братских республик, и Первый одобрительно встретил его и рукой коснулся его руки, когда он сел. Теперь эти маленькие смуглые руки со светлыми ногтями покойно лежали на просторе стола, суженные глаза на смуглом лице как бы улыбались. Это было лицо человека, привыкшего к тому, что при его появлении все встают и ликуют, и на лице его лежал этот лоск, этот

особый сиятельный свет, словно оно само этот свет излучало. И волновала мысль: какая необъятная власть сосредоточена в этих покойно лежащих маленьких руках.

Но одновременно Евгений Степанович каждый миг чувствовал телекамеру, видел, как загорается красный глазок, и лицо тут же принимало соответствующее выражение: то строгое, то живо заинтересованное, а в общем — доброжелательное. Сидя в президиуме, он работал. Он олицетворял собой. Немногие олицетворяют многих, он один из этих немногих, и он впитывал в себя эту сладость: под нацеленными кино-, теле- и фотообъективами — олицетворять.

Все эти чинно сидевшие достойные люди собрались не ради него. Он только малая часть огромного многосложного Механизма, но он знает принцип его действия, прикосновенен. Он нажал малозаметную кнопку, и Механизм заработал, колеса завертелись, и никто из присутствующих и тех, кто в дальнейшем будет принимать его и встречать, не подозревают, что косвенным итогом всей этой работы должно стать его, Евгения Степановича, продвижение на одну ступеньку вверх по незримой служебной лестнице. И мысль эта, обнаженная, ясная, веселила его, наполняла осознанием силы, ему с трудом удавалось пригашать торжествующий блеск глаз.

Все шло хорошо, даже лучше, чем хорошо, и только молодой поэт (не стоило, не надо было включать его в делегацию!) прочел сомнительные стихи про то, что лучше бы, мол, не совершалось многих наших подвигов, потому что герои расплачиваются жизнью за чью-то глупость и нераспорядительность. Но Первый великодушно не заметил.

А после, в перерыве, в особую комнату за сценой был приглашен самый узкий круг лиц. Ковры глушили все звуки, на столах — горы фруктов, восточные сладости, виноград, какого и в Москве не сыщешь. В тихой беседе Первый приветствовал посланцев братских республик. И опять притягивала глаз смуглая маленькая рука с тонкими пальцами, которыми он иногда, прямо из вазы, отщипывал виноградинки и — в рот, будила эта рука многие мысли. И еще нет-нет да и взблескивали в глаза крупные, как виноград, зеленые камни на усохших пальцах известной грузинской актрисы.

Первый полуобернулся, и тут же подхвачен был его взгляд и стремительно передан другим, но уже грозным взглядом, и заскользили бесшумно за спинами гостей официанты в черных костюмах с богатырскими белыми грудями и бабочками под горлом, и полилось в высокие рюмки, не капнув, вино — только возникала рука с бутылкой, обернутой в крахмальную салфетку, возникала и исчезала,— и янтарно окрасился хрусталь, засверкал, пучками излучая свет. А когда официанты — у каждого из них отличная выправка — застыли в готовности, Первый поднял рюмку:

— У товарища Усьватова, как нам сказали, недавно был юбилей...

Краска удовольствия бросилась в лицо Евгению Степановичу. И хотя до этого в разговоре несколько раз его называли то Андреем Степановичем, то Евгением Семеновичем, он был растроган, взволнован, смущен.

— ...Нас товарищ Усьватов, к сожалению, не пригласил, но мы пользуемся счастливым случаем поздравить и пожелать...

И в его глазах, как бы чуть сощуренных, в ленивом, с долей пренебрежения, взгляде властителя Евгений Степанович, уже было воспаривший, прочел, что Первый знает цену ему, «Усьватову», и его место и участвует в торжественном служении не ради него. Он тоже часть Механизма, но только одно из больших его колес. Оба они служили одному Богу, и Бог давал им во владение согласно рангу

и чину. Первому даны были здесь безграничные возможности, бескрайние просторы, не сравнимые с той мелочью, которую урывает себе «Усьватов». И рядом с ним Евгений Степанович почувствовал себя маленьким.

А на пустующей перед театром площади все так же ждали выстроившиеся в ряд черные машины, дежурила милиция, и ближе к окончанию стал вновь собираться у турникетов любопытный народ: ожидали выхода, хотелось людям посмотреть, как выходить будут.

Мягкое прощальное пожатие маленькой смуглой руки ощущал Евгений Степанович на всем дальнейшем пути следования делегации. Рано утром у подъезда гостиницы уже стояли в готовности две милицейские машины сопровождения, три черные «Волги» и два больших автобуса. Расселись: часть делегации — в «Волги», остальные — в автобусы. И ярко замигали красные и синие мигалки над милицейскими машинами — одна мчалась впереди, другая сопровождала колонну,— постовые на перекрестках и площадях срочно перекрывали движение, народ скапливался на переходах, пережидал. «Принять вправо!» — раздавалось в мегафон из милицейской машины, и на шоссе, за городом, все живое сторонилось, грузовики, автобусы, легковые машины очищали дорогу. Конечно, была во всем этом доля неловкости, что говорить,— приехавшие деятели культуры мчатся, как кур распугивая народ,— Евгений Степанович понимал, но в чужой монастырь со своим уставом соваться не след. И он спокойно откинулся на спинку сиденья, которое для удобства предусмотрительно откатили назад, путь предстоял долгий, а позади, за его спиной украинский композитор сидел несколько боком, поджимая колени. Толчки этих колен иной раз чувствовались спиною, и однажды Евгений Степанович обернулся благодушно.

— Вам там не тесно? Не затеснил вас?

— Нет, нет! — заверил композитор. И больше не ощущалось толчков в спину.

В Бухаре, одно название которой расстилало перед взором яркие шелка, с детства ассоциировалось в воображении Евгения Степановича с пыльными азиатскими базарами, где на жаре люди в ватных халатах сидят прямо на земле перед горами фруктов (после, когда вернулись в Москву, впечатлений было столько и так все смешалось, что Евгений Степанович не мог припомнить, где же этот памятник Ходже Насреддину, около которого они фотографировались: в Бухаре или в Самарканде?), их принимал в Бухаре первый секретарь обкома, еще более смуглый, почти черный, но очень приятный человек и достаточно молодой для столь высокого поста, хотя, как выяснилось, он уже отец десятерых детей, что вызвало известное оживление изнывавшей от жары делегации. От него тоже исходило сдержанное сияние, от полного его лица, от сплошных золотых зубов, когда он рассказывал об успехах и перспективах области, и это было не светлое, с добавлением серебра, а темное, чистое золото. Он показывал образцы каракуля — черного, золотистого, белого и невиданного ранее розового и голубого, который в эти цвета окрашиваем, к сожалению, пока не мы сами, а ФРГ, и рот его золотой сиял, и длинный стол в кабинете уставлен был восточными сладостями и фруктами.

На другой день — впереди машина с мигалкой, позади машина с мигалкой — они мчались в колхоз, где их ждал обед, и прямо на хлопковом поле состоялась встреча со сборщицами хлопка: женщинами и детьми. Евгений Степанович представил поименно ту часть делегации, которая прибыла с ним, тонко пошутил, в меру: солнце жгло нестерпимо. На шоссе, в безделье, скрестив голые руки в форменных, потемневших на спинах от пота голубых безрукавках,

стояли милиционеры у раскаленных машин, разговаривали с шоферами, курили. Сборщицы хлопка сидели на сухой земле, лица их были темны. (Позже Евгений Степанович узнал, сколько всяких отравляющих веществ распыляется на эту землю, и в гостинице тщательно вымыл под краном свои ботинки — и верх, и подошвы — и почистил ваксой.) «А сейчас перед вами выступит...» — представлял он очередного выступающего, не забывая перечислить должность, звание лауреатство, и поэты громко, поскольку ветер относил голос, читали свои стихи в простор белоснежного поля, где колыхались раскрытые ватные коробочки созревшего хлопка. И даже юморист, который срочно был выпущен, чтобы как-то оживить аудиторию, прочел свой смешной рассказ как в пустоту. Правда, школьники посмеивались, и сопровождавший делегацию местный начальник улыбался, обмахиваясь шляпой, но на лицах женщин оставалось все то же выражение глухонемых. Только за обедом разъяснилось, что женщины этого кишлака не понимают по-русски, и Евгений Степанович, осознав всю глупость положения, в которое он угодил, вспомнил раздраженно, что юморист был тот самый, который в Домодедове, на летном поле, шутил бестактно. «А кто, собственно, включил его в делегацию?» Помощник застенчиво промолчал, увильнул глазами: в состав делегации собственной рукой вписал его Евгений Степанович.

Но обед на берегу колхозного пруда был грандиозен и затянулся на несколько часов. Куры жареные, золотящиеся, прямо из печи, с вертела, холодное куриное мясо, дымящийся плов, зелень, горячий, из печи хлеб, который они разрывали руками — лаваш? чурек? — как он называется? А тут еще подоспел молодой барашек, шашлыки... Председатель колхоза в тюбетейке выбегал, вбегал — все ли в порядке? — но сам не садился, лицо его, из которого от жара печей вытапливался жир, блестело; тосты следовали за тостами, бесшумные юноши собирали тарелки с объедками, уносили, и ставили чистые тарелки, и вновь вносилось и выносилось. И когда уже выставили фрукты, и пиалы, и чай в расписных чайниках, Евгений Степанович, вспомнив, предложил тост за хозяина, за председателя колхоза. Того срочно разыскали, он прибежал с обалделыми глазами, гости налили ему, как хозяева, он выслушал слова благодарности, и на миг Евгению Степановичу показалось, что и этот не понимает по-русски. Но председатель понимал, он только не вполне знал, чья это делегация, какая, почему. И в общих словах благодарил за оказанную честь, за то, что посетили.

Когда перегрузившиеся едой и выпитым (а некоторые члены делегации — с брезгливостью наблюдал это Евгений Степанович — еще и в сумки со столов, из ваз поспешно запихивали виноград, хурму), когда шли к своим машинам мимо огнедышащих печей, где на вертелах поворачивались над огнем уже не куры, а что-то громадное, должно быть, индейки, опять распахнулись узорчатые железные ворота этого колхозного санатория на берегу пруда. Двое почтенных старцев в полосатых халатах, подпоясанные косынками, в сапогах с калошами и в тюбетейках, идя друг от друга, развели ворота, и еще не выехала делегация деятелей культуры, а уже вслед за милицейской машиной с мигалкой въезжали академики, одни садились в машины, другие оживленно высаживались.

И опять они мчались полевой дорогой, встречно светившее солнце садилось, редкой красоты был азиатский закат, и вдруг замелькали, замелькали за стеклом справа возвращавшиеся с поля женщины с тяпками на плечах, они теснились к обочине, пыль, поднятая машинами, заволакивала их, укутывала и лица, и сухие икры ног, черные пятки.

Ночью — какой-то переполох, беготня по коридору гостиницы

разбудила Евгения Степановича. Оказалось, прибыла «скорая помощь», композитору делают выкачивание — перекушал. Картина была не из лучших: таз на полу со всем тем, что выкачано из желудка, а на кровати — распростертый, бледный, синий, весь в холодном поту, композитор.

Врачей «скорой помощи» сменили обкомовские врачи, слабым голосом умирающего композитор жаловался из подушек: днем на базаре он съел манты, они так аппетитно выглядели... Вот эти манты и выходили из него, шлепались в таз, как лягушки, целиком он, что ли, их глотал?.. На всякий случай оставлена была при нем дежурить медсестра со шприцами и лекарствами. Евгений Степанович удалился к себе. Этот его здешний номер-люкс мог быть и получше, на белом потолке вокруг люстры грелись какие-то черные насекомые, каждое величиной с палец. Рухнет на тебя с потолка такая гадость, сколопендра этакая, иди гадай потом: тарантул это или скорпион?.. Все же решился, потушил свет. Но заснуть не давали тихие голоса: в холле, когда он проходил, сидели в пижамах, разбуженные беготней, члены его делегации, человек пять. «Спите, спите, ложитесь»,— доброжелательно посоветовал он, проходя мимо. И пошутил: «Умирающий, как обещано нам, будет жить...» Но вот не ложились, разговаривали:

— ...Рыба с головы гниет. Шофера видал? Каждый с собой еще по бутылке взял. Как не дашь? Наш секретарь тоже едет в район, сицас назнащают колхоз: ты будешь кормить. Кто он? Такой, как все, темный щеловек. Песни любит. Снащала хор северных районов, потом южные. Ботинки снимет, сидит в белых шерстяных носках, слушает, слезы утирает.

Они заговорили на своем языке, живо, привычно, Евгений Степанович навалил подушку на ухо, весь мокрый от жары, думал, засыпая: «Им есть на кого валить. На кого мы кивать будем?»

Утром, кроме милицейской машины, делегацию сопровождала еще и машина «скорой помощи». На границе Бухарской области были устроены торжественные проводы. Евгений Степанович целовал поднесенный ему хлеб, выпив положенную стопку, поцеловал в зарумянившуюся щеку девушку с дивной красоты косами, которая подносила хлеб на блюде и на полотенце. Не проехали и километра — еще более торжественная встреча в Самаркандской области. Опять все вылезали из машин, опять он целовал хлеб, а выпив вторую стопку, уже с удовольствием перецеловал всех девушек подряд.

Говорились приветственные речи, он тоже говорил, от тягостного зноя, от выпитого коньяка сидел он в машине весь потный, задыхающийся, уши словно заложило, и распирало сердце, тревога росла в нем. Он распустил галстук, на встречном ветру мокрый воротничок рубашки холодил шею.

Целый день шло это кружение — официальный прием (виноград, фрукты, сладости, рассказ о достижениях Самаркандской области), встречи с трудящимися на предприятиях, выступления... Под вечер, с многочасовым опозданием, привезли их в колхоз-миллионер. Председатель, грузный, коренастый, в высоких, под самые коленки сапогах с калошами, в галифе и пиджаке со многими позванивающими при ходьбе орденами, показывал им прекрасный детский сад, стадион («Слушайте, такого и в городе не увидишь!»— восклицали члены делегации после не столь давнего застолья. «Вот что значит — порядок! Люди работают!»), потом привели их в помещение, где от порога весь пол был застлан чистыми половиками. Председатель снял калоши при входе, все сняли обувь с горячих от ходьбы ног, рассаживаясь, охотно подсовывали под стол ноги в потных носках, но запах острых закусок перебивал все остальные запахи. И только увидев

перед собой еду, Евгений Степанович почувствовал, что с ним происходит что-то неладное: от одного вида холодного мяса его затошнило.

— А это что? — спросил он председателя. Они сидели не как полагалось бы по протоколу — друг против друга,— а рядом. Председатель сказал что-то неразборчивое, Евгений Степанович сквозь глушь и звон в ушах не расслышал.

— Это что-нибудь острое? — спросил он громче. Теперь председатель не понял его, улыбнулся застенчиво. И тут же, посуровев лицом, встал с рюмкой в руке. Тост его был длинен, Евгений Степанович, с привычным для такого момента выражением лица, не столько слушал, сколько думал о том, что теперь ему надо будет подняться, что-то говорить. Все чокались рюмками, привставая, он только пригубил коньяк, и спазмой подкатило к горлу, затошнило. Попробовал заесть, зеленая протертая закуска показалась несвежей: «Еще отравишься, черт знает, сколько она тут стояла на жаре...» Он поменял рюмки, налил себе гранатового сока, председатель вежливо не заметил. Надо бы пересилить себя, встать, что-то произнести, и чувствовал: не может. «Недоставало еще только хлопнуться...» — прошла паническая мысль. Владетельным жестом он отдал почетное право сидевшему напротив него известному московскому поэту, который до седых волос сохранил комсомольский задор, о нем обычно говорилось по радио: «Взволнованную речь произнес поэт такой-то...» И тот охотно, с рюмкой — в левой, взмахивая над собой правой рукой, заговорил громко, звонко, словно читал стихи.

Когда после холодной закуски должны были, как обычно, вносить горячее, председатель колхоза сказал, что их ждут на свадьбе молодые: колхозный механизатор и ветврач. «Пять часов ждут уже,— сказал он застенчиво.— Но это ничего...»

— Специально для нас приготовили подарок!— возликовал поэт.

— Но пять часов!

— Почему же никто не сказал?

— На свадьбу, на свадьбу!

— Ах, как неудобно!

С шумом, с разговорами, толпясь, надевали обувь. На улице седовласый поэт размашисто обнял за плечи хозяина, они шли, не попадая в шаг, и ордена и медали на пиджаке председателя звенели сильней. Заметив машину «скорой помощи», Евгений Степанович на всякий случай решил смерить себе давление, мутило его все сильней. Когда стал на подножку, откачнуло назад, кровь прихлынула к голове, он еле удержался, рукой схватившись за поручень.

Здесь подували сквознячки, и показалось, что в машине прохладно. На носилках, на одеяле, лежал композитор, читал газету, где уже были их фотографии. Он вполне пришел в себя, но на всякий случай постился и берег силы.

— Ну, как вы? — спросил Евгений Степанович, глухо слыша собственный голос. Врач накачивала грушу, манжетка на голой его руке вздувалась, больно сдавливала. «Ого!» — испугался он, увидев, на какой цифре задрожала стрелка тонометра. Врач, не меняясь в лице, еще раз накачала, цифры были еще выше.

И только теперь, когда он увидел, какое угрожающее у него давление, почувствовал озноб, его трясло, голова пухла изнутри, затылок был чугунный. Срочно уложили его на спину, и будто перекачнулась в нем вся жидкость, больней прилило к голове. Он сел. Врач во всем белоснежном, от этого еще более смуглая, с удлиненным разрезом глаз, протягивала ему таблетки и воду, и он губами с прохладной ее ладони взял таблетки. И так ему вдруг стало жаль

себя, он почувствовал себя старым, захотелось, чтоб эта прохладная ладонь молодой женщины гладила его сейчас по щеке.

Тем временем их обвезли вокруг стадиона, остановились, и из двери машины он увидел в распахнутых дверях напротив яркий свет, множество хорошо одетых людей, жених и невеста сидели рядом в национальных одеждах, не притрагиваясь к еде. Все это он видел одним глазом сквозь туман: другой глаз не раскрывался, левая половина головы раскалывалась.

Его уже искали, звали.

— Евгений Степанович! Где Евгений Степанович?..

Он хотел сказать, чтобы подозвали седовласого поэта, но тот сам всунулся в дверь машины.

— Евгений Степанович!..

— Вы там проведите за меня это мероприятие... Поздравьте молодых. Я отдохну...

Он говорил негромко, каждое слово больно отдавалось в висках, гудело глухо в барабанных перепонках.

Спустя время врач опять измерила давление, но так, чтоб он не видел стрелку и цифры.

— Ну что, доктор, помогла медицина, снижается? — Хотелось спросить бодро, но голос был слабый, улыбка испуганная, жалкая, он сам чувствовал это. Не отвечая на вопрос, врач сказала, что надо сделать укол, не согласилась делать в руку. Там били в бубен, шумели, а он, позорно спустив штаны, лежал носом к стенке, и врач («Расслабьте мышцу... Расслабьтесь!») вводила лекарство в его полную ягодицу. Все это он потом представил задним числом. Хорошо хоть композитор догадался выйти, не пришлось просить. Вскоре сделали еще тройной укол — промидол, папаверин, анальгин — теперь уже в руку, и затуманилось мягко в сознании, толчки крови уже не отдавались болью в висках. Он лежал, закрыв глаза, мысли шли вразброс, ни одну не удавалось додумать: «У нас бы на свадьбе... Но, может, так надо? По крайней мере — работают. Колхоз-миллионер. Но пять часов ждать...»

Сильный рвотный позыв подбросил его. Рот был полон жидкой слюны. И — страх позора: не хватало только, чтобы ему, как тому композитору, подставляли таз. Он отдышался, справился. А напротив, дверь в дверь, шло веселье, поэт, расплескивая вино из стакана и взмахивая рукою над седой головой своей, стоял перед молодыми, кажется, в самом деле читал им стихи. И даже на лице врача, смотревшей из темноты машины, был отсвет веселья. «Помрешь тут, а они веселятся»,—обиженно думал Евгений Степанович, укладываясь потихоньку носом к стене, чтобы не видеть. Одинокий, никому не нужный, никому нет до него дела, даже врач сидит, улыбается. Для себя он, что ли, лежит тут в духоте, мучается?.. Ради себя возглавил эту поездку? А сколько сюжетов, Господи, сколько сюжетов вынашивал в себе, в голове своей, которая теперь раскалывалась, и не написал, не написаны они потому, что никогда не был свободным человеком, как все эти доморощенные гении, он служил Делу, наступал на горло собственной песне, да, да, да, наступал, постоянно задавливал в себе способности ради Дела, жертвовал собой, только никто этого не поймет и не оценит.

Удары бубна отдавались в висках, слезы щекотали переносицу. Он смахнул их пальцем, вытер лицо о подушку, и врач, услышав, как он завозился, наклонилась над ним.

Но через три дня, когда поездка была завершена и вновь в его двухкомнатном номере-люкс с навевающим прохладу кондиционером стояли цветы и фрукты в вазе, и крахмальная салфетка торчала угол-

ком вверх, и маленький ножичек для фруктов на маленькой тарелочке, а он, загорелый, несколько похудевший, вновь вошедший в форму и готовый функционировать, перед торжественным вечером брился в ванной, где все сияло и излучало свет — и розовая ванна, как фарфоровая чаша, и розовый кафель стен,— далеким уже казалось то незначительное происшествие, и испуг, и стыд, и поспешные мысли, словно все это было не с ним. И на участливый вопрос хозяев, которым доложили, отмахнулся небрежно: «Солнце, излишняя радиация...» — всем видом показывая, что он бодр и свеж.

Массируя жужжащей электробритвой полные щеки, и подбородок, и под подбородком, где почти еще не обвисала шея, он придирчиво вглядывался в себя в зеркале. Нет, он вполне, вполне, и в глазах живой блеск. Попробовал твердый взгляд, попробовал улыбчивый, дарящий. Вот волосы на голове несколько подводят. Евгений Степанович прядями отводил их, нагнув голову, вглядывался из-под век до боли в глазных яблоках. Да, видны седые корешки, опять обнажились, растут, сволочи. Что поделаешь, когда у покойников и то растут, а он, слава богу, жив. Он красил их в свой, естественный цвет одним и тем же американским красителем (там это вообще не проблема, но и ему кто-нибудь из приятелей доставлял регулярно), красил, оставляя седыми виски. А вот отросли за время поездки, проступила седина у корней. Он умело зачесал волосы так, что этого не стало видно, и в темном костюме, в галстуке, в белом воротничке, отчего сильней был молодивший его загар, сидел на заключительном вечере за столом президиума, на ярком свету сцены, только уже не Первый, а Второй сидел рядом с ним. Первый сделал главное: дал ход всему. Изредка они переговаривались со Вторым, как переговариваются в президиуме, когда это видит зал и ловит выражения их лиц, и нацелены камеры.

Вновь в зале сидели в рядах лучшие люди, украшенные орденами, вечер, как любил говорить Евгений Степанович, проходил на высокой ноте. Огромная их делегация разделилась на три группы, чтобы охватить всю республику, и когда сегодня все съехались и свезлись подарки (Евгению Степановичу в Бухаре по традиции подарен был полосатый ватный халат, но, в отличие от остальных членов делегации, его халат был шелковый и соответственно расшитая тюбетейка, а в колхозе, где председатель, в сапогах с калошами, привез их на свадьбу, подарили огромный расписной чайник, блюдо, пиалы — весь чайный набор, впрочем, Евгений Степанович не имел к этому касательства и не интересовался, все само упаковывалось и везлось), словом, когда все съехались и начались рассказы, каждая поездка оказалась необычайно успешной, одна успешней другой. «Вы это все не забудьте отразить в отчете»,— напоминал он руководителям, прослушивая вкратце.

Группа, которая ездила в Каракалпакию, была самая немногочисленная, и, пожалуй, ни одной знаменитости в ней не было, но им, как выяснилось, дарили там не ватные, а бархатные халаты, черные, с серебряным шитьем, и тюбетейки были намного лучше. Небольшой укол досады почувствовал Евгений Степанович: ему не нужно, но жене такой, с серебряным шитьем, бархатный халат очень бы пошел. И как раз, когда ему показывали вынутый из целлофана халат, рассказывали о поездке, в дверь люкса постучались робко, поскреблись.

— Да-да! — сказал он недовольно и сделал жест, чтобы прикрыли подарки.

Заглянул в щелку и поспешно притворил дверь какой-то местный человек: не туда попал, наверное. Но потом, когда Евгений Степанович, умытый и надушенный, повязывал галстук перед зеркалом, постучались вновь. Человек был черен лицом, настолько смугл, говорил по-русски плохо и еще пугался чего-то, так что поначалу вовсе невозможно было понять, чего он хочет. Евгений Степанович взглянул на свои, не ощутимые на руке, плоские швейцарские золотые часы.

— К сожалению, у меня мало времени. Должны приехать сейчас...

Человек заторопился, путаясь в словах, как путаются на бегу в полах халата, часто повторял: «Арал». Постепенно разъяснилось: это у них была делегация, он приехал за ней следом, чтобы рассказать. Мелеет Арал, погибает Арал. Море отступило от людей, корабли лежат на песке... Вода отравлена пестицидами... Болеют дети... Процент смертности... Погибает, вырождается народ...

Что-то такое про определенное неблагополучие Евгений Степанович, конечно, слышал, были сигналы, но картина, которую пытался нарисовать этот человек, в корне отличалась и контрастировала. Поверить, что у нас вырождается какой-либо народ, Евгений Степанович не мог, не имел права. И вообще этот испуганный, тайно проникший к нему человек, который просил никому ничего здесь не рассказывать, а рассказать обо всем в Москве, не вызывал доверия, скорей он походил на какого-то лазутчика. Евгений Степанович почувствовал: его втягивают в неприятную историю, не имеющую непосредственного отношения ни к культуре, ни к целям их поездки.

— Вы напишите все это на бумаге,— прибег он к испытанной форме, при этом холодно отчуждаясь.— Я верю вам, но слово к делу, как говорится, не пришьешь.

И вот, сидя в президиуме рядом со Вторым, а после, когда они демократично пересели в первый ряд и слушали выступления артистов и аплодировали, несколько раз хотел он заговорить об этой истории, как бы между прочим, в легком тоне. Но взглядывал на строгий профиль, и что-то удерживало. И, как всегда в затруднении, обошелся юмором: «Это приятно, когда к тебе приходят народы, но все же лучше, чтобы с хорошими вестями».

Концерт шел на подъеме, и он уже знал мнение Первого об их поездке по республике, мнение было весьма положительным, оно будет передано в Москву, и в уме само собой складывалось, как он, в свою очередь, доложит где следует о проделанной работе, как своевременна и необходима оказалась поездка их делегации в плане укрепления дружбы народов и национальных взаимоотношений. А когда он вернулся в номер после прощального банкета, там — вот уж подумать не мог! — ждал его черный бархатный, с серебряным шитьем, халат для жены, а в шелковой, тоже бархатной, алой изнутри коробочке — старинное украшение темного серебра с зелеными камнями, точно такое, как ей хотелось. Евгений Степанович припомнить не мог, чтобы он кому-то что-то говорил или выразил, но вот непонятным образом все узналось, и такой неожиданный сюрприз. Он был растроган, взволнован, по-хорошему смущен.

Впрочем, даже молодой поэт, который на первом вечере прочел эти свои стихи и чуть не испортил впечатление, даже он не остался без подарка: ему была вручена картонная коробка с четырьмя разными сортами чая.

Глава XII

Обратно летели другим самолетом: Ту-154. Он был меньше, тесней, но зато был здесь и первый класс с широкими удобными креслами, и Евгений Степанович сразу почувствовал себя в своей среде. Хорошенькая бортпроводница, с синими тенями и плитами румянца

на скулах, приняла у него плащ на плечики и унесла, а потом задернула занавески, отделив их салон от остальных, ввезли напитки. И когда расстелены были крахмальные салфетки (одна — на столик, другая — на колени) и подана закуска, Евгений Степанович с улыбкой обернулся с переднего сиденья, приветствуя и поздравляя с удачным завершением поездки тех членов делегации, которые летели с ним первым классом, и уже в их лице — остальных. Сияло заоблачное солнце в иллюминаторах, и пузатенькая стопка с коньяком в его руке засверкала, просвеченная насквозь. Следующая была выпита с соседом за знакомство: приятнейший человек, генерал в штатском. Выпили, и посветлело перед глазами. Они шли в спокойном, горизонтальном полете, и занавеси, которые косо втянуло в салон, пока набирали высоту, теперь плотно прилегли.

Закусывая шпротами, целые рыбешки суя в рот, сосед басил благодушно: «Живу, как при коммунизьме, а здоровье, как при капитализьме». Это «зьм» обличало в нем принадлежность к определенному слою руководства. В свое время Леня сказал фразу, за которую оба они могли поплатиться головой — и тот, кто сказал, и тот, кто слышал: «Оттого и построить не могут, что произносить не научились: социализьм, коммунизьм...»

Он встретил Леню через восемь лет. Шел по Тверскому бульвару, была оттепель, мокрый снег с дождем лепил в лицо крупными хлопьями, под ногами — слякоть, и машины расплескивали этот жидкий снег. В ту пору не сняли еще трамвайные рельсы, «аннушка» ходила по бульварному кольцу, и Пушкин стоял на прежнем месте. Или уже перенесли его? Евгений Степанович шел, нагнув голову, и переживал, что новое ратиновое демисезонное пальто — впервые в жизни такое соорудил себе, оно все еще стояло на нем, как на манекене,— обмякнет, обвиснет, потеряет вид. И, весь в этих мыслях, чуть не столкнулся с Леней, увидел его в самый последний момент. В черной не по росту флотской шинели (почему эта шинель на нем?), в очках... Раньше он не носил очков.

Сквозь стекла очков, сквозь годы Леня смотрел на него добрыми глазами блаженного, будто заново узнавал. А по стеклам сползали мокрые хлопья, и капало, и капало.

— Я ведь на тебя там подумал,— сказал Леня, словно все это вчера было, и Евгений Степанович не переспросил, о чем он, а надо было — это уж потом пришло в голову,— надо было не понять, удивиться. Но Леня не заметил, будто все годы вели они этот разговор.— И так и сяк думалось... После допроса сопоставляешь. Получалось — ты. Все сходилось. А потом мне показали. Знаешь, кто? Куликов. Ты прости меня. Я еще там решил: выйду — попрошу прощения. Самое страшное, что сделало с нами время, это то, что мы все друг друга подозреваем, готовы поверить.

Растроганный, Евений Степанович ничего не сказал, голос пресекся. Он только сделал жест слабого человека, которого ни за что ни про что могли обесчестить. И в своем роскошном пальто обнял Леню, горячо, благодарно расцеловал, холодные очки ткнулись ему в лицо, и капли с них повисли на его щеках.

Не раз в дальнейшем хотелось ему рассказать, как его чуть было не обвинили безвинно, но он знал людскую психологию, послушают, а про себя решат: «Значит, что-то было, зря не скажут, дыма, как известно, без огня...» И западет, и утвердится, и пересказывать начнут.

Под ровный гул моторов, под коньячок сосед-генерал рассказал пару благодушных анекдотов, не отстал и Евгений Степанович, в свою очередь, рассказал про замминистра, которого вызвали на дуэль. И съехались к назначенному часу секунданты, противник ждет, нервничает, а замминистра нет и нет. Вдруг прибыла секретарша. «Иван Прокофьевич просил начинать без него...»

Когда-то, когда Евгений Степанович делал первые шаги своей служебной карьеры, услышал он этот анекдот от замминистра, и звали того действительно Иван Прокофьевич, в чем и состояла добавочная соль. Не совсем случайно оказались они в одном купе вагона, Евгением Степановичем были приложены для этого соответствующие усилия. Он и бутылку армянского коньяка предусмотрительно положил в чемодан и, когда внесли чай в подстаканниках и увидел он, с какой скукой, как брезгливо поглядел замминистра на этот вагонный чай, решился: бутылку коньяка — на стол. Вскоре перешли на «ты»: Иван Прокофьевич дарил его начальственным «ты», Евгений Степанович почтительно говорил «вы».

— Ты, случаем, не храпишь? — укладываясь спать, спросил замминистра с должной прямотой. И после этого сам оглушительно прохрапел всю ночь. А перед Москвой, умывшись, побрившись и галстук повязав, перестал узнавать Евгения Степановича: вышел из купе, едва кивнув; на перроне его радостно встречали подчиненные.

Но неисповедимы пути Господни, и не дано людям знать, что их ждет впереди. Минуло время, и Евгений Степанович сел не куда-нибудь, а именно в насиженное Иваном Прокофьевичем кресло, а тот, уже персональный пенсионер такого-то значения, попросился к нему на прием, поскольку и на пенсии человеку все еще надо чего-то, не ему самому, так деткам, внукам. И был неожиданно быстро принят в прежнем своем кабинете, и обласкан, и напоен чаем с неизменными сушками, как сам он когда-то поил здесь не каждого, и опять они были на «ты», но только теперь уже в другом порядке: «Ты, Иван Прокофьевич...» — «Вы, Евгений Степанович...» А когда ушел он, растроганный, благорастворенный, поверив во все обещания и заверения, Евгений Степанович вызвал секретаршу, и было ей строго приказано: с этим человеком (он машинально указал на стул, где только что сидел посетитель) никогда больше его не соединять.

Очистив крупный, сочный апельсин и вытерев пальцы о скомканную салфетку, Евгений Степанович отделял дольки и клал в рот. Всхолмленным снеговым полем, осиянным с вышины, простерлись внизу облака, над которыми они летели. Где-то под ними, под облаками, день хмурился, где-то проливались на землю дожди, а здесь, в заоблачном мире, светило солнце. И только когда открывались окна в облаках и смутно виднелась в бесконечном провале земля внизу, вся в мягких складках, становилось ощутимо, что под их широкими креслами, в которых они сидят, перегрузившиеся едой, и беседуют,— десять километров пустоты.

Евгений Степанович опустил пластмассовую шторку иллюминатора: жарко было щеке от солнца, поверить трудно, что за тонким этим бортом полсотни градусов мороза. Как часто бывает после возбуждения, вызванного первыми рюмками, он почувствовал усталость, и надоел ему сосед, с которым они так приятно беседовали и даже обменялись визитными карточками. Отвалившись в кресле, он прикрыл глаза.

— Подремать? — спросил генерал, будто команду подал.

Евгений Степанович не ответил, мирно посапывал носом.

В аэропорту, как обычно, встречала жена, и шофер нес за ним чемодан. «Кто звонил? — спросил Евгений Степанович первым делом. Тревожных звонков не было, особо значительных — тоже. А дома ждала дочь, Ирина. Покачивая бедрами, большая породистая кошка,

рысь пушистая, она подошла, обняла его, надавила грудью, обдав запахом французских духов.

— Не наваливайся! — сказал он и хлопнул ее по заду.

— Да? Немедленно одерни!

«Красивая, мерзавка! — подумал Евгений Степанович, любуясь дочерью.— И знает, что красива, знает свое оружие».

И тут же перерешил: серебряные, с зелеными камнями, украшения — жене, черный, шитый серебром халат — Иринке.

Но торжество было на другой день, в Комитете. Все уже знали, что поездка прошла удачно, расценена положительно (Евгений Степанович успел представить все в выгодном свете и был похвален), и встречали его как героя. Способствовало этому еще и то обстоятельство, что председатель Комитета находился в служебной командировке, в одной из капстран, иначе само его присутствие сделало бы неприличным столь явное и одностороннее проявление всеобщего энтузиазма. Все, кто в этот день входил в кабинет Евгения Степановича и выходил из него, чувствовали себя сопричастными торжеству, словно бы повышенными в ранге, и в самом воздухе Комитета, где обычно к обеденному часу преобладали запахи столовой со второго этажа — запах жареной рыбы, тушеной капусты, томатной подливки,— распространялись сегодня флюиды и какие-то неясные надежды.

Подписав ряд бумаг, Евгений Степанович пригласил в кабинет своего молодого соавтора, который давно уже томился в приемной: тот успел приготовить несколько новых сцен. Внесли чай, бутерброды под салфеткой, и чтение началось. Евгений Степанович, загорелый на азиатском солнце, что совершенно незаметно было там, но резко отличало его в Москве и еще подчеркивалось белизной воротничка, слушал в крутящемся кресле, а мысль его нет-нет да и отвлекалась, блуждала по этажам и кабинетам, где сегодня утром он побывал, и вновь переживал он приятные мгновения, однако лицо его сохраняло выражение вдумчивое.

— Ну что же,— сказал он, когда чтение завершилось, и увидел испуганный взгляд своего соавтора, взгляд зайца. Это был страх не за себя, а за то, что себя дороже. Что же это, что они так ценят, ради чего собой готовы пожертвовать? Евгений Степанович испытал легкую неприязнь, некий укол в сердце, что-то похожее на зависть.— Ну что же... Прорисовывается... Неплохо, неплохо... Характеры намечены. У вас в двух экземплярах? В одном? Ну это мы распечатаем. Я хочу глазами пройтись по тексту. А вообще уже кое-что есть...

Тут со срочным делом вошел Панчихин, и Евгений Степанович, удалясь с ним к столику с телефонами, выслушал негромкий доклад, во время которого Панчихин раза два строго взглянул сквозь очки на юношу. А потом, не отпуская Панчихина, заканчивал при нем разговор с молодым драматургом, прохаживаясь вдоль стульев:

— Смелей надо, смелей. Задача искусства — смело вскрывать причины. И осмыслять. Что же мы будем показывать следствия. Надо глубже копать. Не на полштыка, а на всю штыковую лопату! Смелость — вот что в искусстве отличает художника.

И в этот момент, когда он так говорил при слушателях, он сам в это верил. Это была привычная естественность лжи, которую он уже не замечал. И вскоре по коридорам Комитета зашелестело, передавалось из уст в уста: что-то произошло «наверху». Смелей надо, смелей, глубже копать требовал сегодня Е. С., так его, по аппаратному шифру, называли в кулуарах.

И Панчихин в этот день говорил драматургу, чья пьеса уже с год лежала без движения, поскольку автор коснулся в ней того, чего

касаться не принято, говорил, как свое собственное, выношенное убеждение, которое он устал повторять:

— Ну что же мы будем копать на полштыка?.. Задача искусства не в том, чтобы регистрировать следствия. Причины смело вскрывать — вот чего нам сегодня не хватает.

И лениво перекладывал страницы.

— Мой принцип простой: мы сидим здесь и смотрим, чтобы каждый ловил одного мыша. А кто двух ловит, даем по рукам. У вас же, простите великодушно, и мышонка не наблюдается в поле зрения, не за что давать по рукам.

И пошли телефонные перезвоны, из стен Комитета вынеслось наружу, повторяли одну и ту же фразу: «Глубже, глубже надо копать...» Еще не ясно было, кем она сказана, откуда спустилась, но уже сам факт, что одна и та же фраза приходит из разных источников, повторяется разными людьми, говорил о многом. И укреплялся желанный слух: зреют важные перемены.

Глава XIII

Считается, юность — золотая пора. Но юности своей Евгений Степанович не любил. Хорошего, чтобы вспомнить без стыда, было мало, унижений много. Особенно после того, как отец бросил их и они жили, как заклейменные. Он и матери запретил приходить в школу, казалось, по одному виду ее несчастному все сразу поймут. А все и так все знали. И никого из одноклассников он никогда не звал к себе домой: запах детской мочи от соседей, керосиновая гарь и мыльный пар (вечно на их общей кухне что-то варивалось, кипело, заливало керосинку) — неистребимый этот запах бедности застрял в носу, он уже не знал, кажется ему или он действительно насквозь пропах им, от себя чувствовал на морозе этот запах, случалось, подходя к школе, расстегивался, чтобы выветриться, глянет — нет ли кого поблизости? — и потрясет полами, а то и вовсе снимал пальто, под мышкой нес, вроде бы закаляется. И все равно пугался и краснел, если кто-нибудь из мальчиков начинал слишком пристально приглядываться к нему.

Да с ним ли это было, в его ли жизни: раздвинутый во всю длину обеденный стол в большой столовой, блестящая от утюга крахмальная скатерть, и во главе стола — отец, маленький и оттого особенно значительный. Он медленно прожевывает, медленно говорит, и каждому его слову мать внимает как откровению. А днем, в пустынной столовой, когда отец был на работе, он раскатывал по навощенным полам на трехколесном велосипеде — какой же величины была эта их столовая? Натирать полы раз в две недели приходил полотер дядя Петя, размазывал из ведра по полу желтую мастику и, пока она подсыхала, шел на кухню покурить; в доме пахло сырым дубом, мастикой, а из кухни махоркой. Покурив, дядя Петя разувался, снимал сапоги, впихивал портянки в голенища, ступни его ног были такие же желтые, как мастика в ведре. И начинал растанцовывать: руки вольно за спину, одна нога с надетой на нее щеткой ходит-машет перед ним поперек пути, туда-сюда, туда-сюда; другая, которой он подпирается, переступала, то пальцами захватит, то пяткой вперед, то пальцами, то пяткой. Тогда еще не было электрических полотеров, был дядя Петя. И широкой рекой по навощенным полам разливался за ним сияющий свет.

И уж вовсе несбыточным казалось, что и это было с ним, в его жизни, а не с другим кем-то: швейцар, похожий на адмирала, почтительно открывает перед ним двери, и он, независимо размахивая

портфелем, идет по мраморному вестибюлю среди иностранного говора, сам входит в медленный лифт, там уже стоят двое-трое иностранцев, и он снизу вверх спокойно разглядывает их, пока лифт поднимается. Он выходит, идет по ковровой дорожке, белоснежные горничные что-то протирают, начищают, сдувают... У этого времени был и цвет и свет особый: алый цвет бархатных занавесей с кистями, тяжелый блеск начищенной до золотого сияния бронзы. Как-то прошел он мимо этих навсегда закрывшихся для него дверей, и швейцар не узнал его.

Он думал иногда, возвратясь из школы, один сидя в комнате: чего бы он хотел, если бы загадать и сбылось? Отрезав черного хлеба, напрессовав его в сахарном песке и сверху еще насыпав горкой, он загадывал: вот если б ему на день килограмм чайной колбасы, не любительской даже, а дешевой чайной, остро пахнущей чесноком, и чтобы не отрезать, как мать отрезает экономными тоненькими кружочками, а откусывать от цельного круга... Килограмм чайной колбасы, килограмм пышного белого хлеба. Нет, лучше французские булочки, горячие, чтоб холодное масло таяло на них... И нередко случалось, вернется мать с работы, разогреет на кухне суп, а хлеба в буфете нет, весь хлеб съеден. «Ну, забыл, забыл, понимаешь, забыл! — сразу же начинал кричать он.— Уроков черти сколько задали, можешь ты это понять? Забыл!..»

Все в классе знали, что он нравится Вере Кизяковой, и он тоже знал это и стыдился ее. Вера жила в бараке. Беленькая, волосы, как солнечная паутинка, гладко зачесанные, кожа на лице прозрачной белизны, все жилочки на висках просвечивают. Как-то пришла на уроки, вся заплаканная: соседи подрались, опрокинули со зла тарелку щей на ее тетради. В промерзающем засыпном бараке, в одной комнате три семьи теснились, за общим столом ели, за этим же столом, на уголке, готовила она уроки.

Но однажды — было это уже в девятом классе — он зазвал Веру к себе домой. За день до этого они ходили с Борькой Пименовым купаться на Москву-реку. И уже возвращались, шли вверх от берега, когда их окликнули. Три женщины загорали, и что-то постиранное было развешано на кустах. Ослепительно-белые, совершенно нагие, лежали на траве и с хохотом звали их. Они испугались, убежали, и после стыдно было смотреть друг другу в глаза, читать свои мысли. Он промучился ночь, весь следующий день ходил, как слепой, и тогда зазвал к себе Веру Кизякову. Все происходило поспешно, оба были напуганы, а в коридор в это время выкатились соседские пацаны, и один из них, побиваемый, рванулся к нему в дверь, ища спасения.

Потом он бегал от Веры, панически боясь последствий, о которых был наслышан. Она высматривала его, поджидала, но он выходил из школы только с ребятами вместе, один не появлялся. Последствий, к счастью, не было, но страху он натерпелся. И вот когда все обошлось, собрались однажды ребята у Борьки Пименова в его огромной квартире с дубовыми, до блеска натертыми полами, по которым лениво похаживал из комнаты в комнату, постукивал когтями огромный дог. Они на спор толкали гири, отжимались от пола, кто больше, расхвастались друг перед другом. Ему особо похвастаться было нечем, и тут само как-то так получилось, он не хотел, но просто чтоб не отстать, рассказал про то, что было у него с Верой Кизяковой. Ему не поверили — «Врешь ты все!»,— выпытывали подробности. И после этого ребята стали льнуть к Вере, притискивали ее, он не замечал. И гадок он был себе, тем особенно гадок, что Вера все поняла, он как-то перехватил ее взгляд, когда Борька Пименов нарочно при нем тискал ее. Все этим взглядом она ему сказала.

А потом была война. Впрочем, он уже тогда учился в институте, на первом курсе, у него отросли небольшие мягкие темные усики, приятно было поглаживать их пальцами, и фразу он обычно начинал со слов: «Видишь ли...» Какой подъем был в первые дни войны! Как дружно они все шли в ополчение, как рвались на фронт. На митинге старый их профессор говорил срывающимся на плач голосом, вздымая над собой сухонький кулачок:

— Пусть меня понесут впереди на носилках!..

После небольшого кровоизлияния в мозг он слегка приволакивал ногу.

— Пусть меня понесут, за мной пойдут все!..

Свою легковую машину он отдал еще до того, как начали мобилизовывать транспорт, и на лекции его привозила на трамвае племянница.

Им раздавали оружие прямо из ящиков, стоявших на земле, они подходили по очереди, им вручали винтовки и патроны. Ему досталась австрийская винтовка с тяжелым окованным прикладом, сохранившаяся еще с той войны, к ней полагался, так помнилось ему, ножевой штык, но штыка не было. Из руки в руку передал ему винтовку некий товарищ в военной фуражке, военной гимнастерке без знаков различия и в полосатых гражданских брюках, вручил и напутственно хлопнул по плечу свободной рукой. И каждому он так вручал винтовку и хлопал напутственно: кого по спине, кого по плечу. В осенний беспросветный день в сырой землянке, когда пошли слухи, что где-то на фланге немцы наступают, обходят, вспомнит все это Евгений Степанович, и подумается, что тогда уже, с самого начала определилось, кто будет вручать и напутствовать, а кто пойдет с оружием в бой.

По четыре в ряд сборными колоннами, придерживая винтовки на плечах, во всем домашнем, еще не приладившиеся ни к строю, ни к песне, шли они посреди улицы, сандалии, ботинки, полотняные, начищенные зубным порошком туфли топали недружно, не в лад, полоскались на ногах полотнища брюк, а командиры — кто гордо впереди строя, а кто сбоку — все какого-то не военного, осоавиахимовского вида, уже покрикивали для порядка, и москвичи останавливались на тротуарах, смотрели вслед.

Мог ли он думать тогда, что все так быстро рухнет, и в октябрьской, покидаемой жителями Москве, холодной и темной, к которой подступали немецкие армии, а по улицам носило пепел сожженных бумаг, он будет разыскивать отца, найдет, пробьется к нему, и тот, увидев его, испугается: не за него, за себя. Он понял его испуг:

— Не бойся, я не дезертир. Я вышел из окружения.

Отец поспешно прикрыл вторую дверь кабинета.

— Тише! Здесь не кричат.

Ящики стола раскрыты, отец уничтожал бумаги. И, пробиваясь к нему, к сердцу его, торопясь, стал сын рассказывать, как все там у них произошло, как в последнюю полуторку, в набитый кузов, запрыгивали на ходу, а те, кто не успел, бежали следом по песчаной лесной дороге, хватались руками за борта, а их по рукам, по рукам били, по пальцам. Сенька Конобеев единственный впрыгнул, смог, пальцы измочалены в кровь, а на лице не злость, не обида — счастливая благодарная улыбка. Так бы и его отпихивали, не успей он раньше других втиснуться в кузов, к самой кабине. А ночью, в ледяной воде, когда вброд переходили реку и самый маленький ростом соступил в яму, вынырнул, закричал с испугу, его пхнули в затылок: тони молча! И он утонул бы. Жизнь человеческая в такие моменты ничего не стоит, он был там, видел это.

И показалось, отец проникся, прочувствовал, понял. Тогда он осмелился попросить: сейчас набирают в военно-медицинскую академию, еще не поздно, если отец позвонит...

Истощенный, зеленый, жалкий, стоял он по ту сторону стола, где стояли просители и подчиненные. На фронте, куда пошли слухи о немецком наступлении, он видел, как один их студент тайно ел стиральное мыло, срезал ножичком и ел, мыльная слюна пенилась на губах. Он тоже в последние дни, уже не надеясь разыскать отца, ел стиральное мыло, и его проносило с кровью: это на тот случай, если задержит патруль.

Отец нагнулся, захлопнул один ящик, другой, прикрыл дверцы стола, а когда распрямился, это был другой человек, официальный, четкий, чуждый каких бы то ни было посторонних чувств:

— Товарищ Сталин послал на фронт своих сыновей! — сказал он громко не только ему одному, но и всему, что в этих стенах могло слышать.

И сын забормотал ошеломленно:

— Я пойду... Я был... Я не отказываюсь...

Взмолился:

— Пойми, один человек там ничего не решает! Я даже не обучен. Зато после академии, потом...

Отец молчал непреклонно. И сын понял, если он погибнет, отец переживет это: он выполнил свой долг перед родиной, отдал родине сына. И в тот момент он возненавидел своего отца и весь его порядок, при котором жертвуют сыновьями. Мог ли он думать, что, прожив жизнь, еще позавидует отцу, тосковать будет по этому незыблемому порядку.

Что не сделал отец с огромными его возможностями, сделала мать, у которой не было ни связей, ничего у нее не было. И ведь она не одобряла его, он видел, если бы его забрали на фронт, она, жалея его и любя, приняла бы это как должное. Что-то незнакомое до этих пор, покорность высшей силе, которая в общей беде уравнивала ее со всеми, сделала ее другой. Но и сказать ему — «Иди, воюй!» — она не могла. И вместе с ним прошла весь позорный его путь, о котором он никогда не вспоминал и никому не рассказывал. Это со временем и отдалило его от матери.

Ночью на вокзале их пустили в санитарный поезд. Как мать умоляла начальника поезда, как умолила его, он не знал, но их пустили с их вещишками, среди ночи в тесном купе под стук колес кормили горячим борщом, и был вкусен этот борщ с кроваво-красными от свеклы кусками мяса, кажется, ничего вкуснее в жизни своей он не едал. А после страшно мучился животом, в воспаленном его кишечнике ничего не задерживалось.

Один раз он осмелился, вылез из купе, прошелся по вагонам. С верхней полки свесилась круглая голова, остриженная под машинку.

— Герой! Ты чего не на фронте?

Раненый был его ровесник, а может, и моложе его; грудь замотана бинтами, рука в гипсе. В подрагивающем на ходу поезда солнечном луче золотилась пробившаяся щетинка на крепком подбородке, на смуглых скулах, а светлые глаза набрякли оттого, что свесился сверху, оттуда смотрел. «Я был там!» — хотелось сказать Жене, но почувствовал, как лживо это здесь прозвучит. И голос блудливо завилял:

— Вот еду призываться...

— Призываться... Играться! Защитничек...

Больше он не вылезал из купе и только поражался, что временами в вагоне раздается смех, не обходили они вниманием и сестричек, а о борще, который разносили в обед, говорили больше, чем о фронте. Наверное, они были примитивно устроены, не способны осмыслять происходящее, ту беду, которая нависла над страной. Не испытав сам, он не понимал, что каждый из них сделал то, что долг велел, оттого и в ладу со своей совестью, приведется, вновь пойдет туда же, откуда не каждому вернуться живым суждено, а бередить зря чью-то душу — не мужское, не солдатское это дело.

И был потом бесконечный путь вверх по Каме. Пароход, набитый беженцами, шлепал по реке, темная холодная вода заплескивалась на палубу, встречный ветер обдавал пресными брызгами. И среди узлов, среди вещей — замотанные, закутанные от холода люди: сидят, лежат, спят, сжавшись. И этот кудлатый крепкий старик, положив чемодан на колени, закусывает не спеша, как на столе:

— Чего отступаем? Жиды с фронта бегут!

На глазах голодных людей, он резал ножичком вареное мясо, розоватое внутри, вволю отрезал себе хлеба, сочно грыз луковицу.

— Да я первый палку возьму и его, подлеца...

Он закашлялся, подавившись, заперхал, заперхал крошками, а Жене Усватову и тех крошек, вылетавших у него изо рта, было жаль, так он изголодался, обессилел весь. От вида мяса, от запаха хлеба и лука все его нутро воспаленное изнывало, сжималось больно.

— ...первым палку возьму: не беги, стой, где поставлен! Привыкли за чужие спины прятаться, чтоб другой за них голову клал.

Под бешеным его взглядом в страхе каменела еврейская семья: мать, дочка, бабушка. Евгений Степанович, разумеется, был не еврей и совершенно не похож, но он так отощал, так плохо выглядел, что на всякий случай сидел, не поднимая глаз. И в самом деле, стал он замечать, что на пароходе набилось многовато еврейских семей. И был парень его возраста, худой, навсегда задумавшийся, лицо желтое, жидко обросшее, он закрывался поднятым воротником, то ли нос свой озябший закрывал, то ли загораживался от ветра, одни очки блестели. Он тяготел к Усватову, к ровеснику своему, чтобы держаться вместе, но тот как раз этого избегал. И от семьи от этой отсел подальше, само как-то так получилось.

А пароход все плыл и плыл под низкие темные тучи, встававшие над холодной водой, плыл под них в безвестность. Прошлого не стало, в будущем ничего не ждало, и с берегов наплывали слухи, один тревожней другого. И вот странная особенность памяти: осталось так, будто старик этот и в самом деле пристукивал по палубе тяжелой суковатой палкой, даже рука его узловатая, вся из набрякших мослов, виделась. Но палки не было, Евгений Степанович помнил точно, и он объяснил себе это живостью воображения.

И там же, на пароходе, когда совсем уже оголодали и нечего из вещей было променять, чужая женщина подала им по куску хлеба. Отвернувшись от посторонних глаз, чтоб не завидовали, она отрезала себе с дочкой, но почувствовала взгляд: он смотрел голодными глазами. И не удержалась, не совладала с собой, отрезала ему и матери от единственной своей буханки хлеба. Но мать сказала:

— Мы не можем взять, нам отдать нечем. Разве что ему маленький кусочек...

— А вы не мне, вы кому-нибудь потом отдадите...

И на этом, поданном ей в голодную пору, куске хлеба мать свихнулась окончательно. Сколько ей суждено было прожить, все эти годы отдавала, отдавала свой долг и никак не могла отдать.

Эвакуированных встречали на пристани в маленьком городе ме-

стные жители, разбирали по домам, по семьям, проникнувшись общей бедой, а их с матерью пожалела молодая солдатка, увидела, как они, сойдя с парохода, стоят неприкаянные. Она жила в бараке в большой комнате, были там кровать, стол, комод с зеркалом, швейная машина под вязаной накидкой, а на стене в большой рамке — увеличенная фотография, два напряженных скуластых лица: она с мужем. Она нагрела воды, и он, и мать впервые за долгое время искупались по очереди в корыте, поставленном у теплой печи, которая топилась из коридора. И заснул он на полу, на подстеленном полушубке, впервые за долгое время так хорошо, так покойно спал за тысячу верст от войны, будто провалился в мир и тишину. И живот с того дня странным образом успокоился.

Хозяйке было лет двадцать пять, не больше, как потом он по воспоминанию понял. Но оттого ли, что война сделала ее самостоятельной и свою, женскую и мужскую долю взяла на плечи (а была она не так чтобы крупная, но крепкая, полная и лицом красива, так ему, во всяком случае, казалось), он рядом с ней выглядел совершенным заморышем. Скажи он, что был уже на фронте, из окружения вышел, она бы не поверила. А если б поверила, другой был бы спрос: что ж это он, призывного возраста,— в тылу, а не там, где его сверстники, где ее муж, от которого не было вестей?

Когда она, раздевшись в тепле, в одной ситцевой блузке с короткими рукавами, в сатиновой юбке на сильных бедрах, опахнув его запахом разгоряченного тела, то на мороз выскочит, то в печке шурует, то простирнет что-либо в деревянном корыте, и все — быстро, споро, на лету, он каждое ее движение взглядом сопровождал, пьянел, она ему ночами снилась, и это были тяжелые сны.

Но тут в городок прибыл полк, разбитый, потерявший тяжелое вооружение: заново формироваться. И в барак стали захаживать командиры, приносили паек, выпивку, оставались ночевать. Он слышал, как женщины откровенно обсуждают их, сравнивая, кому больше повезло. И однажды она сказала строго:

— Ну что, поночевщики, так и будете жить у меня?

И они с матерью перебрались в холодный коридор, куда выходило множество дверей, жались к топке: найти жилье в маленьком городке, забитом войсками и беженцами, было не так-то просто.

Как-то раз командиры и соседки собрались у нее, жарили на керосинке картошку на постном масле, ах, как пахла эта жарящаяся картошка! Отчего-то он надеялся, что его тоже позовут. Мать, конечно, не позовут, зачем она там, но он надеялся.

До полуночи шло веселье, а когда расходились, он видел, ушли не все. Утром на крыльце она сливала из ковша на жилистую шею капитана, и тот, в нательной рубашке, отфыркивался на морозе, что-то говорил ей, а она смеялась, у Жени все холодело в груди от этого ее смеха. И ростом этот капитан был ниже ее, и старый какой-то.

Проводив его и сама уходя на работу, она вынесла им с матерью остатки разогретой и вновь остывшей картошки, на блюдечке вынесла, что осталось, как кошке какой-нибудь. И он ел, стыдясь и ненавидя себя, ел, потому что был голоден, сидел в коридоре, у топки, на старом свернутом ватном одеяле, которым они с матерью укрывались ночью, и ел эту недоеденную, из милости вынесенную ему картошку.

Не знал он тогда, что еще суждено ему попасть на войну, но путь его туда будет долог: через училище, через запасные голодные полки, где формировались и уходили, формировались и уходили на фронт маршевые роты, а он провожал их. И поспел он уже к самому

разбору: с тремя звездочками на погонах прибыл прямо в Вену. Но и ему в дни всеобщего торжества, когда ничего было не жаль, ему, находившемуся при штабе армии, тоже выдали орден, не самый главный, но все же боевой орден на грудь, чтобы не стыдно было домой вернуться.

Через много лет после войны отец разыскал его, вызвал телеграммой. За всю преданность не миновало и его то, что остальных, преданнейших из преданных не миновало: очередь подошла по разнарядке, а может, знал много. Лет семь отсидел он. был выпущен после XX съезда, о котором тем не менее говорил с ненавистью. Жил он в Болшеве, под Москвой: то ли снимал, то ли из милости пустили на терраску, в эдакий застекленный голубятник на втором этаже, куда снесли всякий ненужный хлам, старую мебель. В собственную квартиру он не был впущен. Вторая жена, ради которой он и бросил их с матерью (была она достаточно еще молода, как говорится — в теле), приоткрыла дверь, увидела старца стриженого, беззубого, стоит на лестничной площадке с авоськой в руке, а в авоське — селедка в промокшей газете да бутылка боржома. Увидела, узнала, выйдя (так пересказывали Евгению Степановичу), загородила собою вход, только в щелочку успел он увидеть подросшую дочку в глубине квартиры. «Не порть мне жизнь, ясно? Иди, не порть нам жизнь!» И не впустила в дом, был у нее там кто-то.

Жила бы на свете мать, она бы и простила, и пригрела, и обмыла, и ухаживала бы за ним до конца дней, добровольно возложив на себя этот крест. В ней, никогда мухи не обидевшей, все сильней с годами укреплялось сознание своей вины перед людьми. Но матери уже не было.

Поздней осенью приехал он к отцу за город. Долго искал, нашел. Было холодно, отец лежал на железной койке, одетый и поверх еще укрытый ватным одеялом, только мальчиковые ботинки его торчали наружу. И хоть в мелкозастекленной террасе позванивали стекла и подували сквознячки, поразил исходивший от него тяжкий запах. Евгений Степанович сразу увидел, жить отцу осталось недолго, виски втянуты, по руке хоть анатомию изучай, все связки, все кости видны. Глаза, ушедшие глубоко в глазницы, блестели, у него был жар.

Отец лежал, а он сидел около него на истертом задами, когда-то мягком канцелярском стуле, из-под обивки которого вылезли потроха. И даже под конец жизни окружали отца канцелярские вещи: стол письменный, залитый чернилами, двухтумбовый, с прибитой овальной жестяной биркой, остов канцелярского шкафа. Он смотрел на отца и жалел в душе, что поддался чувству, приехал. Оставлять его здесь нельзя: осень, холодно. А взять некуда, он сам не так давно вошел в семью.

И еще он думал о закономерности такого конца: революция пожирает своих детей, кем-то давно это сказано. Впрочем, к революции отец практически никакого отношения не имел, он служил грозной власти, и до поры до времени власть одаряла его. Но какой страшный контраст: раздвинутый во всю длину обеденный стол на зеркальном, натертом босой ногой полотера паркете, белая крахмальная скатерть, отец во главе этого, словно бы на века накрытого для него, стола, где каждому его слову внимают, и вот — умирание среди ненужного хлама, на чужой койке, немытый, тяжко пахнущий...

— У тебя внук родился,— и сказал это почему-то громко. Отец не ответил, лежал на спине, мял пальцами край одеяла, плоские белые пальцы, в них тоже был жар.

— Ну? — спросил он спустя время.— Выпустили джинна из бу-

тылки? Выдернули камень? А он и был, тот камень, краеугольным. На нем все здание держалось. Как теперь будете жить?

— Он тебя посадил, и ты же его оплакиваешь! — поразился Евгений Степанович.

— Дурачки вы, дурачки! Разоблачили... Кровь кровью смывают. И еще не раз будет кровь. Всех забудут, а он останется! И через тысячу, и через две тысячи лет. Он знал, что делал. А вы даже имени его боитесь.

Когда он уходил, отец достал бумажник из-под подушки, долго слабыми пальцами рылся в нем, вынимал какие-то бумажки, просматривал, опять прятал, казалось, что-то хочет дать ему или о чем-то попросить. Бумажник спрятал под подушку, приказал:

— Умру, добейся, чтобы меня вскрыли. Не хочу проснуться там живым. Обещай!

Он пообещал, но просьбу не выполнил: когда отец умер, он был в командировке. Правда, дела уже кончились, но пришлось задержаться: возникли трудности с билетом. Да и знал он — не проснется отец, нечему там просыпаться, в нем и живом уже не было жизни.

Глава XIV

Минувшая зима была тяжелой, и вышел из нее Евгений Степанович, как из болезни. Теперь уже трудно установить, где, когда, да и вообще сделан ли был неверный шаг. А может, и не в шагах дело, жизнь наша — полосатая, наедет, накатит такая полоса, и все сразу сойдется. Чутье не обманывало его, начинались неприятности по работе, что-то зрело подспудно, и первые грозные признаки обозначились: его дважды обошли приглашением туда, где ему положено быть по рангу. Случайно такие вещи не бывают, завистники рыщут. И вот в этот ответственный момент, когда все напряжено, когда мысль должна сосредоточиться на главном, теща покончила с собой. Чтоб отомстить.

Она вообще была со странностями, возможно, даже — с известными отклонениями. Года три уже, как они с Еленой были женаты, и вдруг теща надевает очки: «Женечка, можно, я вас рассмотрю?» И вглядывается нос к носу. Оказалось, она до сих пор не знала его в лицо — настолько была близорука,— могла спутать на улице, однажды действительно прошла мимо, он только удивленно посмотрел вслед. Но очки упорно не носила, потому глаза были незамутненные, ясные, детски восторженные, это уж свойство характера. Елена, слава Богу, пошла не в нее. Один из многочисленных домашних анекдотов, ходивший про тещу, был о том, как на базаре вместо куриных она чуть не купила гипсовые яйца, которые подкладывают под несушку. И торговалась, почему, мол, такие дорогие?..

От Елены он знал, что в самые страшные годы, когда посадили ее брата, известного хирурга, а следом — и жену его, и сына, ее племянника, она стала носить в сумочке портрет Сталина в знак преданности и — безопасную бритву, чтобы, если и ее будут брать, вскрыть себе вены. Видно, уже тогда повихнулась, мысль эта у нее зрела давно.

Тайными путями передали ей письмо племянника, кто-то безымянный опустил в ящик в Москве. «Манечка,— просил он,— если можешь, пришли посылку, хоть сухарей насуши, я тут погибаю. Посылаю тебе травку, которая будет расти на моей могиле, другие здесь не растут...» Но она испугалась, сожгла письмо: последнее, что оставалось от него на этом свете. И грех свой отмаливала всю жизнь, не могла себе простить.

В принципе против тещи он ничего не имел, хотя посторонний человек в доме всегда создает некоторые неудобства. Серьезных разговоров при ней не вели, а если вдруг входила, умолкали: по глупости она могла разболтать. Возненавидел же ее, когда узнал, что Елена ему изменяет. Она жила (слово это «жила» особенно резало по душе), его жена жила с Коковихиным, влиятельным стариком, от которого (и это тем более неприятно было сознавать) зависели первые шаги его карьеры. Евгений Степанович допытался: происходило все в служебном кабинете, верней, позади кабинета, в комнате отдыха, здесь совершалось, потом он и диван этот видел. Ничего не подозревавший, он был приглашен к Коковихину, состоялся доброжелательный разговор, барственно, покровительственно держал себя тот, а дверь в заднюю комнату была приоткрыта, и он увидел сквозь щель роскошный, кожаный, лоснящийся на солнце, пышный диван. Вечером, за ужином, взволнованный открывшимися перспективами он — дурак такой! — пересказывал Елене разговор, который она же и подготовила, упомянув игриво про этот мягкий диван в том смысле, что не старику бы такие удобства и тому подобное. Что-то промелькнуло у нее в глазах, какое-то такое выражение, он после сопоставил.

Мучаясь ночами и ее мучая, он выпытывал подробности, случалось, и сам от них возбуждался, а потом еще больше ненавидел. Наверное, и диван этот был показан ему, чтобы окончательно унизить. Несчастье творческого человека в том и состоит, вновь и вновь думал Евгений Степанович, что он все представляет слишком зримо. И даже эту кожу дивана, холодную для голого тела, ощутил... Только когда Коковихин загремел со всех постов и его в одночасье разбил удар, инсульт, и полупарализованный, мычащий что-то неосмысленное, он тем не менее каждое утро собирался «на работу», и ему подавали вычищенные ботинки, галстук, пиджак, во всем этом он шел до дверей, чтобы на том и успокоиться, только когда это случилось, они с Еленой помирились окончательно: того, что было, как бы не стало. Но тещу он с тех пор переносил с трудом: знала, не знала — могла знать. Ее дочь. Он ненавидел свидетелей своего позора.

Зимой теща охраняла дачу, кормила собаку, встречала их, когда они приезжали на субботу и воскресенье, на уик-энд, как теперь говорилось: подышать воздухом, походить на лыжах. «Завидую вам,— говорил он в понедельник утром, усаживаясь в машину, отъезжая с удобствами,— солнце, снег, сосны... Таким воздухом дышите!»

Теща побаивается его, он замечал не раз, как за столом потянется рукой к хлебу и под его взглядом отдергивает руку. Разумеется, он не следил специально, что ему, хлеба жалко? Просто естественное движение глаз, когда что-то движется мимо. Белая, почти без вен, не по годам молодая рука с коротко обрезанными ногтями, она отдергивала ее от хлебницы. И фраза ее, однажды сказанная дочери: «Лучше жить у сына под столом, чем у зятя за столом...»

Случилось так, что она упустила котел, разморозила батарею в угловой комнате. Но главное — ложь, ложь, которая вскрылась, вот что самое отвратительное.

В каждой семье есть то, о чем не упоминают, иначе жизнь станет невозможной. У них был сын Дмитрий. Они долго подбирали ему имя, созвучное отчеству. Туго спеленутого столбиком (одна голова наружу) его приносили кормиться к груди, а они уже думали о его будущем, заранее готовили к тому времени, когда к нему будут обращаться по имени-отчеству. И шли записки от Елены из роддома — к нему, от него — к ней. Наконец согласились: Дмитрий Евгеньевич. Звучало хорошо.

Дмитрий был высок ростом, выше отца на голову, красивый парень, спортсмен, умница. У него был абсолютный слух, в шесть, в восемь лет он сочинял песенки, сам подбирал на пианино, но песенки песенками, а учителя уверяли, что его ждет карьера блестящего пианиста. Теперь бы это все, когда Евгений Степанович располагает такими возможностями! Но, играя с мальчишками, Дмитрий нашел запал от гранаты (скорей всего, мальчишки нашли, установить ничего не удалось), запал взорвался, и Дмитрию оторвало на руке мизинец и безымянный палец. И он в двенадцать лет не домой побежал, как сделал бы каждый ребенок, а, сопровождаемый мальчишками, сам пошел в больницу, там ему все обработали, сделали перевязку, и он сознательно дал неправильный телефон родителей, чтобы не могли дозвониться, вот такой характер! Боялся, что его будут ругать, поскольку теперь не сможет играть на пианино. И рассказал только бабушке. И эта дура старая раскрылилась, как курица, собою заслоняя его. Излишне говорить, что у Евгения Степановича все это не прибавило к ней чувств, даже Елена, а следом Ирина перешли с ней на «вы».

Дмитрий обладал золотым качеством, которое в жизни открывает многие двери: он располагал к себе людей. И это давалось само собой, он не прилагал никаких усилий. Но чаще всего это были ничего не значащие люди. «Пойми,— говорил ему отец,— тех, кому ты нужен, легион. Помани только, и навесят на тебя все свои горести и болести, подставься, и вспрыгнут на шею. Ты людей не знаешь».

Он рассказывал сыну, как в одной из поездок, в автономной республике, на прощальном банкете распорядитель шел за спинами и показывал официантам, кому что следует подавать: «Щай, щай...» И почтительно: «Кюмис!» Так вот хочешь, чтобы тебе подавали кумыс, приглядывайся к жизни.

И все же временами с горечью замечал: в той среде, где он свой человек, Дмитрий тускнеет, тяготится, а главное, его не чувствуют своим. И даже на Евгения Степановича поглядывали недоуменно: его ли это сын? Но Евгений Степанович не сомневался — молодость пройдет, а жизнь сама уму-разуму научит, она не таких обламывала. Верно кем-то сказано: кто до двадцати пяти лет не был либералом — подлец, кто и после тридцати все еще либерал — идиот. Дмитрий был парень с головой, и его ждало большое будущее, особенно если учесть, что и отец его не последний человек в государстве, где все так или иначе связаны между собой. Тысячелетний этот порядок вещей не нравится только тем и только до тех пор, пока сами рвутся к креслу, но, сев, постигают быстро, что жизнь неглупо устроена и порядок надо не разрушать, а укреплять. Да, Дмитрия ждало будущее, а вместо этого — глупая женитьба. Маленькая, хищненькая дрянь (Елена все разведала про нее, все вызнала, собрала необходимые сведения), маленькая дрянь эта схватила их сына, нарочно поскорей забеременела, чтобы уж не выпустить его из рук.

А уже была присмотрена девушка их круга (там как раз расстроился неудачный роман), и как-то, сидя с ее отцом в президиуме весьма важного совещания, а потом, в перерыве, в комнате президиума закусывая бутербродами с белой рыбкой, держа тонкие эти бутерброды в пальцах, разговорились, и дело начало слаживаться. Вскоре в театре места их случайно оказались рядом: девушка с матерью и отцом, Дмитрий с отцом и с матерью. Старомодно? Ничего. Потом перезвонились по телефону: Дмитрий произвел благоприятное впечатление. Словом, перспективы на будущее открывались прекрасные: с одной стороны — Евгений Степанович, с другой — ее отец. Такое сложение сил... И вдруг выясняется, Дмитрий даже толком не разглядел ее и вообще слышать о ней не желает, а намерен преподнести им

родственников откуда-то из Молдавии, из Бендер. Да если на то пошло, в какое положение он ставит их, подумал он, как его отец будет выглядеть перед отцом той девушки? Это же оскорбить, наплевать в лицо, такое не забывается!

За день до того, как Дмитрий собирался привести в дом свою так называемую невесту, представить родителям, Евгений Степанович решил поговорить с ним кардинально. Конечно, лучше было бы, чтобы Ирина вразумила его, брат и сестра легче поймут друг друга, но, к сожалению, между ними мало общего, результат мог получиться обратный. Решили, поговорит он, и он сразу взял быка за рога:

— В чем, в чем, но в антисемитизме, в позорном этом явлении, меня, как ты знаешь, упрекнуть нельзя. Скорее наоборот. Да, у них есть определенные черты, которые раздражают. И тем не менее, если посчитать, у нас в Комитете предостаточно лиц определенной национальности...

— Ты посчитал?

— Мне не надо считать, есть, кто считает, мне уже указывали на это. Но я сказал: для меня главное не фамилия, а деловые качества.

— Я знаю, ты рассказывал много раз.

— И придерживаюсь этого принципа. Три года мы сидели в аудитории на одной парте с Леней Оксманом, и только чудо спасло меня, когда его арестовали. Мы с ним дружили в годы, когда...

— Отец, у каждого антисемита есть свой любимый еврей.

Евгений Степанович отложил газету, которую он как бы читал, когда Дмитрий вошел к нему.

— Я не осуждаю тебя, я понимаю: чувство сильнее разума. Особенно в твои годы.

Он сел на тахте, босые по-зимнему белые ноги искали тапочки, возили ими по полу. В квартире было тепло, и дубовый, хорошо навощенный паркет был теплый, живой, приятно ступить босой ногой. Он заранее продумал их разговор, мысленно поставил всю мизансцену. Можно было говорить умудренно, с позиции прожитой жизни, но он чувствовал: это не годится. Можно было поговорить строго, в конце концов это его сын, его судьба им небезразлична, да и жить они, наверное, собираются здесь, в их квартире. Евгений Степанович выбрал иной вариант: это будет домашний разговор отца с сыном, возникший как бы случайно. Важно создать момент откровенности. И он специально надел халат, который ему подарили во время декады какой-то из республик в Москве, теперь он уже не помнил, какой именно: много было декад и много поездок. Но что-то в этом продуманном, поставленном и мысленно проигранном на две роли разговоре с первых слов не пошло, не создавался момент искренности, он чувствовал противодействие.

— Я не хотел специально подымать эту тему, я это подчеркиваю...

— Отец, подчеркивают у нас от министра и выше: министр такой-то подчеркнул. А ты пока не в том ранге.

Он хотел пошутить, но улыбнулся зло. У Евгения Степановича даже сердце защемило: дурак, какой дурак! Ощетинился, как волчонок. Неужели не видит, куда мир катится? И он своим этим поступком думает мир удержать?

— Мы с матерью,— продолжал Евгений Степанович ровным голосом,— знаем, она определенной национальности.

— Не «определенной национальности», она — еврейка. Ну, переморщись, отец, ну пересиль себя. Что уж ты так даже слова этого стыдишься, произнести не можешь.

— Для меня лично это не играет значения...

— Оно тебя по ушам хлещет.

— ...Я хотел сказать, не играет роли... Не я стыжусь, они сами себя стыдятся. И я не хочу, чтобы моему внуку пришлось стыдиться себя в своей стране. Не хочу! Если у меня, допустим, будет внук.

Дмитрий сидел бледный. И вот такой, бледный, был еще красивее: брови черные на белом лице, волосы пепельные, прямые, мужественное, совершенно уже мужское лицо. И такого отдать? Ах, какая дрянь, уже настроила против родителей, сумела! Но Евгений Степанович и на этот раз сдержался.

— Давай поговорим совершенно откровенно. Да, нам с матерью небезразлично, что у нее значится в пятом пункте, если уж на то пошло. Не нам с матерью, я подчеркиваю...— он поперхнулся словом.— Да, да, подчеркиваю, черт возьми, и хочу подчеркнуть: не нам с матерью, жизнь такова. А тебе жить. И ты знать должен: правят не цари, а времена. Каковы веки, таковы и человеки. Я уж не говорю о твоей карьере, но ты подумал, повторяю, о детях, если они вдруг будут?

Дмитрий дернулся, что-то хотел сказать, но не сказал, смолчал, не решился. Значит, не все потеряно. Евгений Степанович заговорил проникновенно:

— Мы живем не в безвоздушном пространстве, надо смотреть правде в глаза. Ирина, твоя сестра, на днях мне говорит: «А если негр подойдет ко мне на улице и возьмет меня за грудь? Их столько теперь развелось...» Учти, лично я не против негра как такового, но у меня дочь. Мы слишком далеко зашли в нашем вселенском человеколюбии, в нашем интернационализме без берегов. Нас бы так любили, как мы всех любим, кормим и помогаем.

— Это мы-то кормим? Мы хлеб у голодных отнимаем. Больше всего пашни у нас на душу населения, больше всех черноземов, а мы хлеб скупаем по всему миру, отнимаем у тех, кто не может купить. Докатились до позора.

— Они так плодятся, с такой скоростью... И вообще я в это не хочу вникать, это не мой вопрос. Плодятся в геометрической прогрессии... Да, да! И я начинаю понимать, когда там, у них, в той же Америке говорят: «А если негр женится на твоей дочери?..» На чужой дочери — пожалуйста, я не расист, но когда касается моей...

И тут в комнату ворвалась Елена. Все это время она стояла под дверью и не выдержала, хотя условились заранее: не переходить на крик, сына своего они знали.

— Ну, говорите, говорите, что ж вы замолчали? Говорите, я послушаю... Тогда я скажу. Ты что, не понимаешь? Ха-ха! Она сняла с него штаны, и это сильней всех твоих уговоров. Ее родители уже намылились нам в родственники, едут родственнички в Москву из Бендер. Бандерша какая-нибудь! «Наша дочь выходит за сына Усватова!..» Мальчик мой! — Елена простерла руки.— Она беременна не от тебя, я все узнала.

Несколько дней назад испортился их цветной телевизор, большой, роскошный, отремонтировать дома оказалось невозможно, и как составили на пол, так и стоял он. И вот на него сел Дмитрий, когда мать закричала: «Мальчик мой, я все узнала...» — сел, не разбирая, куда и на что садится. При дневном свете выпуклый серый экран телевизора блестел между его расставленных ног, а он запустил пальцы в волосы и так сидел. Елена и Евгений Степанович переглянулись: стрела попала в цель. Да, отравленная стрела, но они спасали сына. Знать бы в тот момент, чем все это кончится, о чем он думал, взявшись руками за голову, но они понимали по-своему.

Есть фотография военных лет, Евгений Степанович любил ссылаться на нее в своих выступлениях, как на доходчивую иллюстрацию: на станине разбитого орудия сидит контуженый немец, сжал голову руками — для него рухнуло все, во что он верил, рухнул мир. После того, что случилось с Дмитрием, он смотреть на эту фотографию не мог.

Сын практически перестал бывать дома. Ему оставляли еду на кухне, потом уже ставили в комнату, прикрыв салфеткой. Исхудавший — не двадцать его лет можно было дать ему на вид, а все тридцать, он не притрагивался, так, под салфеткой, относил в холодильник: здравствуйте, до свидания, спокойной ночи... Периодически Елена впадала в истерику: «Я предчувствую что-то ужасное!» Но Евгений Степанович рассуждал трезво: характер — это весьма немаловажное качество в жизни, характер — это судьба. Все остальное отшлифует время. «А если он уйдет из дому?» Ну, что ж, и тут было соображение, разумеется, не главное: в какой-то степени это бы реабилитировало их в глазах той семьи, в глазах отца той девушки.

И вдруг позвонил на работу ректор института, в котором учились Дмитрий и та дрянь: со множеством извинений осведомился, знает ли Евгений Степанович, что его сын просит койку в общежитии. У них большие трудности, они ограничили прием иногородних, но если Евгений Степанович сочтет нужным, то для его сына... Евгений Степанович не счел нужным. Ректор так и предполагал и был рад засвидетельствовать свое огромное уважение, которое всегда испытывал к нему лично и к его благородной деятельности.

Евгений Степанович уезжал на Кубу, вернулся, а за это время Елена решила действовать сама. Она подкараулила после лекций эту гадину, сказала ей все, что о ней думает, потребовала немедленно оставить их сына в покое. И чтобы Дмитрий об их разговоре ничего не знал, иначе, пригрозила она, будет хуже.

Дмитрий узнал не от нее, возмутились подруги и все ему рассказали. И тем не менее, держи Евгений Степанович руку на пульсе, дальнейшего не случилось бы. Звонил в его отсутствие ректор, хотел проинформировать, что Дмитрий переводится на заочное отделение, но он был в командировке. И однажды вечером, спустившись вниз за газетой, Евгений Степанович открыл почтовый ящик, и ключи от дома выпали ему в ладонь. Вдвоем они кинулись в комнату Дмитрия. На жесткой, как доска, тахте, на которой он спал, придавленная пепельницей записка: «Ключи от дома — в почтовом ящике». Они перерыли весь шкаф, постельный ящик, рылись в ящиках его стола. Он не взял с собой ничего; джинсы, которые отец привез ему из-за границы, которые он любил и берег, оставил в шкафу, ушел в чем был, только лишняя смена белья, полотенце, бритва, щетка, зубная паста, конспекты и книги. Дочь была целиком на их стороне, но теща... Теща начала их бояться, жила в доме тихо, как мышь. Но однажды они застали ее на том, что она с улыбкой блаженной любовалась синим, с зайцами, детским фланелевым одеяльцем, которое купила тайком. Так они узнали, что у них родился внук. «Точная копия Митеньки»,— говорила она, робко заискивая.

Вообще все узнавалось задним числом: и то, что Дмитрий поступил на работу, а еще и грузчиком подрабатывает на станции, их сын, перед которым так широко были открыты все двери. За городом, по Белорусской железной дороге, сняли они у одинокой старухи комнату в какой-то халупе при огороде; эту халупу, вросшую в землю по окна, им суждено было потом увидать.

В конце концов сын вернулся бы к ним, все бы наладилось — чего не бывает между родными людьми. Они даже как-то сказали это при теще, дали понять. Но зимой, в сильный мороз, в пургу, когда Дима, Митя, Митенька нес прикорм из молочной кухни (у нее, как

выяснилось, еще и молока не хватало, и он до работы бегал за детским питанием, несчастный их мальчик!), его сбила электричка. Такой загнанный, бежал, спешил, они снова и снова видели мысленно, как он в слепую эту пургу перебегает пути, и наушники шапки, наверное, опустил от мороза... Шапку его старенькую нашли в стороне от путей.

Было официальное соболезнование в газете, звонили высокие лица, даже из Инстанции, и хотя это теперь не имело никакого значения, все же в трудную минуту поддерживало силы, они отмечали, кто звонил. Робко входили подчиненные, а он по виду пытался определить, кто из них что будет говорить там, за дверьми.

Он перебирал в памяти родичей чуть ли не до пятого колена: отец, дед, бабка... В кого Дмитрий такой? Вспоминал Еленину родню. Неужели правда, природа мстит через одно, через два поколения? Но за что? И каков адский этот механизм? Не дома же всего этого он понабрался. Так что же — гены? Чьи? И заново всех припоминали. Только теща отчего-то не приходила на ум, полублаженная, с вечными своими странностями, она естественно выпадала из числа родственников, которые хоть какое-то влияние могли оказать.

Они с Еленой пережили горе, страшней которого не бывает, пережили накатившуюся волну слухов и злословия. И в тяжкий этот час он убедился, кто друг и кто враг: силы, которые всегда ощущал он за собой, не бросили его и теперь, не отдали на растерзание толпе. У него было взято интервью для газеты, имя его дважды прозвучало по телевидению в связи с благими делами, столь нужными народу, и умолкли завистники, он снова мог жить с гордо поднятой головой. И еще в одном вопросе проявлено было понимание, пошли ему навстречу: квартиру, где все напоминало и ранило, где каждый божий день нос к носу он сталкивался с соседями у лифта, заменили на другую, в центре, в тихом переулке (теперь там вырастали такие престижные дома), с большими удобствами, хотя это теперь не имело для них никакого значения, с улучшенной планировкой: холлы, многочисленные подсобные помещения были просторней и превышали по метражу оплачиваемую жилую площадь, так что часть мебели пришлось прикупить. Но главным было то, что они сменили обстановку, в этом доме они целиком находились в своей среде. И, когда уже разместились, расставлены были вещи, посуда, книги на полках, ждал их новый страшный удар: случайно попались на глаза три магнитофонные кассеты. Димины. Стали прослушивать. Музыка, он еще в школе записывал, была такая пора увлечения. И вдруг — его голос: «Раз, два, три. Раз, два, три... Кажется, опять записывает. Интересно, слышно мой голос?..» Вспомнили, у него как-то испортился магнитофон, и он сам чинил его, он все умел. Они слушали, как он насвистывает арию Каварадосси, задумавшись, он всегда насвистывал ее. Какой тонкий слух! У Елены слезы текли по щекам. «Да, работает,— опять услышали они голос своего сына, его нет, а голос его звучал.— Пленку заедает немного... Если б они оставили бабушку в покое! Я уйду, а они будут ее заедать... Потому, что она человек». Лучше б им не слышать этого, не знать.

И внука тоже лишили их, один только раз видели они его, когда горе и слезы застилали глаза. В родительский день (тут она что-то спутала, родительский день не имел к этому отношения, но не в формальностях дело) Елена, одевшись попроще, сходила в церковь, затеплила свечку. Она рассказывала, как ощутила что-то неведомое ей, и на душу снизошло успокоение.

В силу убеждений и положения своего Евгений Степанович, разумеется, не мог поступить подобным образом, но, будучи в командировке в одной из капиталистических стран и осматривая достопримечательности и памятники, посетил костел, славный своими витражами что-то XIII или XIV века, и постоял у зажженных свечей. Люди подходили, ставили каждый свою свечку, что-то шептали и отходили, перекрестясь, а он смотрел на колеблемые теплым воздухом бесчисленные живые огоньки, на стекавший воск, который, наверное, потом вновь перерабатывают на свечи, и стоял бы еще, но маленькая, обремененная большими познаниями гидесса нетерпеливо ждала, она не все еще рассказала про этот костел и про эти витражи, и пришлось следовать за ней.

— Да-а,— многозначительно сказал Евгений Степанович, по выходе из костела надевая шляпу. Он был в коричневом костюме с отливом, меняющем на солнце цвета, как крыло майского жука, в зеленом галстуке, в белой крахмальной сорочке, через руку переброшен плащ.— Трудились мастера не одного поколения и создали...

И делегация (как только они вышли наружу, разом набрали воздух в груди и стали очень похожи друг на друга, чего сами не замечали), вся их делегация, которую он возглавлял, отправилась на обед, его давало какое-то общество на средства какого-то фонда.

Глава XV

Оказалось, теща все это время не порывала с ними отношений. Елена говорила ей не раз:

— Мама, что вы так скаредничаете, я вас просто не узнаю. Штопаные-перештопанные чулки, и вы опять сидите штопаете. У вас пенсия.

— Доченька, а что мне надо? Я жизнь прожила, у меня никаких потребностей.

Евгений Степанович, случайно услышав этот разговор, счел нужным сказать:

— Никаких потребностей — это плохо! Человек должен иметь потребности. «Никаких потребностей» — это для человека духовная смерть.

Она выслушала почтительно — все, что говорилось в доме Евгением Степановичем, она выслушивала почтительно.

Из железнодорожной шинели мужа (правда, это была хорошая шинель, он все-таки занимал положение) частная портниха, перекроив заново и перелицевав, сшила ей демисезонное пальто, оно же зимнее, поскольку подложили ватин. Ни одно ателье за такую работу не взялось, даже в комбинате бытового обслуживания посоветовали: «Мамаша, отдайте бедным родственникам...»

— Что вы позорите Евгения Степановича! — возмущалась Елена, увидев на ней и взяв в руки это неподъемное сооружение.— В конце концов мы могли купить вам зимнее пальто, если уж на то пошло, если вы свою пенсию жалеете.

Мать оправдывалась: это шинель отца, ей приятно, что — из его шинели. Ну, что ж, это можно было понять.

Вообще заметили: всякий раз, когда разговор каким-то краем касался ее пенсии, она пугалась. Это стало их занимать. Не потому, что им нужны были эти несчастные ее тридцать рублей, но она живет в семье. Правда, курит. Самые дешевые сигареты. Дима любил покурить вдвоем с ней на кухне: то один, то другой уголек сигареты вспыхивал в темноте. О чем он там мог говорить с ней, умный, начитанный мальчик, развитый не по годам? Однажды подслушали, он спрашивал:

— Скажи, ба, ты все-таки веруешь или не веруешь?

— Не знаю, Митенька. Так-то я, конечно, верую, только я одного не могу понять: как же Он допускает, что такое над детьми делается?

— А на это умные люди отвечают: родителям — за грехи. Наказывают человека самым больным, самым таким, что ему больней всего. Чтобы прочувствовал.

— Нет, Митенька, это люди от ума. Бог так рассуждать не может.

— Да ты откуда знаешь, как он может, как не может? — по голосу было слышно,— улыбается.

— Не может,— повторила она.— Дети разве не люди? Не спросивши, жизнь отнимать ангельскую... И какие у них грехи?

Она не соблюдала обрядов, не ходила в церковь и молитвы, если знала, перезабыла все. Но о чем-то в темноте шептала иногда в Митиной комнате; своей, отдельной комнаты у нее не было. И он тогда не пускал никого: «Дайте ей посоветоваться с начальством».

Но все же и это удалось подслушать: рассказывала Богу какие-то глупости, с которыми люди даже в домоуправление не обращаются, просила прощения, что-то такое бормотала, чего вообще не разобрать. Настоящая умственная деградация, пробовали это объяснить сыну, он сразу замыкался.

Каждую неделю она отпрашивалась на кладбище. Выяснилось: хочет поставить камень на могилку. Есть ограда, но она хочет поставить камень. «Пока я жива...» На это копит деньги. Ну что ж, ее можно было понять в конце концов.

Когда им вдруг ни с того ни с сего отказала сторожиха (найти на что-либо человека стало невозможно, после войны проще было, а теперь все хотят быть с высшим образованием), так вот, когда им отказала сторожиха, теща переехала на дачу: охранять, топить углем котел, кормить собаку. В свое время она принесла ее щеночком. Им обещана была немецкая овчарка с хорошей родословной, а тут под крыльцом соседней дачи ощенилась приблудная сука. Было это под Новый год, и, когда во всех домах на экранах телевизоров Кремлевские куранты отбили последние минуты года минувшего и прозвучали тосты, а потом, после шумных застолий, наевшиеся, дыша винными парами, жители поселка вывалились на улицы из теплых глубин домов, разгоряченные, под сыплющийся сверху новогодний снежок и отовсюду наносило запахи жареного, мясного, тощая сука лежала тихо под крыльцом, грея телом своих слепых повизгивающих щенят.

И теща стала носить туда ей то супчику теплого, разогретого, то еще что-нибудь из остатков отнесет: заметила, как раза два в день собака бегает на помойку, во двор санатория позади кухни, куда вываливают отходы, стремглав — туда, стремглав — обратно и вновь тихо лежит под крыльцом, словно предчувствовала, что ждет ее.

И действительно, по многочисленным возмущенным требованиям жителей поселка (невозможно стало гулять по улицам из-за этих бродячих собак, облаивают, пугают детей, того и гляди за ногу схватят или шубу хорошую порвут!), нагрянула облава. Но одного щеночка теща спасла, принесла в дом, спрятав под платком, и, когда спустила на пол, он тут же обмочился. Не раз она подтирала за ним, пока он подрастал.

Евгений Степанович, Елена, а с ними и Ирина наезжали обычно на субботу-воскресенье, подышать воздухом, походить на лыжах, привозили продукты, уж в этом их упрекнуть было нельзя, каждый раз привозили овсянку, кости для собаки. Хоть и не чистопородный щенок, а вымахал в огромного мохнатого пса, варить ему нужно было много.

И случилось то, чего они никак не могли ожидать. Оказывается, теща бросала дачу и тайком ездила туда, по Белорусской дороге,— проведывала их внука. Они были уверены, они не сомневались, что и внука, и эту дрянь, из-за которой они потеряли сына, родители, конечно, забрали к себе, в Молдавию, как сделали бы каждые нормальные родители. Нет, выяснилось, она продолжала жить здесь, и к ней ездила теща. Все открыл случай. Был сильный мороз, тридцать с лишним, они еще раздумывали, ехать — не ехать в этот раз? Но все имеет свои прелести. У Евгения Степановича был черный дубленый полушубок, знаменитая романовская овца, шерсть шелковистая, теплая, как печка. Россия когда-то славилась этой породой овец, а теперь они совершенно повывелись, ему привезли полушубок из Ярославля. У Елены была болгарская дубленка, специально для дачи такая, ношеная. Надеть валенки, выйти из натопленного дома, «хруп-хруп», — смерзшийся снег под ногой, «мороз и солнце, день чудесный», хорошо сказано у Пушкина! А потом, промерзнув, надышавшись, вернуться в тепло, а там уже и борщ огненный на столе, и розоватое прослоенное сало, нашпигованное чесночком, нарезанное тонкими пластинками, как он любит, и капустка хрустящая, и тверденькие пупырчатые огурчики прямо из рассола... А к ним и стопочку можно позволить себе. Поехали! Он сказал на работе, что ему нужно готовиться к докладу, и отправились, не как обычно, в ночь на субботу, а в пятницу с утра. Приезжают—калитка заперта, следов перед ней никаких... Звонили, стучали, кричали — калитка железная, ворота железные, а они даже вторые ключи не взяли с собой. Только собака бегает, лает за сплошным забором: учуяла, узнала их.

Через соседний участок, набравши снегу в ботинки, пробирались к себе, как воры какие-нибудь, след в след. И во дворе (как раз припорошило сухим снежком) — одни собачьи следы. Ходили под окнами, опять кричали, стучали в каждое окно. Впечатление, что и дома никого нет... У Елены, конечно, паническая мысль: что-то с матерью, лежит там... Но шофер догадался: если в доме покойник, собака бы выла, а она кидается радостно. И по всему видно — голодная.

Сидели в машине, грелись, что-то пожевали всухомятку, хорошо хоть у шофера в термосе был горячий чай. Опять выходили, притопывали, приплясывали, ноги совершенно окоченели. Впечатление, что и над трубой — ни дыма, ни пара, нерастаявший снежок лежит на ней. Сквозь сосны, сквозь вершины их, от инея серые, солнце красное повисло в небе, круглое, без лучей, как окно в иной мир, где все еще в огне плавится, скоро клониться начнет. И бросить вот так дачу, уехать — невозможно.

Они были во дворе, когда зазвякал, заскребся ключ в калитке. Вся потная в мороз, задохнувшаяся, пар от нее валит, на платке на шерстяном — иней, увидела их, затряслась мелко, а с собакой что-то несусветное поделалось, прыгает вокруг нее, тявкает, как щенок ласковый.

Молча они пропустили ее вперед, молча ждали за спиной, пока она открывала дом, ключом в замок не попадала. А в доме — как на улице, батареи ледяные, пар изо рта. Хорошо еще котел не разорвало, в нем, в сердцевине отопления, сохранилось какое-то тепло, только в дальней комнате разморозилась батарея, где она форточку над батареей забыла закрыть.

Да, они кричали на нее. Нужны стальные нервы, и даже странно было бы после всего случившегося, после того, что они пережили и передумали, не закричать. Она созналась во всем. Год с лишним, отпрашиваясь на кладбище, она ездила туда, поддерживала с ними

отношения. И пенсию свою всю отдавала, вот почему так скаредничала. Елена еще подумала, сказала Евгению Степановичу: «Как старость меняет характер, просто не узнаю мать!..» — а она все относила туда, отдала и то, что скопила на памятник, на камень, который хотела поставить на могилку отцу. Возможно, и из дома что-то прихватывала. Если бы не мороз, не случись что-то с электричками (почти сутки не было движения), они бы и до сих пор могли ничего не узнать.

— Нет, не мороз! — кричала Елена.— Ложь имеет короткие шаги. Вот почему вы уличены. Ложь всегда имеет короткие шаги!

Плохо только, что соседи слышали. Обычно они не живут зимой, а тут, как нарочно, приехали (тоже, наверное, решили: «Мороз и солнце...»). И видели и слышали все. И потом все это переговаривалось.

Она просила у них прощения, давала слово, плакала. Они сели в теплую машину и уехали. Решили ее наказать. Пока разыскивали слесарей, пока привозилось откуда-то все необходимое (позже было обнаружено, что и на чердаке лопнула труба, залило полы), пока шел весь ремонт, сносились только с комендантом поселка.

Общество, в котором информация не распространяется нормальным путем, живет слухами. И самое отвратительное, что слухам верят. Какие-то черные старухи, которых они прежде никогда и не видели, зашептались по поселку, что в самые морозы она так и жила в ледяном доме в валенках, все, что было, надевала на себя. Ее звали греться, она не шла от дома, пытались подкармливать — обижалась, говорила: у нее все есть.

Да, они не приезжали некоторое время, сознательно не приезжали, не говоря уже о том, что у Евгения Степановича как раз начались на работе главные неприятности, беда, как известно, в одиночку не ходит. Но они ни за что не поверят, что в доме нечего было есть, их дом — полная чаша, все это знают.

Она позвонила однажды. Из конторы санатория звонила ему на работу. Галина Тимофеевна соединила их. Голос едва слышный, там вообще плохо работают телефоны, ему самому как-то пришлось звонить оттуда. Есть телефон у директора (он звонил от директора, и тот почтительно вышел), а есть спаренный в бухгалтерии, там набито в каждой комнате столов по пять, и все из-за столов, бросив работу, разумеется, прислушивались, может, потому она и старалась говорить невнятно:

— Евгений Степанович, простите меня. Я знаю, зажилась на свете. Но что ж делать, нет у меня сил наложить на себя руки.

Он разозлился: так позорить их всенародно! Да еще не по прямому телефону звонит (впрочем, прямой телефон ей не давали), а через Галину Тимофеевну, тоже могла сльшать.

— У меня совещание,— сказал он каменным голосом.

Психиатрам известно, кто грозится покончить с собой, никогда этого не сделает, не наложит на себя руки. Хотел он вечером рассказать Елене об этом безобразном звонке, как его мелко шантажировали, но что-то удержало — все же дочь, не сказал ей.

Ужасно, что им суждено было пережить в дальнейшем! Из слухов, из разговоров вокруг составилась постепенно общая картина. Наверное, она выпустила собаку, собака при .етная, люди видели, как та рыскала по помойкам. Заметили, что и калитка открыта. После сильных морозов выпал снег, потеплело, а на дворе одни собачьи следы, как тогда. Но, возможно, просто услышали собачий вой. Говорят, собака ужасно выла по ночам. Сколько это продолжалось, никто не знает, в поселке зимой почти никто не живет. Странно, что

отопление второй раз не разморозилось. Скорей всего оттого, что отпустили морозы, а хорошо нагретый дом долго держит тепло. И трубы на чердаке после того случая во много слоев укутали шлаковатой.

Им позвонили из поселка: она лежит на террасе, сквозь стекла морозные разглядели — лежит на полу. Что было с Еленой, пока ехали, пока доехали, когда увидала, передать невозможно. Человек необычайно выдержанный и трезвый, она в то же время возбудима, склонна к истерикам. Ее преследовали потом эти белые от мороза, незакрытые, белые в инее глаза, которыми мать глядела на нее. И на Евгения Степановича, с его впечатлительным воображением, это тоже оказало сильное действие. И звон промерзших досок под ногой на террасе он слышал долго.

Старуха лежала на боку в этой своей железнодорожной шинели, в валенках на босу ногу, была на ней чистая белая смертная рубаха. Значит, сознавала, решилась сознательно. На лбу — ссадина, стул опрокинут. Видимо, упала с него, когда заснула, ударилась лбом. Она приняла все снотворное, что было в доме, и вышла на мороз в валенках.

В дальнейшем, все оценивая и взвешивая не раз (ему приходилось и оценивать и взвешивать, можно представить себе весь позор, какие пошли вокруг пересуды, только отдельные отголоски долетали, но и этого было достаточно), Евгений Степанович понял, почему она решилась замерзнуть.

В их ведомственной поликлинике была медсестра. Неудачная любовь в сорок лет — опасный для женщины возраст,— в общем, она приняла горсть снотворного. Искупалась, причесалась, постелила лучшее белье, пододеяльник с кружевом, надела на себя чистую рубашку и легла в постель. Рассказывали, какая красивая лежала она в постели, будто спала.

Старуха, как собака, вся сжавшись, лежала на голых промерзших досках. Седая голова (при жизни она не казалась такой седой), желтый пробор. Митя любил целовать ее в этот пробор: «Бааа,— тянул он ласково и опять целовал.— Ба моя...» Евгению Степановичу, наоборот, казалось, что от ее головы пахнет, он с детства чувствителен был к запахам.

Ужасной была его догадка, он понял, почему старуха предпочла замерзнуть. Она натопила дом, чтобы второй раз не причинить ущерба, не знала, когда они приедут, когда обнаружат ее, а если покойник долго лежит в тепле... Значит, все продумала. Какую тяжесть переложила им на душу, так мог поступить только человек, который решил отомстить. И вот под одной крышей, в общей семье жила она со своей тайной жизнью, тайными скрытыми мыслями. Впрочем, и на этот счет тоже есть исследования психиатров: человек, решившийся на самоубийство, как правило, уже не вполне вменяем, его поступки, оценки действительности, окружающих не адекватны происходящему. Но Елену он поберег, не сказал о своей догадке. Ее и так преследовала фраза: «Доченька, я скоро тут разговаривать разучусь...»

Они совершенно растерялись. Раздавленные, жалкие, не знали, куда кидаться, кому можно сказать. В их Комитете был специальный человек, который в определенных случаях занимался похоронами. Но еще этого не хватало, чтобы узнали все, и так у Евгения Степановича на работе сгустилось.

Однако постепенно устроилось все, пришло в норму: прибыл специальный микроавтобус защитного цвета, без стекол, с красным крестом (оказывается, служба эта налажена, конечно, такая должна

быть), старуху положили на носилки, накрыли простыней, и два санитара, от которых сильно разило перегаром, понесли ее. Из окна второго этажа Евгений Степанович видел, как несли ее по снеговой дорожке между ею же наваленными сугробами, когда она эту дорожку расчищала к их приезду; под простыней четко обозначилось, как она лежит на боку, поджав колени. Носилки по железному полу вдвинули в распахнутые задние дверцы автобуса, туда, во тьму, и дверцы закрылись, сомкнулись половинки красного креста, Евгений Степанович вышел затворить ворота за уехавшей машиной. И когда он затворял их и продевал заплот, в морозном воздухе еще не растаял бензиновый дымок.

А потом эта поездка в морг, их провели вниз по стертым ступеням и показали: уже в гробу она лежала, подкрашенная, веки закрыты, цветы, цветы, всю ее покрывали цветы. И сквозь запах формалина (Евгений Степанович сам поразился бесстрашию своего сравнения) — устоявшийся в этих подвальных стенах, застарелый запах несвежего мяса, так пахнет колода, посыпанная солью, на которой рубят мясники.

Но явилась к ним еще раньше депутация каких-то неведомых старух, настаивали, чтобы ее привезли домой, проститься по-людски. Елена сказала им, как она умела говорить, когда было нужно:

— Самоубийц в дом не вносят, вы должны это знать.

Ну, хотя бы на терраску, они на терраску проститься придут, требовали старухи. Или хоть во двор.

— Хорошо, хорошо,— сказал Евгений Степанович.

Уже было темно, когда они привезли ее хоронить на местное сельское кладбище. О, эта ужасная ночь, этот пар, который стоял в черном воздухе, пар и чернота, а мороз давил, к утру особенно окреп, спасала только машина, Елена грелась в ней. Если бы хоть земля песчаная, а у них тут, как назло, глина, промерзшую ее ни лом, ни кирка не берет. И опять жгли костер, отпаривали землю, он наливал рабочим водки, и они, пьяные совершенно, лезли рыть, а машина светила, слепила фарами, под конец и аккумулятор сел.

Больше всего боялся Евгений Степанович, что они не выдержат или перепьются и бросят: «Иди ты, папаша, со своими деньгами к такой-то матери!..» Что им его положение, для них ничто роли не играет: пьянь, рвань! А кого кроме на такую работу позовешь? И он все набавлял и подливал и снова набавлял. Вырыли от силы сантиметров на восемьдесят, если не на семьдесят, орали — метр. Тот, что пониже ростом, прыгал в могилу.

— Ты по мне, по мне гляди! Во! А во мне сколько? Куды ей глыбже, на што?

И тут, когда опускали гроб в могилу и уронили — пьяные руки уже не держали,— из тьмы выдвинулись черные старухи, вороны эти каркающие, скрюченные руки тянулись, кидали в могилу по горсти мерзлой земли. И не оттонишь их, еще пуще ославят. Значит, караулили, слышали, видели, и мороз их не взял. Они же и зашептались по поселку, пустили слух, как запрятывали ее под землю, не хоронили по-людски, гроб спешили запихнуть, как вырыто было мелко... Евгений Степанович чувствовал: от всего этого, от взглядов, от слухов, шелестевших вокруг, в нем накапливается, каменеет ненависть.

Елена вновь пошла в церковь, поставила свечку. А шофера этого он рассчитал: неприятно стало на него смотреть. Верней, перевели его на разгонную машину, а ему дали Виктора, высокого, спортивного, в темных очках. И уже развеивались тучи, сгустившиеся было над ним, когда однажды под вечер, к концу рабочего дня вошла Галина Тимофеевна сказать, что его ждет посетительница, какая-то странная, назваться не хочет. «Передайте: его однофамилица. Он меня примет».

Евгений Степанович был в хорошем настроении: аппарат живет слухами — кто что сказал! — и ему сегодня сообщили конфиденциально, а потом подтвердили благую весть: о нем хорошо отозвалось одно высокое лицо.

— Однофамилица? Это уже интересно. И что, молода, хороша собой?

Галина Тимофеевна головой покачала.

— Евгений Степанович!..

Верхний свет был притушен, горела настольная лампа, и в многочисленных шкафах за стеклами таинственно отсвечивали многочисленные подарки, кубки. Она вошла. Странно, что он не почувствовал угрозы. Рябенький костюмчик с белым воротничком, эдакая серая бисерная курочка-ряба, не высока, пышные черные волосы, похоже, армянка, огромные серые глаза. И — грудь, бедра, ноги под ней, и осанка, достоинство. И — нервность, это чувствовалось. Немного знакомым показалось ее лицо, где-то он видел ее, скорей всего — актриса, видел в какой-то из ролей по телевизору. Он был в приподнятом духе и почувствовал явное влечение, какое испытывают стареющие мужчины. А если актриса, да еще с просьбами...

— Садитесь, слушаю вас.— Евгений Степанович сам отодвинул для нее стул за маленьким столиком. В планах было предложить чаю. Она все стояла, и показалось — улыбается. Прекрасные белые зубы.

— Я пришла сказать вам... Вы меня не узнали? Я вижу, вы не узнаете меня.

Он узнал. Но та, на похоронах сына, для которой жизнь кончилась, не видящая никого вокруг, и эта эффектная женщина — два разных человека.

— Я пришла сказать вам, что вы — мерзавец. И никогда — запомните это!— никогда вы не увидите своего внука.

Он все стоял с улыбкой гостеприимного женолюба, улыбка пристыла к лицу. Вошел Панчихин, выражение озабоченное, в руке — телеграмма: это Галина Тимофеевна, словно почувствовав что-то, нарочно запустила его в кабинет, чтобы испытанным способом избавить шефа от просительницы. И все дальнейшее говорилось при нем.

—... В огромном кабинете — маленький мерзавец, вот кто вы. Пусть ваши подчиненные знают об этом. Вы можете меня привлечь к суду за оскорбление, я этого хочу, я буду рада.

И спокойно вышла.

Панчихин преданно возмутился:

— Да это нельзя так оставлять. Узнать, кто такая, откуда! Спускать нельзя!

Евгений Степанович — у него почему-то горела одна щека, как от пощечины,— вяло отмахнулся:

— Очередная истеричка. Актриса. Бездарна, Господь Бог таланта не дал, приехала в Москву требовать. Как будто в моих возможностях наградить ее талантом... Не исключено, что состоит на учете в психиатрическом...

Возмущался Панчихин, еще больше возмущена была Галина Тимофеевна. Ужасно, что приходится иной раз терпеть, надо же ограждать Евгения Степановича! Он нашел здесь и понимание, и общий язык, а в душе ворочался холодный камень, так что временами дыхание перехватывало: жива, отряхнулась, да еще как ожила, наверное, и любовник имеется, видно по ней, по женщине это сразу видно, а сын их, которого она отняла,—в земле.

Глава XVI

21 января, в знаменательный день, в новом здании МХАТа на Тверском бульваре должна была состояться премьера пьесы, из-за которой пошли все неприятности. По слухам, а слухи эти вскоре стали подтверждаться, крепнуть, и нарастало напряжение во всех звеньях цепи, на премьере должен присутствовать лично Леонид Ильич и соответственно все, кому по установившемуся протоколу полагается в таких случаях сопровождать, то есть все, все высшее руководство. Однако Евгению Степановичу приглашения не прислали, он несколько раз перепроверял, встревожась,— не прислали, хотя по рангу и по роду деятельности ему полагалось в такой день быть на премьере, в эпицентре события, все видеть и узнавать не задним числом, не из чьих-то пересказов, а непосредственно наблюдать реакцию, слышать, в каких словах и что выражено, улавливать тончайшие оттенки. А главное, все сразу становится известно: кто был зван, кто не приглашен, где, в каком ряду, за кем и перед кем сидел,— все, все узнается, и тут же смекают, все учитывается, и соответствующие делают выводы. А завтра уже и по-другому смотрят на тебя. Ты можешь быть в больших степенях и при больших звездах, но если и раз, и другой раз тебя обошли вниманием, не пригласили, тускнеть начинают твои звезды, меркнут, из настоящих превращаются в декоративные, и люди, которые недавно искали знакомства с тобой, почитали за честь, смотрят на тебя, как на больного, который обречен: все видят это, знают, а он один не догадывается. И сама собой образуется вокруг тебя пустота.

Обманываться Евгений Степанович не мог, не имел права, опыт аппаратной работы говорил ясно: положение его пошатнулось. Всеми доступными способами, по всем доступным каналам он попытался разузнать, что произошло. Где? На каком уровне? Глухо. Никто ничего не знает. Или — что еще хуже — не хотят говорить. И уже чудилась какая-то холодность в том, как с ним разговаривают, что-то недоговаривают, уже и отчужденность проглядывала. Так организм отторгает от себя инородную ткань. И это он, он стал инородной тканью!

Страшные, панические мысли приходили в голову. Тут ведь слово, жест решают судьбы. Слово сказано, и завтра — кто ты? Старец, никому не нужный, никому не интересный. И двери, которые при одном твоем приближении сами распахивались, захлопнутся перед носом. И то, чему прежде внимали, едва ты рот раскрыл, будут воспринимать как несуразность, как глупость какую-то, не к месту высказанную и невпопад.

Во взаимоотношениях людей служащих — это он давно усвоил — всегда присутствует еще и третья, незримая сила: власть государства, власть того, в чьих руках она сосредоточена. И если ты этой силой поддержан, перед тобой сникают. Но сразу узнается, как только ты лишился поддержки, сразу ты — никто. Помнил Евгений Степанович, как министр культуры, товарищ М., вошел к себе в приемную такой весенний, вальяжный, пальто расстегнуто, шляпа набекрень, не знал еще, что он уже и не товарищ М. и не министр, а в приемной, где всегда толпилось к его приезду (кто — с бумагами, кто — просто так, лишний раз попасть на глаза, представиться, поприветствовать, пожужжать), там — пусто. Не рвутся докладывать, быть принятыми, а кто-то даже промелькнул, не поздоровавшись, не заметил. Министра не заметил!

Евгений Степанович сам видел это, помнит звериное любопытство в себе. Или взять историю ныне забытой, а в свое время всесильной Фурцевой, падения ее: как из двери ее кабинета (опять же — по слухам) пришли выворачивать особый замок, который до этого момента полагался ей по рангу, а отныне уже не положен. Впрочем, если и не было того замка, так было другое, чего можно лишить, что в тот момент дороже самой жизни.

А еще раньше, когда он был никем и сам, по малости своего значения, присутствовать не мог, знает лишь из рассказов, в те времена, когда шла борьба то ли с буржуазными космополитами, то ли с низкопоклонством перед Западом (в этом смысле у нас, как в Китае, важно прилепить ярлык: ты низкопоклонник, и тебя уже видят таким, словно у тебя вдруг ослиные уши выросли), набросились в ту пору среди прочих космополитов и на Эренбурга, а он все еще «в обойме», в президиуме сидит. И напряжение в зале, где все это варилось: он-то сидит, привык себя чувствовать неприкасаемым, знаменитым, а его сейчас свергнут с пьедестала, затопчут сейчас... Наконец он вышел на трибуну, ждали — каяться, замерли: и те, кто жаждал, и обреченные, которых вслед за ним поволокут. Что-то он пробубнил негромко, протухлым голосом, через отвислую губу (именно это слово «протухлый» было употреблено в рассказе): мол, тут отдельные товарищи характеризовали мою последнюю книгу и вообще все мое творчество так-то и так-то, но вот о д и н ч и т а т е л ь прислал мне записочку. (В этом месте рассказа очевидцы расходились в подробностях: одни утверждали, что он вынул бумажник, а уж из бумажника была вынута записка, другие спорили, что записка была вынута из записной книжки, третьи — просто вынул записку...) И в наступившей тишине прочитал мнение о д н о г о ч и т а т е л я о своей книге, которую только что подвергали поношению, всего две строки прочел: ч и т а т е л ь э т о т предпочитал говорить кратко, на века. Прочел и при всеобщей растерянности сложил записку, охранную свою грамоту (тут опять возникали расхождения в подробностях: одни настаивали на том, что он спрятал записку в бумажник, другие, ближе знавшие, уверяли, что у него вообще не было бумажника, это известно каждому, бумажника Эренбург не носил; третьи говорили, вложил записку между листами записной книжки, четвертые — просто сложил), все это он проделал не спеша, на трибуне и вернулся в президиум, откуда перед этим слушал поношения, зная наперед то, чего даже в президиуме никто не подозревал. И сонным взглядом посмотрел в зал. И смолкли критики, утихло море людское, на котором только что вздымался шторм.

Других после подобных обсуждений увозили на кладбище — инфаркты, инсульты,— и провожать в последний путь осмеливались немногие, только самые преданные друзья. А он вышел, прочел — и опять в президиуме. Вот оно — слово сказанное. Но и не сказанное означает другой раз не меньше. Промолчат многозначительно, не услышат, когда предлагается твоя кандидатура (в ожидании этого и жил последнее время Евгений Степанович, близились, подрабатывались варианты, нынешняя его должность дала все, больше ожидать от нее нечего), вот так промолчат, и никто больше не рещится войти с предложением. Знал он, как это делается, сам пользовался этим методом не раз: ему подают бумагу на подпись, а он поднимает прохладный взор — «Вы вчера не слушали сводку погоды?» — и перевернет неподписанную бумагу, берет следующую. И подчиненный уходит, каясь в душе, что такую оплошность совершил, не навлечь бы теперь на себя гнева... Одно движение белой руки, и решилась судьба, рухнули надежды. Власть, она пьянит, сладко вот так судьбы переворачивать.

Евгений Степанович пережил страшную ночь. Он засыпал, просыпался — обмирало сердце, выпадал пульс. Елена даже хотела вызвать «неотложку». (В это время, если точно следовать хронологии, теща уже лежала на террасе, замерзшая,— и выла по покойнику собака, которую она вырастила из щеночка, но в пустынном поселке, где зимой почти никто не живет, а лишь наезжают на выходные, воя ее, по всей видимости, никто не слышал.) После Евгений Степанович говорил не раз, как он почувствовал на расстоянии, а Елена подтверждала: «Он просто места себе не находил! Я, дочь, и то не почувствовала, а с ним творилось что-то невероятное...»

Утром, приведя себя в порядок, взбодрившись крепким кофе, он в обычный час садится в свою черную «Волгу». Стал замечать Евгений Степанович в последнее время, что двое ответственных работников, живущих в соседних подъездах, оставляют теперь свои машины за углом, не на виду окон. Это был настораживающий признак. Еще недавно по полчаса, а бывало, и по часу машины ожидали у подъезда, и шофер одной из них по утрам прогуливал на поводке хозяйскую собаку, она медленно переваливалась на старческих разбитых ногах, дрожа от натуги, делала свои дела под кустом где-нибудь, а он терпеливо ждал. И вот — за углом... Тут было над чем задуматься. Да и на себе ловил Евгений Степанович недоброжелательные взгляды жильцов, когда подъезжал, когда уезжал. И крепла тоска по временам ушедшим, в ту пору не то что взглянуть так — помыслить не смели, прочность ощущалась во всем.

Весь этот день на работе, в просторном своем кабинете, который еще недавно казался ему оскорбительно мал, а теперь вновь такой обжитой был, родной, весь этот день он деятельно занимался делами, выслушивал доклады, кого-то вызывал, кого-то отсылал и забывался в ходе дел, но вдруг вспомнит, что не приглашен, и страхом охватит, и муторно становится, засосет, засосет в душе... Многие заметили, как необычно сердечен сегодня Е. С., в сущности, он ведь неплохой человек. Служащему отпусти вожжи маленько, он и тает вожделенно, готов полюбить, но еще пуще любит над собой власть строгую.

А Евгений Степанович не раз подходил к зеркалу на внутренней стороне шкафа, вглядывался в себя, разглаживал пальцами мешки под глазами. Как они налились за одну ночь! Неужели что-то с почками?! И вновь и вновь прокручивал мысленно всю ситуацию: где, когда совершил непоправимое?

Автора той злосчастной пьесы, из-за которой, видимо, все и началось, он в свое время принял прямо-таки с распростертыми объятиями, вышел навстречу на середину кабинета:

— Какие люди к нам приходят! — и пожимал его руку обеими руками.— Ну что, недодушили мы вас? Хох-хо-хо-хо-хо!

С авторами такого уровня он позволял себе вольность, знал: это воспринималось как особое доверие. А потом состоялся большой творческий разговор. Был подан чай, лично заваренный Галиной Тимофеевной, лимон на блюдечке, печенье трех сортов — все по первому разряду; за этим человеком ощущалась чья-то рука, в том секрет его непотопляемости, знать бы, чья? Евгений Степанович приветствовал в необязательных выражениях его новое сочинение: по первому прочтению пьеса представляется ему несомненным творческим достижением, он узнает многоцветную его палитру, его острое перо, которое кого-то, возможно, и раздражает, но лично ему оно симпатично было всегда. И всячески обласкав автора, посожалел, что придется отправить пьесу на консультацию в ИМЛ: ленинская тема! Но тут же дал понять с тонкой улыбкой, что на этот раз у него есть основания надеяться: все сведется к пустой формальности, он не сомневается, заключение будет вполне благоприятным.

В ИМЭЛе, в институте Маркса — Энгельса — Ленина, имя автора знали, ни одна его пьеса не проходила там гладко. Как минеры с миноискателями вступают на заминированное поле, так вступят там на поле этой пьесы, выверят каждую строку, прочтут и то, что заложено незримо между строк, а потом начнется ее движение по кабинетам, путь снизу вверх, и появится наконец Заключение, плод коллективного труда, отпечатанный на бланке, подписанный двумя-тремя лицами, широко известными в узких кругах. Будет Заключение положительным, Евгений Степанович первым поздравит: «Вот видите, я предрек!..»

Но и автор оказался не прост. Он пил чай, слушал, а сам уже знал, что пьеса направлена, Заключение созидается: произошла утечка информации. И вдруг заговорил так, как в этом кабинете не разговаривают. Грузный, седой, хотя ему и пятидесяти еще не было, перенесший микроинсульт, он налился кровью, отчего седина стала еще белей, он просто кричал! Евгений Степанович встревожился: хлопнется еще тут, у него в кабинете, а потом «голоса» разнесут,— налил ему стакан воды, которую тот пить не стал... Но после, все взвесив, пришел к трезвому заключению: это от бессилия. За кем сила, тот не кричит, сильный разговаривает тихо, спокойно. И просчитался. Сцена в кабинете была разыграна по лучшим канонам драматургии, автор вел двойную игру. И вот итог: на премьеру Евгений Степанович не приглашен, не допущен, вычеркнут из списков. Вне всякого сомнения, это решалось где-то высоко.

И самое поразительное, что сам М. А. (в расшифровке — Михаил Андреевич Суслов) высказался против пьесы, а она тем не менее репетировалась. Разумеется, он не читал, ему доложили соответственно, процитировали отдельные реплики, Евгений Степанович через помощника постарался, чтобы приплюсовали и его неодобрительное мнение, довели до слуха. А пьесу продолжали репетировать. Такие вещи случайно не бывают, кто-то движет ее.

Суслов, всегда Второй, всегда в тени, прозванный Серым кардиналом, не ошибается, его мнение нередко значит больше, чем мнение Первого человека. Правда, одно время он пошатнулся, не этим ли воспользовались? Но тогда же он совершил свой гениальный, неожиданный по смелости маневр. Евгений Степанович не мог на все сто процентов гарантировать, что именно так все было, голову на плаху не положит, но люди, близко стоящие, рассказали ему закулисную сторону дела. Они рассказали, как М. А. внес предложение к семидесятитрехлетию Леонида Ильича присвоить ему звание четырежды Героя Советского Союза, дать пятую по счету Золотую Звезду, поскольку к тому времени он был еще и Героем Социалистического Труда. Даже один из помощников Генерального — уж на что приближен, должен бы знать характер! — попытался возражать: мол, и дата не круглая, и в народе могут не так понять. За всю Отечественную войну не было четырежды Героев, из всех артиллеристов, скажем, только двое удостоились звания дважды Героя, причем один из них даже не мог принять в руки эту награду, не было у него уже рук, без обеих рук командовал он артиллерийским полком. Но Леонид Ильич якобы сказал, как решат товарищи. И товарищи решили.

Вся страна видела по телевизору, как М. А., сам к тому времени дважды Герой, прикреплял Генеральному пятую по счету Золотую Звезду: будучи на голову выше, подгибал колени, ястребиный его нос, отягощенный очками с мощными стеклами, нависал сверху, брюки, как всегда, приспущены на ботинки, не держались на нем, а Лео-

нид Ильич стоял, с готовностью расширив грудь. И они расцеловались, а позади полукругом стояли высшие лица, одобрительно аплодировали. Так что же произошло?

Доходили тревожные слухи, опять же и «голоса» передавали, что М. А. болен и будто бы — самое худшее, и уже выведены из него две трубки, с этими трубками и на трибуне почетно стоит (страшно даже подумать, как это у него все там приспособлено!), и в кабинете сидит, по-прежнему держа в усыхающих руках необъятную власть. Но ничего нельзя было утверждать с уверенностью, из всех охраняемых государственных тайн здоровье вождей — самая охраняемая тайна. И среди неуверенности и тревоги одно только вселяло надежду: клевещут эти «голоса», они и соврут — недорого возьмут, их задача — дестабилизировать положение в стране, создать нервозную обстановку. Их заглушают, а они клевещут. И про Леонида Ильича распускают всяческие слухи, стоит ему раз-другой не появиться на людях, пропустить заседание. Впрочем, в такие моменты и Евгений Степанович настраивал свой японский приемничек, вслушивался сквозь завывание и свист. Да разве он только! Даже анекдот пошел: будто собралось все высшее руководство, закрылись, чтобы уж никакая информация не просочилась, включили радио, а один из «голосов» передает: собрались, закрылись, совещаются...

И вот в такой судьбоносный момент, когда все в жизни рушилось, позвонила комендант дачного поселка, передала страшную весть: там, на террасе, лежит теща, и собака воет у крыльца, как воют по покойнику. И они примчались, и увидели, и он представил всю меру позора, и понял обреченно: это конец. Из-под этих глыб не выкарабкаться, таких отторгают, открещиваются от них, избавляются, чтобы на остальных не пала тень.

Хоронили старуху в ночь на 21 января. И не раз представлялось ему при чадных отблесках костра, при красном этом пламени с черной копотью, когда кладбищенские деревья то смыкались с тьмой, сжимая круг, то выступали на свет, как там, там соберутся завтра все, все общество, и будут подъезжать один за другим в теплых машинах, и дамы в облаке французских духов — сбрасывать с себя в гардеробе меховые шубы, выскальзывая из них, а он здесь, среди пьяных ханыг, на морозе, у края этой могилы, которую никак не выдолбят. Но в эту ночь забрезжил вдруг свет в конце туннеля: оказалось, Галина Тимофеевна еще днем передала ему записку, а шофер-мерзавец только теперь вспомнил, и Евгений Степанович, сняв перчатки, читал записку на морозе, гладкая бумага обжигала пальцы, он прочел, боясь верить, вновь перечитал при свете фар, низко наклонясь к радиатору, а в это время тяжкими ударами долбили землю, и пар стоял в черном воздухе.

Галина Тимофеевна — вот преданная душа, у него даже слезы навернулись! — все выведала, даже то, что ему не удалось выяснить на «этажах». Снизу, через давние связи разузнала: он был в списках, был, его не вычеркивали, отторжения не произошло, машинистка при перепечатке ошиблась, выпустила его фамилию. И вот так решаются судьбы! Какая-то машинистка... Евгений Степанович всегда говорил: нам нужна техника мирового класса, самого высокого уровня, преступно на этом экономить, жалеть валюту, нужны компьютеры, принтеры, лазеры...

Те, кто прикосновенен, представляют себе, что значит дополнительно вписать кого-либо, если списки откорректированы, выверены, утверждены. Галина Тимофеевна решилась, смогла убедить, ей обещан для него пригласительный билет.

Прямо с похорон, перемерзший, входил он в театр. Дачу закрыли, собаку заперли во дворе, но она потом все же выбралась, ее видели на могиле, в дальнейшем она исчезла. Как раз пошла мода на огромные шапки из собачьего меха, возможно, это и стало ее судьбой, кто-нибудь носит на голове, писали же газеты про суд над какими-то скорняками-живодерами.

Евгению Степановичу практически не удалось поспать перед театром, всего только на полчаса провалился в сон. Когда вернулись в город, Елене стало плохо, запоздалая реакция всегда сильней. Дважды вызывали врача, кололи, капали; он, Ирина попеременно сидели около нее, зимний сумеречный день, весь при электричестве, быстро склонился к вечеру, и пришло время бриться, одеваться, ехать. Но и за те полчаса, на которые он прилег, странный, страшный сон приснился ему. Будто бы его, голого (голый во сне — это что-то нехорошее означает, надо бы узнать — что?), выталкивают из церкви. И так все это увиделось, прочувствовалось живо: свет и тепло горящих свечей, лица, голоса поющих под сводами, золотой блеск одеяния, размахивание кадилом, запах ладана, а он при всех — голый, прикрывается рукой, и его из церкви, где тесно от народа, выталкивают ледяными пальцами в спину. И он чувствовал во сне жирную свою спину, всю в прыщах, и ледяные, мертвящие пальцы на ней. Евгений Степанович проснулся в ужасе, и почему-то первая мысль была: у меня совершенно чистая спина, у меня нет никаких прыщей...

Он брился в ванной, видел в зеркале свое намыленное измученное лицо, и жуткое предчувствие не оставляло его: к чему такой сон? Даже кожа на голове холодела.

Еще у Никитских ворот, ощупывая в кармане пригласительный билет, чтобы, не роняя достоинства, прямо из машины, не утруждаясь, показать через стекло милиционеру, Евгений Степанович удивился несколько: движение по бульвару почему-то не перекрыто. Странно. Очень странно. Даже не в столь значительных случаях это обычно делалось, само собой разумелось, и проехать могли только те немногие, кто имел право. И у подъезда, у широкого, ярко освещенного театрального подъезда, где в свет фонарей и на ступени сыпался из тьмы крупный снег и два тепло перепоясанных капитана милиции в валенках с калошами, оба заметенные, махали полосатыми жезлами, указывая машинам их места, не видно было длинных черных блестящих ЗИЛов. Впрочем, они, наверное, подкатят в последний момент.

Он раздевался в гардеробе и вновь обретал то, чего, казалось, лишился уже навеки. В зеркале, причесываясь, он поклонился знакомому министру, который от уха к уху перекладывал прилипшие к лысине волоски. И надушенные дамы сбрасывали меховые шубы на руки мужьям, спешили к зеркалам, каждая в облаке аромата. И, как всегда, было много военных с большими звездами на погонах и яркими орденскими колодками на кителях. И на штатских пиджаках блестели лауреатские медали и вывешенные косо, по ходу лацкана, ордена. Тут только Евгений Степанович и спохватился: как же это он сплоховал, не надел, у него ведь тоже есть. И в орденоносном обществе, поймав строгий взгляд на своем пиджаке, застыдился себя, ничем не отмеченного, как наготы стыдятся. И поразило: так ведь вот и сон был, как из церкви выталкивали голого...

Поднимаясь наверх в общем неспешном движении, а потом в фойе он раскланивался, раскланивался, и его узнавали, видели, что он здесь, в числе приглашенных, позиций своих не утратил. После

всего, что он пережил, когда с ужасом чувствовал себя сброшенным на самое дно, откуда уже не выбираются, он вновь был среди равных и высших. Нажженное морозом лицо его, заветренное, будто огрубевшее за одну ночь, горело в тепле, единственно не замечал он появившейся у него привычки беспокойно оглядываться, что-то дергало шею, словно бы следовало за ним.

Зал был еще пустоват, и пуста, темна главная ложа, на нее-то и устремлялись взгляды. Обивка кресел, свет, дыхание сцены, всегда немного таинственное, сдержанный гул голосов... Евгений Степанович не спешил входить в зал, ему хотелось, чтобы как можно больше людей видели его. И был еще момент, задевавший его самолюбие. Из-за того, что билет выделили ему из каких-то остатков, когда все было уже расписано, место его оказалось не там, где ему положено сидеть, а на задах, в амфитеатре, чуть ли не у самой стенки. И он решил так: погаснет свет, он протиснется незаметно и сядет.

Но вот произошло какое-то движение, все заторопилось, устремилось в зал. Главная ложа, уже освещенная, по-прежнему была пуста. Все поспешно усаживались. Голоса звучали приглушенно. Многие поглядывали на часы, ждали, ожидание затягивалось, уже и спектакль пора начинать...

Вдруг на свет, в главную ложу начали входить, но не те, кого ждали, чье присутствие придало бы особую атмосферу, иное значение мероприятию, на которое столько приглашено. Ладони людей в зале, внизу, уже готовых привычно встретить аплодисментами, разымались недоуменно. Впрочем, жидкие аплодисменты раздались в дальнем углу, из-под балкона, откуда плохо было видно, но тут же и смолкли.

А те, в ложе, хозяйски рассаживались не на свои места и вели себя там очень вольно и отчего-то все были веселы; позже, когда пришло время обдумать, Евгений Степанович понял: они знали заранее, какое разочарование вызовут своим появлением (ждали-то не их), и оттого бодрились. Это было московское руководство, но даже не первого уровня. Гул пошел по рядам, и весь первый акт потонул в перешепотах. Какой уж тут спектакль, когда что-то произошло на самом верху! И даже когда на сцену выходил актер, игравший Ленина, шепоток в зале не смолкал, озабоченность не сходила с лиц, догадки роились самые разные, а были и такие, что страшно высказать. Но по трезвому размышлению, если бы действительно что-то произошло, наверное бы, думал Евгений Степанович, спектакль отменили. Хотя как знать, как знать, это же не оперетка развеселая, спектакль на важную тему...

И когда все кончилось, только несколько энтузиасток устремились к сцене кидать заготовленные цветы, а главная публика спешила вниз, в гардероб, из гардероба — к машинам: они тут столько времени сидели, отрезанные от источников информации, а где-то что-то свершилось.

Евгений Степанович так и не узнал во всех подробностях и абсолютно достоверно, что же произошло. Но кое-что постепенно просочилось, и общая картина представала такой: в последний момент М. А. нашел аргументы, нужные формулировки, не выпустил нити из рук. Он сумел убедить Генерального перенести посещение спектакля на более поздний срок, не связывать со столь знаменательной датой — 21 января,— как того добиваются некие силы.

— А я уже хоккейный матч «Спартак» — ЦСКА отменил...

Эта фраза Леонида Ильича подтверждалась из разных источников, ее повторяли.

Глава XVII

Не стало тещи, и только теперь обнаружили, что многое в доме держалось на ней. Елена, деловая женщина, знала, на чем свет стоит, на ком и на чем жизнь держится. Она умела организовать всех и вся, знала ходы и выходы, но она не унаследовала от матери то, что ее мать в свое время перенимала от своей, а та — от своей, и шло так из поколения в поколение. Приготовить что-нибудь необременительное, легко и быстро, сбить в миксере, натереть, приправить, но, допустим, пироги... «За свою жизнь, как вы понимаете, я, слава Богу, ни разу пирога не испекла»,— со смехом говорила она приятельницам. Все приносилось и привозилось в дом в свертках, в судках, оставалось только подогреть, и одного обеда вполне хватало на двоих, а то и на трех человек. И — дешево. В доме всегда были закуски, множество разных закусок, стоило только открыть холодильник и из свертков выложить на тарелки. Впрочем, и обедал Евгений Степанович на работе, были спецбуфеты, были даже отдельные лифты, правда, не везде, не в их Комитете. Распахнутые в ожидании, они сияли из глубины красным деревом и зеркалами, и все, кто проходил мимо, к общим лифтам, чередой отражались в этих тщательно протертых зеркалах.

Разумеется, у тещи были свои привычки, свои странности, они раздражали. Например, она просиживала диван в одном и том же месте: штопала ли она, вязала ли, читала ли газету — всегда сидела с краю у подлокотника. Евгений Степанович, хотя это и неприятно, бывал вынужден указывать ей. Она пугалась, уходила на кухню, на табуретку. «Нет, вы, пожалуйста, не делайте вида, что вас чего-то лишают или хотят лишить, что вас изгоняют на кухню,— следовал он за ней в таких случаях.— Зачем эта ненужная демонстрация? Речь идет о простых, понятных вещах: о том, чтобы груз распределялся равномерно. Я не понимаю вашего упрямства».

И Елена говорила ей не раз, и тем не менее снова и снова заставали ее на том же самом месте, тут было что-то не поддававшееся никаким разумным объяснениям. След, просиженный ею (мебель с тех пор не перетягивали), был и теперь заметен, пружины в этом месте совершенно расстроились.

В доме все осталось по-прежнему, все вещи — на своих местах, и так же приносилось и привозилось готовое, но что-то казенное, незримо холостяцкое поселилось в доме. Они уже не ездили на дачу, как прежде, покататься на лыжах, подышать свежим воздухом, хотя нашлась женщина, готовая следить за котлом. Но приезжать в дом, где ничего не приготовлено, ничто их не ждет, стало как-то неуютно, и пришлось воду из отопления спустить до весны. Впрочем, и здесь, в городе, забот хватало. Ирина с мужем, с молодым дипломатом, собиралась уезжать в Таиланд, была вся в хлопотах, и бедный Панчихин, ушедший на пенсию, не догадывался, отчего вдруг потребовалось срочно проводить его с почетом на «заслуженный отдых» и взять на его место человека молодого, несведущего, да еще совершенно из другой системы. При всей своей многоопытности не смог бы он просчитать, роль какой фигуры, вернее, пешки, отведена была ему в многоходовой комбинации, конечной целью которой был Таиланд. Правда, пенсию Евгений Степанович «пробил» ему персональную, республиканского значения, в этом отношении не обидел: пенсию платил не он, а государство. Был он обязан Панчихину той бесценной наукой, которую из книг не почерпнешь, веками вырабатывалась она в стенах департаментов, шлифовалась, отшлифовывалась и особого блеска достигла в последние десятилетия. Ничего нет мудреного, если ученики в этой науке превосходят учителей.

Чтобы не было пусто в доме, приятельница посоветовала Елене, даже связала ее по телефону, и они завели собачку, маленького щеночка, не безродную какую-то дворняжку, а редкостной породы, которая почти исчезла, как многое исчезло в России, а теперь начинала возрождаться вновь. Такие псы, совершенно черные, достигавшие больших размеров, были, оказывается, еще у Юлия Цезаря, оттуда велась родословная, и многое в истории связано было с ними. Женщина, которая приходила убирать в доме — «убираться» — и кое-что делать по хозяйству, говорила, выгребая за ним из углов: «Кастит. А вот, носом, носом навтыкать его...» Но Елена, целуя щеночка в нос, заступалась трогательно: «Он еще мальчик. Он не понимает. Но он будет понимать. Правда, Дик, мы будем понимать? Ему предстоит такая мучительная операция: обрубать ушки. Зачем-то этой породе обрубают кончики ушей».

Как бывает с породистыми собаками, щенок переболел всеми мыслимыми болезнями, его возили к ветеринару, кормили особым способом, привозили ветеринаров на дом, и именно во время этих болезней, они, сами того не ожидая, привязались к нему, как к ребенку, и, может быть, еще нежней: ведь он бессловесный, не может даже пожаловаться, сказать, где у него болит. Была одна такая ночь, когда оба не спали, верней, спали попеременно, решался вопрос его жизни и смерти.

В финской дубленке, не куртке и не длинном пальто, а удобной такой, до колен, в высоких меховых ботинках, в которые вправлены шерстяные тренировочные брюки с белыми кантами, в пушистой ондатровой шапке, поужинав и попивши горячего чаю, Евгений Степанович, весь согретый, выходил вечерами прогуляться с Диком. Свернутый поводок он держал в руке, в кожаной перчатке, а Дик бестолково рыскал по снегу, отыскивая свое дерево, около которого подымал ногу, и после, облегчившись, взбрыкивал и носился и почему-то облаивал непременно одного и того же соседа, если тот появлялся в пределах видимости, так что Евгению Степановичу даже пришлось извиниться. Была специальная площадка для выгула, но там обязательно кто-нибудь лез познакомиться, прилипал с разговорами: как же, такой замечательный повод, их собаки подружились, обнаружилось родство душ. Евгений Степанович любезно улыбался служебной улыбкой, ею он пользовался в тех случаях, когда просьбы оставлял без последствий. Гулять же предпочитал вдвоем с Диком, не чая, когда тот вырастет и превратится в здорового охранного пса. Да и было о чем поразмыслить.

Умер Суслов. И как раз в этот день Евгений Степанович с женой были приглашены на юбилейный банкет к весьма высокому лицу, никто же не мог знать заранее, что так совпадет. Специально шилось платье, из-за этого платья они в конце концов опоздали. Какие-то бретельки перекосились, что-то с корсажем не ладилось, какие-то застежки, приколки — черт их разберет! — Евгений Степанович нервничал, ждал, внизу ждала машина, а Елена все никак не могла справиться со своим туалетом. Ехали перессорившиеся, молча, злые.

— Вот видишь! — упрекнул он в гардеробе ресторана, где обычно встречают, а их уже никто не встречал — банкет начался.

Мимо свадеб, мимо вышедших курить в коридор разогретых, под градусом, молодых людей и намазанных девиц, мимо официантов с подносами спешили: Евгений Степанович — с подарком, Елена — с букетом цветов и приготовленной улыбкой. Издали было видно: двери зала «Зимняя сказка» распахнуты. Вошли — пусто, убирают со столов. Тут-то и узнали: умер Суслов. Оказывается, до последнего момента выяснялось, отменять, не отменять банкет, может быть, все-таки можно в несколько приглушенном виде, без музыки, без громких речей — юбиляр поистратился, понес большие расходы... Но то, что простительно рядовым гражданам, не может позволить себе лицо официальное: веселье в такой день будет расценено соответствующим образом и обойдется дороже понесенных трат.

Три стола, каждый — из многих столов, составленных под одну скатерть, упиравшихся в стол президиума с двумя микрофонами,— и все это сейчас разрушалось, уносили закуски, сворачивали скатерти, словно в белый саван заворачивали покойника, сматывали шнуры микрофона. И какой-то шутник, видя их, растерянно стоящих в дверях с букетом, возьми да и прокричи в еще не отключенный микрофон: «Ку-ку!» На весь пустой зал громко раздалось это дурашливое «Ку-ку!»

Возвращались, как с похорон. Если бы только банкет рухнул! Все, что выстраивалось долгими годами, могло сейчас рухнуть, все планы, вся дальнейшая жизнь, в которой все сцеплено, каждый за кого-то держится, каждого кто-то поддерживает. И поднималась в душе горькая обида: он целиком себя отдал Делу, всем пожертвовал, а теперь от того, кто придет на это высокое освободившееся место, зависит, будет ли солнце светить или ляжет на него тень. А эти, так называемые свободные художники, вольноотпущенники, как он их называл, еще и вздохнут с облегчением. Он тоже мог бы не хуже их создавать нетленки, художественный дар отмечали у него еще в школьные годы, но он всем пожертвовал!..

До поздней ночи ловил Евгений Степанович различные «голоса», держа у самого уха свой маленький, такой ладненький японский приемничек, изловчась и так и эдак, дурея от завывания глушилок. А эти сволочи прямым текстом вещали, что для неминуемо грядущих перемен в Советском Союзе смерть Суслова, его исчезновение с политической арены означает даже больше, чем если бы умер Леонид Ильич. Он не хотел перемен, он испытывал панический страх при одной мысли о возможных переменах. Ведь затопчут, затопчут со страстью, и первыми кинутся топтать те, кто преданней всех заглядывал в глаза, юлил у ног.

И все равно опять слушал, еще сильней растравляя себя. Они высчитывали, каков средний возраст членов Политбюро, кому сколько осталось, будто без них не знают, кому сколько лет, у кого вшит, а у кого не вшит стимулятор. Это Кириленко объявил радостно (лучше б уж помолчал!), что средним возрастом отныне считать семьдесят лет, и вся пресса послушно обрадовалась: семьдесят лет, семьдесят лет! А снизу встречно пошли анекдоты. Как можно настолько не знать свой народ? Допустим, у нас не проводятся опросы общественного мнения, но есть же другие, надежные, выверенные десятилетиями способы узнать, кто что думает и говорит, есть, наконец, соответствующая техника; Евгений Степанович сам в открытой, не для служебного пользования, а в открытой печати прочел, что, если, например, на улице, в толпе вы разговариваете с приятелем и думаете наивно, будто среди общего шума и разноголосья ваш голос не услышат, вы глубоко ошибаетесь, уже есть, разработаны такие приборы, которые способны выделить ваш, именно ваш, если он понадобился, голос и записать все, что вы говорили. Евгений Степанович еще подумал, прочтя: это предостережение, это не случайно напечатано, очень уж поразвязались языки.

Но если известно, если знают, что и какую вызывает реакцию, должны же докладывать! А долгий служебный опыт говорил: должны-то должны, да кто осмелится? Кто добровольно подставит

шею под топор, когда с древности известно: гонцу, приносящему дурные вести, отрубают голову. Слушают то, что хотят слышать,— не дай Бог поучать — и чем хуже идут дела, тем радостней должны звучать доклады, тот, кто докладывает угодное, обласкан и награжден. Да он и сам, провидя возможные выгоды, не раз докладывал то, что от него ждали, и это хорошо воспринималось. Но сейчас, когда все так опасно накренилось, когда может рухнуть, надо же что-то делать. Хватит нам революций, жизнь устроилась, есть связи, есть свои люди, случись что, тебя поймут и поддержат.

Трезво и горько обдумав все, он решил воспользоваться испытанным методом: лечь пока что на обследование, залечь, переждать. Сначала — детальное обследование в больнице, потом реабилитация в доме отдыха санаторного типа, а за это время, глядишь, картина и прояснится. Тем более что при современных средствах связи и на отдалении находясь можно держать руку на пульсе событий. Но не один он такой умный, его опередили, раньше догадался лечь на обследование председатель Комитета, старый носорог, на месте которого Усватов давно уже видел себя. Кабинет носорога был на шестом этаже, там он пожизненно сидел за огромным пустым столом в пустом кабинете. Евгений Степанович этажом ниже потихоньку подтачивал под ним устои, да разве подточишь, когда средний возраст — семьдесят лет... В связи с этим он достаточно прозрачно говорил не раз: не в том наша беда, что мы не в полной мере осуществляем второй постулат социализма — «каждому по его труду». Главная наша беда в том, что не хотим взять от каждого по его способностям. Ужасно, ужасно, когда способности не находят применения, когда человек делает дело ниже своего уровня. Увядает ум, отмирают нервные клетки. И это уже невосстановимо...

Оттого, что ему было жаль себя, а жаль себя ему было всегда, он говорил трогательно. Доля сентиментальности и многозначительности, как он заметил, должна присутствовать в высказываниях: это хорошо воспринимается и действует не только на дам. Чем туманней высказана мысль, тем она глубже. Никто не подумает, не осмелится подумать, что, например, Евгений Степанович в его положении говорит то, чего сам не понимает. Люди так устроены, что и самый разумный решит: наверно, я чего-то недопонял, так это глубоко, вон же все остальные поняли. И тоже сделает вид, что в полной мере оценил глубину высказанных слов.

В тот самый день, когда Евгений Степанович решил лечь и поставить об этом в известность носорога, тот позвонил из больницы: врачи-вороги уложили его. И вот, прогуливаясь по больничному парку, он звонит из автомата, чтобы дать ценные указания: он будет пока полеживать, а Евгений Степанович должен оставаться «в лавке» и в затруднительных случаях ставить его в известность. Вот так...

Прежде, оставаясь главным лицом в Комитете, Евгений Степанович оживал, был необычайно деятелен, все видели разницу. Но сейчас и эта возможность не радовала, что-то действительно надломилось в нем. Он чувствовал сердце, ныла печень, уже и жирное перестал есть, а она все равно ныла, даже по ночам. И этот постоянный дурной вкус во рту, какой-то медный привкус. Но самое страшное: он терял интерес к жизни, ничто не радовало, на его служебном столе, где всегда был четкий, образцовый порядок, теперь залеживались неподписанные бумаги по многу дней, он забывал дела, нужные звонки, и все чаще, все неотвязней приходило на ум слышанное ли от кого-то или вычитанное: если нет меня в раю, пусть там хоть осел кувыркается.

Елена, видя его таким, встревожилась, созвонилась с лечащим

врачом, и в назначенный день в утренний час он приехал в поликлинику, отнес в баночках те отправления, которые полагалось сдать на анализ, потом у него взяли кровь из вены, полторы пробирки нацедилось черной крови, сестра сказала — много углекислоты, он не стал испуганно уточнять, что и почему, он только видел: худшие его предположения сбываются. И началось круговращение по кабинетам от одного врача к другому, его выстукивали, выслушивали, расширяли ему зрачки, измеряли обычное и глазное давление, он раздевался до пояса и ниже пояса, одевался, повязывал галстук и снова раздевался в соседнем кабинете, снимал штаны, послушно принимал неудобные позы (видели бы его таким подчиненные, многочисленные посетители, которые с трепетом ожидают в приемной!). И от предчувствия беды все в этот день казалось мрачным.

Он сидел в коридоре в кресле, ожидая вызова в следующий кабинет, и тени прошлого проходили мимо. В этих физически слабых стариках, шаркающих по паркету, по ковровым дорожкам, иногда под руку со старыми женами, поддерживая друг друга, узнавал он недавно еще всесильных людей, от которых судьбы зависели. И вот — белые безжизненные лица, складками обвисшая кожа, тусклый взор, а из глаз уже смерть глядит, смерть и страх. Раньше, завидев издали кого-нибудь из них, он бы вскочил, ноги сами подкинули бы его, а теперь сидел, отвернувшись. И на всех на них — и на тех, что сидели в креслах, и на тех, что шаркали подошвами,— строго глядели с больших, написанных маслом, потемневших от времени портретов бородатые старики: вот, мол, нарушали, не выполняли наших рекомендаций, теперь имеете то, что заслужили. Ни разу как-то не утрудил себя Евгений Степанович прочесть под портретами на латунных табличках, кто из них кто: Боткин? Сеченов? Склифосовский? Все они здесь были похожи на генерал-губернаторов.

Но, обгоняя немощных, торопясь, новой жизнью, свежей кровью наполняя эти коридоры, проходили молодые, сильные, и были они многочисленней. По безвкусной расцветке коротко и толсто завязанных галстуков, по каким-то розовым или канареечно-желтым рубашкам, по их ботинкам, по лицам сразу можно было определить: они с периферии, здесь недавно, не застали прежнего великолепия, в котором мужали те, кого сменить пришли они, но и то, что застали, чем получили возможность теперь попользоваться, наполняет их сознанием приобщенности, собственной значимости и силы, и походка их уже тверда. Когда-то и Евгений Степанович благоговейно входил сюда впервые, а сейчас он чувствовал себя между прошлым и будущим, и эти будущие проходят, расправя груди, готовые на многое, но если сравнивать, они не те. В тех было величие, да, да, величие эпохи они несли, что бы теперь ни говорилось, а у тех в лицах — только готовность служить. И кто-нибудь из них скажет ему: «Не, ребята, вы поели, теперь нам надо поесть». Да они это уже и говорят всем своим видом, вторжением массовым.

Все здесь казалось ему сейчас каким-то обветшалым, старым: и потемнелый паркет, уже истертый, и деревянные панели стен, кое-где подновленные. Разве раньше посмели бы подновлять подкрашенной фанерой, которая заметно отличается? И даже персонал в своих, особой чистоты, голубеньких халатиках, сестры с табличками на груди, как делегаты какого-нибудь конгресса или симпозиума, даже они не казались такими, как прежде, обходительными: поразболтались, все как-то разбалтывается.

В укромном месте, очистив, съел он апельсин долька за долькой, восполняя потерю крови — сухость во рту была ужасная. И, пока ел, опустив глаза, вспомнилось, слышал он когда-то, что священники

служат натощак, не выпив даже глотка воды, так душа очищается, возносится к Богу. И у него слабость сейчас была такая, что душа вот-вот вознесется.

Его направили делать послойный снимок печени, там у него болело, сбывались худшие его предположения. А тут еще дни стояли какие-то беспросветные, не поймешь, утро ли, вечер. То снег сыпался, то переставал, и все так же низко над домами зимнее небо, а солнце как будто и не всходило, по целым дням сидели при электричестве, не успеешь оглянуться, за окнами уже вечер.

В назначенный день Евгений Степанович ожидал в кресле своей очереди. Это был первый, даже, как ему показалось, полуподвальный этаж, в особой тишине, в разреженном запахе озона чуть слышно жужжали мощные аппараты, повсюду мощные двери, а в холле стоял большой аквариум с зелеными водорослями, и маленькие черные рыбки плавали там, присасываясь ртами к кормушке. От электрической подсветки сквозь водоросли лицо больного, сидевшего в другом кресле, было зеленым. Когда-то, наверное, тоже впервые пришел сюда свежий, а теперь — исхудалый, виски запали, влажно поблескивают зеленые от этого света белки глаз, худые кисти больших рук нервно шевелят пальцами на подлокотнике. И то и дело порывается встать на тощие ноги, убежать, что ли, хочет от неминуемого, от чего никому еще убежать не удавалось. Но так же, как плавали, плавают и будут плавать рыбки в аквариуме...

Евгения Степановича вызвали первым. Его уложили на стол, и стол этот вдвигали в аппарат, голос сверху командовал в темноте — дышать, не дышать,— и снова жужжало, а за стеклянным экраном в другой комнате склонились над чем-то две белые врачебные шапочки, два плохо различимых лица. И снова его выдвигали, вдвигали, поднимали, он лежал, распластанный, и чем дольше это продолжалось, тем меньше оставалось надежды. Наконец зажегся свет, по трансляции ему сказали: одеваться,— вошла медсестра.

— У вас все хорошо.

Он посмотрел на нее строго.

— А почему же так долго продолжалось?

— Снимок послойный, по слоям. Сначала один слой, потом другой...

Для верности Евгений Степанович уточнил:

— Это японский аппарат?

— Нет, американский.

Он вышел. И тут же нервно поднялся с кресла зеленый больной. Не встречаясь взглядом, Евгений Степанович прошел мимо: он — со своей судьбой, тот — со своей судьбой. Ему подали в гардеробе дубленку, шапку. Одевшись, не застегиваясь, вышел на крыльцо. Внизу стояли машины, падал снег. Евгений Степанович вдохнул полной грудью морозный воздух, на всю глубину просвеженных легких вдохнул, почувствовав и там приятный холодок. И словно впервые увидал мир вокруг себя: какой светлый, мягкий зимний день сегодня, и снег ложится крупными хлопьями, прямо новогодний снег, и воздух какой вкусный. Он стоял, дышал, словно заново родившись, и — странная вещь — нигде ничего не болело. Подвигался застегиваясь. Нет, мы еще поживем. Не болит. И легко сбежал вниз к машине, которая все это время ждала его.

В Комитете груда дел накопилась, груда бумаг. Он отобрал срочные, среди них — список труппы, отъезжающей на гастроли за рубеж. Молодой человек, взятый на место Панчихина, так же, как тот, бывало, дисциплинированно стоял справа от стола. Одна фамилия в списке насторожила, что-то с ней связано. Евгений Степанович

посидел с закрытыми глазами, и вдруг вспомнилось ярко: лет восемь назад, тогда еще, кажется, в Театре сатиры смотрел он «Доходное место», и вот этот артист, в ту пору молодой, произносил свой яростный монолог против доходных мест и так разошелся, что пот брызгал с лица, когда он встряхивал волосами, казалось, добрызнет до второго ряда, где сидел Евгений Степанович. Подумалось тогда: этот разнесет, дай волю таким, камня на камне не оставят. И вновь обретшей силу, недрогнущей рукой Евгений Степанович жирно вычеркнул его фамилию из списка.

Вечером, зажав в кожаной перчатке свернутый поводок, он гулял с Диком. В подъезде не работал код, а кнопка лифта на нижнем этаже была вся закопченная, опять мальчишки поджигали спичками. «Безобразие! Надо сказать Елене, чтоб завтра же потребовала исправить и восстановить». А еще два дня назад, заметив, что боковое стекло двери подъезда выбито, осыпалось под ноги, он переступил и мысленно махнул на это рукой: пусть рушится. Теперь все вновь обретало в его глазах и цену, и смысл.

За высокой сеткой посреди двора, на хоккейной площадке, под гирляндой электрических лампочек носились по льду мальчишки с клюшками, пушечными ударами била шайба в деревянные борта. Дик пугался, терся о его высокие меховые ботинки, отбегал, возвращался, и Евгений Степанович, похаживая, постегивая себя поводком по лампасу тренировочных штанов, чувствовал себя исцелившимся и духом, и телом.

Глава XVIII

Был особый смысл и особое значение в том, что первоначально премьеру назначили на 21 января: ленинская тема, подарок к дате. На это и выманивали Леонида Ильича, и он, заядлый болельщик, пожертвовал хоккейным матчем, отменил матч «Спартак»—ЦСКА, которого ждали телезрители, не говоря уже о тех, кто купил билеты на стадион. Высочайшее посещение в такой день могло быть приравнено разве что к возложению венков к Мавзолею, и уже самим этим фактом спектакль заранее был обречен на успех, а там и Государственная премия, а может, и повыше... Ведь ленинская тема.

Евгений Степанович только примерно догадывался, какие силы задействованы, как и через кого побуждают Леонида Ильича, физически немощного, глуховатого, освятить своим присутствием спектакль, в котором и ему отведена роль. Вот это бы объяснить, вот это довести до сведения! Но Евгений Степанович, все взвесив и здраво рассудив, помня принцип — не смог задушить, обними, подавал доброжелательные сигналы драматургу и режиссеру: они вполне могут рассчитывать на его содействие, они не забыли, конечно, он первым предрек успех.

3 марта стояли, перегородив движение по Тверскому бульвару, офицеры милиции в чине капитана, надо полагать, и комитетчики были среди них в милицейской форме, махали полосатыми жезлами, отмахивая все движения в улицу Герцена, в улицу Воровского — к Садовому кольцу. За ними проглядывали и майоры, и даже полковники похаживали, наблюдая порядок.

Прошла машина какого-то посла, незнакомый трехцветный флажок трепыхался на ее крыле, следом беспрепятственно пропустили машину Евгения Степановича. И, пока он поднимался по припорошенным снегом ступеням, стягивая с руки кожаную перчатку, каждым шагом самоутверждаясь, внизу подкатывали и отъезжали машины, распахивались и захлопывались дверцы — большой сбор приглашенных. И опять, как тогда, было много военных с орденскими

колодками, в высоких званиях, и дамы с нитками жемчуга на шеях, и штатские, уверенные в себе люди. Он узнавал, его узнавали, он был в своей среде, в привычной обстановке равных и высших, где всегда есть возможность провентилировать вопрос, перемолвиться о деле и решить в двух словах то, что путем служебной переписки месяцами не решается. В таких разговорах и благоприятное впечатление можно произвести, и перспективы возникают, когда собираются сильные мира сего. А внизу, на морозе, наряды милиции все так же перегораживали пространство от Никитских ворот до площади Пушкина.

Среди прогуливающейся в фойе публики увидел Евгений Степанович, как выстроилось полукругом человек шесть, и фотокорреспондент щелкал, щелкал, ослепляя вспышками улыбающиеся благополучные лица. Повлекло туда и Евгения Степановича, он почувствовал естественное притяжение, но дорогу загородила широким бюстом Маслакова, огромная дама из республиканского министерства. Она радостно несла какую-то чушь и поворачивалась, поворачивалась перед ним, не пропуская его. Только когда группа распалась и фотограф удалился, тогда только Евгений Степанович заметил на ее левой груди крошечный значочек, маленькую такую двухцветную книжечку. Вот что она демонстрировала: она стала депутатом райсовета! Боже мой, иметь такие природные данные, такой роскошный бюст, а гордиться такусеньким значочком...

В зале уже рассаживались в креслах, сдержанный гул голосов, мелькали программки, во всем предощущение значительности события. И когда осветилась главная ложа и стали появляться в ней — сначала он, следом все остальные,— зал встал и, стоя, аплодировал, как в былые времена. Пять Золотых Звезд Героя — слева, четыре золотые лауреатские медали — справа, а больше никаких знаков отличия на нем не было. За его плечами виднелись из мрака косые монгольские скулы Черненко, постное лицо Гришина, будто этот человек одним диетическим творогом питается, Соломенцев вовсе без глаз, и еще, и еще, все они выпускали вперед, к народу его, сопровождая в спину поощрительными улыбками и аплодисментами: играли царя.

Место Евгения Степановича на этот раз было близко, он мог, как никогда, разглядеть Брежнева, лицо его, похожее уже на огромную маску: знаменитые брови, слезящийся, невидящий взгляд, обвислые щеки и рот, жующий вставные челюсти. Но сквозь золотистый розовый туман видел он то, что жаждал видеть, он видел былое величие и в умилении, в общем восторге радостно бил в ладоши вместе со всем залом. И даже слезинку навернувшуюся сморгнул. А когда наконец все уселись (сначала в ложе, потом в зале), когда и спектакль начался, из зала еще долго нацеливали бинокли, передавали из рук в руки, перешептывались, пересказывали, кто где сидит, переспрашивали. И уже Ленин появился на сцене, знакомо жестикулировал, сияла его лысина, а в зале все еще непочтительно слышался шепоток. И тут из ложи раздалось глухо, как из бочки:

— Это Ленин. Будем приветствовать...

Евгения Степановича холодом обдало, сидел, боясь голову поворотить. Но боковым зрением видел, как над барьером ложи белые руки беззвучно и медленно похлопали устало несколько раз, и за ними, в глубине еще чьи-то ладони смыкались и размыкались, смыкались и размыкались. И мясистая его соседка в ярко-синем платье с блестками послушно захлопала, блестя множеством колец, но муж дернул ее за руку.

Тишина в зале настала полная. И в этой чуткой тишине вновь

раздалось утробно, глухо, будто он булыжники в своем рту перекатывал:

— Это про трудности...

Послышался несмелый смешок. Евгений Степанович оглянулся, безумная мысль пришла в голову: кто-то пародирует его голос. Не может быть, чтоб это происходило на самом деле, не может этого быть. Но лица соседей сделались безжизненно-официальными, они ничего не видели, не слышали, не присутствовали. И только сидевший впереди генерал с красным, обветренным, солдатским лицом оглядывался по сторонам простодушно. А зал замер, зал жадно ждал потехи. И уже смотрели не тот спектакль, что на сцене, а тот, что в ложе разворачивался. Оттуда раздавалось нечленораздельное:

— Хорошенькая... А это Хаммер. Живой. Поприветствуем...

И — смех, смех в зале, откровенный смех.

А он, не слыша своего голоса от глухоты, бухал громко, на потеху зала:

— Коль, скоро кончится?.. Коля, долго еще?..

Объятый ужасом, чувствуя, как у него стянуло всю кожу головы, Евгений Степанович осмелился глянуть. И то, что он увидел, было страшно. Он видел сплошные маски вместо лиц, там, в ложе, сидели живые пародии на самих себя: перекошенный набок рот Громыки, или ему показалось, что там Громыко, старческие, выпученные глаза Тихонова на сплюснутом лице, и этот огромный рот, извергающий нечленораздельное... Боже мой!

Он не помнил, как досидел до конца. То колени сжимал себе незаметно, то лоб до боли растирал пальцами, каждую минуту ждал: опять, опять раздастся оттуда, под смех зала. И как только стало можно выйти из рядов, бочком, бочком — в гардероб, а там, стараясь никого не видеть и чтоб его не видели, шапку — в руку, дубленку — на плечи, и на улицу. Шел потрясенный. Машину он отпустил, впервые за долгое время возвращался пешком. Направился было вверх по Тверскому бульвару, туда, к площади Пушкина, к метро, но там был свет, сияли фонари, встретишь еще кого-нибудь, пристанет с разговорами, он пошел вниз, к Никитским. От многолетней привычки держаться на людях так, как требовало его положение, выглядел он и сейчас, если со стороны посмотреть, солидно прогуливающимся, пушистый снег искрился под светом фонарей на его пушистой ондатровой шапке, снег падал на плечи, на спину финской дубленки. Его обгоняли, молодая женщина, разбежавшись, проехалась на скользинке, упала, смеясь, раскатившийся следом за ней по льду парень подхватил ее, поцеловал звучно. И побежали.

Он мельком вглядывался в лица людей, идущих навстречу. Идут, разговаривают, морозный парок изо рта. Все как всегда. Несчастные, ничего не знают. Вот так, наверное, и перед концом света, если миру суждено погибнуть, будут смеяться, разговаривать...

Наверху темное беззвездное небо, не небо, а космос бездонный, черный. И белые ветки лип, толстые от снега, накрыли бульвар, смыкались над ним, плыли над головой. Старые липы стояли все в снегу, и от них вдруг стариной, старой Москвой повеяло, такой тоской по минувшему, мог бы, нырнул туда с головой, в прошлую жизнь, в прошлый век, подальше, подальше. Как тихо жили, как хорошо. И была основательность, и время текло медленно.

Впервые он позавидовал маленьким, незаметным людям, которые шли сейчас мимо него, навстречу ему. Что им терять? Придут домой, поедят, попьют чаю, спать лягут. А случись что, узнают из газет.

Трое, громко разговаривая, обогнали его. Двое мужчин и девушка посредине. И когда Евгений Степанович глянул вслед им, один

обернулся, веселое, увлеченное разговором лицо в очках, что-то знакомое мелькнуло, но не связалось в памяти. Пройдя несколько шагов, тот обернулся вновь, пошел навстречу. Черное длиннополое пальто, каких давно не носят, серый барашковый воротник, кроличья шапка, правый пустой рукав засунут в карман... Евгений Степанович узнал. А тот, подходя ближе, вглядывался неуверенно сквозь сильные очки.

— Усватов? Женя? Боже мой, Боже мой!..

— Что «Боже мой»?

— Неужели мы такие старые стали? Но, к счастью, ничего не исчезает и не творится, а только одна жизнь перетекает в другую.

Он поманил тех двоих, они ждали его поодаль.

— Маша, моя дочь,— и обласкал ее взглядом.— А это... Это Миша. Маша и Миша.

Евгений Степанович два раза кивнул, руки держал за спиной. Все было понятно: дочь и жених дочери. Влюбленных сразу можно отличить.

— А тебя... Тебя теперь я даже не знаю, как представить. Когда-то мы вместе учились, а теперь,— он поднял свою единственную руку выше серой кроличьей шапки, потряс ею.— Теперь он... Постой, ты уже министр? Или что-то вроде?

Это «что-то вроде» и фамильярность и кривлянье покоробили Евгения Степановича. Но тут ветром дохнуло, и все разъяснилось: выпил, навеселе.

Старый, с очками на носу, стоял перед ним Леня, Леонид Оксман. Три года просидели они в аудитории рядом. Леонид ходил тогда в гимнастерке, пустой рукав заткнут за армейский ремень, держался браво. И на груди, на хлопчатобумажной гимнастерке — две желтые и красная нашивка: два тяжелых и легкое ранение. И маленькая единственная колодка, медаль «За победу над Германией». Но тогда лицо его не было таким типичным, или не замечалось тогда? И вот — старик, дочь рядом с ним кажется внучкой.

— Здравствуй, Леонид,— сказал он ровным голосом и, не спеша сняв перчатку, подал руку дочери, по начальственному обыкновению первым подал руку женщине.— Усватов.

Она действительно была хороша молодостью своей, влюбленностью. Потом он подал руку Оксману, и тот перевернутой левой пожал ее. Жениху небрежно кивнул.

— А мы сейчас такую комедию смотрели,— ничего не замечая, говорил Леонид громко.— Такая комедия! Обсмеялись.

— В Театре Пушкина? — сухостью тона Евгений Степанович сдерживал порыв чувств, оставлял некоторое пространство между собой и ими. Он сообразил, что на Тверском бульваре есть еще и Театр имени Пушкина, бывший Камерный, по сравнению с МХАТом — рангом ниже, можно сказать, второразрядный, откуда они, наверное, и шли.

— Да нет, во МХАТе! Там такую комедию Леня разыграл! Такие подавал реплики. Все только его и ждали, его слушали.

— Папа! — Дочь тронула его за руку, заметив, как Евгений Степанович недовольно оглянулся, когда про Брежнева было сказано «Леня».

— А ты тоже был там? — спросил Евгений Степанович, еще более отчуждаясь.

— Не «тоже», а за деньги. Купили билеты на один спектакль, а попали на такой, что дорогого стоит.

Евгений Степанович как-то не подумал, что в этот день в театре могли быть просто зрители. То есть, конечно, там было много народу, но он вращался в своем кругу, и все остальное выпало из поля зре-

ния. И потом он так долго не покупал билеты ни в театры, ни на концерты, что забыл, как это делается, его просто физически не хватало быть всюду, куда его приглашали. На одни просмотры зазывали, добивались его присутствия, но там он в силу большой занятости не мог быть; на других быть полагалось. И, наконец, были такие, как сегодня, куда приглашают по особому списку, и само приглашение означает многое.

— Слушайте, дети,— сказал Леонид решительно.— Идите гуляйте. По-моему, вам без меня вполне хорошо.

Потом Евгений Степанович жалел, что не ушел сразу, не откланялся решительно, позволил распорядиться собой. Но он был в таком подавленном состоянии, что и Оксману обрадовался.

А тот на встревоженный взгляд дочери говорил тем временем:

— Не бойся, мы никуда не зайдем. То есть, положа руку на сердце, я бы как раз с удовольствием зашел куда-нибудь, но,—и указал на Евгения Степановича.— Можешь считать, что я под надежной охраной.

Да, выпить бы сейчас не мешало. Но не в такой компании. И вообще Евгений Степанович не любил быстро пьянеющих людей.

Они пошли рядом, постепенно отставая от молодых. Как странно — он только сейчас это заметил,— встретились, по сути, на том же месте, что и тогда, в середине пятидесятых, когда Леню освободили из заключения. Была слякоть, лепил мокрый снег, у Лени с очков стекало и капало. И вот — дочь, которой тогда не было на свете, целая жизнь ее, вот сколько прошло с тех пор.

Они бродили переулками, где меньше народу, и несколько раз снова и снова выходили то на Малую, то на Большую Бронную. И опять кружили.

— Я не понимаю,— говорил Леонид,— чего ты такой убитый? Что, собственно говоря, стряслось?

«Да, ты не понимаешь,— с сознанием ответственности, возложенной на него, думал Евгений Степанович.— Потому что тебе это не дорого».

— Государство рушится,— и он твердо, строго глянул ему в глаза.— Ты слышал смех в зале?

— Ну и что тут нового? Давно весь народ смеется. Каждый третий изображает его.

И вдруг заговорил голосом, действительно похожим на голос Брежнева:

— Мяса в этой пятилетке будет мало. Мы идем вперед семимильными шагами, рогатый скот за нами не поспевает...

Евгений Степанович почувствовал неприязнь.

— Не паясничай!

— Когда его ставили у власти, все понимали: это временно. Но у нас временное — самое долговечное. В бараках, во времянках, которые строили в начале тридцатых годов, люди живут до сих пор, целые поколения родились в них и состарились. А на горизонте — все те же сияющие вершины коммунизма, которые отдаляются по мере приближения.

«Да, кто там побывал, никогда не забудет и не простит,— думал Евгений Степанович.— Сталин это понимал».

— Не бойся, рухнет не скоро. Миллионы заинтересованы, чтобы гнило как можно дольше. От верху до низу — миллионы временщиков, и каждый хочет при жизни получить свой кусок. Я сегодня в театре посмотрел на них. Это прочно. И опирается на самые примитивные инстинкты, а в природе все примитивное — самое жизнеспособное.

— К твоему сведению, я ничего не боюсь,— сказал Евгений Степанович с усиливающейся неприязнью, это была уже не просто его личная неприязнь.— А ты бы, конечно, хотел, чтобы все рухнуло?

— Я-то как раз не хочу. К сожалению, из нашей истории следует со всей очевидностью: первыми жертвами всегда становятся ни в чем не виновные. За все всегда расплачиваются невиновные. Но если даже рухнет, тебя не задавит. Товарищ Усватов, сосуд божий, вам еще суждено расти!

— Так вот, чтоб ты знал,— Евгений Степанович покивал, покивал значительно,— менее всего я хочу расти. Мое единственное желание, чтобы меня отпустили и я наконец смог вплотную заняться творчеством. Ты не смотрел последнюю мою пьесу?

— А ты пишешь пьесы?

— Жаль. О ней много говорили, была большая пресса. Билеты спрашивали от метро.

— За пьесу, как говорят в Одессе, не скажу, не видел, а расти ты будешь. Все живое тянется к солнцу, только солнце у каждого свое.

— Какое же твое солнце?

— Мое? Ты только что видел. Мое солнце — это моя дочь. Разве мог я понять тогда, на фронте, что это ее убивали? А я, дурак, даже после второго ранения все верил: меня не убьют. Всю ее жизнь, каждый ее день я ужасаюсь задним числом. А то, что я выжил в лагерях без руки!.. Нет, я поражаюсь чуду, вот дочь есть. На всех ее сверстников я смотрю как на чудо. И в каждой семье, наверное, так думают. Скажи, пожалуйста, ты это должен знать: что, действительно Черненко так выдвигается? Говорят, он уже держит Бога за бороду. Я сегодня впервые видел их так близко, всех вместе. Слушай, это ужасно!

— У него вторая печать,— сказал Евгений Степанович значительно.

— А что это такое — вторая печать?

— Долго объяснять.

— Во времена запорожских казаков писаря носили медную чернильницу на поясе. Вторая печать...— он недоуменно пожал плечом, тем плечом, которое было легче, которое без руки, оно дернулось вверх.— Недавно мне попалась его фотография в газете. Группа военных. Говорят, он где-то служил, на какой-то заставе. Разумеется, во время войны он был нужен родине в тылу. Представить страшно, что стало бы со страной, если бы товарищ Черненко, дорогой наш Константин Устинович, погиб на фронте!.. Что бы все мы делали сейчас без него? На той фотографии, знаешь, кто самый безликий, самый серый? Он! А там сидят люди заметные. Один, впереди, нога на ногу, шашка на колене, глядит орлом. Сначала они сметали, потом их смели. Сколько надо было уничтожить, до какого уровня опустить жизнь, чтобы такие поднялись на вершину пирамиды! И весь труд, целой страны,— чтобы они могли перемещаться из кресла в кресло.

— Ты можешь не кричать? — сказал Евгений Степанович раздраженно.

Некоторое время они шли молча.

— Слушай, помнишь, мы стояли на набережной, ты, Куликов и я? И ты стал вдруг рассказывать про Геринга... Я как раз вчера почему-то вспомнил. — Леонид улыбнулся и на миг стал похож на себя того, давнего.— Ты рассказывал, как он вернулся с первой мировой войны, как сказал своему товарищу, мол, ты мне помоги подняться вверх, а потом я тебя вытяну. И ты предложил нам: сначала вы мне помогите, а потом я потащу вас за собой вверх... Геринг, фашист... А мы только вернулись с фронта... Я рассмеялся.

— Что за ерунду ты мелешь! Какой Геринг? Ты просто пьян!

— Я даже помню, как солнце садилось за трубами ТЭЦ. Мы стояли спиной к парапету, а ты перед нами, и солнце на тебя светило. Не может быть, чтобы ты забыл. Но вот Куликова я тебе не могу простить.

— Мне? Куликова? Не понял!

— Мы были старше его на целую войну. А он мальчик, так мы к нему относились. Он был самый способный из нас. Способный... Он был по-настоящему талантлив. Знаешь, в институте я ведь ревновал тебя к нему. Сейчас наконец выходит его книга. Не у нас, т а м. Я читал ее в рукописи. При жизни он боялся передать т у д а, за Тамару боялся. Он любил ее всю жизнь. И тоже какая-то была у них трагедия. Не знаю. Они сходились, расходились... Умереть, не увидав своей книги, даже не подержав ее в руках... А какие стихи он писал! После контузии я совершенно не запоминаю стихов. Старуху обрадовали: первый наш спутник летает. А она как раз вилами убирала навоз в коровнике. Посмотрела вверх — дырявая соломенная крыша, коровам скормили солому: «Хорошо будет его отсюда видать»... Пересказывать стихи — это ужасно. Но он это писал, когда все ликовали. Тут целая диссертация по экономике, а у него — в двух строках.

— Итак, мне ты не можешь простить Куликова... Интересно.— Евгений Степанович кисло улыбался.— Очень интересно. А между прочим, показания в свое время на тебя дал он. Я не осуждаю, можно себе представить, каким мерам психологического воздействия он подвергся, но факт остается фактом: показания дал он.

— А ты откуда знаешь? — быстро спросил Леонид.

Заложив руки за спину, Евгений Степанович шел мерным шагом, он выдержал долгую паузу, набирал очки.

— Я откуда знаю? Не буду рассказывать, как он каялся, его нет, не хочу. Мучился он ужасно. Но ты забывчив, ты сам мне рассказал. И между прочим, если требуется напомнить, недалеко отсюда, на Тверском бульваре, почти там же, где мы встретились сегодня. И просил прощения. Извинялся за свои подозрения в отношении меня. Это тоже надо напоминать?

— Да, я рассказал... Так вот, чтоб ты знал: никаких показаний на меня Куликов не давал. Да, да. Хотя и там мне это говорили. И приводили факты, факты, которые знали только мы трое: он, ты и я. Он, ты и я. И больше никто. Вот это его сломало. И раньше времени в могилу свело. Ему там сказали: дашь ты показания, не дашь, известно все равно будет, что дал их ты. Изощренный садизм. Но были факты, фразы, которые знали только мы с тобой, мы двое. Больше никто. Их ни разу мне не приводили. Ни разу не привели.

Евгений Степанович взорвался:

— Так какого же ты...— он выругался, и верхние золотые клыки его блеснули.

— Именно здесь ты должен был взорваться,— сказал Леонид.— Слушай, все это так давно было, что уже и неинтересно. Вон люди идут, спроси, интересно им? В конце концов, не ты, так другой. Ах, предал... Это возмущаются те, кого миновало. Есть время разбрасывать камни. Есть время собирать камни. И есть время предавать. Конечно, обидно, что друг. Но всегда — друг. Наверное, от тебя этого требовали, и ты не смог... Когда я понял, мне стало больно за тебя. За тебя тогдашнего, за Женю, которого я любил. Но ты всегда, я только не сразу догадался, друзья так же слепы, как влюбленные, ты

всегда служил силе. Не идее, а силе, неважно какой. И ты стал частью этой силы, к этому стремился. Сейчас ты часть ее. Ты по душе не антисемит, я знаю. Во всяком случае, не был им. Но служба потребует, и это станет твоим искренним убеждением, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А она требует, служба требует от тебя. Сегодня ты — любимый сын времени, свой человек.

Евгений Степанович нехорошо улыбнулся тонкими губами. Когда-то, в студенческие времена, рот у него был пухлый, девочки заглядывались, теперь жесткая прорезь.

— Влюбленные слепы... Но сейчас ты не слеп. Непонятно: чего же ты кинулся ко мне радостно? Я шел мимо, ты кинулся ко мне.

— Вот этого и я не понимаю. Я действительно обрадовался. С тобой связана молодость. А я, выжив, становлюсь сентиментален.

— Если тебе что-то нужно от меня, проси!

Леонид не обратил внимания.

— Была такая картина перед войной: «Профессор Мамлок». Перед тем, как мы заключили договор с фашистами. Потом сразу запретили ее. Там привозят к Мамлоку на операцию эсэсовца, какой-то важный чин. И он, врач, на операционном столе спасает его. А тот будет убивать и его убьет. В этом что-то, чего я не могу понять. Это делает человечество бессильным Но если бы этого не было, люди давно бы выродились. И через страшные жертвы — повторяют вновь и вновь. Тут какое-то необъяснимое противоречие...

Евгений Степанович остановился, взглянул на часы. Как раз оба они вышли к площади Пушкина, на яркий свет фонарей.

— Да, я здесь свой!— сказал он твердо и недвусмысленно, с совершенно определенным значением.— Здесь меня понимают. И я здесь понимаю всех. Вот так! И не иначе.

И оглядывался, соображая, в какую сторону к метро, давно он уже на метро не ездил. Но тут дали зеленый свет, машины помчались, властным жестом он поднял руку, махнул, будто команду подавал: «К ноге!»— и одна из машин, черная «Волга», притормозила у края тротуара, признала хозяйский жест. Он сел, не прощаясь, захлопнул дверцу, а тот остался на углу, на свету, в своем длинном, чуть не до щиколоток, из давних времен, черном пальто с серым барашковым воротником и в кроличьей шапке. Остался в прошлой жизни, которой не было. Не было. Как в анкетах, которые столько раз по мере служебного продвижения заполнял Евгений Степанович и с ободряющим сознанием проверенного человека писал твердо: не был, не находился, не участвовал, не подвергался, не состоял...

Дома Елена уже знала, что произошло в театре: приятельницы, которые сами не были, но наслышаны лучше тех, кто присутствовал и видел, донесли по телефону с должными недомолвками, намеками и умолчаниями — на условном языке. Она только поинтересовалась: такой-то, такой-то и такой-то были с женами?

— Я тебе говорил: с женами приглашали от министра и выше. Я не развлекаться ездил, это моя работа, там судьбы решались!

За поздним ужином он выпил стопку лимонной водки и ел неряшливо, зло откусывая и роняя изо рта на скатерть, на тарелку; теперь он мысленно говорил самое главное, что не догадался сказать сразу, теперь добивал в споре. Только после второй стопки и некоторого насыщения помягчело в душе, а то уже виски начинало ломить.

— Так плюнуть в душу! — сказал он и, взяв кусок мяса с тарелки, опустил его в раскрытую, со слюной, дышащую красную пасть черной собаки, которая давно уже терлась о его стул.— Так в душу наплевать! — и опустил в пасть Дика второй кусок, вытер пальцы. И рассказал Елене о встрече на бульваре.

— И правильно! И так тебе и надо! — взвилась она с первых же слов, будто обрадовалась.— Ты побольше, побольше привечай всех этих. С кем в пионерах состоял, с кем сто лет назад учился. Еще одногоршочников созови, они с радостью набегут, с кем ты в детском саду на горшке сидел. Они тебе нужны? Или всякий раз им что-то от тебя нужно? Это что, тот самый, для кого ты столько сделал в жизни?

— Да,— неопределенно, не уточняя, ответил Евгений Степанович.

Он выпил крепкого сладкого чаю, позолоченная серебряная ложечка из глубины стакана излучала электрический свет. И стакан был тот, из которого он всегда пил: тяжелый, хрустальный, в серебряном подстаканнике. И каждая вещь в доме была частью его жизни, о каждой многое можно было рассказать. Ну и что, лучше бы стало кому-нибудь, если бы он прожил свою жизнь не так, как прожил, если бы он, например, пожертвовал собой?

Кто-то когда-то рассказал ему, давно еще, так что забылись мелкие подробности, как молодой Сталин — Сосо — спасался от погони вместе со своим напарником. И тот подсадил его на стену, оттуда Сталин должен был подать ему руку, но вместо этого спрыгнул на другую сторону и скрылся. Спустя время они все же встретились. Напарник то ли был избит, то ли угодил тогда в тюрьму, но вот встретились. «Как же ты мог не подать мне руку? Я тебя подсадил...»— «Я нужен для больших дел». Евгений Степанович не делал прямых сравнений, но в том, что он нужен для больших дел, в этом у него никогда не было сомнений. А большие дела, а революции не делаются в белых перчатках. Да, да, это так, он любил это повторять.

И, уже лежа в постели (две их кровати румынского орехового гарнитура были составлены рядом, у каждого — своя тумбочка, свой свет), чувствуя тяжесть в животе оттого, что напихался так сразу, переел, он сказал расслабленным голосом:

— Иногда я думаю, в чем причина. Столько делаешь для людей, а в ответ сплошная неблагодарность. Вот пьеса моя... На кардинальнейшую тему, конечно, режиссер не сумел раскрыть, но в ней прочитывается то, чего никто не осмелился сказать. А хоть бы один из этих корифеев хоть одно доброе слово в прессе...

— Завидуют!

— А ко мне идут с просьбами. Они избранные, они белая кость, а я... Может, действительно я не талантлив?

— Ты? — жарко возмутилась Елена.— Святая простота! Ты достиг того, чего они не достигли. Вот и все объяснение. Я на себе постоянно чувствую эту зависть. Знали бы они, как непросто, как ответственно быть женой такого человека!

И она обрушилась на завистников, которые вечно, повсюду мешают, становятся поперек пути, а сами мизинца его не стоят. Он слушал, и душа его размягчалась. А потом она откинула край своего атласного, нагретого ее телом пухового одеяла.

— Иди ко мне.

Заснул он сразу, забыв даже выключить лампу, и Елена над ним дотягивалась голой, полной рукой, на которой заметно обвисало мясо. Если бы в этот момент не она, а мать смотрела на него, она бы его пожалела. Он только заснул, ему еще ничего не снилось, ничто не потревожило, то жесткое, беспощадное, с опущенными углами рта выражение, которое крепло у него, когда говорили о зависти и завистниках, разгладилось, с отвисшей губы слюна стекла на по-

душку — старое лицо, крашеные волосы; матери всегда больно видеть свое дитя старым. Он спал так тихо, что Елена испугалась, ей показалось, не дышит. Но тут он пошевелился, почувствовав на себе взгляд, вздохнул, и она потянула за шнурок, выключила свет.

А несколькими днями позже, в субботний вечер, сидя в кресле перед телевизором, наблюдая, как огромный оркестр хорошо одетых музыкантов одновременно вверх-вниз водит смычками по струнам (в понедельник должно было обсуждаться мероприятие, связанное с этим коллективом), кушая сочную грушу, которую доставили с Кавказа, стараясь не обкапаться, для чего держал под ней тарелочку, а свернувшийся на полу Дик грел своим телом его ноги в тапочках, Евгений Степанович внезапно почувствовал некое озарение, видимо, музыка подействовала. Он встал, тапочка соскочила с ноги, в волнении не сразу попал в нее на скользком, хорошо навощенном полу, прошелся. Да это же прекрасный сюжет! Он чувствовал творческое волнение, будто теплом дохнули на лицо ему, будто ласковой рукой по щекам провели. Надо вызвать парнишку, с которым он сейчас работает, и рассказать — это может стать их очередной пьесой. Здесь есть драматургия: его предал друг! Настало время предавать, и его предали. И вот они встречаются через восемь лет, и такой мокрый день, и капает мокрый снег с очков... В кино это даже больше бы впечатляло. Впрочем, лагерная тема...

Тарелочка с недоеденной грушей стояла на столе. Вытерев пальцы салфеткой, Евгений Степанович выключил звук телевизора, музыка мешала сосредоточиться, и оркестр скрипачей на большом экране беззвучно водил смычками по струнам. Что ж, можно все это опрокинуть во времена войны: допустим, он командир чего-то и его друг — командир чего-то, и тот струсил и подставил его и предает... Но для этого нужно знать точные подробности, тут потребуется другой соавтор. Впрочем, война давно всем надоела.

Он остановился. Сосредоточенно глядя в одну точку, быстро жуя, доедал грушу. В конце концов, это может быть просто уголовный сюжет. Что-нибудь там с приписками, что-нибудь такое со взятками... Старый однорукий уголовник, старый махинатор, гешефтмахер, одевшись нарочно победней, поджидает на углу. Очень колоритная фигура. И лицо подходящее. Нос, очки. Тут что-то наклевывается, что-то прорисовывается, что-то начинает рождаться. Во всяком случае, толчок мозгам есть, надо будет поручить подобрать факты, дать задание, важно теперь размять.

И он почувствовал, как отпал некий груз, томивший его все это время, и душе стало легко.

Глава XIX

С вечера повздорили с женой, и Евгений Степанович лег спать отдельно, у себя в кабинете. Собственно говоря, причин для ссоры не было, единственно — ее упрямство, ее жуткий характер. И, раздраженный, мысленно договаривая ей самое уличающее, что в момент ссоры на ум не пришло, он долго не мог заснуть, то принимался читать, то гасил свет, и сон его в эту ночь был тяжелый, беспокойный, мрачный. В дальнейшем, когда события следующего дня обрушились на них, и оттуда, уже из другого времени, вспомнил все, сопоставил несопоставимое, он поразился: Боже мой, чем занимались они накануне, не зная, что их ждет, мелочь какую-то ничтожную превращали в трагедию. Впрочем, не исключено, что все это было не случайно, они с Еленой предчувствовали, потому и нервы были напряжены, как перед бедой, и ссора эта произошла, и ночью он так реагировал. Что-

то носилось в воздухе, какие-то атмосферные явления. Но это все позже в голову пришло.

Короче говоря, он долго не мог заснуть, а когда наконец заснул, слышал во сне, как над головой пищит телефон. Была у него такая трубка с кнопочным набором, дрянь ужасная, изготовленная на Тайване, кто-то ему из Америки привез. Она не звонила, а пищала. И вот во сне слышал он этот писк и понимал, что ему это снится. Но вдруг вскочил. Было совершенно темно. Писк замер, и вновь запищал телефон, Евгений Степанович, мутный со сна, схватил трубку.

— Да!

И хриплый, пьяный голос:

— Ротный, ну ты чего? Это заряжающий, Курашов. Договорились, а теперь ты ето самое?..

— Какой ротный, какой заряжающий? Скотина пьяная! И еще звонит среди ночи...

Вся ярость после ссоры взорвалась в нем. Воткнул трубку в держатель, лег. Пульс захлестывал. И выпадал. Он испугался, щупал у себя под горлом — так еще инфаркт схватишь. Ослепив себя на миг электричеством, глянул на часы. Четверть пятого. «Сволочь! — только что не стонал Евгений Степанович.— Заряжающий... Зарядить бы тебя один раз и на всю жизнь!» Сердце колотилось от ненависти. А потом, обмякший, потный, сам чувствуя от себя неприятный, кислый запах, утирался углом пододеяльника. Сон был испорчен. Опять он долго ворочался в темноте. А едва задремал, над головой запищало. Евгений Степанович сразу же сел, он весь был, как взведенная мышеловка, готовая захлопнуться.

— Слушаю,— голос тихий, ровный. На этот раз он не положит трубку, он потребует выяснить, кто и откуда ночью звонит ему. Мысленно и статья уже созревала: телефонное хулиганство.

— Евгений Степанович, радио включи.

— Кто говорит?

— Панчихин говорит, Панчихин. Радио включи.

Только сейчас сквозь сумрак в комнате увидел он, что там, за плотными шторами, не сомкнутыми наверху,— утро. И этот ранний звонок... И «ты», как равному... Что-то произошло. Он включил свой японский приемничек, долго ловил Москву (настроено было на «Голос Америки»). Находясь в Москве, почти что в самом центре, он не знал, на какой волне Москва, не мог поймать: как-то не приходилось слушать Москву по радио, все телевизор заменил.

Несколько раз на длинных волнах врывалась одна и та же музыка, что-то знакомое. Чайковский? Бах? По правде сказать, Евгений Степанович не очень в этом разбирался, хотя по должности нередко присутствовал на концертах, сидел, шел за кулисы, если исполнитель по своей значимости того заслуживал, говорил прочувствованные слова.

Вдруг прорвался голос диктора: исполнялась Шестая симфония Петра Ильича Чайковского. С раннего утра — Шестая симфония?.. Такое не бывает случайно. Босиком, поддерживая на себе пижамные штаны с прорезью спереди (просил Елену убавить резинку, штаны спадают, опять забыла!), он тихо проследовал в столовую, включил телевизор, и пока там нагревалось, стоял перед экраном посреди комнаты, ждал. От пропотевшей и высохшей на теле пижамы чувствовался все тот же кислый запах. Раньше, чем появилось изображение, зазвучало тоскливо опять что-то классическое, за душу тянущее, и вот из просветлевшего экрана, из серой мути четко возникла картинка: все в черном оркестранты и лицом к ним дирижер волнообразно взмахивает черными рукавами.

Евгений Степанович полез в программу передач, без очков, до рези в глазах читал. По программе сейчас утренняя гимнастика, а вместо нее одетые по-вечернему оркестранты с белыми лицами, как на похоронах, пилят на скрипках.

Елена, запахивая халат на ходу, застала его в странном виде: стоит босиком перед телевизором, одной рукой придерживает штаны на животе, в другой — приемник. И по приемнику, и по телевизору звучит одна и та же музыка.

— Что-то произошло,— сказал он, забыв о вчерашней ссоре. Но она не забыла.

— Ты окончательно того? — лицо ее, помятое во сне и еще не подкрашенное, было землисто-желтым.— Приемника тебе мало, с утра пораньше телевизор включил...

Только теперь он и заметил, что действительно в руке у него приемник.

— Ты не понимаешь, все беды у нас и в Европе случались под музыку. Когда не знают, как сообщить, дают классическую музыку. И когда война началась...

Крупней приблизили картинку, и среди оркестрантов Евгений Степанович узнал в лицо первую скрипку. С полгода назад музыкант этот умер, как раз недавно для его вдовы подписывал он бумаги: что-то там с пенсией, что-то требовалось еще. И вот он живой, подбородком прижал скрипку, водит смычком. И весь этот оркестр — бледные в черном — показался потусторонним. Наверное, в спешке пустили старую запись, что под рукой оказалось.

Опять звонили по телефону: у вас включено? Включите радио... И умолчание, страшная догадка. А радио передавало классическую музыку.

Первым сообщил ему шофер Виктор:

— В гараже говорят, Брежнев умер. Милиции нагнали, похоже, комитетчики переодетые с рациями стоят. Поехали, Евгений Степанович, по набережной, а то еще перекроют центр.

Принявший душ, побритый, расчесанный, во всем чистом, пахнущий мужским одеколоном, Евгений Степанович сидел в глубине машины, сзади справа, так что Виктор говорил, оборачиваясь к нему.

— Включи радио,— сказал он шоферу.

Но радио все так же надрывало душу классической музыкой. И милиции действительно было сегодня что-то многовато, за каждым фонарным столбом натыкано по милиционеру с рацией.

В Комитете подтвердилось окончательно: умер Брежнев. И первая мысль Евгения Степановича была, как стон жалобный: ну, что бы ему еще месяца два, хотя бы месяц пожить! Уже подыскано место, уже доложено помощнику, и тот, как передали, сказал: «Добро!» Уже, входя в свой кабинет, Евгений Степанович представлял, как в один прекрасный, теперь уже недалекий день носком ботинка отшвырнет он от себя этот протухлый Комитет во главе со старым носорогом, который пожизненно восседает на шестом этаже у себя за пустым столом, втянув голову в плечи, будто ему однажды стукнули по затылку, да так он и остался служить со втянутой в плечи головой. Сюда не назначают, сюда ссылают, еще Сталин под конец жизни грозился сослать Молотова министром культуры, дальше некуда, дальше только лагеря.

Со дня на день помощник должен был доложить Генеральному о Евгении Степановиче, поджидал подходящего момента. Это великая наука: подгадать беспроигрышно. Рассказывали, Большаков, тогдашний министр кинематографии, бывало, по три недели, по месяцу возил в багажнике коробки с фильмом, выжидал, подгадывал, а однажды без него показали Сталину, что было, да не под настроение попало, и такой разгром учинил, жизнь авторам перекалечил. Что их жизни — на всех, на всю кинематографию черной тенью легло.

В конце концов, мог помощник и сам решить, достаточно намекнуть кому следует, выдать пару телефонных звонков — всегда неясно, от своего имени действует или от Самого? И чье последует недовольство... Рассказывали под величайшим секретом, что в последние месяцы жизни Суслова помощник решал, какие вопросы может задать посетитель, и сам же за Суслова готовил ответы на вопросы. Да что помощник! Международные телеграммы — вовсе уж тайна из тайн — прочитывал ему, больному, комендант, вот от кого другой раз судьбы зависят.

В этот день в Комитете никто не работал, жили слухами. Изображалась видимость дела, внешне даже как бы еще больше сплотились вокруг пока неизвестно кого. Бумаги печатались, треск в машинном бюро стоял пулеметный, переносили бумаги из кабинета в кабинет, подписывали, возвращали, но мыслящая часть общества, сосредоточенного в этих стенах, гадала, ждала решающего сообщения: кто возглавит Комиссию по организации похорон? Ленина хоронил Сталин. Сталина хоронил Хрущев, он возглавлял Комиссию (то-то и порядку было!). Хрущева хоронил... Впрочем, тут все шло по другому разряду. Если Комиссию возглавит Черненко, бразды правления в его руках.

Еще до того, как объявили по радио, дошло от уха к уху, стало известно: Комиссию возглавил Андропов. И счетно-решающие устройства во многих головах, в том числе в голове Евгения Степановича, срочно стали просчитывать: как? кого? с какой стороны и в какой степени это коснется? Да разве так называемые простые люди, народ знает эти заботы, эту тревогу, от которой стареют раньше времени? Разве зависят непосредственно их судьбы от того, кто на чье место сядет?

Целые шеренги имен проходили перед его мысленным взором. Кто-то из них выдвинется теперь на первый план, угадать бы, не ошибиться. Кого-то неминуемо задвинут, отправят послами в зарубежные государства: кого — поближе, кого — подальше. Но мучил главный вопрос, главная неясность: на нем, на нем как это скажется?

Мартовским вечером 53 года стоял он в толпе под репродуктором на Трубной площади, где потом столько народу задавили во время похорон. Или это у Кировских ворот он стоял? После дневной капели подморозило, пар от дыхания поднимался над толпой в черном воздухе. И все лица подняты к репродуктору. А оттуда голос диктора, голос Левитана торжественно извещал, как разделили сталинское наследство, кому какой достался пост. И, когда назвали Берию и сказано было, что он возглавил МВД, в котором соединились оба ведомства, стоявший рядом полковник с синими кантами на погонах твердо кивнул козырьком и глянул вокруг, будто возвысясь над толпой.

В день похорон Брежнева, когда Евгений Степанович, несколько простуженный, сидел дома, неожиданно, не предупредив телефонным звонком, явился Панчихин. На Евгения Степановича это подействовало, как дурное предзнаменование, словно бы и он переходил отныне в разряд пенсионеров, если бывший его подчиненный запросто, как равный к равному, является к нему. А Панчихин всем своим видом как бы демонстрировал, что персональные пенсионеры живут у нас неплохо: он пополнел, порозовели щеки, сменил очки, теперь они были в тонкой золоченой оправе, сквозь цейсовские стекла глядел

вовсе не увядший в тоске и забвении, а наоборот, свежий, строгий господин. И всю церемонию по телевизору они смотрели вместе, в креслах, и Панчихин сидел нога на ногу, в его запасных тапочках.

Звучала скорбная музыка, шли и шли траурные толпы серой чередой: входили, направляемые в Колонный зал, огибали высокий помост, удалялись. Вчера парторг в их Комитете составлял списки тех, кто пойдет на похороны в эти траурные колонны, списки представителей трудящихся, как это принято было формулировать, и один «представитель» начал отказываться — теща больна, жена больна, детки больны,— так этот дурак, которого давно пора выгнать, если бы он не был бессменным секретарем парторганизации, ляпнул: «Ну, гляди, чтоб в следующий раз...»

Евгений Степанович вглядывался в лица идущих. Ни в одном — скорби, только любопытство к происходящему. Идут, перешептываются, глядят с интересом, даже улыбки мелькают, только одна утирала глаза. И от неясности главного, что его ждет теперь, думал с раздражением: разве это народ? Дикари! Стадо!

Каменели рядом с обнаженными холодными штыками лица безымянных часовых у гроба, как не впервые они здесь каменеют, словно это все те же молодые лица, высеченные однажды и навечно. Люстры на потолке, знаменитые люстры, затянуты черным: лазали туда человечки, как муравьи, как-то доставали. Высокий помост. Красные и черные полотнища. Горы цветов. Венки, венки. И там, на возвышении, в цветах по грудь — покойный. Камера наезжала, показывала крупно: брови, ставшие темней на мертвом лице, провалы глазниц, ноздри, запавший рот; наверное, протезы вынули, оттого так сильно запал. Все последнее время нечленораздельные раздавались из него звуки, но раздавались! И была вершина пирамиды, плоха ли, хороша, но была. А пирамида, в свою очередь, состояла из бесчисленных пирамид поменьше, и у каждой, даже самой махонькой, была и своя вершина, и свое основание под ней. И все вместе они скреплялись единым притяжением, прилегали друг к другу плотно, сплачивались в общий монолит. Гениальное построение это пережило тысячелетия и века, оно бессмертно, оно отвечает самой сути человеческой натуры: каждый стремится возвыситься, возглавить, создать прочное основание под собой. А теперь что ждет?

Генерал-лейтенант приличествующим траурному событию замедленным шагом вел за собой почетный караул — звездный час его жизни, внуки внукам будут рассказывать: а вот наш дедушка... Он шел впереди, он выступал, возглавлял, вел, и был он пешкой в сравнении с теми, кто следовал за ним. Они стали по сторонам гроба, все в темном, траурные повязки на рукавах: Гришин, Устинов, Громыко, Черненко, Тихонов. Камера подробно показывала лица. Не молоды, ох, не молоды, вздыхал в душе Евгений Степанович, на самом уже на краешке стоят. За короткий срок троих не стало: Косыгин, Суслов и вот Брежнев. Не ко времени вспомнилось, какой-то мерзавец пустил анекдот: новый вид спорта наших руководителей — гонки на лафетах... Самое святое, что есть у народа, готовы осмеять! И ведь пресекают, но таково свойство анекдотов в нашей стране, что распространяются со скоростью света.

И по другую сторону помоста камера медленно проследовала по лицам: Андропов, Щербицкий, Кунаев, Романов... Можно представить себе, какие мысли у них сейчас в головах, какие планы сокровенные! Каждый свое обдумывает. Теперь начнут возглашать про коллективное руководство, которое одно лишь способно заменить... Вот Романов, этот, пожалуй бы, смог, хотя и меньше всех ростом: маленьким людям великие сны снятся. Глаза ледяные, будто даже не человеческие, водяные, бесцветные глаза, такой долго раздумывать не станет, порядок жесткий наведет. Но вспомнилось огорчительное, как в Финляндии, при посещении дома, где жил Ленин, пытался Романов возложить к бюсту Ильича букетик цветов: и на помост вставал, и на цыпочки поднимался, а дотянуться не смог, хоть был установлен бюст этот на высоте человеческого роста. В прежнее время осталось бы это достоянием узкого круга лиц, а ныне — телевидение, все видели, как он старался, как у него от усилий весь пиджак перекосился на спине, даже одну ногу приподнял и — не дотянулся. И вот такому править Россией...

Еще торжественней выступая, входя с этого часа в семейные предания, генерал-лейтенант привел новую смену, а тех, кто отстоял свое, увел за собой. И выстроились, потупясь: Алиев, Рашидов, Демичев, Соломенцев, Долгих. И опять Евгений Степанович жадно вглядывался в лица соратников, отдававших последний долг, искала опоры его душа. У Долгих правда что долгое, вовсе без выражения, никак не впечатляющее лицо, а волосы красит в тот же цвет, что и Евгений Степанович, как удалось узнать, тем же американским красителем. Демичев Петр Нилыч стал совсем, как бабушка седая, не зря прозвали Ниловной. Алиев... От этого неизвестно чего ждать. Взгляд маслянистый, ускользающий, лицо будто смазано ложью. Да и старался слишком уж наглядно, это не забывается. Когда Брежнев последний раз приезжал в Баку, жара, как на грех, стояла страшная, кусты пожухли, так, рассказывают, их опрыскивали для вида зеленой краской, освежали. И еще умудрился от усердия такой помост на площади, такую трибуну соорудить, что Генеральный еще у подножия понял: высока для него, не осилит по немощи. И взбираться не стал. А потом эта темная история с подаренным бриллиантовым перстнем... Было, не было, а директор-то фабрики, как утверждают, повесился, а дыма без огня...

— Что ты так убиваешься! — возмутилась Елена.— На тебе лица нет. Я тоже с утра места себе не нахожу, но надо знать меру. Не молод, волнения сказываются.

Она ввезла раскладной столик с закусками, чай. Он чуть было не закричал на нее: в такой момент, когда вся страна, затаив дыхание... Но Панчихин сразу оживился.

— Ах, Елена Васильевна, как своевременно вы рассудили, вот что значит женский ум! Надо, надо помянуть по русскому обычаю.

— Не преждевременно ли? — Евгений Степанович не узнавал своего в высшей степени дисциплинированного подчиненного.— Еще не похоронили, а мы поминать начнем.

— Лишнее усердие — во благо. Дорога святость чувств. Я теперь другой раз на сон грядущий стал Библию почитывать, на работе все некогда было, все недосуг, все пьески читал. Очень интересно, оказывается, мир был замыслен! Только тяжела, старинное издание, заснешь — из рук вываливается, все углы оббил.

И когда Елена внесла из холодильника недостающее — бутылку лимонной водки,— Панчихин живо взялся поухаживать за хозяевами, в три стопки налил, пробочку завинтил, поднял свою, выжидая.

Хотел было Евгений Степанович произнести что-то торжественное, да вдруг как-то само собой сорвалось:

— Эх, Василий Егорович!

— Согласен, Евгений Степанович, эх! Да лучше-то где же взять?

И они выпили не чокаясь. Возможен ли был такой разговор, само действие такое возможно ли было, когда хоронили Сталина? Помнил

он, как стояли все, в струнку вытянувшись, не дыша, и женщины плакали навзрыд, а на ту, единственную, что не плакала, косились волками. У нее под взглядами щеки пунцовые, но сухи были, все видели — нет слез. И обрушился бы на нее праведный народный гнев, не убереглась бы, если бы не весь последующий ход событий.

— Вот так подумаешь, Евгений Степанович,— Панчихин после второй рюмки еще более порозовел щечками, даже как бы помолодел, всем своим видом приглашая Евгения Степановича в свое вольное состояние, и тот почувствовал к нему неприязнь,— подумаешь вот эдак,— он справлялся с ломтиком белужьего бока холодного копчения, в белых пальцах его держа и откусывая боковыми клыками,— зря, зря при жизни его ругали, портретики Иосифа Виссарионовича в машинах на стеклышки лепили. Этот голов не рубил. При нем, я так своим умом раскидываю, при нем-то ведь были лучшие годы нашей жизни. Еще вспоминать будем. Есть такой зло...

Он хотел сказать «злобный», но хрящ белужий попал как раз на укрепленный мостом зуб, и сорвалось что-то и клацнуло, он попробовал двумя пальцами это сооружение во рту, пошатал осторожно и, разозлившись уже и на хрящ тоже, выговорил, чего и не думалось:

— ...зломерзнейший драматург Сухово-Кобылин! Я когда в должности находился, ни одна его пьеса не проникала на сцену. И вам советую. Ведь до чего дописался, подлец! Мол, было на Россию татарское нашествие, было еще какое-то, а теперь, мол, нашествие чиновников! На что посягает, на что замахивается ! Не зря был за убийство судим. Такое только в голову уголовнику придет. Государство нами собрано воедино, нами крепилось и крепится. Пока мы есть, оно стоит незыблемо!

И в его порозовелом лице с пористым носом, в его почтенной седине, в гневном взоре сквозь мечущие блики цейсовские стекла очков проглянуло вдруг не одно, не два, а поколения и поколения российских чиновников, чья честь была оскорблена. И Евгений Степанович думал с волнением: прав Панчихин, прав, нельзя уходить, нельзя отдавать страну на разор.

А в зале тем временем поклонились вразнобой гробу и двинулись прощаться. Первым подошел Андропов, и вдова встала, он поцеловал ее, поцеловал сына. Вторым целовал Черненко, значит, возглавит идеологию, прочитывал Евгений Степанович. Но это были поцелуи разного значения. Андропов принял партию и страну и в этом качестве целовал вдову усопшего лидера; Черненко пока что целовал как близкий друг семьи, всего лишь. «Упустил,— досадовал с презрением Евгений Степанович,— пороху не хватило. А как выходил на сцену вслед за Брежневым, на шаг не отставал, прямо-таки за фалды пиджака держался, всем ясно было: вот он, готов принять власть из рук, и — упустил...»

Длинной очередью выстроившись, подходили, пожимали руку вдове, и было видно, кто за кем. Но целовали только двое.

Оператор с камерой на плече снимал для истории ордена покойного, выставленные перед постаментом, много орденов. И, когда прошли все руководители, откуда-то со стороны, сбоку, отдельно, как частное лицо, словно бы самого себя стыдясь, приблизился Кириленко. Евгения Степановича на миг страхом обдало: показалось, Кириленко — в тапочках. Приподнялся, вгляделся в экран — нет, все в порядке. Но какой-то незначительный стал сразу, смотреть не на что, он и так-то был невелик ростом, а тут еще меньше сделался, старое, сплюснутое лицо. А недавно от одного его слова, от шевеления пальцем столько зависело! И вот отторгнут, и не стало его, как

не было. И никто не вспомнит, пройдет чуть времени — «Кириленко? А кто это такой?..» И умереть по-человечески не придется. Умри он при всех своих должностях, когда длинная черная машина на большой скорости провозила его по Москве, а впереди и сзади — черные машины сопровождения, и от рации к рации — «Едет!», и все движение перекрывается, умри он тогда, шли бы к нему прощаться многотысячные толпы, и траурные марши, и гроб на лафете... А теперь что ждет? И, глядя на него, о себе думал. Для того он трудился, всего себя отдавал Делу?..

Только на миг душа обрела опору, когда открылась пустая площадь перед Колонным залом, свежерасчерченная белыми полосами, и неколышимые, строгие ряды офицеров в белых поясах и белых портупеях, круглые донышки офицерских фуражек. Вот он, образцовый порядок, вот она, прочность, незыблемость.

«Москва строга и печальна,— звучал голос диктора над Москвой.— Приспущены флаги. Вся жизнь Леонида Ильича — пример беззаветной любви коммуниста к людям. Он полюбил землю...»

Офицеры в белых поясах и с лентами через плечо вынесли из дверей Колонного зала портрет покойного: моложавое лицо, пять Золотых Звезд на левой стороне груди, четыре лауреатские медали — справа. И венки, венки, их несли старшие офицеры. А следом генералы всех родов войск, генерал-лейтенанты, генерал-майоры, адмиралы несли, каждый впереди себя, на атласных подушечках Звезды и ордена покойного. И не ко времени, не к торжественности печального момента вспомнилось как на грех: отдыхали они с Еленой в чудной соцстране у теплого моря, где золотые песчаные пляжи, и вот как-то вечером за вином корреспондент нашей центральной газеты, который нес там службу, развязно разоткровенничался: будто страна эта добрую половину нефти, которую получала от нас за гроши, тут же, не перегружая, гонит дальше, продает за доллары по вздутым ценам мирового рынка. И при этом еще сумела задолжать нам миллиард. Но приехал Леонид Ильич, был принят с помпой и почитанием, обласкан, его наградили Золотой Звездой Героя Социалистического Труда и этой страны, и миллиард был списан.

Среди полутора сотен с лишним наград покойного и эту Золотую Звезду, воистину бесценную, нес на атласной подушечке генерал, лицу меньшего звания такую почетную роль доверить не могли.

«Во всей полноте пришло познание глубины и сложности партийной работы...— звучало над Москвой.— Леонид Ильич был одним из комиссаров Великой Отечественной войны... С его именем связан беспримерный подвиг на Малой земле...»

Присутуленный, в шляпе, Гришин распоряжался на пустой площади перед Колонным залом, будто сгонял кого-то. Бодро, быстро прошли стороной какие-то штатские, офицеры взяли «на караул».

Красный гроб поставили на лафет, бронетранспортер, нацеленный пулеметом вперед, подцепил лафет, построились за гробом, двинулись. И опять вглядывались в экран и Евгений Степанович, и Панчихин: кто впереди, кто рядом с кем — судьбы определялись. Где-то среди родственников, будто и правда из соратников в разряд родственников перейдя, косолапил отторгнутый Кириленко. А по бокам лафета с карабинами на согнутой руке, как неживые, вышагивали, оттягивая носок, задерживая ногу на весу, молодые солдаты с поднятыми вверх, бледными от напряжения лицами.

«Тяжелая утрата постигла нас, партию, народ, все передовое человечество...»

У Кремлевской стены, в которой прах и жертв, и палачей, и рядом сияют золотом их имена, гроб сняли с лафета, поставили перед

Мавзолеем. Настало последнее прощание. По грудь закрытый красным кумачом, он лежал лицом вверх, а с трибуны перед ним, перед многочисленными его портретами, обращенными к Мавзолею, говорили речи по бумажке, сменялись ораторы у микрофонов: голая голова академика Александрова, рабочий, студентка...

Геометрически правильно вырытая могила, выложенная внутри кумачом, с черными траурными полотнищами по углам, ждала. И вот на длинных белых шелковых полотенцах начали опускать гроб. Что-то дрогнуло, сорвалось... Удержали. Расставя ноги, напрягши каменные зады, могильщики ждали, удерживая на весу. Ждали салюта.

Камера вознеслась — полоскалось на ветру просвеченное солнцем красное знамя, реяло над куполом Кремлевского дворца. Грохнуло в воздухе. И, вспугнутая залпом, косо перед красным знаменем пролетела черная ворона.

— Душа отлетела! — ахнула Елена в суеверном страхе.

А потом, когда бросили в могилу по горсти земли (первым бросал Андропов, за ним все остальные по порядку), и заровняли профессионально быстро, и холмик сделали, и портретом покойного загородили, торжественным маршем двинулась армия. С суровыми лицами, какие бывают у молодых солдат, когда в руках у них оружие, отдавали они воинские почести человеку, который сам себе после войны присвоил звание маршала, сам наградил себя высшим полководческим орденом Победы, при ком растлевалась, разграблялась и распродавалась их страна. Ряд за рядом, повернув лица, отбивая шаг по древней брусчатке, готовые в эту минуту на бой и на подвиг, шли сыны и внуки солдат Великой Отечественной войны, спасших родину.

А на трибуне Мавзолея в должном порядке стояли вожди, как до них в прежние времена здесь выстраивались, как привык это видеть народ. И не один лишь Евгений Степанович вглядывался, стараясь угадать, что ждет впереди. Длился миг между прошлым и будущим.

Виктор Соснора

ИЗ РАЗНЫХ КНИГ

Третий Париж

В отеле «Викторья», плац д'Итали у сквера Верлена
хозяин — араб, но безработица, в сквере же меж дерев
монумент,
но не Верлен, а майор-интендант, как и у нас — военный,
а окна мои выходили на монастырь,
одно как окно в номере, а второе — дворцовая дверца,
незастекленная, был умывальник с водой,
лимонное мыло, по генеалогии древа
Бурбонов, и я босиком с кровати крался на водопой.
Вишневая водка стояла в шкафу, но не инфернальна, —
ее я не пил. Для гостей? Но и гости не пили ея.
Входили и выходили, но не на монастырь, а интеллигентно, —
вот выбриты! до вибрации лиц! Брился и я, —
весь в синем вельвете. Весна. Все уже заговорили по-польски.
Я загоревал; ведь французский я знал наизусть.
Я явился в Париж тверд и с целью: творческие поиски.
С искусством уже приискал: и араба отель полюбился и
майор не хуже ничуть.
«Верлен и верлибр» — срифмовал бы и новый
папа-итальянец.
А «Аполлинер и апрель» — я в Варшаве еще рифмовал.
Дул дождь, как ветрами. Я взял зонтик. Что это?
Стриптиз или танец?
Протестовали студентки-спортсменки у входа в бассейн под
дождем.
Люблю социальные сцены и ноты протеста;
когда не впускают в бассейн искупаться в одежде от хлада, —
впустить!
На Монпарнасе в качестве живописи ультра-портрета
музей Барбиду. По нервам понравился. Не оцениваю.
И пусть.
Воздвигнули Черную Башню четырежды выше Эйфеля.
Отменная башня. Французы и в архитектуре сильны.
Эйфель был берцов. Боже-Башня уже из кайф-кафеля.
Уйди из Парижа — увидишь ее из Советской Страны.
Зачем же я в трату валют (все ж с оговоркой — обмена!)
На аэротаможне аэротаможенники (наши ли?)
нашли, мне карманы проверивая, четыре грецких ореха,
их били кувалдой, искали брильянты короны моей и
огорчились, что не нашли.
Мне сердце предсказывало: не будь индифферентным,
ищи интересных людей, нет их в номере, ты, гамадрил.
Но Джонни Бурбон мне был ни в коем случае неинтересен:
я пил с ним водопроводную воду из крана и сигареты
«Tanja» курил
Он в банке служил банковским служащим, чтобы. как
рантье, работать;

дворец ведь для нескольких лиц из состава семьи в Жермини:
три дочери-шарм и бушуют, но пред будущим робость:
что сын не предвидится — возраст жены.
Последний Бурбон. Джонни плакал чуть ли не по-королевски:
последний мужчина в роду — последний Бурбон!
Я его утешал, что и Фаэтон был последний в коляске,
и что каждый мужчина — последний мужчина себе...
Барабан
гард-републикен в двенадцать ноль-ноль раздавался!
Есть у Столицы статут, а в двенадцать ноль-ноль
у Столицы — стресс:
обычай обеда: цыпленок и беф челюстями от шкур
раздевался,
здесь к цыпленку и бефу, я бы сказал, — неиссякаемый
интерес.
Художники из киноискусства, консьержки с ключами,
дельцы и девцы, чиновник и человек,
премьер-министры и диссиденты, комиссары полиции
и клошары
обедают с двенадцати ноль-ноль и в четырнадцать ноль-ноль
закрывается чек.
Пустеет Париж. Два часа иностранцы, не зная инстанций,
вне нравственности народа,
пьют пот и завидуют злобой, им нет интервью. Им ответ:
«Обедают двести двадцать четыре миллиона зубов.
Осторожно!»
Пой, хор херувимов. Хороший обычай — обед.
О женщинах. Думается, элегантность в них есть. Но
с волосами старались не мыться.
Мы моемся чаще, но я не рискнул бы отметить — вовсю.
Я фемин уговаривал по-французски, без акцента: «Вот мыло!
Вот миска!»
Не мылись. Так и уходили без поцелуя в растительных
волосах.

О чем же отчет?..

Терцины

(Памяти Лили Брик)

Уйдет к себе и все забудет
Н. А.

Ушла к себе и все забыла.
Москва не родила капель.
Москва пилюль не золотила.

Ложились люди в колыбель,
включая лампу, как ромашку...
Оплакал я, — не храм, не Кремль.

Позволю первую ремарку
о пуговицах за слова —
как вср коварную рубашку

снимаю перышки, Сова,
знаток Зеркал, я отвечаю:
ушла к себе, ушла сама.

Не одарила воды к чаю,
не одалиска. — по любви.
О чем поэты? — одичали,

не отличая поля битв
от женщины музык и жеста,
поэтому-то полегли,

к жерлу прижав пружины-жерла...
Не собеседник на суде,
не жалобщица и не жертва,

без пантомимы о судьбе,
без эпистол, без мемуара
она — одна! — ушла к себе.

Царица мира, — не Тамара,
о не Сиона!.. Сущий сон:
в сих пузырях кровей кошмара

какая Грузия! Сион!
Грузин Ваш — грезил. Оболванен
лафетом меди, — мститель он!

Освистывает обыватель.
Знак зависти — павлиний глаз.
Второй ремаркой объявляю:

еврейства ересь... им даласы!
(Ах! я ль не лях, — Аллаху —
лакмус!)...
Нимб времени и лир — для Вас.

Так лягут лгать, включая лампу.
Монгольский молот под кровать —
в электролягушачью лапку! —

Свой Тартар поутру ковать,
звать звездами вверху стекляшки
и что не я — грехом карать.

Уснуть устам. Сойти со стражи
к себе, самой, — как сходят с рук.
Библейской болью: стой и
стражди! —

(как стар костер!) — созвать на
звук.
Но... мумии вины левита
у скал искусств... мурашки мук.

Но звук за век (ах, от любви-то!)
зовет за око — Вий в окне!
Но в мире мер в сосуде литра

отнекиваться на волне...
(Ах щит Роланда, счет Гарольда!)
Вы — объясните обо мне.

Последнем Всаднике глагола.
Я зван в язык, но не в народ.
Я собственной не встал на горло.

Не обращал: обрящет род!
Не звал к звездам... Я объясняю:
умрет язык — народ умрет.

Где соль славян? О опресняя
в мороз моря... Раб — не для бурь.
(Агония обоснованья!)

Но нем в номенклатуре букв
и невидаль ли в наводненье
автопортрет мой — Петербург?

Ремарка третья: над Вандеей
гитары гарпий, флейты фей.
У нас семь пятниц на неделе:

то белены, то юбилей.
Москва! Как много... в говорильне,
в бинтах кровавых — фонарей!

Не ум у мумий, — гамадрилы,
мессия мяса, — племена!
На нас мундиры голубые,

мы в силах все — переина...
На берегах Отчизны — Стикса
припомните им про меня!

Страницы в море жгла синица
секретов сердца, — тот театр!
Имея меч — теряться с тирсом?

У винных вод — и ты, Тантал?
Двусмысленны все постаменты
на территории татар.

Нам жизнь не в жизнь, но все —
посмертны...
Лишь жалоба календарю:
что я последний Вам в последний

уж ничего не говорю!

Бессонница

Лестница, а по — крысы бегают,
в шляпах, в ботфортах, с рапирами — ура!
Бьется, бьется бабочка — бессонница
в ласках-волосах моих, а волосы болят.

Тело у меня — еще теплое,
все в слезах пота и живот чуть живой.
По животу с блестящими глазенками
крысы, маленькие, как муравьи.

Тьма. Во тьме — евангельской? египетской?
ты — с телом крысы, майским, меховым.
Лебедь-шея, — это Евангелие,
Бог-башка — это Египт.

Не люби. Но не целуйся с крысами.
Господи, бегут с клыками! кусать!
Где выключатель? Вот! Включается!
Ищу под одеялами — и нет там меня!

Нет нигде меня — на корточках по комнате
ползаю! Лягу — сплю, сплю, сплю...
Раскрою глаза — влюбленно улыбается
в глаза мне крыса, морда, как медведь!

Спаси, не люби. Любить — навязывать.
Спасать — явиться лишь и глаза мои закрыть.
О если б кто-то — вы, что ли, — выстрелил,
но сзади, в затылок, чтоб не ждать, не знать!

Слепые

Ты помнишь,
а если не помнишь, то вспомнил:
как пели слепые, сейчас на базаре, в Ангарске,
слепая семья —
он, она и ребенок.
И были у них негритянские лица, но белого цвета.

Мужчина играл на гармошке,
как будто растягивал лягушонка,
девушка пела,
и серьги ее распускались, как два парашюта,
девочка делала ножками:
танец она исполняла,
все остальные присутствовали:
стояли,
моргая и не моргая.

Ты помнишь, что пели они?
И не надо, не помни:
такие же песни, как провинциальные лебеди на клеенках.
Толпа была полуодета, как все толпы на свете:
меха... кое-что из резины... тельняшки...
милиционеры с медалями... все остальные...

А те, кто поближе к слепым, не слушали пенье, —
рассматривали
белые лица,
сочувствуя, но не стесняясь,
а те, кто подальше, — не видели лиц, но слушали пенье,
они вынимали монеты из меди и не уходили.

Однако торговля не стала менее оживленной:
старухи в больших рукавицах
фруктовую рыбу обнюхивали, как целовали,
работали мясники топорами средневековья,
в бочонке звенел огурец, как зеленый звоночек.

Потом появилась, как львица, действительно, лошадь.
К гармошке пропал интерес:
все пошли посмотреть хорошенько на лошадь,
все,
даже четыре, как курицы, маленькие карлицы
и два лейтенанта:
с биноклем один, у второго футляр от бинокля.

Не помнишь, как падали листья?
А ты попытайся, припомни:
как листья играли, как трубки из маленькой меди,
с еще малолетних деревьев уже опадали,
уже увядая, еще не желтея,
они опадали зеленого цвета.

Солнце совсем не имело определенного места на небе —
присутствовало в каждой капельке неба одновременно.
Фосфоресцировал воздух, как испаренья
химических элементов химического производства.

Что происходило еще?
Лошадь-львицу
хороший товарищ вовлек в двуколесную тачку,
четыре карлицы купили четыре стакана
орешка сибирского кедра.
И щелкал орешек, как клюква,
и все остальные сплевывали скорлупу, когда шли, как
за эллинской колесницей, за тачкой.
Я помню тот вечер, когда фонари опускали
колокола великолепного света.
В грустной гостинице, в камере-одиночке
по телевизору кто-то играл на рояле.

Кто-то прекрасно играл, проникновенно и задушевно:
в смысле не «за душу брал», а в смысле «задушат»...
И ничего не случилось, дружок, ничего не случилось
вот и сейчас, в воскресенье, как видишь, в Ангарске.

Александр Медведев

ШТОРМ

Пророк

Поэт, как ворона, крадет
правду у будущего: «Придет
разруха с бедой и разломом!» И вот
разрухе и каре срок настает.

Да ты не гордись, дурак, не кичись.
Твои вороненые числа сбылись,
крапленые рифмы парно сошлись. —
Ведь правда везде, куда ни качнись.

Ящик Пандоры найдет вертолет.
Змейкой неспешная лента ползет.
Гласят электронных воплей стежки
то же, что с прошлого года стишки.

В отечестве нашем всё поперек.
В отечестве нашем всякий — пророк.
Что ни накаркай, ни напророчь,
словно по картам, сойдется точь-в-точь.

Нынче велят говорить, обличать.
Стало быть, надо выть, но молчать.

Может быть, выключить фары пора,
чтобы не слепли диспетчера.

Сделаем паузу, чтоб услыхать,
есть ли еще живое в живых.
Даже дыханье задержим слегка
над мартирологом бед мировых.

●

Когда строка библейского преданья
войдет впервые в душу,
словно луч
вовнутрь кристалла, радуя и раня,
вдруг сам собой поворотится ключ,

и то, что было тайно, чуждо, скрыто,
откроется. И — вечным летом — свет
с улыбкой встанет перед неофитом.
И времени как будто больше нет.

И вот проходит новопосвященный,
все узнавая, как в своем дому.
Тесло берет, чтоб вытесать колонну
иль жернова, как велено ему.

Теням вослед за стены городские
идет к огню пастушьего костра.
Дозоры и пещеры воровские
страшат его, но меньше, чем вчера.

С предутренним последним караулом
он возвратится в сирый угол свой.
С тоской в груди, восторгом, звездным гулом
на рукопись склонится головой.

Кем внушены ему слова — не знает,
но за плечо не смеет поглядеть.
И нить повествованья ускользает,
едва восход займется кровянеть.

Записан стих. Но им самим не понят.
Душа еще — как нищая сума.
Через века он всё так ясно вспомнит,
когда впервые
расточится тьма.

Видение о разрухе

Светотени бессонницы вздор наплели,
взор опутали — вот и явилось,
проросло меж каменьев кремлевской земли,
поднялось во весь рост, оветвилось;
толпы сорных берез побежали оплеч
одичавших имперских палаццо.
Угро-финской тайги возрожденная речь
хвойным шумом пошла, и растительный смерч
стал по улицам мертвым шататься.

Третий Рим! Твои кольца похожи на срез
исполинского дуба.
И теперь ты во власти хвощей и древес,
словно в джунглях покинутый Будда.

Как студенты, козлята со смехом бегут
вдоль гранитных горбов парапетов.
Плетья хмеля, как пальцы слепого, текут
по колоннам университета.

Ни великой чумы, ни вселенской войны, —
лишь унынье разрухи народной,
чьи следы под бурьяном все меньше видны,
покрываемы жизнью упорной.

Пусть зеленый огонь возвращенки-земли
согревает простор семихолмный!
Те, что были здесь, жили, безумны и злы,
вдаль куда-то ушли и пропали вдали...
Город сей, по преданью — верховный,
как кострище зарос милосердной травой.

Но, подобно твердыне Ангкора,
башни серых домов над рекою Москвой
оглашаются ветром и волчьей тоской,
и с землею сровняются скоро.

Так на кухне, у газовой розы, поэт
пред виденьем распада пасует.
Дикий образ — кентавр из причуд и клевет —
орды хищных растений рисует.

Как радист, что на контур своей УКВ
принимает сигналы крушений,
он сидит до утра в одинокой Москве,
грозовой, возбужденной, весенней.

Это только «поэзия», вольность пера,
дегустация умственных ядов.
Но пора и о будущем думать, пора.
А видений чураться не надо.

Шторм

В жаркой одури камни окапал
край грозы. Обезлунела мгла.
К утру шторма тяжелая лапа
пляж накрыла и мол потрясла.

Дыбясь, волны, как пифии, нервно
поднимались — и крылья плащей
ввысь летели стремительно-мерно,
в гроздьях брызг и ошметках лучей.

А когда из лазурного ада
шла девятая счетом,— была
вся подобием белого сада,
восставала, взмывала, цвела.

Малахитовой лавой кипящей
было море вблизи,— а вдали
темнохвойной тайгой, уходящей
за другие пределы земли.

Потемнело — на миг посветлело —
и на всхолмьи залива дома
засмеялись — и вновь налетела,
как по ходу трагедии, тьма.

Свет порывами несся; на ком бы
ни сиял — погасал — и ни зги.
Шли валы чередой гекатомбы,
нежной пены роняя клоки.

Мы, стоящие на галерее,
обогнувшей уступы кряжа,
на развитье событий смотрели,
солью ветра, как смыслом, дыша.

Пел, как хор, этот ветер крепчавший,
гул ударов швыряя к ногам:
— Мир,— он все еще полная чаша,
подносимая к вашим губам.

●

Юность прошла, как испуг.
Молодости каюк.
А успел — карандаш наточить,
да еще тетрадь отворить,
да на круг световой положить
посреди тяжелеющих рук.

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

Настало время сказать, как мы, я в том числе, относились к моральной, человеческой стороне того дела, в котором мы активно участвовали. Моя позиция (сформировавшаяся в какой-то мере под влиянием Игоря Евгеньевича, его позиции и других вокруг меня) со временем претерпела изменения, я еще буду к этому возвращаться. Здесь же я скажу, какой она была первые 7—8 лет, до термоядерного испытания 1955 года. Как видно из предыдущего рассказа, меня тогда, в 1948 году, никто не спрашивал, хочу ли я участвовать в работах такого рода. Но то напряжение, всепоглощенность и активность, которые я проявил, зависели уже от меня. Постараюсь объяснить это, в том числе самому себе, через 34 года. Одна из причин (не главная) была «хорошая физика» (выражение Ферми по поводу атомной бомбы; его многие считали циничным, но цинизм обычно предполагает неискренность, а я думаю, что Ферми был искренним; не исключено также, что в этой реплике было что-то от попытки уйти от волнующего его вопроса. Ведь он сказал: «В о в с я к о м с л у ч а е, это хорошая физика», значит, подразумевалась и другая сторона вопроса). Физика атомного и термоядерного взрыва действительно «рай для теоретика». Чисто теоретическими методами, с помощью относительно простых расчетов можно было уверенно описывать, что может произойти при температурах в десятки миллионов градусов — т. е. при условиях, похожих на те, которые имеют место в центре звезд...

Я начал свою работу в группе Тамма, написал за несколько дней свой первый секретный отчет по этой тематике С 1 (Сахаров, первый). Термоядерная реакция, этот таинственный источник энергии звезд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина ее гибели, уже была в моей власти, происходила на моем письменном столе!

И все же, я говорю это с полной уверенностью, не это увлечение новой для меня и эффектной физикой, расчетами было главным. Я мог бы легко найти себе тогда — и в любое время — другое поле для теоретических забав (как и Ферми, да простится мне это нескромное сравнение). Главным для меня и, как я думаю, для Игоря Евгеньевича и других участников группы было внутреннее убеждение, что эта работа н е о б х о д и м а.

Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только что окончилась война — тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне — но чувствовал себя с о л д а т о м этой, научно-технической. (Курчатов иногда говорил: мы солдаты,— и это была не только фраза.) Со временем мы узнали, или сами додумались до таких понятий, как стратегическое равновесие, взаимное термоядерное устрашение и т. п. Я и сейчас думаю, что в этих глобальных идеях действительно содержится некоторое (быть может, и не вполне удовлетворительное) интеллектуальное оправдание создания термоядерного оружия и нашего персонального участия в этом. Тогда мы ощущали все это скорей на эмоциональном уровне. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия, необходимые для разработки, средства, отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на вредных

П р о д о л ж е н и е. Начало см. «Знамя» № 10 за 1990 г.

производствах и в каторжных лагерях принудительного труда — все это эмоционально усиливало чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все жертвы (подразумевавшиеся неизбежными) были не напрасными (это чувство еще обострилось на объекте, я об этом пишу ниже). Это действительно была психология войны.

Я читал, что Оппенгеймер заперся в своем кабинете 6 августа 1945 года, в то время как его молодые сотрудники бегали по коридору Лос-Аламосской лаборатории, испуская боевые индейские кличи, а потом плакал на приеме у Трумэна. Трагедия этого человека, который в своей работе, по-видимому, руководствовался идейными, высокими мотивами, глубоко волнует меня (конечно, еще больше волнует вся трагическая история Хиросимы и Нагасаки, отразившаяся в его душе). Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже чего-либо еще) — чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось.

Помогли ли мы, или — точней — мы в м е с т е с американскими создателями аналогичного оружия — учеными, инженерами, рабочими — сохранить мир? Третья мировая война не разразилась за эти 35 лет и, быть может, равновесие страха, взаимное ракетно-термоядерное устрашение («ГВУ» — гарантированное взаимное уничтожение!) — одна из причин тому. Но может быть и не так. Тогда, в те далекие годы, перед нами не вставали такие вопросы.

Что остро ощущается сейчас, через 30 с лишним лет, — это неустойчивость равновесия страха, крайняя опасность современной ситуации и чудовищная расточительность гонки вооружений. Термоядерное оружие стало настолько страшным, угрожающим при своем применении всей человеческой цивилизации, что сама идея его применения кажется нереальной, и тем самым одновременно уменьшается его сдерживающая роль и колоссально возрастает угроза для человечества, если оно все же будет применено. Есть ли выход? Это покажет ближайшее будущее. Долг всех нас — думать об этом — освободившись от идеологического догматизма, национальной и государственной ограниченности и эгоизма, с общечеловеческих глобальных позиций, с терпимостью, доверием и открытостью.

Я считаю сейчас, что наступило время, когда равновесие взаимного термоядерного устрашения должно смениться сначала равновесием обычных вооружений, а затем — в идеальном случае — равновесием, созданным далеко идущими политическими решениями, компромиссами. Я знаю, что не одинок в этом убеждении. Так, совсем недавно я был очень обрадован, увидев близкие мысли в статье доктора Пановского. Вместе с тем я убежден, что переход от мирового равновесия, основанного на атомно-термоядерном оружии, к равновесию обычных вооружений должен быть очень осторожным, поэтапным. Вышеизложенное относится, конечно, к моим теперешним взглядам, к моей оценке теперешней ситуации.

Как потом стало известно, в то же примерно время, когда мы начали свои расчеты, в США Роберт Оппенгеймер (находившийся тогда на посту председателя Консультативного комитета Комиссии по Атомной Энергии — КАЭ) пытался затормозить программу разработки американской водородной бомбы; он считал, что в этом случае и СССР не будет форсировать разработку своего термоядерного сверхоружия. Его оппонентом выступил Эдвард Теллер. На основании своего личного опыта, отталкивавшегося от впечатлений венгерских событий 1919 года, Теллер с большим недоверием относился к социалистической системе; по существу, он утверждал, что только американская военная мощь может удержать социалистический лагерь от безудержной экспансии, угрожающей цивилизации и демократии, удержать от развязывания третьей мировой войны. Именно поэтому Теллер считал необходимым, в противоположность Оппенгеймеру, форсировать создание американского термоядерного оружия, продолжать ядерные испытания, несмотря на то, что они сопровождаются человеческими жертвами от генетических и других непороговых биологических эффектов — слишком велика была ставка! (Я потом возражал Теллеру по вопросу испытаний.) И по этой же причине Теллер выступил свидетелем по «делу Оппенгеймера». Как известно, большая часть американской научной общественности расценила это выступление Теллера и всю его позицию в целом как недопустимое нарушение неких обязательных этических норм научного сообщества. Теллер, по существу, был подвергнут в научной среде своего рода остракизму, об этом пишет, в частности, в своих воспоминаниях Фримен Дайсон. Как мы должны смотреть на это трагическое столкновение двух выдающихся людей сейчас, через призму времени? Мне кажется, что с равным уважением к обоим. Каждый из них был убежден, что на его стороне правда, и был морально обязан идти ради этой правды до конца: Оппенгеймер — совершая то, что потом посчитали нарушением служебного долга, а Теллер — нарушая традиции хорошего тона научного сообщества. При этом, насколько я знаю, на принципиальные вопросы наложились вопросы техники, технической политики. Оппенгеймер, по-видимому, был убежден и имел тому веские доказательства, что разрабатываемые проекты водородной бомбы нереальны или, во всяком случае, неперспективны. У Теллера же была убежденность, что рано или поздно будут найдены рациональные научно-технические решения, или он уже имел какие-то идеи. Как известно, в этом научно-техническом плане Теллер оказался полностью прав.

До сих пор не стихают споры — кто же из двоих был прав по существу. Можно привести очень сильные аргументы в пользу точки зрения Теллера, основанные на том, что нам известно о реальном положении в мире в то время. Правительство СССР, верней те, кто стоял у власти: Сталин, Берия и другие — уже знали о потенциальных возможностях нового оружия и ни в коем случае не отказались бы от попыток его создать. Любые американские шаги временного или постоянного отказа от разработки термоядерного оружия были бы расценены либо как хитроумный, обманный, отвлекающий маневр, либо как проявление глупости или слабости. В обоих случаях реакция была бы однозначной — в ловушку не попадаться, а глупостью противника немедленно воспользоваться. И все же и позиция Оппенгеймера была не бессмысленна. Оппенгеймер по существу исходил из того, что водородную бомбу сделать очень трудно, но можно. Он надеялся, что американский мораторий на разработку термоядерного оружия застанет СССР на той стадии, когда мы — СССР — скажем: «у американцев не получилось, и мы не будем зря силы тратить, а если даже у нас получится, то американцы нас мигом догонят и перегонят, и опять мы будем в проигрыше» — и откажемся от дальнейших разработок — к обоюдной выгоде. Оппенгеймер, вероятно, понимал, что для успеха этой игры нужно много дополнительных условий: единство мнений в американской администрации; определенное дипломатическое искусство американских дипломатов; нахождение СССР именно на той стадии разработки, когда он готов отказаться от ее продолжения (тут, вероятно, Оппенгеймер ошибался); готовность американской администрации к риску. Надо вспомнить также, что это было время максимального взаимного недоверия, «холодной войны», блокады Берлина, вскоре — войны в Корее, тогда, как и сейчас, — преимущества СССР в обычном вооружении. Вряд ли Оппенгеймер рассчитывал, что ему удастся убедить оппонентов в своей правоте. Он попробовал решить вопрос явочным порядком, обходным путем. Вероятно, он с самого начала предполагал, что шансы на успех очень малы, верней всего возобладает тривиальная политика, которая представляется более безопасной — в этом случае он был готов отойти от дел, выйти из игры. На это он, конечно, имел полное моральное право. Как известно, так оно и получилось. Я не могу не сочувствовать, не сопереживать Оппенгеймеру, его личной трагедии, которая стала трагедией общечеловеческой. Случилось так, что в моей судьбе и в моих действиях проявились разительные параллели с его судьбой и действиями — конечно, как всякие параллели, все же не полные, не абсолютные. Было это много позднее, в 60-е годы, а потом я пошел еще дальше. А тогда, в 40 — 50-х годах, моя позиция, скорей, была очень похожей на позицию Теллера, являясь ее «отражением» — с соответствующей заменой слов и понятий (СССР — вместо США, мир и безопасность страны — вместо защиты от коммунистической экспансии и террора и т. п.). Защищая позицию Теллера, я одновременно защищаю и свои действия в тот период жизни, действия моих товарищей по работе. При этом, в отличие от Теллера, мне не надо было идти против течения, и остракизм коллег мне не угрожал. Борьба — вместе с другими — по техническому вопросу, о которой я рассказываю в од-

ной из следующих глав, имела совсем другие причины, чем у Теллера, и протекала в других условиях.

Как в моей судьбе совместились столь разные линии — по существу, одна из основных тем этой книги.

Если правильна моя догадка о шпионском происхождении того варианта термоядерного оружия, который Зельдович, Компанеец и др. разрабатывали в 40—50-е годы, то это подкрепляет позицию Оппенгеймера в принципиальном плане. Действительно, получается, что всю «цепочку» начали американцы, и если бы не они, то в СССР либо вообще не занимались бы военной термоядерной проблемой, либо начали бы заниматься гораздо позднее. Потом, в менее важных вопросах, аналогичная ситуация повторялась с разделяющимися боеголовками независимого наведения, атомными подлодками и др. Не пора ли остановиться и задуматься (читатель догадается, что я думаю о СОИ). Но применительно к ситуации, имевшей место во время дискуссии Теллер — Оппенгеймер, рассуждать, кто начал первый, было уже поздно. События уже вышли из-под контроля. Ни СССР, ни США не могли остановиться — и на этом пути пришли к миру сегодня (к счастью, миновав — пока? — пропасть 3-й мировой войны, быть может, именно благодаря взаимному термоядерному устрашению).

Хочется сказать несколько слов об отношении американских коллег к Теллеру. Оно представляется мне несправедливым (и даже неблагородным). Теллер исходил из принципиальных позиций в очень важных вопросах. А то, что он при этом шел против течения, против мнения большинства — говорит в его пользу. Ирония судьбы: в 1945 году Теллер вместе со Сцилардом считал, что нужна демонстрация атомной бомбы, а не ее военное применение, а Оппенгеймер убеждал, что решение этого вопроса следует предоставить военным и политикам (Теллер пишет, что он слишком легко дал себя переубедить).

Кончая это затянувшееся, но очень важное для меня отступление, я хочу вновь вернуться к тому, с чего начал — к «хорошей физике». Хорошая-то она хорошая, но в основном «потребительская». Условия при ядерном и термоядерном взрыве очень сильно отличаются от условий в лаборатории, «в пробирке». Но с точки зрения элементарных процессов в них нет ничего особенного. Это процессы с ядрами, электронами и фотонами при энергиях в несколько килоэлектрон-вольт (или, скажем, 20 килоэлектрон-вольт). Такие энергии частиц абсолютно просто получаются в лаборатории, и процессы при таких энергиях давно хорошо изучены. Чтобы действительно узнать что-то принципиально новое, нужны гораздо большие энергии в элементарных актах (а не много килограммов прореагировавшего вещества и большой разрушительный эффект). Большие энергии в одном акте физики имеют в космических лучах, получают на ускорителях элементарных частиц, теперь надеются извлечь косвенные свидетельства из космологии. Именно отсюда черпает свои откровения фундаментальная наука, а не из ядерных взрывов! Пожалуй, единственное, в чем ядерные взрывы помогли пока фундаментальной науке, — это изучение трансурановых элементов, возникающих при захвате нейтронов атомными ядрами. Сейчас общепризнано, что все элементы тяжелее железа возникли в природе в звездах, в частности, при взрывах так называемых «сверхновых» звезд, в результате многократного захвата ядрами нейтронов, образующихся при термоядерных реакциях. Нечто подобное может происходить и при взрывах сделанных человеком термоядерных зарядов — в особенности, если их специально сконструировать и взорвать для этой цели. Мне неизвестно, делались ли такие специальные чисто научные взрывы в США или в СССР; однако я читал, что при испытаниях одного из типов американского термоядерного оружия был открыт новый трансурановый (т. е. имеющий в ядре больше протонов и нейтронов, чем уран) элемент калифорний. Все же исследование трансуранов — это очень частный вопрос, не имеющий особо широкого общенаучного значения. В каком-то смысле «гора родила мышь». В одной из следующих глав я расскажу об идеях использования ядерных взрывов для ускорения элементарных частиц, однако пока это только идеи, к тому же, быть может, не очень практичные.

Я занимался совершенно секретными работами, связанными с разработкой термоядерного оружия и примыкающими темами, двадцать лет. С конца июня 1948 года до марта 1950 года я работал в специальной группе Тамма в ФИАНе, а с марта 1950-го до июля 1968 года (когда меня отстранили от секретных работ) — на «объекте» — так мы называли секретный город, где жили и работали люди, причастные к разработке ядерного и термоядерного оружия. Я уже пользовался этим условным обозначением и буду пользоваться в этой книге и впредь.

О периоде моей жизни и работы в 1948—1968 гг. я пишу с некоторыми умолчаниями, вызванными требованиями сохранения секретности. Я считаю себя пожизненно связанным обязательством сохранения государственной и военной тайны, добровольно принятым мною в 1948 году, как бы ни изменилась моя судьба.

Повторю, что я уже вкратце писал.

Задача специальной группы Тамма, как нам ее сформулировал Игорь Евгеньевич на основании имевшихся у него документов, сводилась к тому, чтобы проанализировать расчеты группы Зельдовича по некоторому конкретному проекту термоядерного устройства военного назначения, в случае необходимости и по мере возможности уточнить, исправить и дополнить и дать независимое заключение по всему проекту в целом (напомню «изящное» выражение Семена Захаровича Беленького). Два месяца я прилежно занимался изучением отчетов группы Зельдовича, а также повышением своих очень скудных тогда знаний по газодинамике и астрофизике (последнее — поскольку физика звезд и физика ядерного взрыва имеют много общего). Газодинамику мы все изучали тогда по соответствующему тому замечательной многотомной монографии Ландау и Лифшица. Думал я об этих предметах непрерывно. Однажды, прочитав у Ландау и Лифшица о так называемых автомодельных решениях уравнений газодинамики (т. е. таких, в которых решение уравнений в частных производных сводится к уравнениям в полных производных), я пошел в баню (я уже писал, что в нашей квартире никакой ванной не было). Стоя в очереди в кассу, я сообразил (исходя из соображений подобия), что гидродинамическая картина взрыва в холодном идеальном газе при мгновенном точечном выделении энергии описывается функциями одной переменной. Правда, потом оказалось, что раньше это решение было найдено Седовым (впоследствии академиком), а еще раньше — Тэйлором. Но я вскоре по этому образцу придумал еще несколько автомодельных решений, полезных для качественного и полуколичественного описания интересующих нас процессов.

По истечении двух месяцев я сделал крутой поворот в работе. А именно, я предложил альтернативный проект термоядерного заряда, совершенно отличный от рассматривавшегося группой Зельдовича по происходящим при взрыве физическим процессам и даже по основному источнику энерговыделения. Я ниже называю это предложение «1-й идеей».

Вскоре мое предложение существенно дополнил Виталий Лазаревич Гинзбург, выдвинув «2-ю идею».

Наш вариант отличался от рассматривавшегося Зельдовичем тем, что отсутствовал вопрос о принципиальной осуществимости; кроме того, были существенные инженерные и технологические отличия. Более высокие характеристики наш проект приобрел в результате добавления «3-й идеи», в которой я являюсь одним из основных авторов. Окончательно «3-я идея» оформилась уже после первого термоядерного испытания в 1953 году; я, насколько позволяют требования секретности, подробно пишу об этом ниже.

Возвращаюсь к событиям 1948 года. Игорь Евгеньевич сразу поддержал меня, оценив новый проект как очень перспективный; старый же проект с самого начала вызывал у него большие сомнения. По его совету я поехал в Институт Химической Физики. Сначала я встретился с заместителем Зельдовича — Александром Соломоновичем Компанейцем. Зельдович, кроме Института Химической Физики, был сотрудником объекта с самого момента его организации и играл решающую роль в работе над первыми атомными зарядами. На объекте он возглавлял другую исследовательскую группу, которая имела дело с еще более секретными (в то время) конструкциями и конкретными расчетами атомных зарядов. Ком-

панеец возглавлял московскую группу во время длительных командировок Якова Борисовича на объект, очень участившихся тогда, — приближалось первое советское атомное испытание. При первой беседе А. С. Компанеец не сразу принял мои идеи, высказал сомнения, не сделал ли я элементарных ошибок в оценках. Через неделю я разговаривал с Я. Б. Зельдовичем, который мгновенно оценил серьезность моего предложения. Это была моя вторая встреча с ним; первая была в кулуарах какого-то физического семинара (на этом семинаре речь шла об открытии целого семейства элементарных частиц. Профессор Шальников — известный экспериментатор из Института физических проблем — ехидно спросил: сколько стоит одна частица; докладчик мрачно ответил — много; но следовало бы сказать — бесконечно много, т. к. речь шла о делении на нуль; все частицы были плодом экспериментальной ошибки). Зельдович пригласил меня к себе домой — он жил по соседству с институтом, познакомил с семьей (он пошутил, знакомя с женой: самое главное в жизни — иметь жену с хорошим характером; жена усмехнулась, как мне показалось, несколько натянуто). Потом мы долго говорили с ним об обоих проектах. Фактически тогда же было решено, что наша группа занимается исключительно новым предложением, а его группа продолжает работу по старому проекту и одновременно оказывает нам необходимую помощь — мы еще очень многого не знали и не умели. Зельдович не сказал мне, но я думаю, он тогда же решил поставить перед администрацией вопрос о моем переводе на объект — это требовало решения на самом высоком уровне. Я помню, меня несколько удивили в одну из последующих встреч его расспросы о моем семейном положении и состоянии здоровья (нет ли хронических болезней печени, почек и т. д.). Впрочем, тогда я уже понимал что к чему. Я сказал, что практически здоров (что было в основном правдой).

С первых дней работы группы Тамма в ФИАНе нам пришлось привыкать к совершенно непривычным для нас условиям секретности. Нам была выделена комната, куда, кроме нас, никто не имел права входить. Ключ от нее хранился в секретном отделе. Все записи мы должны были вести в специальных тетрадях с пронумерованными страницами, после работы складывать в чемодан и запечатывать личной печатью, потом все это сдавать в секретный отдел под расписку. Вероятно, вся эта торжественность сначала немного нам льстила, потом стала рутиной. Но иногда она оборачивалась и трагедией. Через несколько лет, когда я уже был на объекте, мой сотрудник послал на листке задание в Институт прикладной математики, в котором для нас проводились численные расчеты. По-видимому, машинистка института сожгла этот листок (после использования), не зарегистрировав его. Для расследования ЧП («чрезвычайного происшествия») из министерства приехал начальник секретного отдела — человек, вызывавший у меня физический ужас уже своей внешностью, остановившимся взглядом из-под нависших век; в прошлом он был начальником Ленинградского управления ГБ в момент так называемого «Ленинградского дела», когда там было расстреляно около 700 высших руководителей. Он говорил почти час с начальником секретного отдела Института (содержание их разговора осталось неизвестным), дело было в субботу. Воскресенье институтский начальник провел со своей семьей; с детьми, говорят, был весел и очень ласков. В понедельник он пришел на работу за 15 минут до начала работы и раньше, чем пришли его сотрудники, застрелился. Машинистку арестовали, она находилась в заключении больше года (может, двух — не помню).

Осенью 1948 года мне увеличили зарплату. Кажется, тогда же я был утвержден старшим научным сотрудником. Примерно через два месяца после того, как мое предложение стало признанной темой группы, я был приглашен к Уполномоченному Совета Министров и ЦК КПСС в ФИАНе генералу госбезопасности Ф. Н. Малышеву. Должность с таким названием была введена тогда во всех научных учреждениях, ведущих значительные секретные работы, во многих предприятиях и учреждениях. Фактически это был представитель аппарата Берии, осуществлявшего таким образом общий и решающий контроль над всеми военными разработками. Небольшой, но вполне «солидный» — с сейфом и должным набором телефонов — кабинет Малышева был расположен рядом с секретным отделом. Малышев, начав с комплиментов мне и моей работе, предложил мне вступить в партию. Он сказал, что, только являясь членом партии, можно принести наибольшую пользу нашему народу, перенесшему самую страшную войну в своей истории, движению всего человечества к светлому будущему, в котором не будет места войнам. Членство в партии — это не привилегия, не легкая жизнь, а огромное обязательство перед людьми, готовность всегда быть там, где ты нужен партии, и делать то, что нужно партии. Но это одновременно чувство сопричастности к великому делу. Малышев прибавил, что он готов дать мне рекомендацию.

Я сказал, что сделаю все, что в моих силах, для успеха нашей работы, так же, как я пытаюсь это делать и сейчас, оставаясь беспартийным. Я не могу вступить в партию, так как мне кажутся неправильными некоторые ее действия в прошлом, и я не знаю, не возникнут ли у меня новые сомнения в будущем. Малышев спросил, что мне кажется неправильным. Я ответил — аресты невиновных, раскулачивание. Малышев сказал:

— Партия сурово осудила ежовщину, все ошибки исправлены. Что касается кулаков, то что мы могли делать, когда они сами пошли на нас с обрезом.

Он просит меня самым серьезным образом подумать о нашем разговоре, быть может, я захочу еще к нему вернуться. Я думаю, что если бы я дал согласие, то мне, вероятно, предназначалась крупная административная роль в системе атомной науки — может, место научного руководителя объекта или рядом с ним, какая-то параллельная должность. Пользы от этого для дела было бы мало, какой из меня администратор.

В начале 1949 года (в январе или феврале) нас с Игорем Евгеньевичем пригласили к начальнику Первого Главного Управления при Совете Министров СССР (сокращенно — ПГУ) Борису Львовичу Ванникову. ПГУ — условное название для ведомства, по масштабу давно переросшего Министерство и ответственного за всю атомную проблему (впоследствии оно было переименовано в Министерство Среднего Машиностроения, затем из него был выделен Комитет по мирному использованию атомной энергии). Ванников (его настоящая фамилия была какая-то типично еврейская) был очень колоритной личностью. Он был немолод, состоял в партии еще до революции и имел революционные заслуги. В 30-е годы, когда это было смертельно опасным делом, каждый промах грозил гибелью, он приобрел большой опыт в руководстве военной промышленностью, военно-конструкторскими и военно-научными разработками. Естественно, при такой биографии он был крайне осторожен, умен (и циничен). Во время войны он был арестован. Через неделю или две, однако, был не только выпущен на свободу, но и назначен на очень высокий пост в военной промышленности.

Ванников принял нас в своем большом кабинете. Рядом сидел некто Никольский, я думаю, представитель аппарата Берии. Ванников после какой-то шутки перешел к делу:

— Сахаров должен быть переведен на постоянную работу к Юлию Борисовичу Харитону (т. е. на объект, Харитон был научным руководителем объекта). Это необходимо для успешной разработки темы.

Игорь Евгеньевич стал говорить, быстро и взволнованно, что Сахаров — очень талантливый физик-теоретик, который может сделать очень много для науки (от волнения он даже не сказал — советской), для ее самых важных разделов переднего края. Целиком ограничивать его работу прикладными исследованиями — совершенно неправильно, не по-государственному. Ванников слушал вроде внимательно, но чуть-чуть усмехаясь. В этот момент раздался звонок вертушки (телефона специальной «кремлевской» телефонной сети). Ванников снял трубку, лицо и поза его стали напряженными. Ванников:

— Да, они у меня. Что делают? Разговаривают, сомневаются.

Пауза.

— Да, я вас понял.

Пауза.

— Слушаюсь, я это им передам.

И, повесив трубку:

— Я говорил с Лаврентием Павловичем (Берия). Он очень просит вас принять наше предложение.

Больше разговаривать было не о чем. Когда мы с Игорем Евгеньевичем вышли на улицу, он сказал мне:

— Кажется, дело принимает серьезный оборот.

В действительности «дело» приобрело серьезный оборот значительно раньше.

ОБЪЕКТ

Летом 1949 года мы снимали дачу под Москвой по Октябрьской железной дороге, полдачи на две семьи. Наша соседка, очень приятная еврейская бабушка, имела обыкновение ворчать на своих внуков Таниного возраста:

— Разве это дети. Это черти, а не дети.

В последних числах июня напротив дачи остановилась «эмка» (автомашина М-1) и вышедший из нее подтянутый офицер предложил мне немедленно ехать к Ванникову. Разговор с ним был коротким:

— Вы на самолете летаете?

— Да.

— А я не люблю. Мы должны с вами немедленно выехать в хозяйство Юлия Борисовича. Поезжайте (он назвал адрес), там вам все объяснят.

По указанному адресу я увидел вывеску «Овоще-плодовая база» и, спустившись в полуподвальное помещение, прошел мимо каких-то людей, по виду экспедиторов или «толкачей»: кто-то дремал сидя, двое играли в домино. В следующей комнате за столом сидел бледный, нервный мужчина. Узнав, что я еду в «хозяйство» (оно тут называлось уже иначе) и никогда там не бывал, он выдал мне пропуск и объяснил, каким вагоном какого поезда я должен ехать.

В ближайшие годы я получал свой пропуск на объект каждый раз таким же образом, лично являясь на эту памятную «базу». Со временем я приобрел исключительное право сообщать о своих поездках по телефону. Но уже, например, мои сотрудники при поездках в Москву в отпуск или в командировку такого права не имели. (Очевидно, предполагалось, что по телефону может договориться о поездке кто-то «не наш», т. е. шпион!)

Вечером я приехал на вокзал и сел в указанный мне вагон, пройдя через окружавшую его цепь людей в штатском и в форме. Это был личный вагон Ванникова, кроме нас двоих, ехал еще ранее мне незнакомый Мещеряков, научный руководитель сооружения Дубнинского ускорителя (один из учеников Курчатова, пользовавшийся, по-видимому, большим доверием руководства). Через несколько минут после отхода поезда от перрона Ванников пригласил нас (через проводника) к столу. Я с интересом прислушивался к разговору Мещерякова с Ванниковым, в котором упоминались совершенно мне неизвестные учреждения, дела и фамилии (впрочем, мне разъяснили, что Бородин — это Курчатов). Ночью в душном купе мне не спалось. Я помню, что думал не о волнующих событиях жизни и своих ошибках, как чаще при бессоннице теперь, а о новой проблеме, которая возникла в эту ночь в моей голове — об управляемой термоядерной реакции. Но ключевая идея магнитной термоизоляции возникла у меня (и была развита и поддержана Игорем Евгеньевичем Таммом) лишь через год.

На конечной станции мы пересели в ожидавшие нас автомашины и на бешеной скорости поехали в сторону объекта. Кажется, часть пути мы должны были проделать на самолете — с этим был связан вопрос Ванникова, но на аэродроме самолета не оказалось. Почти всю дорогу мы ехали по проселку, подскакивая то и дело на ухабах. Не сбавляя скорости, мы проезжали еще только просыпающиеся деревни. В бледном свете утренних сумерек бросались в глаза развалившиеся, плохо крытые избы — большинство старой соломой или полусгнившей дранкой, какие-то рваные тряпки на веревках, худой еще (несмотря на лето) и грязный колхозный скот. Машина, которая шла перед нами, раздавила перебегавшую дорогу курицу. Мы промчались, не останавливаясь, дальше, через поля и чахлые рощицы. Вдруг машина резко затормозила. Впереди была «зона» — два ряда колючей проволоки на высоких столбах, между ними полоса вспаханной земли («родная колючка», как говорили потом мы, подлетая или подъезжая к границе объекта). Машины остановились напротив запертых ворот, рядом с ними было здание, откуда вышли два офицера. В первой машине проверили пропуска, офицеры взяли под козырек, и она проехала. Но когда они подошли к нам, Ванников, получивший несколько шишек на ухабах и злой после плохо проведенной ночи, матерно выругался и сказал шоферу — «гони». Офицеры отскочили от рванувшей машины. Вскоре я уже устраивался в гостинице для начальства, внизу была начальственная столовая, «генералка», как ее называли. Стены ее были разрисованы звездами. Позже я узнал, что рисовала их одна заключенная.

Я кое-как побрился (сильно порезавшись с непривычки опасной бритвой) и собрался уже спускаться вниз. Вдруг дверь напротив отворилась, и в коридорчик вышел Игорь Васильевич Курчатов в сопровождении своих «секретарей» — так назывались в нашей жизни офицеры личной охраны; в то время «секретари» были у Курчатова и Харитона, в 1954—1957 годах также у меня, какое-то очень короткое время — у Зельдовича. (Это были сотрудники специального отдела ГБ в довольно высоких званиях; И. В. обращался к ним на «ты» и часто давал различные поручения; они уважали его в высшей степени, может, даже любили.) Игорь Васильевич приветствовал меня на ходу:

— А, москвич приехал, привет!

И со своей «свитой» прошел к поданному ему «ЗИСу». За мной вскоре подъехал Зельдович и повез меня в теоротдел, знакомиться с работами и сотрудниками. Но до этого он сказал мне несколько слов наедине. Приезд И. В. и другого начальства (вскоре я увидел их всех в «генералке») связан с предстоящим испытанием атомного «изделия» (так мы называли атомные и термоядерные заряды, экспериментальные и серийные).

— Будут важные совещания «старейших», вы не должны обижаться, что вас на них не пригласят. Меня тоже на многие совещания не приглашают, кроме тех, на которых нужно мое мнение. Вы должны выработать в себе правильное отношение к этим вопросам. Тут кругом навалом все секретно, и чем меньше вы будете знать лишнего, тем спокойней будет для вас. Ю. Б. несет на себе эту ношу, но он особенный человек. Сейчас у нас с вами будет много дела в теоротделе.

После слов Зельдовича о предстоящем испытании мне стал понятным смысл и напряженное значение реплик, которыми при встрече обменялся Ванников с начальником объекта.

— Он здесь?

— Да.

— Где?

— В хранилище.

(Далее колоритное название места, которое я опускаю.)

Речь в этих репликах шла о заряде из делящегося металла (плутония или урана-235), который, вероятно, недавно привезли на объект с завода, на котором его сделали. Потом Зельдович мне сказал, что, глядя на эти заурядные на вид куски металла, он не может отделаться от ощущения, что в каждом грамме их «запрессованы» многие человеческие жизни (он имел в виду зеков — заключенных урановых рудников и объектов и будущие жертвы атомной войны).

В теоротделе все обступили нас, поглядывая на меня с явным любопытством. Зельдович представил мне своих немногочисленных тогда сотрудников: Давида Альбертовича Франка-Каменецкого, Виктора Юлиановича Гаврилова, Николая Александровича Дмитриева и Ревекку Израилевну Израилеву.

— А вот это, — сказал Зельдович, указывая на двух сидящих за одним столом молодых людей, деловито размечавших в большом альбоме какие-то графики, — наши капитаны.

В одном из капитанов я с удивлением узнал своего однокурсника Женю Забабахина, с которым мы расстались в июле 1941 года на комиссии Военно-Воздушной Академии. Окончив ее, он защитил диссертацию,

которая попала на отзыв к Зельдовичу, в результате он оказался на объекте и с большой изобретательностью применял свои познания в газодинамике. По окончании Академии ему было присвоено воинское звание капитана (поэтому Я. Б. употребил это слово). Второго капитана тоже звали Женя, его фамилия была Негин.

Самым старшим из сотрудников был Давид Альбертович — и он же самым увлекающимся. Его идеи часто были очень ценными — простыми и важными, а иногда — неверными, но Д. А. обычно быстро соглашался с критикой и тут же выдвигал новые идеи. Может, сильней, чем кто-либо, Д. А. вносил в работу и жизнь теоротдельцев дух товарищества, стремления к ясности в делах и жизни. Когда кончился «героический» период работы объекта, он «заскучал», вернулся к своим прежним увлечениям астрофизикой (тут я от него кое-что почерпнул), пытался (уже в Москве, куда он переехал в связи с ухудшением здоровья) заниматься управляемой термоядерной реакцией. Перевел с английского несколько книг. Последние годы жизни ему трудно было подниматься на 4-й этаж, он пытался подбить меня обратиться в Моссовет с предложением устроить лифт — мы жили в одном доме, он этажом выше, но я, к сожалению, его не поддержал (правда, это было уже накануне его внезапной смерти).

Самым молодым был Коля Дмитриев (Николай Александрович), необычайно талантливый, в то время он «с ходу» делал одну за другой блестящие работы, в которых проявлялся его математический талант. Зельдович говорил:

— У Коли — может, единственного среди нас — искра Божия. Можно подумать, что Коля такой тихий, скромный мальчик. Но на самом деле мы все трепещем перед ним, как перед высшим судией.

Способности Коли проявились очень рано, он был «вундеркиндом». С 15 лет при поддержке Колмогорова посещал университет, сдал все математические экзамены одновременно с окончанием школы, стал работать у Колмогорова по теории вероятностей, — тот считал его работы многообещающими. В 1950 году, когда я уже был на объекте, в день моего рождения, я зашел к Коле (в Москву меня не пустили, и я не знал, как провести время). Он только что женился, жену его звали Тамара, он ее звал Тамарка. Они начали с того, что стали учить меня пить спирт — до тех пор я ничего крепче водки, и то в количестве не более 50 г, и очень редко, не пробовал. Потом мы слушали музыку, о чем-то весело разговаривали, кажется, на очень важные общие темы — о смысле жизни, о будущем человечества. Коля с Тамарой подарили мне на день рождения прекрасную книгу «Математический калейдоскоп» Штейнгауза (потом я увидел ее у Алеши, во Второй математической школе она пользовалась популярностью). Зельдович сильно не любил Тамару, почти что ревновал к ней Колю. Он говорил, что она загрузила его домашними делами, сосками, пеленками и т. п. (говорил, что она слишком долго держит его в постели) и что она губит его как научного работника. В 1955 году Тамара выбросилась из окна пятого этажа, через несколько дней после операции тиреоэктомии, оставив Колю с двумя детьми. Через несколько лет он женился вторично на сотруднице нашего мат. отдела. Коля долгое время был членом народной дружины, ходил по городу, вылавливая пьяных.Очень сложной была научная судьба Коли. Я думаю, что вовсе не житейские и личные причины, а более глубокие привели к тому, что блестящее начало его научной работы в дальнейшем как-то потускнело. Объекту скоро перестали быть нужны красивые в математическом смысле работы (за небольшими исключениями и тут Коля всегда был на должной высоте). Но это были отдельные эпизоды, а в начале Колиной деятельности «красивые» работы образовывали некую систему. Объект превратился в фабрику. Чувство долга обязывало Колю стоять у станка, но по своей природе он был не станочником, а мастером-ювелиром. Зельдович пытался приобщить Колю к «большой» физике, но из этого ничего не получилось — Коля не из тех, кто может сидеть на двух стульях. Все последующие годы он делал много больше большинства сотрудников мат. сектора, но все время остается чувство неудовлетворенности от мысли, что он мог бы в другой области сделать не много, а что-то качественно иное, исключительное. Коля всегда интересовался общими вопросами — философскими, социальными, политическими. В его позиции по этим вопросам ярко проявляется абсолютная интеллектуальная честность, острый, парадоксальный ум. Коля был одним из немногих, не обменявших медаль лауреата Сталинской премии на медаль лауреата Государственной премии. Это было выражением стремления к историчности (как у поляков, не переименовавших Дворец Сталина в Варшаве). По убеждениям и постоянной позиции Коля — нонконформист, он в равной мере противостоит официальной идеологии и моей позиции. Он единственный с объекта, кто открыто приходил ко мне после появления «Размышлений о прогрессе», потом «О стране и мире» (уже на улицу Чкалова) с просьбой дать их почитать и обсудить. Мои взгляды казались ему совершенно неправильными, но спорил он со мной по-деловому.

Очень мне нравился другой сотрудник — Виктор Юлианович Гаврилов (к слову, совершенно влюбленный в Колю). Судьба его очень не простая. Как я слышал, он сын какого-то немецкого то ли профессора, то ли промышленника, приезжавшего в Россию еще во время Гражданской войны, и русской женщины, работавшей тогда в гостинице, которая одна воспитала его в трудных условиях. Мать была глубоко верующей, отношение В. Ю. к религии тоже не было однозначно атеистическим, большего я не знаю. Гаврилов сумел окончить университет, работал у астрофизика Лебединского в Ленинграде, откуда Зельдович перетянул его на объект. Работал В. Ю. с немецкой педантичностью, но, как многие, любил потрепаться на общие темы. С Зельдовичем они не сработались, вскоре после моего приезда на объект он перешел на работу экспериментатором, руководил небольшим отделом. Через несколько лет в его отделе произошла авария на установке, носившей оригинальное название ФИКОБЫН (физический котел на быстрых нейтронах). Это была довольно своеобразная установка, состоявшая в основном из двух половинок атомного заряда, разделенных прокладками (дистанционными кольцами). Она служила для измерения ядерных свойств разных материалов. В центре заряда в специальной полости помещались нейтронный источник и исследуемое вещество. Подбирая толщину прокладок, можно было добиться значительного усиления в результате цепной реакции выходящего наружу нейтронного потока. Я рассказываю здесь об этом, так как не вижу в этих подробностях ничего секретного, и в то же время — в них яркий колорит нашей работы. В первую, «героическую» эпоху все манипуляции с прокладками производил немолодой уже сотрудник по фамилии Ширшов, пользуясь ручной лебедкой без какой бы то ни было автоматики, все обходилось при этом без каких-либо неприятностей. Но он любил приложиться к бутылке. Однажды большое начальство (кажется, Ванников) застало его за этим занятием около заряда; Ширшова тут же изгнали из отдела. Со временем ФИКОБЫН оброс инструкциями, аварийной автоматикой — в таком виде он и попал в руки Гаврилова.

Мерой подкритичности (отличия состояния системы от «нижнего» критического состояния, при переходе через которое возникает цепная реакция с участием запаздывающих нейтронов) является величина, обратно пропорциональная коэффициенту умножения нейтронов от источника в центре заряда. Для единиц этой величины Д. А. Франк-Каменецкий, первый занимавшийся теорией ФИКОБЫНа, ввел забавное название — ширши, в честь Ширшова. Гаврилов тоже активно участвовал в этих расчетах, теперь же он имел дело с ширшами в натуре («подай прокладку в 5 ширшей» и т. п.). Авария произошла оттого, что один из сотрудников нарушил чередование прокладок, и система перешла через нижнее критическое состояние. (Если бы было перейдено «верхнее», т. е. критическое без учета запаздывающих нейтронов, было бы много хуже, но такая опасность практически исключена.) Аналогичная авария описана в известной американской повести Декстера Мастерса, в которой рассказывается о гибели от нейтронного облучения молодого сотрудника Лос-Аламосской лаборатории в 1945 году, произошедшей, по-видимому, при проверке подкритичности одного из первых американских ядерных зарядов (судя по повести, тогда в США действовали еще более отчаянно, чем у нас во времена Ширшова). У Гаврилова обошлось без человеческих жертв, но материальные потери и всеобщий испуг были велики. В. Ю. пришлось уйти с объекта в Министерство, я потом расскажу об этом периоде его жизни подробней. В конце 50-х годов он сделал новый резкий поворот — перешел

на работу в области молекулярной биологии; в то время Курчатов организовал в своем Институте лабораторию, в противовес официальному лысенкоизму (только независимое положение Курчатова позволило ему сделать это). Работа Гаврилова и взаимоотношения с биологами на этом новом поприще складывались трудно. В это время я вновь сблизился с Виктором. Мы часто беседовали, когда я приезжал в Москву. Одной из излюбленных «общих» тем было будущее человечества (он говорил, что благодарит судьбу, что не родился в XXI веке). Из этих разговоров, быть может, я в особенности включил в круг своих мыслей экологические, демографические и другие глобальные проблемы.

У него с женой не было детей, и в конце 50-х годов они усыновили 10-летнего мальчика Ваню. В трудные дни болезни и смерти Клавы Виктор Юлианович был одним из тех, кто оказал мне наибольшую поддержку. Сам он умер (от болезни сердца) в начале 70-х годов; я узнал об этом через несколько месяцев после его смерти, и мне до сих пор грустно, что я не был на его похоронах.

У единственной женщины в отделе, Ревекки Израилевой, кроме основной работы, была еще обязанность — переписывать набело отчеты-каракули мальчиков; перепечатка на машинке была в те годы запрещена, никакие машинистки из первых отделов не должны были видеть наши сверхсекретные отчеты.

Была при теоротделе и математическая группа (или отдел). Ее возглавлял Маттес Менделевич Агрест, инвалид Отечественной войны, очень деловой и своеобразный человек. У него была огромная семья, занимавшая целый коттедж, я несколько раз бывал у него. Отец М. М. был высокий картинный старик, напоминавший мне Рембрандтовских евреев; он был глубоко верующим, как и М. М. Я потом слышал, что Зельдович жестоко ранил Агреста, заставляя его (может, по незнанию) работать по субботам. Зельдович отрицал правильность рассказа. Вскоре Агресту пришлось уехать с объекта, якобы у него обнаружились какие-то родственники в Израиле; тогда всем нам (и мне) это казалось вполне уважительной причиной для увольнения; единственное, что я для него мог сделать, — это пустить его с семьей в мою пустовавшую квартиру, пока он не нашел себе нового места работы. В последние годы у Агреста появилось новое увлечение — он подбирает из Библии и других древних источников материалы, свидетельствующие о том, что Землю посетили якобы в прошлом инопланетяне (я к этому отношусь более чем скептически).

Яков Борисович тут же рассказал мне об основных работах в области атомных зарядов, а впоследствии, когда я сам стал руководителем группы, я обычно доставлял себе удовольствие, рассказывая сам вновь прибывшим сотрудникам об устройстве атомных зарядов, с прибавкой о термоядерных, и наблюдая за их изумленными лицами.

В этот раз я со своей стороны рассказал о работах Таммовской группы, о предполагаемых характеристиках изделий, основанных на «1-й» и «2-й» идеях (конечно, это были очень предварительные, во многом неверные соображения). Я пробыл в этот первый приезд на объекте около недели, узнал много чрезвычайно для нас важного и неожиданного об атомных зарядах (за пределами объекта даже говорить тогда о таких вещах не полагалось — вне зависимости от степени допуска собеседника, — отчеты не размножались и в Москву не высылались).

Разговаривая с сотрудниками Я. Б. и с ним самим вне работы (в столовой, на вечерних и утренних прогулках по лесу, окружавшему поселок, в гостинице перед сном), я слушал рассказы о том специфическом укладе, который сложился среди научных сотрудников — очень деловом, товарищеском, необычайно напряженном. Работали, если надо, чуть ли не сутками напролет. Услышал я и об особенностях «режима», установленного на объекте, и о заключенных — я уже видел их, конечно. В следующем году я был переведен на объект уже не в качестве «визитера», а на постоянную работу, и прожил в нем около 18 лет, иногда с семьей, иногда один. Я расскажу тут об объекте, опираясь как на впечатления своего первого приезда, так и на то, что я увидел и узнал потом.

Город, в котором мы волею судьбы жили и работали, представлял собой довольно странное порождение эпохи. Крестьяне окрестных нищих деревень видели сплошную ограду из колючей проволоки, охватившую огромную территорию. Говорят, они нашли этому явлению весьма оригинальное объяснение — там устроили «п р о б н ы й к о м м у н и з м». Этот «пробный коммунизм» — объект — представлял собой некий симбиоз из сверхсовременного научно-исследовательского института, опытных заводов, испытательных полигонов — и большого лагеря. В 1949 году я еще застал рассказы о том времени, когда это был п р о с т о лагерь, со смешанным составом заключенных, в том числе имеющих самые большие сроки — вероятно, мало отличавшийся от «типичного» лагеря, описанного в «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына. Руками заключенных строились заводы, испытательные площадки, дороги, жилые дома для будущих сотрудников. Сами же они жили в бараках и ходили на работу под конвоем в сопровождении овчарок. К этому времени относится рассказ об одной драматической истории, которую я услышал (от Виктора Юлиановича Гаврилова) при первом же приезде на объект.

Дело было двумя годами раньше. Небольшая группа заключенных рыла котлован, в их числе бывший полковник (быть может, из РОА). Один из з/к (принятое в СССР сокращенное обозначение слова «заключенный») нагнулся к колесу автомашины, на которой их привезли, как бы проверяя что-то. Единственный охранник нагнулся тоже. В этот момент кто-то из з/к ударил его лопатой по голове, и полковник подхватил выпавший из его рук автомат.

— Ребята, за мной!

Шофера выбросили из машины. Один из з/к сел за руль, машина помчалась. Полковник, стоя в кузове, с ходу расстрелял встречный грузовик с офицерами, теперь восставшие уже были вооружены до зубов. Ворвавшись внезапно в лагерь, они частью расстреливают, частью обезоруживают охрану. Полковник вместе с желающими — их человек 50 или больше, в том числе все участники нападения на охрану, — уходят через зону за пределы объекта. Они надеются, вероятно, уйти достаточно далеко, рассеяться в лесах и окружающих деревнях. Но в это время по тревоге уже подняты три дивизии НКВД (так мне рассказывали; думаю, что никто не знает точной картины). С помощью автомашин и авиации они оцепляют большой район и начинают сжимать кольцо. Последний акт трагедии — круговая оборона беглецов, организованная по всем правилам военного искусства, и массированный артиллерийский и минометный огонь, кажется, даже применялась авиация; гибнут все до последнего человека. Вероятно, многие не примкнувшие к беглецам также были расстреляны (так было в другом известном мне восстании з/к в 50-х годах в Москве на строительстве больницы Министерства недалеко от нашего дома). После этого восстания состав заключенных на объекте сильно изменился — все имеющие большие сроки, которым нечего терять, удалены, и их заменили «указники», т. е. осужденные на меньшие сроки по Указам Президиума Верховного Совета; типичные сроки 1 — 5 лет: мелкое хищение, знаменитые «колоски», т. е. сбор оставшихся колосьев после уборки на колхозном поле, мелкое хулиганство, самовольный уход с работы, например, с шахты, особенно частый случай — самовольная остановка поезда стоп-краном и т. п.

Восстаний больше не было. Но у начальства осталась еще одна проблема — куда девать освободившихся, которые знают месторасположение объекта, что считалось великой тайной (хотя несомненно, что иностранные разведки многое знали). Начальство разрешило свою проблему простым и безжалостным, совершенно беззаконным способом — освободившихся ссылали на вечное поселение в Магадан и в другие места, где они никому ничего не могли рассказать. Таких акций выселения было две или три, одна из них — летом 1950 года.

В 1950 — 1953 гг. мы жили рядом с этим лагерем. Ежедневно по утрам мимо наших окон с занавесочками проходили длинные серые колонны людей в ватниках, рядом шли овчарки. Можно было утешаться тем, что они не умирают с голода, что в других местах — на лесоповале, на урановых рудниках — много хуже. Можно было оказывать мелкую помощь (только единицам из числа расконвоированных) — старой одеждой, мелкими деньгами, едой. Однажды домработница наших соседей Зысиных, которые завели себе кур, сварила работавшим рядом заключенным сразу 12 кур — это уже было кое-что. Ее звали Рая. В 1953 году, после амни-

стии, заключенных на объекте больше не было. Их заменили военные строительные батальоны (стройбаты). Тоже подневольные люди, но все же не зеки.

Жизнь «вольных», конечно, разительно отличалась от жизни з/к — особенно «объектовских», в отличие от «городских», т. е. коренных жителей городка, на базе которого был организован объект. Помню, как в больнице, куда я попал в 1952 году, нянечка разносила еду, приговаривая:

— Масло, каша и кисель — только объектовским, городским — каша и чай (каша без масла, чай, правда, с сахаром).

Но и над жизнью «вольных» царствовал «Режим». Ни один человек не мог поехать в отпуск, навестить родных, даже тяжело заболевших или умирающих, или на похороны, или в служебную командировку без разрешения отдела режима. «Городским» такие разрешения давались только в исключительных случаях, практически никогда. Молодым специалистам разрешения не давались в течение первого года работы, т. е. свой первый отпуск молодой человек, быть может, впервые уехавший из семьи, должен был проводить в родной производственной обстановке. Для большинства это было большой бедой. Но и после года разрешения по бытовым и личным надобностям давались лишь после первой служебной командировки. Получение каждого разрешения требовало больших затрат времени, и иногда они выдавались тогда, когда надобность в них уже давно миновала (например, умершие похоронены). При этом тот начальник, с которым гражданин разговаривал через окошечко, сам ничего не решал и бесполезно поэтому было его просить и уговаривать. Все решения принимал некто за кулисами (Уполномоченный ЦК и Совета Министров), кого никто не видел в лицо. Знакомясь сейчас, через тридцать лет, с практикой ОВИРа, я вспоминаю наш отдел режима.

Я расскажу тут дело Бориса С. Я впервые познакомился с ним в Ашхабаде, он был моложе меня на два курса. Потом он воевал (из его фронтовых рассказов: он присутствовал при казни-повешении молодой украинской партизанки-националистки. В последний момент она крикнула: «За свободную Украину!»). После демобилизации он окончил университет и был направлен на только что организованный объект. Незадолго до моего приезда Бориса назначили начальником какого-то отдела, кажется, дозиметрического. Как рассказывал с дружеской усмешкой один из наших общих знакомых, в это время у него зачастили выражения вроде: «Мы с Кириллом решили...» «Мы с Кириллом считаем...». (Кирилл — Кирилл Иванович Щелкин, тогда — заместитель Харитона.) И вдруг — потерял секретную деталь изделия, не буду уточнять какую. Его арестовывают. Он просит, уговаривает провести раскопки канализационных отходов, надеясь, что случайно выронил деталь из кармана в уборной. Три дня офицеры ГБ, оцепив место выхода канализационной трубы на откосе реки, слой за слоем скалывают замерзшие натеки нечистот и находят деталь. Таким образом, Борис виновен лишь в том, что у него дырка в кармане. Его выпускают из следственной камеры. Но с работы он уволен. И с объекта его, обладателя государственных секретов и дырки в кармане, не выпускают. Так, без права выезда, без средств к жизни и без права сообщить о своем положении кому-либо, он живет более полугода. (Относительно сообщения родным я «виноват» — передал письмо его жене в Москве.) Лишь один человек из бывших его друзей решился с ним общаться — В. А. Александрович. Впрочем, это был человек вообще незаурядный. Во время войны, работая в Крыму начальником бензоколонки, он ухитрялся прятать от немцев евреев и партизан. Дальше я расскажу, как Александрович погиб. Лишь много потом Борису С. удалось устроиться работать учителем средней школы и через несколько лет уехать с объекта; сейчас он работает в научно-популярном журнале и пишет научную фантастику.

Небольшой рассказ, который как бы является эмоциональным эпиграфом ко всему тому, что я пишу о «мире объекта». Правда, дело происходило не на нашем объекте, а на некоем другом, на котором находились производящие плутоний реакторы (или там был тогда только один такой реактор). Произошла авария — в наполненном водой бассейне под реактором сошла с рельсов и сломалась тележка, в которую из реактора сбрасы-

ваются «горячие» урановые блочки. (Слово «горячие» тут означает, что блочки положенное длительное время находились в активной зоне реактора, значительная доля ядер урана-235 в них испытала деление и произошло накопление плутония и продуктов деления; эти блочки поэтому являются источником мощного гамма-излучения). Никаких роботов, которые могли бы поставить тележку на место, тогда не существовало. Остановить реактор означало на длительное время прекратить производство на нем плутония, недодать десятков или несколько десятков атомных зарядов. Поэтому было принято решение — не знаю, на каком уровне — послать для ликвидации аварии водолаза. Водолаз устранил неисправность, но получил смертельную дозу облучения. Похоронен водолаз был на кладбище объекта. На его могиле, как это принято у моряков, установлен бронзовый якорь. Тема пушкинского «Анчара» в современном варианте!

Я думаю, что обстановка объекта, его «мононаправленность», даже соседство лагеря и режимные «излишества» в немалой степени психологически способствовали той поглощенности работой, которая, как я пытался показать, была определяющей в жизни многих из нас. Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране очень дорогой ценой. Это вызывало, как мне кажется, у многих чувство, что жертвы, трудности не должны быть напрасными (во всяком случае, у меня было так, я уже об этом писал). При этом в важности, абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего — все где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира. Несомненно, что очень высокий (по общим нормам) уровень зарплаты, правительственные награды, другие знаки и привилегии почетного положения тоже были существенным поддерживающим элементом. Должны были пройти годы, произойти сильные потрясения, чтобы в это мироощущение проникли новые струйки.

В мой первый приезд на объект Яков Борисович Зельдович, заботившийся о повышении научного уровня своих сотрудников (и своего собственного), попросил меня напоследок прочитать лекцию по квантовой теории поля. К сожалению, я тогда (за два года) уже сильно поотстал, а как раз за это время произошел великий скачок. Я не знал новых методов и результатов Швингера, Фейнмана и Дайсона; мой рассказ был на уровне уже несколько устаревших книг Гайтлера и Венцеля. С тем я «отбыл» в Москву, где меня с нетерпением ждали Игорь Евгеньевич и другие сотрудники (и Клава, которая была на последнем месяце беременности).

Небольшое отступление о моих взаимоотношениях в те годы с «большой наукой». Года через два во время короткого приезда в Москву я рассказал Виталию Лазаревичу Гинзбургу о какой-то своей идее (кажется, неверной или тривиальной) в области электродинамики. Он усмехнулся и сказал: «Да вы не только бомбочкой, но и физикой хотите заниматься». Совмещать такие трудно совместимые вещи оказалось очень трудно, в основном невозможно (у Я. Б. что-то получалось, но это особый случай). Но еще трудней дело стало в 1968 году, когда я, написав «Размышления», оказался втянутым в общественные дела. Не буду забегать вперед.

Вскоре после моего возвращения с объекта произошло важное событие в нашей семейной жизни — рождение второй дочери. Утром 28 июля Клава еще успела постирать белье, потом мы на электричке поехали в город, вечером я отвез ее на такси в ближайший роддом; через два часа она родила дочь Любу (имя придумала старшая дочь Таня, которой было тогда четыре с половиной года). Пока Клава с Любой находились в роддоме, мы с Таней жили у моих родителей. Осенью я позвонил (по совету Зельдовича) Курчатову с просьбой помочь мне в получении квартиры, вместо нашей 14-метровой комнаты в «коридорном доме». Курчатов обещал. Вскоре мы уже въезжали в огромную, по нашим меркам, трехкомнатную отдельную квартиру на окраине Москвы (с окнами на парк, правда, сильно замусоренный; но однажды оттуда к нам забежал заяц; не только дети, но и я были этим сильно обрадованы).

Я. Б. Зельдович сострил по поводу получения мною квартиры, что

это первое использование термоядерной энергии в мирных целях. В ноябре я еще раз ездил на объект, но эта поездка мне не запомнилась (или слилась в памяти с первой?).

В начале марта 1950 года я и Юра Романов получили распоряжение немедленно выехать на объект для постоянной работы (наш отъезд из ФИАНа оформлялся как «длительная командировка»). Для меня она продлилась до июля 1968 года. Зарплату мы получали, конечно, на новом месте и колоссальную (я — 20 тысяч рублей старыми деньгами, т. е. новыми — 2000). Получилось так, что в дальнейшем моя зарплата — не только у меня, а и у большинства (в результате «упорядочения системы зарплаты» и увеличения числа сотрудников) — несколько уменьшилась, но оставалась очень высокой. Нам выделили комнатку для работы рядом с отделом Зельдовича, и мы сразу принялись за дело. Поселили нас (меня и Романова) вместе в одном номере гостиницы в поселке ИТР (инженерно-технических работников) в 50 метрах от моего будущего коттеджа. Тогда его занимал, по игре случая, тот самый А. П. Протопопов, с которым я работал на заводе шесть лет назад. Протопопов переквалифицировался, стал радиохимиком. Вскоре он опять вернулся в свой родной Ленинград, куда так рвался и в 1944 году.

Я сразу предпринял шаги для оформления приезда Клавы, но... оно затянулось на полгода (потом отец Клавы рассказывал — в провинции все становится известным, — что летом 1950 года МВД Ульяновска усиленно изучало его родственные связи). До ноября я жил в гостинице.

В это время мы были неразлучны с Юрой Романовым (ночью, т. к. мы спали в одном номере, днем — на работе, вечером — в часы отдыха). Моложе меня на 5—6 лет, живой и непосредственный, почти по-детски восприимчивый, он очень нравился тогда и мне, и Игорю Евгеньевичу, который называл его «дитя природы». Да он всем нравился. Под нами была комната двух девушек — сотрудницы отдела Зельдовича Ревекки Израилевой, о которой я уже писал, и приехавшей вместе с нами «математички» Лены Малиновской. Она работала в математическом отделе, ее начальник Маттес Менделевич Агрест говорил:

— Лена — очень хорошая девушка, надо ее только время от времени подтолкнуть.

Мы с Юрой обычно по вечерам ходили к ним в гости, он несколько неуклюже танцевал по очереди с обеими, а я, не умея танцевать, просто отдыхал. Лена иногда пела. Вскоре к нашей компании примкнул Смагин.

В начале апреля предписание о выезде на объект получил Игорь Евгеньевич. Семен Захарович Беленький, который в это время был уже тяжело болен (какая-то болезнь сердца), по просьбе Игоря Евгеньевича был оставлен в Москве. Беленький в 1950—1951 гг. сделал несколько работ по гидродинамике, в которых рассмотрел существенные для физики взрыва изделий процессы. В середине 50-х годов Семен Захарович умер.

Я помню, как мы встречали Игоря Евгеньевича на аэродроме. Он вышел из самолета с рюкзаком за плечами, держа в руках лыжи (они еще пригодились), щурясь от яркого апрельского солнца. С его приездом наша жизнь сильно оживилась — и работа, и отдых. Через два-три месяца приехали еще двое крупных ученых, направленных на объект для участия в нашей работе — Исаак Яковлевич Померанчук, мой бывший оппонент по кандидатской диссертации, и Николай Николаевич Боголюбов, тогда еще молодой, но уже получивший большую известность в научных кругах. Померанчук работал в системе нашего управления и был направлен просто по указанию Ванникова. Боголюбов же был направлен с санкции Сталина, как мне сказал Игорь Евгеньевич (добавив при этом, что Н. Н. это явно импонировало). Еще до их приезда на объект приехали также три ученика Боголюбова — Валентин Николаевич (Валя) Климов, Дмитрий Васильевич (Митя) Ширков и Дмитрий Николаевич (Дима) Зубарев. Они сразу вошли в нашу компанию, причем в прогулках, купании, занятиях бегом на стадионе и тому подобных спортивных и полуспортивных делах инициативу забрал в свои руки Валя Климов.

На майские дни мы решили сделать вылазку в лес, окружавший со всех сторон поселок. Оживленно разговаривая, мы не заметили, что

вышли к зоне. Очевидно, с одной из ближайших сторожевых вышек нас заметили. Неожиданно за нашей спиной раздалось грозное:

— Стой, ни с места!

Мы обернулись и увидели группу солдат, с очень недвусмысленно наведенными на нас автоматами, во главе с офицером-пограничником. Нас отвели к какому-то зданию, около которого уже ждал грузовик, приказали сесть в кузов на дно, вытянув ноги. Напротив, на скамеечке, село четверо автоматчиков. Один из них сказал: при попытке бегства и если подберете ноги — стреляем без предупреждения. Кое-как, подпрыгивая на корнях и кочках и борясь с желанием согнуть ноги в коленях, чтобы таким образом смягчить толчки, мы доехали до военного лагеря. Наши конвоиры приказали нам выстроиться лицом к стене, а сами пошли докладывать по начальству. Примерно через полчаса, наведя справки (убедившись, что мы не беглые зеки), нас милостиво отпустили. Игоря Евгеньевича в майские дни на объекте не было — ему разрешили на несколько дней съездить в Москву к семье, потом он еще раз ездил летом; мне же впервые разрешили выезд в Москву только в конце октября. При этом никакой телефонной связи не было, писем и телеграмм тоже нельзя было посылать (впоследствии в этом отношении режим был ослаблен). В октябре Клава получила разрешение на въезд на объект. Мы уложили чемоданы, увязали в тюки постельное белье и 9 ноября приехали на такси на аэродром, с годовалой Любой и одним тюком в руках у Клавы и пятилетней Таней, которая тащила небольшую сумку. Все остальное было на мне (никаких носильщиков не было и в помине). В углу зала ожидания, в указанном накануне месте я нашел знакомого мне в лицо экспедитора, ответственного за посадку. Другие пассажиры сидели рядом с сумками и чемоданами. Экспедитор сделал отметку в своем списке и надолго исчез. Примерно через час он наконец явился и скомандовал:

— Самолет отправляется, все на посадку!

Мы побежали с вещами к самолету, стоявшему в самом дальнем конце поля. (Вся эта сцена посадки неизменно повторялась потом, при каждом полете.) Мы разместились на откидных железных стульчиках вдоль фюзеляжа, и самолет взял курс на объект. Через некоторое не называемое время (даже дети были строго приучены к тому, что никому в Москве они не должны говорить, сколько надо лететь) самолет пошел на снижение. Под крыльями мелькнули два ряда колючей проволоки с вышками, еще несколько минут, и вот мы уже дома, на объекте. Конечно, еще надо было пройти процедуру проверки пропусков. Но через час мы уже размещались в тех двух комнатах, которые были предоставлены нам временно, пока не освободится наш постоянный коттедж.

Поначалу наш быт был не очень устроен — особенно трудно было доставать молоко для детей, но постепенно все кое-как наладилось (не только у нас тогда были эти трудности).

И. Е. ТАММ, И. Я. ПОМЕРАНЧУК, Н. Н. БОГОЛЮБОВ, Я. Б. ЗЕЛЬДОВИЧ

Судьба свела меня с четырьмя крупными учеными-теоретиками, они — в разной степени — оказали большое влияние на мои взгляды, на научную и изобретательскую работу. Здесь я хочу рассказать о них. Особенно велика в моей жизни роль Игоря Евгеньевича Тамма, а если говорить об общественных взглядах, вернее — принципах отношения к общественным явлениям, то из всех четырех — только его. Конечно, как всякие воспоминания, все нижеследующее — не более, чем штрихи, ни в коем случае не полная картина.

Игорь Евгеньевич работал на объекте с апреля 1950 года до августа 1953-го. Это было время моего самого тесного общения с ним, я узнал его с тех сторон, которые были мне недоступны ранее в Москве (а он, конечно, узнал меня). Мы теперь работали непрерывно вместе полный рабочий день,

вместе завтракали и обедали в столовой, вместе ужинали и отдыхали по вечерам и в воскресенье.

В 1950 году Игорю Евгеньевичу было 55 лет — немногим меньше, чем мне сейчас. Я, конечно, хорошо знал его блистательную научную биографию (потом он сделал еще один важный вклад в нее своими работами по изобарным резонансам, затем проследовала героическая эпопея нелокальной теории; сейчас этот путь кажется неправильным, но кто знает?) Знал я и то, что Игорь Евгеньевич очень поздно стал активно работать в науке — молодость была отдана политической борьбе, к которой его толкали социалистические убеждения и свойственная ему активность. В 1917 году он состоял в меньшевистской партии и на каком-то съезде единственный из меньшевиков голосовал за немедленное заключение мира, чем вызвал реплику Ленина:

— Браво!

В годы гражданской войны он выполнял многие очень опасные поручения, неоднократно переходил линию фронта, попадал в разные переделки. Наукой он стал заниматься лишь потом, огромную роль для него сыграли поддержка и пример Л. И. Мандельштама, с которым он впервые встретился в Одессе в последний период гражданской войны. Он рассказывал о своей жизни и о многом другом, когда мы оставались с глазу на глаз наедине, в полутьме его гостиничного номера, или тихо прогуливались при луне вдвоем по пустынным лесным дорожкам (одна из них была известна под названием «Аллея Любви»). Касались мы и самых острых тем — репрессий, лагерей, антисемитизма, коллективизации, идеалов и действительного лица коммунизма. Я не случайно, говоря выше о влиянии на меня общественных взглядов Игоря Евгеньевича, поправился, что речь идет о принципах. Взгляды мои, особенно сейчас, вероятно, очень сильно расходятся с его. Я слышал, как Леонтович с дружеской усмешкой говорил: в И. Е. жив, несмотря ни на что, член Исполкома Елизаветградского Совета. Конечно, в этом только часть правды. Другая ее часть — И. Е. очень многое умел пересматривать и часто жестоко казнил себя за прошлые ошибки (об одном таком эпизоде, касавшемся догматической позиции Коминтерна по отношению к социал-демократии, рассказывает в своих прекрасных воспоминаниях Евгений Львович Фейнберг. Тамм спорил об этом в 30-х годах с Бором). Сейчас для меня представляются главными именно основные принципы, которые владели Игорем Евгеньевичем — абсолютная интеллектуальная честность и смелость, готовность пересмотреть свои взгляды ради истины, активная, бескомпромиссная позиция — дела, а не только фрондирование в узком кругу. Но тогда каждое его слово было для меня откровением — он уже ясно понимал многое из того, к чему я только приближался, и понимал глубже, острей, активней, чем большинство тех, с кем я мог бы быть столь же откровенен. Пришлось побывать Игорю Евгеньевичу и в подвалах Деникинской контрразведки, и в подвалах ЧК. Спасло его, кажется, попросту везение (во время одного из таких сидений его сокамерник непрерывно декламировал малоприличные поэмы Баркова и тем самым сильно укрепил отвращение Игоря Евгеньевича к подобного рода литературе). Чекисты расстреливали тогда каждое утро — 5—6 человек из числа сидевших, но до И. Е. очередь не дошла, его выпустили по приказу Дзержинского. Начальник ГубЧК, отпуская, с явным сожалением заметил: «А ведь ты все-таки белый шпион!» — «Почему?» Начальник показал отобранную при обыске школьную фотографию будущей жены И. Е. Натальи Васильевны, на обороте которой было написано ст руки: «Мы все твои агенты». А в 30-е годы Игоря Евгеньевича спасло, кроме опять везения, то, что, выйдя в 1917 году из меньшевистской партии, он уже не вступил ни в какую, в том числе и в большевистскую (а также, возможно, большой уже тогда научный авторитет в СССР и за рубежом). Мы много говорили о репрессиях тех лет. Один из любимейших его учеников, Шубин, спорил с ним, кажется, в 1937 году, повторяя стандартную фразу: НКВД зря не арестовывает, вот я ничего антисоветского не делаю и меня не арестовывают. (Что было в этих, многими говорившихся тогда словах — слепота? лицемерие? Стремление к самообману ради того, чтобы психически устоять в атмосфере всеобщего ужаса? Искреннее заблуждение обреченных фанатиков?) Последний их спор происходил ночью, почти до рассвета, а на другой день Шубин был арестован, вскоре погиб

в лагере. На запрос о причине смерти пришел (что не часто бывает) ответ: причина смерти — «охлаждение кожных покровов». Тогда же были арестованы и погибли многие другие талантливые физики, среди них Витт (я о нем уже писал), талантливый молодой физик-теоретик Матвей Бронштейн (его работы по квантованию слабых гравитационных волн, по стабильности фотона и др. сохранили свое значение; последняя работа является аргументом против неправильного объяснения космологического красного смещения «старением» фотонов).

В те годы, когда мы занимались «изделием» и сидели на объекте, в печати, в научных и культурных учреждениях, в преподавании бушевала инспирированная свыше кампания борьбы с «низкопоклонством» перед Западом. Выискивались русские авторы каждого открытия или изобретения — «Россия родина слонов» — шутка тех лет. Трагедия не обходилась без курьезов — братьев Райт должен был вытеснить контр-адмирал Можайский с его «воздухоплавательным снарядом», но опубликованный тогда в спешке портрет Можайского и часть его биографии принадлежали его брату. Борьба с низкопоклонством смыкалась с борьбой с так называемым «космополитизмом» — по существу же это был попросту антисемитизм. Б. Л. Ванников, который сам был евреем, смешил своих чиновных собеседников такими анекдотами:

Стоит человек перед зеркалом и жжет свои космы. Кто он такой? Ответ: космополит.

И еще: чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом.

Тут у Игоря Евгеньевича было очень четкое мнение, и он неоднократно высказывал его с большой страстностью. Для него не было «советской» или тем более «русской», как, впрочем, «американской» или «французской» науки — лишь общечеловеческая, представляющая собой не только важнейшую часть общемировой культуры и надежду человечества на лучшее будущее, но и самоцель, один из главных смыслов жизни. А по поводу антисемитизма он говорил: есть один безотказный способ определить, является ли человек русским интеллигентом. Истинный русский интеллигент никогда не антисемит. Если же есть налет этой болезни, то это уже не интеллигент, а что-то другое, страшное и опасное.

Осенью 1956 года (уже после ухода И. Е. с объекта и после XX съезда) я спросил его, нравится ли ему Хрущев. Я прибавил, что мне — в высшей степени, ведь он так отличается от Сталина. Игорь Евгеньевич без тени улыбки на мою горячность ответил: да, Хрущев ему нравится и, конечно, он не Сталин; но лучше, если бы он отличался от Сталина еще больше. Вскоре произошли венгерские события, но наши встречи в то время стали реже, и я не помню, чтобы мы обсуждали их. В 1968 году, когда я выступил с «Размышлениями о прогрессе...», Игорь Евгеньевич, уже тяжело больной, отнесся к этой статье скептически, в особенности к идее конвергенции. Он считал, что в социально-экономическом плане только чистый, неискаженный социализм способен решить глобальные проблемы человечества, обеспечить счастье людей. В этом он остался верен идеалам своей молодости. От обсуждения того, как же решить в антагонистически разделенном мире проблему предотвращения всеобщей термоядерной или экологической гибели, он воздержался, но сказал, что я, конечно, ставлю острые вопросы. Наши разногласия никак не изменили того уважения и даже, как я решаюсь сказать, любви, которую мы питали друг к другу. Я с гордостью помню, что Игорь Евгеньевич именно мне доверил чтение так называемой Ломоносовской лекции. В 1968 году Академия Наук присудила ему свою самую почетную научную награду — медаль имени Ломоносова (одновременно медаль была присуждена английскому ученому Пауэллу, вместе с Латтэсом и Окиалини открывшему пи-мезон, я уже упоминал об этом). По традиции награда вручается Президентом Академии Наук на Общем собрании, затем награжденный читает научную лекцию. В это время Игорь Евгеньевич уже не мог присутствовать на Собрании, он жил на аппарате искусственного дыхания. Но он написал свою лекцию, обсуждал ее со своими учениками, в том числе со мной. Характерно, что она была посвящена не прошлым заслугам, а тем научным идеям, которые увлекали его тогда. С большим волнением я читал ее с трибуны Общего собрания.

В августе того же, 1968, года советские танки вошли в Прагу. Это событие потрясло тогда многих в СССР и за рубежом. Я не помню сейчас,

кто именно пришел к Игорю Евгеньевичу с предложением подписать письмо с выражением протеста. Игорь Евгеньевич подписал. Но потом, по настоянию одного из своих сотрудников и любимых учеников, аргументировавшего необходимостью сохранения теоретического отдела ФИАНа — дела жизни Игоря Евгеньевича, он снял свою подпись. Я очень сожалею об этом. Мне кажется, что подпись Игоря Евгеньевича имела бы огромное значение, а он сам получил бы чувство глубокого удовлетворения — это было бы еще одно славное дело в его прекрасной жизни. Опасения же относительно судьбы теоротдела ФИАНа кажутся мне сильно преувеличенными, ничего бы не случилось. Но и сейчас люди в оправдание своего бездействия в острых общественных ситуациях выдвигают аналогичные мотивы.

Я уже писал о своем отношении (в 1948—1956 гг., для определенности) к работе над ядерным оружием. Я не могу с той же степенью уверенности писать о позиции Игоря Евгеньевича, я не помню развернутого и доходящего до конца, до глубины проблемы разговора об этом; тогда мне казалось, что его позиция такая же, как моя. Однажды И. Е. рассказал мне об отказе одного из ведущих советских физиков академика Петра Леонидовича Капицы участвовать в работе над ядерным оружием (много потом — в 1970 году — об этом же самом эпизоде мне рассказывал сам Капица, я пишу об этом во второй части воспоминаний). По словам Игоря Евгеньевича, якобы Капица, когда ему позвонили из секретариата Берии с просьбой приехать, ответил, что он сейчас чрезвычайно занят научной работой и, если Лаврентию Павловичу необходимо с ним побеседовать, то он просит его приехать к нему в Институт. Я пытаюсь воссоздать в памяти свои ощущения от рассказа Игоря Евгеньевича. Я не помню, чтобы мне тогда показалось, что И. Е. восхищается смелостью Капицы. Игорь Евгеньевич, наоборот, сказал что-то вроде того, что «конечно, Л. П. на самом деле человек гораздо более занятой, чем Капица». Я, со своим тогдашним умонастроением, воспринял эти слова буквально, как осуждение Капицы. Для меня Берия был частью государственной машины, и в этом качестве участником того «самого важного» дела, которым мы занимались. Мне казалось само собой разумеющимся, что позиция Игоря Евгеньевича в точности такая же. Сейчас я думаю, что в словах И. Е. были некоторые, ускользнувшие от меня нюансы, скрытая ирония, быть может, он немного недооценивал мою неготовность воспринимать скрытый смысл его высказывания.

В те же годы Я. Б. Зельдович однажды заметил в разговоре со мной:

— Вы знаете, почему именно Игорь Евгеньевич оказался столь полезным для дела, а не Дау (Ландау)? — у И. Е. выше моральный уровень.

Моральный уровень тут означает готовность отдавать все силы «делу». О позиции Ландау я мало что знаю. Однажды в середине 50-х годов я приехал зачем-то в Институт Физических Проблем, где Ландау возглавлял Теоретический отдел и отдельную группу, занимавшуюся исследованиями и расчетами для «проблемы». Закончив деловой разговор, мы со Львом Давыдовичем вышли в институтский сад. Это был единственный раз, когда мы разговаривали без свидетелей, по душам. Л. Д. сказал:

— Сильно не нравится мне все это. (По контексту имелось в виду ядерное оружие вообще и его участие в этих работах в частности.)

— Почему? — несколько наивно спросил я.

— Слишком много шума.

Обычно Ландау много и охотно улыбался, обнажая свои крупные зубы. Но в этот раз он был грустен, даже печален.

В те объектовские годы говорили мы с Игорем Евгеньевичем, конечно, и о науке. И. Е. любил повторять, что его интересуют все науки, кроме философии и юриспруденции. Я вполне был согласен по второму пункту (увы, потом жизнь заставила меня войти и в эту смутную область, но я так и не смог внутренне принять ее как нечто «настоящее»); что же касается философии, то, мне кажется, Игорь Евгеньевич, в основном, имел в виду догматиков и тех, кто, по выражению Фейнмана, «мельтешит» возле науки. Роль же великих философов прошлого в истории культуры и роль философского, максимально обобщенного и тонкого мышления во всей современной культуре вряд ли он хотел отрицать. В то время он часто говорил о биологии. Я вполне разделял его мысли и чувства относительно лысенкоизма (также Лепешинской, Бошьяна, Быкова, о которых тогда много шумели), вероятно, он укрепил меня в моей позиции. Но к его тезису, что для объяснения явлений жизни необходимы какие-то совершенно новые принципы, быть может, даже физические, столь же кардинальные, как квантовая механика, я относился настороженно. Я спорил с ним, говорил, что иерархически организованная стереохимия, действующая по принципу ключ — замок, плюс электрохимия в качестве украшения — вполне достаточная база для осуществления процессов жизни (так же, как любой самый примитивный алфавит — вполне достаточная база для выражения самых сложных мыслей). Мне кажется, что развитие науки в последующие десятилетия (начиная с расшифровки ДНК) пока подтверждало мою точку зрения. Правда, сама структура этой организации оказалась неизмеримо сложней и разнообразней, более многоступенчатой, чем могли себе представить самые проницательные умы 30 лет назад. И пока еще далеко не все ясно, нет даже четкой постановки многих важнейших проблем, не говоря уже о конкретных деталях. Игорь Евгеньевич был убежден, что основное направление развития науки должно вскоре переместиться с физики, давшей в первой половине XX века самое фундаментальное продвижение, на науку о жизни. Тут я с ним был согласен: действительно, в то время доля интеллектуальных и материальных сил, направленных на весь комплекс наук о жизни (медицина и физиология, цитология, биохимия и биофизика, экология, конкретная зоология и ботаника, наука о поведении животных и человека, селекция и генетика и др.) была недопустимо мала и несопоставима с их практическим и принципиальным значением. С тех пор происходит постепенный рост доли усилий, направленных на биологические науки, но и так называемые точные науки не сдают свои позиции. Поток неожиданных открытий огромного принципиального и практического значения в них не иссякает, и соответственно никак не ослабляется к ним внимание. Молодежь, идущая в науку, должна сейчас, как и всегда, руководствоваться своими внутренними склонностями, своим чувством нового, таинственно возрождающимся в каждом поколении. Так будет лучше всего. А что будут делать планирующие организации, это вопрос особый, имеющий очень много аспектов, обсуждать его здесь не место.

Игорь Евгеньевич говорил, что если бы он сейчас (т. е. в 50-х годах) выбирал себе научную специальность, то выбрал бы биологию. Все же мне кажется, что это была метафора. Истинная его страсть, мучившая всю жизнь и дававшая его жизни высший смысл, — фундаментальная физика. Недаром он сказал, за несколько лет до смерти, уже тяжело больной, что мечтает дожить до построения Новой (с большой буквы) теории элементарных частиц, отвечающей на «проклятые вопросы», и быть в состоянии понять ее... (Он не сказал, что надеется дожить до момента, когда будет понята тайна работы человеческого мозга, тайна эмбриональной клеточной организации, тайна эволюции и происхождения жизни.)

Е. Л. Фейнберг пишет, что если бы Игорь Евгеньевич позволял себе отвлекаться от труднейших задач переднего края, он, при его эрудиции и профессионализме, феноменальной трудоспособности, безошибочности вычислений, с легкостью мог бы сделать очень много хороших, ценных работ. Это видно по его деятельности по теме МТР (см. следующую главу), по всей его прикладной деятельности, по тем работам, которые он делал в период «научной депрессии», (т. е. когда впадал в отчаяние от неудач на переднем крае). Но он почти никогда не позволял себе этого. Выражением той же страсти была его работа последних лет (попытка построения теории с искривленным импульсным пространством и развитие идей Снайдера), которую он продолжал с потрясающим духовным и физическим мужеством, будучи уже прикованным к дыхательной машине, т. е. в том положении, когда многие впадают в отчаяние, в апатию, «рассыпаются». Движущим стимулом этой его последней работы была убежденность, что теория перенормировок, которая казалась окончательным и исчерпывающим решением проблемы «ультрафиолетовых расходимостей», на самом деле представляет собою только временное и частичное средство, или только феноменологическое при не очень больших энергиях. Такую точку зрения — особенно до открытия Московского нуля — разделяли очень немногие (среди них — Дирак). Мне кажется, что Игорь Евгеньевич был прав в

принципе и не прав в отношении перспективности теории искривленного импульсного пространства. Сейчас большие надежды возлагаются на калибровочные суперсимметричные теории и особенно на «струны». Но окончательной ясности нет ни у кого.

Вернусь к рассказу о нашей жизни в 50-е годы. Завтракали и обедали мы обычно втроем (И. Е., Романов и я). Игорь Евгеньевич обычно рассказывал новости, которые узнавал из передач иностранного радио (он регулярно слушал Би-Би-Си на английском и русском языках, тогда это было довольно необычно) — политические, спортивные, просто курьезные; от него мы узнали о первом восхождении на Эверест в 1953 году Хиллари и Тенцинга; я вспоминаю об этом сегодня, когда на Эверест поднимались участники советской экспедиции, возглавлявшейся его сыном Женей; тогда Игорь Евгеньевич говорил, что он часто клянет себя, что пристрастил сына к альпинизму — захватывающему, но очень опасному увлечению. Как и во всем, что рассказывал Игорь Евгеньевич, главное было даже не содержание, а его отношение — умного, страстного, необычайно широкого человека. Игорь Евгеньевич не давал нам, как говорится, закисать, будучи сам увлекающимся и общительным человеком, он и нас заставлял отдыхать активно и весело. Были в моде у нас вечерние игры в шахматы и их модификации (игра вчетвером, игра без знания фигур противника с секундантом и т. п.; И. Е. показал нам китайские игры «Го» и «выбирание камней», последняя игра допускает алгоритмизацию, основанную на «золотом сечении», и мы ломали себе головы над этим). Были прогулки лыжные и пешие, а летом — выезд на купания (в последнем случае я был полностью посрамлен, но И. Е. тактично избавил меня от лишних огорчений). Вместе с нами на равных принимал участие и шофер отдельской машины Павлик Гурьянов. В том мире, который образовывался всюду вокруг Игоря Евгеньевича, это было абсолютно естественно и вообще не являлось чем-то особенным. Потом, имея дело с другим начальством, я увидел совсем другие отношения с подчиненными.

Я вспомнил тут, как Павлик однажды спас жизнь Игорю Евгеньевичу и мне. Из встречного потока навстречу нам неожиданно выскочил на огромной скорости военный грузовик (он пошел на обгон на узкой кривой улице, огибавшей церковь). Павлик с мгновенной реакцией бывшего танкиста сумел выскочить на тротуар между редкими, к счастью, прохожими и тем избежал неизбежного лобового столкновения. К сожалению, Павлик потом спился, был переведен на работу машиниста маневренного паровоза.

Большую часть жизни Игорь Евгеньевич очень нуждался в деньгах. Некий достаток возник, когда он получил Сталинскую премию. Но часть из нее он сразу же выделил на помощь нуждающимся талантливым людям; он попросил найти таких и связать его с ними, — но эти люди не знали, откуда они получают деньги. Мне очень стыдно, что мне не пришло в голову то же самое или что-нибудь аналогичное (о поступке И. Е., вернее, о нескольких таких поступках я узнал лишь после его смерти).

Е. Л. Фейнберг пишет в своих уже упоминавшихся мною воспоминаниях (я полностью с ним согласен и просто цитирую): «...Было (в России конца XIX века) нечто основное, самое важное и добротное — среднеобеспеченная трудовая интеллигенция с твердыми устоями духовного мира, из которой выходили и революционеры до мозга костей, и поэты, и практические инженеры, убежденные, что самое важное — это строить, делать полезное. Игорь Евгеньевич как личность происходит именно отсюда, и лучшие родовые черты этой интеллигенции стали лучшими его чертами, а ее недостатки — и его слабостями. Едва ли не главной из этих черт была внутренняя духовная независимость — в большом и малом, в жизни и науке...»

Человеком таких же высоких качеств была и жена И. Е., Наталья Васильевна, пережившая его ровно на 9 лет. Ей, вероятно, не всегда было легко и просто, жизнь вообще штука сложная...

Разговаривая как-то с Клавой и желая успокоить ее в тех сомнениях, которые мучили Клаву (совершенно необоснованно), Н. В. сказала: мужчины часто любят неровно, иногда у них любовь ослабевает, почти исчезает, но потом приходит вновь (я знаю об этом разговоре от Клавы; никто не решится утверждать, что Н. В. говорила о своих отношениях с мужем, конечно, нет, но какой-то душевный опыт и мудрая доброта в этом были). На протяжении долгих лет их совместной жизни Наталья Васильевна поддерживала своего мужа и на подъеме, и в периоды депрессии, которые бывали у Игоря Евгеньевича, как у всех активных и сильно чувствующих людей.

Об Игоре Евгеньевиче много написано. Я хотел бы думать, что мне удалось прибавить какие-то штрихи к его портрету.

Вероятно, главные удачи моей юности и молодости — то, что я сформировался в Сахаровской семье, носившей те же «родовые черты» русской интеллигенции, о которых пишет Евгений Львович Фейнберг, а затем под влиянием Игоря Евгеньевича.

Совсем другим, но тоже на редкость обаятельным и ярким человеком был Исаак (Юзик по паспорту) Яковлевич Померанчук. Он был крайне расстроен тогда, летом 1950 года, своим пребыванием на объекте — мы оторвали его от большой науки — т. е. теории элементарных частиц и теории поля — и от молодой жены: он только что женился и был всецело во власти этих переживаний, это был не первый его брак, но, кажется, предыдущие (один или два) прерывались очень рано, жены почему-то уходили от него, но на этот раз, наоборот, он увел жену от мужа-генерала; ночи напролет простаивал И. Я. под ее окнами в надежде на случайный взгляд из-за занавески (все вышенаписанное основано на непроверенных слухах, но я не мог удержаться, чтобы их не повторить, слишком хорошо они «вписываются в образ»).

Мне вспоминается, как Исаак Яковлевич вышагивал по дворику коттеджа, где его поселили, ероша свою иссиня-черную шевелюру, и напевал под нос что-нибудь вроде:

Я росла и расцветала до семнадцати годов,
Но с семнадцати годов сушит девушку любовь...

(девушка — это был, видимо, он). Когда я обращался к нему с каким-либо вопросом, он восклицал:

— Вы знаете, я наверно, старомодный человек, но для меня все еще самыми важными являются такие странные вещи, как любовь.

Несмотря на все эти переживания, он с большой скоростью и блеском решал те теорфизические задачи, которые мы с И. Е. могли ему предложить — т. е. выделить из общей массы волновавших нас проблем: теорфизическая техника у него была виртуозной, и знал он многое, что для меня было неизвестно. Но к этой своей деятельности он относился с величайшим (и совершенно искренним) презрением. Еще раньше я слышал о нем рассказ, как он ловил «за пуговицу» директора большого физического института и спрашивал его:

— Есть ли у вас ускоритель на 600 Мэв? Ах, нет. В таком случае вы управдом, а не директор.

Все это было не позой, а существом его натуры, всепоглощающей страстью. Он выработал себе концепцию, что основные, самые фундаментальные законы природы в «обнаженной», неискаженной форме должны проявиться в физике предельно высоких энергий. Вопрос был только в том, чему равны эти энергии, и надо было провести опыты с частицами, обладающими ими. Развитие науки в последующие тридцать лет, по-видимому, подтверждает это предположение. К сожалению, Исаак Яковлевич прожил только половину этого срока и многого уже не увидел. А что-то — и, быть может, самое главное — не увидим и мы, ныне живущие. И. Я. томился на объекте, вероятно, два (или четыре) месяца. Потом начальство поняло, что все же лучше его отпустить. Он вернулся к своей работе и жене.

В 60-е годы его подвижничество было вознаграждено — ему удалось получить несколько фундаментальных результатов в физике высоких энергий (есть все же — иногда — высшая справедливость). Все мы знаем «Теорему Померанчука» о равенстве сечений в пределе больших энергий, когда одна из сталкивающихся частиц (а не обе, это было бы тривиально) заменяется на свою античастицу: фамилия его запечатлена в названии реджевской траектории с нулевыми квантовыми числами: это, конечно, только надводная часть айсберга — большой совокупности прекрасных работ. Померанчук много работал в эти годы с талантливыми учениками — Грибовым,

Окунем, Иоффе, Тер-Мартиросяном, Кобзаревым и другими, и получал от этого сотрудничества большую радость.

Я вновь стал чаще видеть И. Я. в последние годы его жизни, когда сделал попытку вернуться к «большой науке». Он все так же горел научными планами, с волнением (и сомнениями) говорил о кварках, недавно предложенных Гелл-Маном и Цвейгом. Незадолго перед этим умерла его жена. Он сам заболел тяжелой болезнью — раком пищевода. К счастью (если тут можно говорить это слово), умный врач, понимавший, с кем имеет дело, рассказал ему об его положении и посоветовал, если он хочет оставшийся ему кусок жизни прожить достойно, не жалеть обезболивания. Это был проф. Кассирский, ныне покойный. Померанчук сумел воспользоваться этим советом. Он работал до последнего дня жизни. Его ученики еще накануне смерти обсуждали с ним детали последней совместной работы, появившейся в печати уже посмертно. Речь шла о «скейлинге» (т. е. о преобразовании подобия функций, описывающих вероятности глубоко-неупругого электророждения адронов при достаточно высоких энергиях падающих на мишень электронов). Примерно в это же время (несколько раньше) появилась знаменитая работа Бьеркена на ту же тему, а вскоре — работа Фейнмана. Все три работы были порождены сенсационными результатами исследований на гигантском линейном ускорителе СЛАК в Стэнфорде. И. Я. все еще находился на самом переднем крае. Когда я увидел его в последний раз, он был уже в очень тяжелом состоянии, крайне исхудал. И. Я. сказал мне с усмешкой, что гуляет только по ночам, чтобы не пугать людей своим видом, но (кроме этой реплики) говорил только о науке. Для всех знающих Померанчука он остался в памяти наиболее чистым воплощением образа рыцаря фундаментальной теоретической физики.

О Николае Николаевиче Боголюбове я впервые услышал в 1946 году от моего товарища по школьному математическому кружку, потом однокурсника Акивы Яглома. Он рассказал, что в Москву приехал из Киева некий «бобик», необычайно талантливый, у которого так много научных идей, что он раздает их налево и направо. Потом я слышал его замечательный доклад в ФИАНе о теории сверхтекучести. Конечно, это была «модельная» теория, использовавшая к тому же теорию возмущений. Но это было первое теоретическое исследование, из которого следовало удивительное явление сверхтекучести не из постулированного специально для его объяснения спектра элементарных возбуждений, а из первых принципов. К сожалению, некоторые ученые не оценили этого тогда в должной мере, отчего возникли многие досадные недоразумения, в которых и сам Боголюбов, и в особенности его ученики и его окружение вели себя далеко не наилучшим образом. Потом, через десять лет, когда появились работы Бардина — Купера — Шриффера по сверхпроводимости, у Боголюбова уже был наготове адекватный теорфизический аппарат. И он воспользовался им с полным блеском.

На объекте Боголюбов действительно способствовал усилению математического отдела. Он нашел нового начальника на место Маттеса Менделевича Агреста и большую группу активных, хороших работников. Боголюбов делал также отдельные теоретические работы по тематике объекта, если их удавалось выделить и они соответствовали его интересам (в этом случае он делал их так, как вряд ли смог кто-либо другой). Но его совсем не интересовали инженерные и конструкторские, а также экспериментальные работы. Однажды он случайно попал на инженерное совещание у Ю. Б. Харитона. Придя с него, он говорил с некоторой растерянностью (частично, это была, конечно, игра):

— Я там попал в кокиль. (Т. е. в кокиль, специальную литейную форму.) Это выражение — попасть в кокиль — стало у нас нарицательным. Большую часть своего времени он открыто использовал на собственную научную работу, не имевшую отношения к объекту (много после я стал делать то же самое), а также на писание монографий по теоретической физике. Главным образом для этого он привез с собой Климова, Ширкова и Зубарева, о которых я выше писал. Наибольшего успеха он достиг с самым молодым из них — Митей Ширковым. Их совместная монография по квантовой теории поля получила всеобщее заслуженное признание. Эта монография, так же, как совместная монография с Зубаревым, тоже вполне добротная, была окончена уже в Москве. С Климовым же они не сработались, и я взял его после отъезда Боголюбова с объекта в свой отдел.

Внеслужебные отношения с Николаем Николаевичем у Игоря Евгеньевича и у меня были вполне хорошие. И. Е. и я иногда заходили к Н. Н. в номер, он радушно встречал нас и угощал «чем Бог послал» (а посылал Он хорошие вещи), расхаживая по комнате, размахивал руками и что-нибудь рассказывал. Разговаривать с ним всегда было интересно, он эрудит в самых разнообразных областях, отлично знал несколько языков, обладал острым оригинальным умом и юмором. Но наиболее щекотливые темы, как наедине с И. Е., в этих разговорах не затрагивались (хотя, я думаю, ему было что вспомнить и что рассказать). Мне Н. Н. пророчил, в полушутку, что скоро моя грудь покроется звездами с такой густотой, что им негде будет помещаться. От Николая Николаевича я впервые узнал идеи кибернетики, о работах Винера, Шеннона, Неймана (это сильно укрепляло меня в моих спорах с Игорем Евгеньевичем о природе жизни), услыхал об огромных потенциальных возможностях ЭВМ.

Боголюбов уехал с объекта тогда же, когда Игорь Евгеньевич, — после испытаний 1953 года. Потом я встречался с ним лишь эпизодически, хотя мы и были какое-то время соседями по лестничной клетке в Москве. К 1950 — 1960-м годам относятся его главные прекрасные работы по квантовой теории поля и элементарным частицам — они хорошо известны во всем мире, и я не буду тут о них говорить. Начало им положено, однако, как мне кажется, в годы его объектовского уединения. У Боголюбова много учеников — физиков и математиков, и настоящих ученых, и просто «приближенных», он возглавляет теоретические и математические отделы во многих институтах, стал своего рода научным генералом. Зачем это ему надо — мне не совсем понятно. Но, видимо, это тоже входит составной частью в его стиль, так ему спокойней. Я предпочитаю вспоминать, как оживляется его лицо и, кажется, вся фигура, когда он слышит что-то существенно новое, научное, и в его голове мгновенно появляются собственные идеи по этому поводу.

Самые длительные отношения — вот уже более 34 лет — у меня с Яковом Борисовичем Зельдовичем (написано в 1982 году. Теперь уже 39). Я приступаю к рассказу о них со смешанным чувством. Он сыграл большую роль в моей научно-изобретательской работе в 50-х годах, еще большую — в научно-теоретической работе 60-х годов. На протяжении многих лет я мог считать, что у нас близкие, дружеские, товарищеские отношения. Я очень их ценил (когда в начале нашей совместной жизни в 1971 г. Люся спросила, кто мои друзья, я назвал Я. Б. Зельдовича). Я до сих пор думаю, что Яков Борисович был искренен, когда в день моего 50-летия позвонил и сказал, что любит меня. И в то же время, вспоминая теперь задним числом некоторые, очень давние, эпизоды, я вижу в них некий налет «потребительского» отношения. В 70-х и 80-х же годах некоторые поступки Якова Борисовича (или их отсутствие) были уже совсем не товарищескими.

Яков Борисович старше меня на 7 лет. Я не знаю, кто были его родители. Кажется, отец был бухгалтером. В первые годы нашего знакомства он иногда носил полученную им от отца в наследство шляпу — круглую с полями, зеленоватого оттенка, напоминавшую фотографии и киноленты первых лет века и об еврейском быте черты оседлости. Я думаю, что его родители жили очень стесненно. Он никогда не рассказывал о своем детстве и юности, раз только упомянул о «комплексе неполноценности, потом преодоленном» (или преодолеваемом всю дальнейшую жизнь, кто знает?). Он невысокого роста, видимо, очень крепкий в молодости.

Я. Б. никогда не кончал вуза, т. е. он в каком-то смысле самоучка. В ранней молодости работал лаборантом в различных научных институтах Ленинграда, куда приехал из Белоруссии где-то около 30-го года. Вскоре (в возрасте 17 лет) начал писать и публиковать первые научные работы — очень оригинальные, в основном посвященные физико-химическим проблемам. В работах по кинетике химических реакций — зачатки идеи теории

цепной химической реакции. Скоро его известность стала такой, что ему удалось защитить кандидатскую и докторскую диссертации, не имея вузовского диплома (тема последней — получение окислов азота из топливных газов). Физика горения, детонации и другие физико-химические темы продолжают занимать его всю жизнь, он делает прекрасные работы, пишет книги и обзоры. Но поле его научной активности расширяется, включая самые актуальные, горячие области, и всюду он оказывается в числе лидеров. Это — цепная реакция деления и атомная техника, реактивная техника, термоядерное оружие и затем — резкий поворот к теории элементарных частиц и наконец — к космологии и астрофизике в тесной связи с проблемами элементарных частиц. Почти нет специалистов, которые могли бы охватить этот круг тем. «Между делом» он пишет обзоры и монографии по всем этим проблемам и очень интересную книгу «Высшая математика для начинающих». Конечно, большинство этих книг с соавторами, но без Зельдовича они не могли бы быть написаны, во всех них чувствуется его рука, видны его идеи. С некоторыми из соавторов у него потом возникли конфликты. Кто тут виноват, кто прав, я не знаю. Я не собираюсь тут делать обзора научной деятельности Зельдовича (число его опубликованных работ очень велико), это очень трудно да и не нужно, но все же некоторые работы ниже упомяну (здесь и в следующих главах). В 1940 году появилась знаменитая работа Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона о цепной реакции деления (я уже писла о ней). Во время войны Зельдович работал в области реактивной техники и в 1945 году командирован в Пенемюнде (немецкий центр разработки баллистических ракет Фау-2) для ознакомления с немецкими работами. Ездил он в форме капитана советской армии. Во время этой поездки его пригласил на ужин начальник ГБ советской зоны, фактический хозяин половины Германии. Я. Б. вспоминал об этом ужине с некоторым трепетом, в котором был, как мне показалось, оттенок восхищения — мы все тогда этим в той или иной степени грешили.

Из его работ по теории элементарных частиц 50-х годов наибольшую известность получила совместная с С. Герштейном статья, в которой вводятся заряженные токи и формулируется закон сохранения векторного тока. Эта работа предвосхищала идеи «алгебры токов» и давала основу для формулировки теории слабых взаимодействий. Но заключительного, решающего шага — введения во взаимодействие токов нарушающего четкость оператора, Зельдович и Герштейн не сделали (оставив это Маршаку и Сударшану, Гелл-Ману и Фейнману, а окончательную, по-видимому, теорию слабых взаимодействий удалось построить много позднее Глешоу, Вейнбергу и Саламу; добавление 1987 г.: окончательную — это сильно сказано. Многое еще неизвестно: массы и другие свойства нейтрино, механизм СР-нарушения и др.).

О его космологических работах и работах по теории элементарных частиц в 60-х годах я пишу в дальнейшем, они послужили толчком и отправной точкой для моих работ того времени.

Мои отношения с Зельдовичем после того, как в 1950 году меня перевели на объект, стали более тесными и оставались такими в дальнейшем, до его отъезда с объекта. На работе наши кабинеты были рядом (первые годы это не были отдельные кабинеты, мы сидели с кем-то еще, — я с Игорем Евгеньевичем и с Романовым). Коттеджи, в которых мы жили, тоже были рядом или через улицу (в 1949—1950 гг. Я. Б. жил в семейном доме Жени Забабахина, его довольно-таки «холостяцкая» комната, вернее, крытый балкон, называлась «членкорохранилищем»). В течение дня то он, то я по нескольку раз забегали друг к другу, чтобы поделиться вновь возникшей научной мыслью или сомнением, или просто пошутить или что-то рассказать. Мы обсуждали не только сложные и важные научные и технические проблемы, но и развлекались более простыми, как я их называю, «любительскими» физическими и математическими задачами, соревнуясь друг с другом в быстроте и остроумии решения. Мне и в голову не приходило, что между нами может быть какое-то соперничество, кроме научно-спортивного. Так оно объективно и было.

Однажды весной 1950 года я шел с работы очень поздно. Была лунная ночь, длинная тень колокольни падала на гостиничную площадь. Неожиданно я увидел Зельдовича. Он шел задумавшись, с каким-то просветленным лицом. Увидев меня, он сказал:

— Кто бы поверил, сколько любви скрыто в этой груди...

В середине 50-го года на объект прибыла комиссия (то ли из Главного управления, то ли еще откуда-то) для проверки руководящих научных кадров. На комиссию вызывали по одному. Мне задали несколько вопросов, которые я не помню; потом был и такой:

— Как вы относитесь к хромосомной теории наследственности? (Это было после сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда лысенковский разгром генетики был санкционирован Сталиным; таким образом, этот вопрос был тестом на лояльность.) Я ответил, что считаю хромосомную теорию научно правильной. Члены комиссии переглянулись, но ничего не сказали. Никаких оргвыводов в отношении меня не последовало. Очевидно, мое положение и роль на объекте уже были достаточно сильны и можно было игнорировать такие мои грехи. Через пару недель ко мне пришел Зельдович и сказал, что надо выручать Альтшулера (Лев Владимирович Альтшулер, начальник одного из экспериментальных отделов, был давним знакомым Зельдовича; его роль в разработке атомных зарядов и изучении физических процессов была очень велика). Оказывается, Альтшулеру на комиссии был задан такой же вопрос, как и мне, и он, со свойственной ему прямотой, ответил так же, как я, — но в отличие от меня ему грозит увольнение. Я. Б. сказал:

— Сейчас на объекте Завенягин. Если вы, Андрей Дмитриевич, обратитесь к нему с просьбой об Альтшулере, то, быть может, его не тронут. Я только что разговаривал с Забабахиным. Лучше всего, если вы пойдете вдвоем.

Через полтора часа вместе с Женей Забабахиным я уже входил в кабинет начальника объекта, где нас принял Завенягин. Это имя еще будет встречаться в моих воспоминаниях. Аврамий Павлович Завенягин в то время был заместителем Ванникова, фактически же, по реальному негласному распределению власти, и так как Ванников очень большую часть времени проводил вне ПГУ, в начальственных сферах, очень многое решал и делал самостоятельно. Он был еще из «орджоникидзевской команды», кажется, одно время был начальником Магнитстроя, в 30-е годы попал под удар, но не был арестован, а послан в Норильск начальником строящегося комбината. Известно, что это была за стройка — руками заключенных среди тундры на голом месте, в условиях вечной мерзлоты, пурги, большую часть года — полярной ночи. Бежать оттуда было почти невозможно — самые отчаянные уголовники иногда пытались бежать вдвоем, взяв с собой «фраера», чтобы убить и съесть в пути (я не думаю, чтобы это было только страшными рассказами). Смертность там была лишь немногим ниже, чем на Колыме, температура в забоях лишь немногим выше, но тоже минусовая. После смерти Завенягина в 1956 году Норильскому комбинату присвоено его имя. Завенягин был жесткий, решительный, чрезвычайно инициативный начальник; он очень прислушивался к мнению ученых, понимая их роль в предприятии, старался и сам в чем-то разбираться, даже предлагал иногда технические решения, обычно вполне разумные. Несомненно, он был человек большого ума — и вполне сталинистских убеждений. У него были большие черные грустные азиатские глаза (в его крови было что-то татарское). После Норильска он всегда мерз и даже в теплом помещении сидел, накинув на плечи шубу. В его отношении к некоторым людям (потом — ко мне) появлялась неожиданная в человеке с такой биографией мягкость. Завенягин имел чин генерал-лейтенанта ГБ, за глаза его звали «Генлен» или «Аврамий».

Я иногда задавался мыслью: что движет подобными людьми — честолюбие? Страх? Жажда деятельности, власти? Убежденность? Ответа у меня нет. Но все вышенаписанное — это мои позднейшие впечатления. Тогда, в 1950 году, мы просто видели перед собой большого начальника. Он выслушал нас с Женей и сказал:

— Да, я уже слышал о хулиганской выходке Альтшулера. Вы говорите, что он много сделал для объекта и будет полезен для дальнейших работ. Сейчас мы не будем делать оргвыводов, посмотрим, как он будет вести себя в дальнейшем.

После этого Завенягин расспросил нас о работах, ведущихся в отделе, и отпустил. Он остался доволен, что мы помним все числа на память, и сказал, что у Лаврентия Павловича (т. е. у Берии) спрашивать числовые дан-

ные — любимый прием проверять профессиональный уровень работников. Все окончилось благополучно. Но сейчас, спустя 32 года, я задаю себе вопрос, а почему Зельдович не пошел сам или вместе с нами? К сожалению, здесь, по-моему, проявилась тенденция Якова Борисовича в делах, которые могут привести к неприятностям, даже сравнительно незначительным, использовать других, самому оставаясь в тени, — это одно из проявлений того, что я назвал выше «потребительским отношением». В деле с Альтшулером, быть может, причина (но не оправдание) опасения Я. Б., что Завенягину известны его личные отношения с Альтшулером и это сделает его ходатайство неэффективным. Но совершенно так же через несколько лет он предложит мне написать письмо по литературным вопросам, потом выступить в защиту арестованного, нашего общего знакомого; обо всем этом я рассказываю дальше. Конечно, какую-то роль играет еврейство Я. Б., ему, быть может, кажется, что как еврей он не будет столь неуязвим и его вмешательство окажется менее эффективно. Я знаю, однако, евреев и представителей других национальностей, которые, не обладая высоким положением и защищенностью Зельдовича, ведут себя совсем иначе при определении личной меры ответственности в обществе. Их мало, но они есть, о некоторых из них я пишу во второй части моих воспоминаний.

До поры до времени я был склонен считать эти черты поведения Я. Б. не слишком серьезными грехами, каждый делает что может, а в каких-то областях Зельдович делает очень много, особенно в науке, в ее популяризации, во введении в науку молодых. Говорили мы с Яковом Борисовичем и на общественные темы, не знаю только, всегда ли он был со мной откровенен. Правда, я и сам нередко не слишком умен, почему же я должен предполагать абсолютное понимание и, следовательно, сознательное притворство у других. И все же — всерьез ли говорил Я. Б., что ему нравится картина «Утро нашей родины» — Сталин с плащом, перекинутым через руку, на зелено-голубом фоне колхозных полей и строек коммунизма? Повторяю, не исключено, что всерьез... Но иногда Яков Борисович говорил интересно, с умом и искренностью, с волнением. Некоторые произведения Самиздата я впервые увидел у него — от «Теркина на том свете» до «Реквиема» Ахматовой. В словах, в отношении ко мне Якова Борисовича я часто чувствовал определенную теплоту. Тем горше были мне некоторые факты его поведения в последние десять лет. В 1973 году, когда в газетах появилась явно «передернутая» заметка о моем (с Галичем и Максимовым) письме в защиту Пабло Неруды, Зельдович позвонил нам по телефону. Подошла Люся, сказала:

— У нас радость, мальчик родился.

(Мотя, наш внук.) Я. Б. перебил ее:

— Вы бы лучше за другим мальчиком смотрели.

И когда я взял трубку, набросился на меня с нападками, столь же шаблонными, как (мне кажется) несерьезными и неискренними. Через два года — после присуждения мне Нобелевской премии мира — Зельдович опять позвонил и потребовал, чтобы я не принимал этой «провокационной» премии, совсем в духе газеты «Труд», назвавшей ее тридцатью сребрениками (да еще с намеком на еврейство моей жены, это — «Труд», а не Я. Б.). Яков Борисович не мог не знать в обоих случаях, что наш телефон прослушивался (я говорю о прошлом времени, т. к. с момента моей высылки телефон в нашей московской квартире выключен, хотя меня там и нет, тем более нет телефона в Горьком). Зельдович вслед за телефонным звонком послал письмо аналогичного содержания, опять же наверняка зная, что все мои письма просматриваются КГБ. Непонятно, зачем ему было нужно так подчеркнуто демонстрировать свою лояльность и одновременно мою изолированность? Когда меня беззаконно выслали в Горький, мне кажется, я имел право рассчитывать на активные действия в защиту моих прав Зельдовича (и других моих коллег, столь же защищенных, как и он). В феврале 1981 года я послал ему (и Харитону) письмо с просьбой предпринять ходатайства (кабинетные, не открытые), чтобы способствовать прекращению трагической, непереносимой для меня ситуации заложничества Лизы Алексеевой (подробно я пишу об этом в одной из последних глав второй части). Из письма было ясно, насколько важно для меня это дело и как я рассчитываю на его помощь именно в нем. Яков Борисович ответил отказом, ссылаясь на шаткость своего положения (его, как он писал, не пускают за границу дальше Венгрии). Это писал мне трижды Герой Социалистического Труда, академик, никогда не использовавший резервов своего положения, очень прочного, как я убежден. А по существу я его просил о не более трудном (другой вопрос, помогло ли бы его ходатайство), чем дело Альтшулера, о котором я писал. Харитон не ответил мне вообще.

Таковы сложные, неоднозначные мои отношения с Яковом Борисовичем Зельдовичем на 34-м году от нашей первой встречи...

Добавление 1987 г. Все это я писал в 1982 г. Тогда еще не прошла горечь от пассивности Якова Борисовича в деле Лизы, от других неприятных эпизодов — это, конечно, отразилось на тоне моего рассказа. Сейчас я хотел бы вернуться к более терпимому взгляду, с учетом всех сторон его богатой личности и всей его судьбы. Недавно Я. Б. подошел ко мне во время собрания АН и сказал на бегу (как всегда, он куда-то торопился): «В прошлом было всякое, давайте забудем плохое. Жизнь продолжается». Да, конечно.

Добавление 1988 г., январь. 2 декабря 1987 г. Яков Борисович умер от инфаркта. Мы так и не успели как следует поговорить, встретиться. Все наносное, мелочное отпало, исчезло, остались — результаты его постоянной, поистине необъятной работы. И те, кто с его помощью вошли в науку.

Я иногда ловлю себя на том, что веду с Я. Б. мысленный диалог на научные темы.

ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ*

Подготовка к испытанию первого термоядерного заряда была значительной частью всей работы объекта в 1950—1953 гг., так же, как и других организаций и предприятий нашего управления и многих привлеченных организаций. Это была комплексная работа, включавшая, в частности, экспериментальные и теоретические исследования газодинамических процессов взрыва, ядерно-физические исследования, конструкторские работы в прямом смысле этого слова, разработку автоматики и электрических схем изделия, разработку уникальной аппаратуры и новых методик для регистрации физических процессов и определения мощности взрыва.

Громадных усилий с участием наибольшего числа людей и больших материальных затрат требовали производство входящих в изделие веществ, другие производственные и технологические работы.

Особую роль во всей подготовке к испытаниям первого термоядерного (как и всех других изделий) играли теоретические группы. Их задачей был выбор основных направлений разработки изделий, оценки и общетеоретические работы, относящиеся к процессу взрыва, выбор вариантов изделий и курирование конкретных расчетов процессов взрыва в различных вариантах. Эти расчеты проводились численными методами, в те годы — в специальных математических секретных группах, созданных при некоторых московских научно-исследовательских институтах...

Теоретические группы также играли важную роль в определении задач, анализе результатов, обсуждении и координации почти всех перечисленных направлений работ других подразделений объекта и привлеченных организаций.

В качестве примера коротко скажу об ядерно-физических исследованиях. Они четко распались на два направления. Во-первых, во многих группах на объекте, в Москве и в других городах велись измерения вероятностей («сечений») элементарных ядерных процессов, которые после некоторых теоретических манипуляций использовались в расчетах. Например, сечения реакций дейтерия и дейтерия с тритием использовались для вычисления скорости термоядерных реакций при разных температурах. Во-вторых, в экспериментальных группах объекта проводились опыты интеграль-

* Главы «Магнитный термоядерный реактор. Магнитная кумуляция» и «Научная работа в 60-х годах», носящие более специальный, научный характер, будут опубликованы в журнале «Наука и жизнь» в начале 1991 г. (**Прим. ред.**)

ного характера, моделирующие ядерные процессы в геометрии, похожей на геометрию изделий (примером таких интегральных установок является упомянутый в одной из предыдущих глав ФИКОБЫН). Руководителем одной из групп этого второго направления был Юрий Аронович Зысин. У меня были с ним самые тесные деловые отношения. Обычно, раз в месяц или чаще, я приезжал по вечерам в его лабораторию. Это был особый мир — мир высоковольтной аппаратуры, мерцающих огоньков пересчетных схем, таинственно поблескивавшего фиолетовым отливом металла (урана), обозначавшегося тогда диковинным сочетанием букв и цифр.

Сотрудники Зысина работали посменно, но, зная о моем приезде, они все собирались, и мы не спеша, в очень дружеской и спокойной обстановке, обсуждали результаты экспериментов. Уезжал я от них обычно часов в 9 вечера. (Среди молодых сотрудников был Саша Лбов; он недавно напомнил о себе, прислав мне в Горький ругательное письмо в связи с моим обращением к Пагуошской конференции.)

С самим Зысиным у меня возникли и чисто личные отношения. Наши коттеджи были расположены рядом, и мы дружили семьями — и взрослые, и дети. Старший сын Зысина был ровесником моей второй дочери Любы. Для Клавы, оказавшейся на объекте в некотором вакууме, это общение было в особенности важно. Мы часто вместе катались на лыжах...

Я много имел дела также с экспериментаторами-газодинамиками, в какой-то мере — с конструкторами, но более тесное общение было еще впереди, о нем я пишу в главе «Третья идея».

Осенью 1952 года Давиденко, Зысин и я поехали в командировку в Ленинград, где в одном из научно-исследовательских институтов велись большие работы по подготовке радиохимических измерений при предстоящем термоядерном взрыве. Я до тех пор никогда не бывал в Ленинграде (а в следующий раз попал в него уже вместе с Люсей в 1971 году). Но Ленинград всегда был окружен каким-то ореолом в моем воображении — через литературу, рассказы. При личном знакомстве это чувство только усилилось. В Ленинграде я встретил Протопопова (инженера, с которым мы работали на заводе в 1944 году). Он теперь работал в том же самом институте, куда мы приехали. Протопопов был очень болен. Вскоре он умер.

Осенью 1952 года я принял участие в попытке использовать радиохимические методы, чтобы что-то узнать об американских термоядерных зарядах. В ноябре США произвели мощный взрыв на атолле Эниветок (Eniwetok). Через несколько дней, когда, по нашему мнению, радиоактивные продукты с верховыми ветрами должны были достигнуть наших долгот, произошел сильный снегопад (первый в этом году). То ли Давиденко, то ли я предложили собрать этот снег и выделить из него радиоактивные осадки. Мы поехали на «газике» за город и набрали влажного свежевыпавшего снега в несколько больших картонных коробок. Затем начались операции по концентрированию. Мы рассчитывали найти элементы, специфические для тех или иных вариантов термоядерных зарядов (бериллий-7, уран-237 и другие). К несчастью, концентрат не дошел до физиков. Одна из научных сотрудников-радиохимиков машинально вылила концентрат в раковину (она, кажется, была в расстроенных чувствах, по чисто личным причинам). Начальству эта история, по-видимому, осталась неизвестной.

Сегодня, когда я пишу (верней, восстанавливаю после кражи) свои воспоминания, с тех пор прошло уже 30 лет. Опять начало ноября, и опять выпал первый, влажный снег. Это то, что не изменилось.

По мере приближения испытания обстановка становилась все более напряженной.

Летом 1952 года (если мне не изменяет память) произошел такой эпизод.

Возникли задержки в производстве одного из основных входящих в изделие материалов. Ответственным по Первому Главному Управлению за производство этого материала был Н. И. Павлов, один из руководящих работников ПГУ, кажется, в то время полковник ГБ (а может, уже генерал). Существовало в принципе два различных метода производства — назовем их «старый» и «новый». Старый метод использовал завод, ранее построенный для другой цели, впоследствии отпавшей. Новый метод использовал установку, специально построенную на основе оригинальных научно-технических разработок, и был гораздо более перспективным. Павлов, то ли из перестраховки, то ли желая как-то использовать уже существующий завод, решил скомбинировать оба метода; ничего хорошего из этого не получилось, план производства материала был сорван.

На совещании у Берии, на котором я присутствовал, кто-то поднял этот вопрос. Берия уже имел, видимо, свою информацию. Он встал и произнес примерно следующее: «Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на все остальное (говоря это, Берия зажмурился, и его лицо стало еще более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы Вас не будем наказывать, мы надеемся, что Вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в т у р м е места много!»

Берия говорил твердо т у р м а вместо т ю р ь м а. Это звучало жутковато. Грозным признаком было и обращение на «Вы». Павлов сидел молча, опустив голову, как, впрочем, и все остальные присутствующие. Во второй половине рабочего дня, когда мы вернулись в управление, он не вышел на работу. Все это приняли как должное. Конечно, Павлов полностью перестроился и вывел старый способ из участия в деле.

Николай Иванович Павлов был одной из самых значительных и активных фигур «во втором этаже власти» Первого Управления. Его биография такова. В 1938 или 1937 году его отозвали с последнего курса университета (кажется, с химфака) и направили работать следователем госбезопасности. В это время Берия менял сверху донизу аппарат, доставшийся ему от Ежова (большинство старых просто сажал, и они, как правило, погибали в лагерях вместе со своими недавними жертвами). Павлов оказался подходящим к своей новой роли, быстро пошел в гору (не буду гадать, благодаря каким способностям; сам он говорил, что никогда не применял физических мер воздействия — враги сами признавались во всех преступлениях при виде его черных глаз!). В 1942 году Павлов — начальник управления МГБ (или НКВД, не помню) Саратовской области (как раз тогда там в тюрьме погибал с голоду Н. И. Вавилов; Леонтович по этому поводу говорил: «Николай Иванович — т. е. Павлов — давно имеет отношение к науке...»), а осенью того же года Павлов уже начальник контрразведки Сталинградского фронта. Это был важнейший пост! Через 20 лет мой знакомый Д. А. Фишман ехал вместе с Павловым в вагоне по этим местам, кажется, на какие-то испытания. Павлов и Д. А. стояли у окна тамбура, курили. Павлов молча смотрел на проплывающую мимо бесконечную, унылую солончаковую степь с редкими отдельными чахлыми кустиками. Внезапно, видимо, под действием нахлынувших воспоминаний, он начал говорить. Д. А. отказался (побоялся) сказать мне конкретно, что это были за воспоминания, сказал только, что это было неописуемо страшно.

В начале 1943 года Павлов по распоряжению Берии получает новое назначение — уполномоченного ЦК КПСС и Совета Министров при Лаборатории 2 (будущий ЛИПАН, потом Институт атомной энергии). Научным руководителем тогда же там был назначен Курчатов. Павлов стал атомщиком. В этой области он вновь проявил свои незаурядные способности — как организационные и бюрократические, так и понимание научной и инженерной стороны дела. Я его застал уже в Первом Главном Управлении. Это был крепкий, сангвинического телосложения человек с иссиня-черными гладкими волосами и черными глазами на светлом красивом энергичном лице, невысокого роста, с быстрыми движениями, громким голосом и смехом. Он обладал неиссякаемой активностью и работоспособностью, всегда помнил детали бесчисленных дел, знал множество людей. Ко мне он относился подчеркнуто доброжелательно, с подчеркнутым пиететом (однажды он в большой компании в моем присутствии сказал: «Сахаров — наш золотой фонд»).

Павлов сначала очень нравился Игорю Евгеньевичу, И. Е. любил и ценил способных людей. Однажды И. Е. просил его о помощи в устройстве к нам на работу молодых специалистов. Павлов сказал:

— Что же тут у вас все евреи. Вы нам русачков, русачков давайте.

После этого эпизода восхищение И. Е. Павловым заметно уменьшилось.

Павлову было присвоено звание генерала ГБ в возрасте 34 лет; не без гордости (и слегка — рисовки) он говорил, что вместе с Наполеоном они самые молодые генералы. После снятия Берии карьера Павлова получила сильный удар, но он оправился.

В середине 50-х годов, когда меня стали глубоко беспокоить проблемы биологических последствий испытаний, Павлов как-то сказал мне:

— Сейчас в мире идет борьба не на жизнь, а на смерть между силами империализма и коммунизма. От исхода этой борьбы зависит будущее человечества, судьба, счастье десятков миллиардов людей на протяжении столетий. Чтобы победить в этой борьбе, мы должны быть сильными. Если наша работа, наши испытания прибавляют силы в этой борьбе, а это в высшей степени так, то никакие жертвы испытаний, никакие жертвы вообще не могут иметь тут значения.

Была ли это безумная демагогия или Павлов был искренен? Мне кажется, что был элемент и демагогии, и искренности. Важней другое. Я убежден, что такая арифметика неправомерна принципиально. Мы слишком мало знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы — не боги. Мы, каждый из нас, и в каждом деле, и в «малом», и в «большом», должны исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. Нравственные же критерии категорически диктуют нам — не убий!

Последний раз я видел Павлова на открытии памятника Курчатову в 1971 году. В это время он был директором небольшого завода МСМ (правда, весьма важного по характеру продукции). Павлов подошел ко мне и сказал:

— Желаю вам успеха во всех ваших делах (он прекрасно знал, что за дела у меня были в это время — не бомбы). Что это его высказывание значчло — не знаю.

На том же заседании у Берии, на котором произошел описанный инцидент, решался вопрос о направлении на объект «для усиления» академика М. А. Лаврентьева и члена-корреспондента А. А. Ильюшина. Когда была названа фамилия Ильюшина, Берия удовлетворенно кивнул, очевидно, она уже была ему известна. Как потом мне сказал К. И. Щелкин (заместитель Харитона, опытный в организационных делах человек), Лаврентьев и Ильюшин были направлены на объект в качестве «резервного руководства» — в случае неудачи испытания они должны были сменить нас немедленно, а в случае удачи — немного погодя и не всех... Лаврентьев старался держаться в тени и вскоре уехал. Что же касается Ильюшина, то он вел себя иначе. Он вызвал нескольких своих сотрудников (в отличие от сотрудников объекта — с докторскими степенями, это подчеркивалось) и организовал нечто вроде «бюро опасностей». На каждом заседании Ильюшин выступал с сообщением, из которого следовало, что обнаружена еще одна неувязка, допущенная руководством объекта, которая неизбежно приведет к провалу. Ильюшину нельзя было отказать в остроумии и квалификации, и все же, как правило, он делал из мухи слона (но в случае неудачи испытания укус каждой из этих мух был бы смертелен — он мог бы сослаться на то, что «предупреждал»). На одном заседании Ученого Совета, возмущенный его демагогией, я сказал, невольно несколько по-хамски:

— Ильюшин доказывает нам нечто. Но если подойти с умом, то все будет иначе.

Потом Зельдович любил говорить:

— Будем действовать по принципу Сахарова, т. е. с умом...

Ильюшин жил совсем один в предоставленном ему коттедже с огромной собакой. По вечерам он гулял с ней по безлюдным улицам нашего городка.

После снятия Берии звезда Ильюшина закатилась. Щелкин (и Харитон?) не простили ему пережитого за последний год. Он даже не был допущен к поездке на испытания, что для человека его ранга было большой дискриминацией.

Продолжение следует

Виктор Козько

СЕНОКОС В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

РАССКАЗ

Ах, как сладко косилось. Как в чистом детстве спится. Как в смертном сне пьется и естся. Как птицы летят, как рыбы плывут, как травы растут и, потягиваясь на утренней зорьке, распускаются цветы. И такая легкость во всем теле, такая сытость в металле косы, что она, казалось, не косит, а бреет. И бежит, и летит, и плывет не в руках человека, а сама по себе порхает бабочкой над лугом. Взмахнет крылом — прокос, взмахнет другим — и луга нет... А луга и не было. Травы еще не наросли, даже не оторвались от земли. И коса была зазубренной и ржавой. И косить в эту пору было чистой воды сумасшествием.

На косу наткнулись случайно... Хотя в той случайности была своя закономерность, предопределенность. День был такой.

Раненые люди шли по изувеченной земле. И все, что видел глаз, было в их знании, опыте и уже отчуждено, отторгнуто от них, от человека. И на родной праматери-земле человек казался себе инопланетянином. Потому что душа его была уже там, в звездном мире.

Это были отцы и приверженцы проекта безракетного освоения космоса. Межпланетного космического колеса, способного бросить человека в далекие звездные миры. Как и на заре своего существования, мысль их вновь вернулась к колесу, которое могло бы катить не по тверди земной, а уйти в невесомость, в космос. И были они не мечтателями-фантастами, а скорее ползучими, хотя и дерзкими, реалистами. Фантасты отвергли их проект: «Пора останавливаться с техникой, ребята. Надо думать об отчем доме».

Вот они и пошли к этому отчему дому, к своей колыбели — для кого в переносном смысле, а для кого и в прямом — для Анатоля Юницкого, скромного и тихого полешука, автора проекта, уроженца здешних мест, неподалеку от которых, да и здесь, наверное, ровно тысячу лет назад крестилась Великая Русь. Его и наши предки принимали крест и ставили свечу. И та возжженная здесь в глубокой древности свеча освещала весь христианский славянский мир; производством церковных свечей было славно местечко Чернобыль, славно, пока в конце первого своего тысячелетия свеча та не полыхнула внезапно. Она убила святые воды, опоганила леса, накрыла скверной жилье человека, зверя и птицы. Ослепительным сполохом указала человеку, уже державшему бога за бороду, на суетность его и нищету духа, поставив на грядущее тысячелетие крест на всем живом: былинке малой, козявке и самом человеке.

И человек, изобретатель нового колеса, несколько часов назад дерзновенно утверждавший силу духа и разума, бросивший с трибуны вызов всем слишком трезво мыслящим, не верящим в его идею, сидел на пороге отчего дома и плакал. Плакал, потому что не узнал его, своего дома. Хотя память, что направила ноги сюда, говорила: не сомневайся, это селище твое и твоей матери, ты слышишь, как пахнет брагою? Брагой пахнет под городом Брагиным, потому как испокон веков жили здесь хмельные люди. Брагой жизни. Той самой, что не дала тебе помереть от голода в детстве, когда в колхозе кормили палочками на трудодень. Чьей еще, как не вдовьей,— уговаривала его память,— может быть такая хата-развалюха и этот скособоченный сгнивший колодец, это старое рассохшееся

корыто, впопыхах брошенное посреди двора. Ты же помнишь его целым, ты видишь склонившуюся над ним мать и себя видишь — это ведь ты сбил поутру росу на траве. Подними повыше голову, и ты заглянешь в глаза самому себе.

Но он боялся поднять голову, боялся поранить око о давнюю свою память. Он не верил той памяти, потому что сомневался в самой реальности сегодняшнего дня. Сомневался и в том, что так же, как тысячу лет назад, светило и тысячу лет вперед будет светить солнце. А его, Анатоля Юницкого, не будет. Ему отпущен единственный миг сегодня. И этот миг испепелен пламенем внеземной свечи.

И ничему сейчас он не верил. Ни памяти, ни рассудку, ни глазу. Не верил, что находится на Земле, у отчего дома. Потому что была у него очень глупая и очень детская привычка: брать все на зуб. В минуту задумчивости, в минуту печали или радости брать в рот травинку, иголку хвойную, веточку березовую и жевать рассеянно, не отвлекаясь от своих мыслей. Сейчас же он не мог себе это позволить. Не мог позволить такого простого рассеянного детского жеста, потому что отравно все было тут. Сегодня, сейчас и на поколения вперед. Во что тоже как нормальный человек, землянин, он поверить не мог.

Неверие это, как ни странно, было взращено на вере и надежде. Вере в свою землю, в человека, его светлое будущее, в себя. Вера и надежда на то, что когда-нибудь он вот так же в светлом зарубежном модняцком плащике и в черной отечественной велюровой шляпе просто придет и сядет на порог отчего дома, своей малой родины, из которой судьба его вырвала около двух десятилетий назад по-живому. И он, бродя по свету, столько раз видел ее в своих повторяющихся снах, что начал забывать эту свою давнюю малую родину. В глохнущей со временем памяти она становилась не лучше и не горше великой родины, тех мест, где он потом вынужден был жить.

Жизнь любит игру, и судьба занесла его почти на Байконур, где брали разбег ракеты и космонавты. Где, быть может, и перед ним открылся космос. Космос — ие иных миров, далеких, инопланетных цивилизаций, а микро и макро — что было вокруг. Макромир той же самой пчелы, гудящей над ним, завороженной искрящимся цветом его черной велюровой шляпы, будто она была медоносной. Будто медоносным был и он сам.

Эту пчелу и медоносность родительского дома он открыл только что. Открыл и заплакал. Сам еще не понимая, отчего и почему. Плакать можно и надо было гораздо раньше. Подумаешь, невидаль, пчела. Ведь всего каких-то час-два назад свершилось открытие куда более важное, почти Колумбово — неведомый ранее новый материк. Материк в материке. Новая Америка. Только за колючей проволокой: «Запретная зона! Проход запрещен!» Аккуратные буковки на обыкновенной доске, приколоченной к обыкновенному, но по своей значимости почти государственному, пограничному столбу.

И убегающий из дали времен — концлагерей и фашистской оккупации — в мирные горизонты более чем двухметровой высоты забор из колючей проволоки. А по обе стороны, как по линейке, проложенной колючкой, леса, леса, леса. Свободные и арестованные, смирённые своей неволей, угрюмо отвергающие пришедшую весну сосны, припавшие к земле можжевельники, березы, прежде ольхи выбросившие почки, предрекающие и в заключении жаркое лето. Строгая и мало-мало разумеющая по-русски охрана. Иззябшие в пустынном Полесье южные солдатики. Молчаливо, но остро чувствующие скверну чужой земли, при каждом прикосновении к ней, к дереву, проволоке, протирающие одеколоном руки. И оттого все вокруг — благоуханно и парфюмерно, как в галантерейном магазине в пору дешевой и чудовищной галактической распродажи. Распродажи уклада и устоев, духа кипевшей тут когда-то жизни. Продается материк, продается земля. Покупатели там, за холмами облаков, в синем небе, может, сами боги. И продавцы, наверно, там вместе с ними, на Олимпе, ведут торг земным барахлишком. Лесами, водами, вот этим размытым дождями, брошенным в тлен белорусских песков портретом пятигероеносного, легендами, знаменами, призывами. Дом брошен, хозяева два года, как съехали, отреклись от него. И дух кругом уже не земной, не людской. Вот-вот, кажется, спустится с неба или вынырнет из болота не-

что марсианско-паукоподобное и скажет: опять человеком пахнет? Прочь, продано, мое, что-то давно я человечинки не пробовал...

Вот бы где и когда взреветь белугою! Но нет. Открытие было коллективным, разделенным поровну на каждого. А коллектив, как известно, великая сила. Коллективу плакать не пристало, его удел — бороться и побеждать.

К чему-то подобному этот коллектив был уже подготовлен, если можно, конечно, к этому подготовиться. Один из них, москвич, доктор наук, поначалу отказался ехать сюда: «Зачем, что я, кладбища не видел?» В зоне доктор наук открыл для себя белорусские бело- и синеглазые пролески, цветущие с безудержным отчаянием, пролески, которых он никогда прежде не видел. Не кладбище, а обыкновенность, будничность человеческой жизни здесь вызывала страх. Более того,— вычеркнутость самого понятия кладбища, выведенность его за скобки человеческого существования. Выгороженность его в этой самой зоне колючей проволокой, недоступность живым. И если дед или бабка вспоминали кладбище, если в одинокие старческие ночи приходили к ним их покойники, укоряли и звали к себе, то пробирались старики к ним тайком, по-звериному, лесными стежками. По-звериному рыли лаз под колючей проволокой и, таясь, спешили на зов родных могил, делились со своими покойниками кто куском хлеба, кто конфетой или яблочком, а кто и чаркой.

Об этом гости услышали еще до открытия материка «Запретная зона» со слов тех, кто вызвался их сопровождать в эту зону, в которой оказалась родная деревня автора космического проекта. Сопровождающих набралось прилично, едва разместились в паре газиков. Одни сели из любопытства — посмотреть, поговорить со знаменитым земляком, другим — край надо было в ту же деревню. Это были односельчане автора проекта, и их измучила тоска по отчему дому. Кто-то ехал по долгу службы.

Рассаживались по машинам суетливо и шумно, будто в гости собирались, нормально, как испокон веков заведено выправляться в дорогу. Председатель райсовета был озабочен: прижали военные — Первомай на носу, хотя бы шоколадных конфеток в подарок детишкам, по одной хотя бы конфетке на нос. А конфет этих шоколадных... Да... И беспомощность терзала и мучила его, может быть, даже больше, чем гостей загодя накопленные ими тоска и уныние от встречи с неведомым, рассудком еще не познанным. Для гостей в любом случае — это экзотика, щекотание нервов. А для него — быт. Два года уже вот такого быта, что горше тюрьмы.

Водитель его машины беспрестанно рылся в карманах. У него постоянно терялись, куда-то пропадали ключи:

— Только что были. Дед наказал хату проведать, маги — поглядеть швейную машинку. Куды поделися... Только что были...— Водитель ехал к себе домой.

Второй водитель вместе со своим хозяином, председателем колхоза, проверял исправность дозиметра:

— Тут, в городе, работает, а там видно будет...

Гости, технари, журналисты, автор проекта Анатоль Юницкий, держались пока в сторонке, своей сплоченной кучкой, как бы виноватясь чего-то. И эта виноватость шла скорее всего от понимания отчужденности их жизни от жизни людей, к которым они приехали. Ощущение столкновения двух параллельно существубющих миров в одном пространстве, не где-нибудь в космосе, а здесь, на земле, под одной крышей, единым солнцем и небом. И миры эти никогда не состыкуются по той простой причине, что между ними нет видимой границы, хотя эта граница есть. Она во времени: ночь с 26 на 27 апреля 1986 года. Она и в пространстве, пораженном той ночью. И все ж она невидима, потому что из другой эры, атомной, из преждевременно наступившего тысячелетия. Чтобы постичь ее, нужно совершенно иное мышление, каким человек двадцатого века не владеет. И черта эта, как в средневековье, вновь поделила человеков на чистых и нечистых, но в подсознании. Почувствовать ее можно лишь вот по таким бытовым мелочам, с которыми гости начали сталкиваться на каждом шагу, ступив на меченый материк. Может быть, отчетливо увидел ее всего лишь один человек: академик Легасов, которого поразила не зона, а поведение собак, живущих в ней. Стремление собак к человеку и бег-

ство человека от них. Академик Легасов, в тот самый день ушедший из жизни. Известие об этом они услышали по автомобильному радио, уже в дороге.

Может быть, ступив на родную землю, начал прозревать и автор космического колеса. Может быть. Но до полного прозрения было еще далеко. Крутились колеса автомобильные. Набегала с детства знакомая, ни пылинки не потерявшая в своем новом бытии земля. И все равно иная, иная. Это ему предстояло еще осмыслить, вжиться в новую жизнь, атомную, что зачиналась сегодня здесь, рождала новые легенды и мифы, новый язык, который требовал уже и перевода, потому что складывался едва ли не из десятка пластов: военного, атомного, блатного, административно-белорусской старой «трасянки». Предстояло слить в одно бытие десятки форм жизни — разрешенных, запрещенных, поощряемых, нелегальных, подпольных, партизанских.

— Наш район сегодня разделен на три зоны,— экскурсоводческим тоном сразу же, как только выехали из города, начал хозяин района.— Первая, по которой мы сейчас проезжаем, зона нормального сельхозпроизводства. Мы называем ее чистой, хотя молоко идет грязное. Но считается чистым...

В чистой зоне шел сев. Вершилась издревле святая крестьянская страда. Земля принимала в свое плодоносное лоно картошку и жито, чтобы длить и дальше себя и род людской.

— Но и чистая зона имеет свои зоны. Зоны жесткого контроля. Почва загрязнена. Потребление продуктов ограничено. Население получает по тридцать рублей на каждого жителя.

— Знаменитые гробовые?

— Можно и так, хотя я не совсем согласен... Дети находятся в школе по 10—12 часов. Организуем питание на месте. Дома? Дома тоже помогаем с питанием. Хозяйства дают молоко... А как же, и своих коров держат... Ну вот, и вы туда же. Слушайте, что вы меня терзаете! — Хозяин района сбился с экскурсоводческого тона. Некоторое время сидел в задумчивости, смотрел сквозь окно машины на свежевспаханные поля, идущие по ним трактора. И поистине молчание его было каменным, не земным, не человечьим. Может быть, в таком молчании и напряжении работают атомные реакторы.

— Не могу передать, что я переживаю, что переношу, как живу. Обязан, должен говорить с народом. Говорю, а объяснить ничего не могу. Скажу вам, положить голову на плаху легче. Народ мне: чего вы к нам ездите? К нам должен приехать тот, кто может решать. А тот, кто может решать, носу не кажет. Приезжаю в деревню, иду в самый неприглядный дом. Встречает старушка. Как живете, спрашиваю, бабушка? Хорошо, родненький, дякуй тебе на добром слове. Корову, вижу, держите, что с молоком делаете, вы же должны его сдавать, а вам в магазин завозят чистое. Хватает молока? Завозят, говорит, хватает. А свое? А свое все равно пью, и сама, и внукам даю. Что ж ты делаешь, бабушка, знаешь? Знаю, отвечает, но как не давать, если он под руку и просит: бабушка, я хочу тепленького...

Колеса газика не перестают крутиться. Все так же бежит под них дорога — старый гостинец, густо усаженный дедовскими грушами. Но стало все кругом пустынно и безлюдно, хотя мелькали дома и целые поселки проносились мимо с многоэтажками. Жизни не ощущалось. Присутствия духа людского, что один только может оживить и дремучий лес, и гиблое болото, заставить их тоже дышать. Здесь же это дыхание, казалось, было убито. Слепо пялились на дорогу окна многоэтажек. Изредка на крестьянском подворье, на сотках мелькало что-то человекоподобное. Видя, или, скорее, заслыша машину, тут же пряталось, бежало за угол хаты или сарая. И было в этом поспешном старческом беге что-то до невозможности жалкое и униженное, рвущее душу. Может, от такого зрелища и порвалась душа академика Легасова,— так прятались здесь люди от одичавших, стремящихся к человеку зонных собак. От собак. А тут еще страшнее: от людей.

— Самоселы. Партизаны,— объяснил хозяин района.— Вот где слезы, вот где одно сплошное горе. О детях хоть кто-то беспокоится. А эти люди уже не найдут себе места на земле. Вторая зона — зона отселения.

Три эвакуации прошли... Выдали эвакуационные удостоверения, простились: езжайте на новое место жительства, дадут вне очереди жилье. Поехали, к детям, в Киев, Минск, Гомель... И оказались лишними... А кто-то просто не выдержал городской жизни. Вернулись на старые селища, а жить тут нельзя. Хотя мы ведем все-таки некоторые сельхозработы. Сеем... Нельзя оставлять землю без семени.

Третья зона, самая страшная, открылась им как избавление, как подарок, как награда за то, что одолели вторую.

— Зона отчуждения, черная зона. За колючей проволокой. Доступ ограничен, только по особым пропускам. Будем проникать.

И началось проникновение.

Поначалу молчаливо затаенное, как десант на вражескую или оккупированную врагом землю. Первые шаги. Ставили ногу на землю осторожно, будто она заминирована и может рвануть в любую минуту. Вглядывались в каждый куст или дерево, будто ждали засады, автоматной очереди. На весенне разлитую воду по обочинам дороги смотрели так, словно оттуда могла вынырнуть подводная лодка. Но и вода, и лес, и дорога были равнодушны к человеку. Они не узнавали человека. То ли успели забыть, то ли, наоборот, слишком хорошо помнили. Предательство его помнили. Его поспешное бегство, как в том страшном, сорок первом. Более страшном, потому бежал навсегда. Этот же упрек виделся и в черных, темных ликах хат, усыхающих без человеческого тепла. Деревня не хотела, отказывалась признавать их за людей.

И люди, похоже, поняли это, в них исчезло нечто десантно-оккупационное. По деревенской улице они шли, как дети, только что научившиеся ходить, ощутившие земную твердь, но еще не доверяющие ей. Предоставленные самим себе, заблудившиеся в красках и звуках, многообразии открывшегося им мира. Неведомо еще, доброго или злого. И вели они себя, как дети, избывая в словах свои страхи, на первый взгляд пустых и ничего не значащих.

— Тишина. Какая могильная тишина. Даже лягушек не слышно.— Это председатель колхоза.

— При чем тут, к черту, лягушки.— Это едва ли не все, но голосом журналиста москвича.

— А при том. Мы страну спасти, защитить хотим, а лягушку не можем. Одно болото было у нас, а в нем така-а-я лягушка! И как квакала. Село — загляденье, лягушка — загляденье. Хотя я ее и не видел. Думал, что еще успею, погляжу. Не успел. Прошли мелиораторы, замолкла лягушка, в колодцах воды не стало. Последнее болото, где лягушка квакала, ликвидировали.

— Старушка вчера ко мне приходила,— сказал хозяин района.— Просила за сына. Сын, специалист, съехал. «Дайте команду, чтобы ему плохо там не делали. Отдайте трудовую книжку». А я б его... сам шлепнул. Расстреливал бы каждого, кто бежит отсюда.— И такое ожесточение, такая скорбь, будто расстрел уже свершился, прозвучала в его голосе, что не поверили ему. Припомнили что-то давнее, свое и чужое, и испугались.

— Товарищи, товарищи,— доктор наук.— Есть очень мощная поддержка. Но... Нет денег. Миллиарда не хватает. Миллиард рублей на проект, на колесо. И мы вынесем все технологии в космос. Земля станет девственно чистой.

— Кролики мои в третьем поколении все передохли,— водитель машины председателя колхоза. Его не услышали. Заглушил голос председателя колхоза.

— Понял идею. За народом слово. Народ вас поддержит. Я миллионер. Я рискую...

— Помолчи, миллионер,— попытался остановить его хозяин. Но председатель или не понял, или не послушался.

— Миллионер. На первое апреля 989 тысяч рублей. Проект, о котором вы говорили, принимается, потому что он защищает землю и лягушку. Наш народ поймет, отколет пятьдесят тысяч...

— Пойду к народу. Упаду на колени. Земляки ведь, земляки...— Автор проекта.

— Я отсюда родом,— водитель.— Два года здесь не был... Уже два года. И вдруг говорят: пойдет машина сюда. Я сам напросился. Поеду на

своей следом. А вдруг первая сломается. Дед ключ притарабанил от хаты, батька — от своей, велели поглядеть, что тут стало.

Они говорили то по отдельности, то разом, и каждый о своем. Но если собрать все воедино, — об одном. Только очень отвлеченно, как бы даже намеренно отвлеченно от того, что было вокруг них. Потусторонне. Все было потусторонне. И неизвестно, где какая сторона, кто и что по какую сторону. Расщепленный атомом, разбитый на атомы и разведенный по атомам в разные стороны мир.

По ту сторону, за чертой его, осталось все, чем они жили прежде. Старая, напоминающая финишную ленточку, лента учебного кинофильма о гражданской обороне, брошенная посреди улицы. Они подняли ее и посмотрели несколько кадров. И опять ее в пыль, под ноги. Не останавливаясь, прошли мимо недостроенного Дворца культуры, походившего на космический корабль, разрушившийся на взлете, мимо конторы совхоза с выглядывающей из-за забора Доской почета, обрамленной с двух сторон лозунгами: «Да здравствует коммунизм» и «Слава КПСС». Зашли в школьную мастерскую. Там аккуратно, в рядок, как гробики, стояли готовые и еще не совсем готовые скворечники. Выскочили, будто ошпаренные: магазин встретил их промозглой сыростью и пустотой.

Но зато библиотека была забита книгами. Книги на полках, книги на полу, вперемешку с битым стеклом. Достоевский и Толстой, Адамович и Быков, томики сочинений Ленина. Хотели измерить радиацию, не удалось. Дозиметр зашкалило.

И, похоже, все здесь было за той же шкалой, за чертой человеческого понимания.

— Я до дому. Я хутенька. — Водитель выскочил из библиотеки, крикнул в пролом окна. И бегом, набирая скорость, рванул к двум стоящим на отшибе хатам.

Когда они подошли к тем хатам, водитель, не заходя во двор, все еще топтался у ворот:

— Не могу. Кто-то не пускает... Вот же люди, все рамы повыламывали...

— Иди. — Открыли ворота, втолкнули его во двор. Но и во дворе он вдруг остановился, будто сбился с ноги возле сарая: на дверях его висела выполосканная дождями красная футбольная майка, на земле валялись бутсы.

— Гляди ты, даже футбольная форма сохранилась... Я капитаном команды был. Вот бутсы остались...

С этими бутсами, словно они были предназначены для носки на руках, он вошел в избу. Видно, радости она ему не доставила. Он заметался:

— Батькин шкаф поломали. За что они его, не понимаю. Он же своими руками его стругал.

Разломан был не только шкаф, покорежено, перевернуто в хате все, что можно поломать и перевернуть.

— Охраняльщики наши и защитники, солдаты, — сказал второй водитель, заглянув в хату. — Что казенному человеку надо? Накормили — выпить. Горелку шукали.

— Хоть машинку не тронули. Такую войну пережила. Мати наказывала: найди и привези. Это ж память... Это ж ее, мати, машинка. В земле была закопана. Справна. После войны всех нас кормила. А тут в чем были, в том и уехали. Все кинули-ринули, и машинку. А это ж Зингер... Привезу, вот обрадуется...

Но не только Зингер матери уцелел в хате старого лесника. Обнаружилось там и такое, что могло порадовать и мужиков. Неизвестно, по какой причине, но солдаты не заметили лаза в подпол. То ли не углядели, то ли поторопились вспороть мешки с житом, что лежали в углу хаты, и засыпали тем житом лаз, но в погреб не попали.

Водитель достал из погреба несколько банок с вареньем.

— Ставь назад, — сказали ему. — Крышки пластмассовые, грязное будет. Что там, больше ничего нет?

— Есть, березовый сок...

— Сколько градусов? Много?

— Два литра. И крышка тоже пластмассовая...

— Если сок настоящий, он в любой посуде не испортится...

Сок оказался настоящим. На всякий случай, его проверили или скорее сделали вид, что проверяют, — дозиметр все равно зашкаливало. Машины у водителей были оборудованы, нашлись и посуда, и хлеб, и сало. А на родительских грядках уже набирал стрелку лук.

— Ну, за что? За здравие или за упокой?

Решили, что за здравие и за упокой одновременно. Но чокаться не стали. И, как положено на поминках, отлили по капле на землю, под японскую войлочную вишенку, возле которой расположились. Вскинули вверх стаканы. Вскинули вверх, в небо, головы. И глаза туда же, будто отказывались видеть перед собой это убогое селище, и эту убогую землю. Самого Бога желали видеть. И — с Богом!

Вот тут как раз и появилась пчела. Загудела сначала над ухом одного, потом другого, зло, жестко, будто не принимая самогонного духа. Выбрала самого нелюбого или, наоборот, понравившегося ей — автора проекта. Литая, как пуля, закружила перед глазами, когда он опять перевел их на землю, когда опять перед его взором был убогий двор, рассохшаяся, брошенная посредине его лодка. Укор и боль. Немой плач и крик из выбитых окон хаты, сгроможденных у сарая пустых ульев.

— Пчела, — сказали все разом, и даже не пившие самогонки, не поминавшие Бога водители. Сказали, будто перед ними был сам Бог в образе пчелы. И автор, инстинктивно вскинувший руку, чтобы отогнать пчелу, опустил ту нетерпеливую свою руку.

Пчела замелькала перед глазами скоком вверх-вниз и кругом, как ходит зрачок человеческого глаза. А может, в самом деле это так ходил его зрачок, стремясь выморгнуть что-то попавшее в глаз. Но из глаза ничего не вымаргивалось, и пчела не покидала его и не меняла полета. Он отошел в сторону, чтобы не видели его моргающих глаз. Пчела последовала за ним.

Но все же, наверно, кто-то увидел его глаза. А может, давно все увидели. И тоже деликатно отошли к сараю. Там, словно дожидалась их, стояла прислоненная к стене сарая, заржавевшая уже коса. И как только что про пчелу, все разом выдохнули вдруг:

— Гляди, коса... Дед косу оставил...

— Это коса не дедушки, а скорее той старухи...

— Дед хату покинул, пошел воевать. Гренада, Гренада... Ёш твою мать... — Московский журналист.

— Хлопцы, а двор-то как зарос! Глядите, одна полынь. — Хозяин района.

— То не полынь. Чернобыл, — поправили его.

— Все равно: все заросло. Чернобыль. Чернобыль кругом. Где водитель мой?

И пошла коса по двору. Коса — некогда краса. А сейчас, что колун. Косовище без держака, без лучка. Сгнила, наверно, лопнула перевязь его, и лучок затерялся в присарайном хламе. Носик, съеденный ржавчиной, надломился и упал на первом же замахе. Но косец не обратил внимания, продолжал косить. Косил молодецки. Была в нем и сила, и удаль. Косил и покрикивал:

— Вот так, вот так. Бей гадов, руби гадов. Чернобылю конец. Чернобылю конец.

И все, кто был там, кроме Юницкого, шли за ним следом и повторяли:

— Конец, конец. — И рвали из рук его косу. — Хватит, стой, оставь и нам немного.

— Не подходи, не подходи, — гудел он в ответ. — Пятки, хлопцы, береги, а то подрежу, девки любить не будут.

После него косою завладел председатель колхоза, широко расставил ноги, вольно размахнулся:

— Душа крестьянская простору просит. — И пошел. Сначала неуверенно, что тут же откомментировали: — Сачок.

Но, немного погодя, слова эти пришлось взять назад:

— Не-е, добра косить. На пятерку. Я так не смогу. Я на силу беру...

— Земляк, земеля, — шумнули стоящему ото всех в стороне автору проекта. — Иди к нам. Покажи и ты, как умеешь.

Но он пошел совсем в другую сторону. Прочь от этого двора. Где-то здесь, в этой деревне, стоял и его дом. Дом, в котором он родился. Но он

его не помнил. А хотелось найти тот дом. Положить руку на стену его, прижаться лбом и замереть.

Дом появился перед ним, будто из сна выплыл. Он не был уверен, что это именно его дом. Но если он пришел к нему, значит — его. Он сел на скамейку, и тут вновь перед ним появилась пчела. Та самая, со двора водителя, или уже с его двора, его и ждавшая, он не знал. Пчела и пчела, как литая пуля. Он потянулся к ней рукой, совсем не для того, чтобы отогнать, скорее погладить. Пчела отлетела в сторону. И он заплакал. Понял, что сегодня, придя к родительскому дому, он не обрел его, а потерял. Потерял навсегда. Сегодня он стал нищим. Беднее самого последнего нищего. У самого-самого нищего есть родина, есть земля, на которую он может прилечь, устав, и ляжет в нее мертвым. У него отняли и это. Отняли то, чего невозможно отнять даже у зверя, козявки, жабы. Травинку, хвойную иголку и ту вырвали изо рта. Ничего у него нет и никогда не будет.

А со двора все еще продолжало разноситься на всю оглохшую, заросшую чернобылом округу:

— Руби гадов, бей гадов! Дед будет доволен, что покосили ему двор. Чернобылю конец, конец, конец.

Нет, не конец. Из-за реки, с другого берега, смотрел на них и усмехался, как космический приходень, угрюмый, черный циклоп — саркофаг.

Перевел с белорусского автор

Минск

А. Жиркевич

ТРИ ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

«Я никогда не думал, что центральной фигурой, озаряющей мое прошлое, был Л. Н. Толстой. А к воспоминаниям о встречах с ним все чаще обращается моя совесть. Ими, этими воспоминаниями, я проверяю степень моей добросовестности отношения к окружающему... По-прежнему я во многом с ним не согласен. Я вижу пристрастия, ошибки, противоречия... Но не могу не любить его за правду, такую, какую он признает...» — записал в своем дневнике 17 сентября 1917 г. мой дед, Александр Владимирович Жиркевич.

Мое знакомство с дедом (он умер задолго до моего рождения) состоялось на страницах его дневника, с которым я начала работать несколько лет тому назад...

Военный юрист, литератор, коллекционер, общественный деятель Северо-Западного Края, он оставил после себя многотомный дневник, который вел более 45 лет (1880—1925). Мечтая создать выдающееся литературное произведение, Александр Владимирович не думал, что этот дневник, оказавшись на стыке двух эпох, войдет в историю русской культуры. «Летописец русской культуры» — так назвал Жиркевича один из исследователей...

Многие годы ни дневник, ни сама личность Жиркевича не привлекали большого внимания исследователей, хотя имя Александра Владимировича неоднократно встречается в монографиях о И. Е. Репине, В. В. Верещагине, в переписке с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, Я. П. Полонским, А. А. Фетом.

Эта огромная переписка, хранящаяся в архиве Жиркевича, говорит о том, что многих притягивала личность Жиркевича — необычайно деятельного, с горячим и отзывчивым сердцем, влюбленного в искусство человека...

Публикуемые воспоминания А. В. Жиркевича о встречах с Л. Н. Толстым рисуют не только значительный и живой образ Льва Николаевича, но невольно и личность автора воспоминаний.

Вот некоторые биографические сведения об Александре Владимировиче Жиркевиче (1857—1927). Он родился в обедневшей дворянской семье потомственных военных. Большая часть жизни прошла в Вильне и Северо-Западном Крае, сначала вольноопределяющимся, подпрапорщиком и прапорщиком 108-го пехотного полка, а затем, после окончания Петербургской Военно-юридической Академии, в военно-судебном ведомстве на должностях защитника, помощника прокурора, следователя. В годы учения в Академии (1885—88 гг.) как подающий надежды поэт он вошел в литературно-художественные круги и привлек внимание, а в ряде случаев получил горячую поддержку многих деятелей культуры.

В 1888 г. Жиркевич начинает службу в военном ведомстве Вильны, где, как ему кажется, он может применить свои гуманные принципы в жизни. И поначалу служба ему приносит удовлетворение. «Первая моя работа в Вильне была защита часового, которому грозила каторга. Этот солдат стал передо мной на колени и просил «Защищайте меня!». Мне удалось доказать, что часовой не виновен, и его из зала суда освободили. Я счастлив, что удалось спасти человека. А он пал на колени и благодарил меня». (1888 г.)

А 14 марта 1894 г. он записывает: «Надо уходить из нашего ведомства! Честному человеку скоро невозможно будет приносить пользу там, где личный произвол ставится выше закона. Сердце разобьешь о камни неправды, незнания, заведомой лжи, произвола! Каждый день ухожу из суда с сознанием, что вот-вот произойдет столкновение, и я брошу всем этим господам правду в физиономию. Как неузнаваем я стал: Господи! Дай силы для борьбы! Не всели в меня привычку к чужому страданию! Разбей мое сердце в тот миг, когда умрет в нем сострадание к судимому ближнему!»

90-е годы наиболее плодотворные и счастливые в жизни Жиркевича. Он издает два поэтических сборника «Картинки детства» и «Друзьям», книгу рассказов. В эти же годы трижды посещает Ясную Поляну, знакомится в Феодосии

с Айвазовским, переписывается и видится с Репиным, совершает с ним путешествие по Кавказу, организует в Вильне выставку картин Верещагина, переписывается с Апухтиным, Кони, знакомится с Антокольским...

Особая любовь и интерес Жиркевича — историческое прошлое России. Он спасает от гибели ряд частных и правительственных архивов, собирая их в заброшенных имениях, в старых крепостных башнях, скупая у старьевщиков. Все это и многое другое безвозмездно передается им в музеи, книгохранилища, библиотеки России.

Но постепенно он отходит от участия в литературно-художественной жизни и посвящает себя улучшению быта военных арестантов, преобразованию гауптвахт, помощи нуждающимся. А. Ф. Кони дарит ему свою книгу с надписью: «Последователю доктора Гааза».

В 1908 г., приняв с большими нравственными терзаниями должность судьи, он через несколько месяцев уходит в отставку, увидев невозможность борьбы с тайными циркулярами для вынесения смертных приговоров политической молодежи. «Я сегодня так счастлив, так рад, так уважаю себя... хожу еще в суд, ввиду недостатка наличных судей. Все более и более у меня радостно на душе при сознании, что я разорвал связь с этим миром беззакония, жестокости, низкопоклонства, карьеризма за счет ближнего...»

После выхода на пенсию Жиркевич продолжает посещать гауптвахты уже как общественный попечитель. Вникает в быт, поддерживает нравственно, выполняет просьбы и поручения. Но вскоре его отстраняют от гауптвахт. «За мной, кажется, устанавливается репутация скандалиста: у меня все истории да истории... Но не могу же я молчать, когда вокруг хамы и хамство?! Мы гибнем от недостатка гражданского мужества, от боязни говорить громко. В громадном большинстве мы трусливые, приниженные рабы, ждущие подачек и одобрения и гнущие спину перед апломбом и наглостью».

Накануне I мировой войны Жиркевич пишет труды о тюрьмах России, печатает в «Историческом Вестнике», «Русской Старине» ряд воспоминаний. С начала войны он начинает благотворительную деятельность в госпиталях. Многие, в том числе солдаты, удивлялись его ежедневным посещениям. Это участие к нижним чинам казалось тем более странным, что Жиркевич к тому времени — генерал-майор в отставке. Такое поведение, действительно, озадачивало. Ведь не часто можно встретить генерала, ухаживающего за ранеными солдатами...

В семейной жизни Александр Владимирович был очень счастлив, о чем не раз упоминает на страницах дневника. Его женой была Екатерина Константиновна Снитко — добрая, скромная, сердечная женщина. По линии матери она происходила из рода Кукольников. (Отсюда в доме Жиркевичей замечательный портрет историка Виленского Университета П. В. Кукольника работы К. Брюллова, который сейчас находится в Ульяновском художественном музее.) В семье было шестеро детей. Но трое старших умерли. Особенно тяжело пережил Жиркевич смерть старшего сына, 22-летнего мичмана Сергея, только что окончившего Кронштадтское морское училище. Три дочери, которые остались в семье, прожили жизнь, полную драматических событий своей эпохи.

Младшая дочь Жиркевича, Тамара Александровна, музыкант по образованию, последние годы своей жизни посвятила работе над дневниками отца, сделав краткие выписки, которые использованы в этом рассказе, составила огромную картотеку для будущих исследователей. По ее духовному завещанию я продолжаю эту работу.

В 1915 г. Жиркевич эвакуируется с семьей в Симбирск и становится общественным попечителем 10 госпиталей, 3 тюрем и военно-гарнизонного кладбища.

С начала революции семья бедствует. Жиркевич перебивается временной работой — преподает грамоту в школе кожевенного производства, на командных красноармейских курсах, переживает два ареста, ожидание расстрела. Вскоре начавшийся голод и лишения уносят из жизни Екатерину Константиновну. Жиркевич остается один с тремя дочерьми. В дневниках появляются записи об отсутствии дров, о последнем куске хлеба, вшах... А главное — нравственные страдания от нелепости, жестокости окружающего мира, отказа общества от тех моральных ориентиров, которыми жил всю жизнь.

И все же Жиркевич старается быть верным своим принципам. В его квартире на полу под тряпьем хранится коллекция живописи, графики, старопечатных книг, альбомов с автографами. Здесь есть К. Брюллов, Репин, Айвазовский, Зарянко, Лампи, великолепные рисунки русских и зарубежных художников. И вот, опасаясь за судьбу коллекции — идут грабежи, погромы, конфискации,— Жиркевич решает передать коллекцию (по описи более 2000 тыс. ед.) в Симбирский художественно-краеведческий музей за символическую сумму, как писала одна из газет, равную стоимости проезда по железной дороге от Симбирска до Вильны,— 10 миллиардов. Напомню, что были дни, когда 1 миллион приравнивался к 1 рублю и даже 70 копейкам. А Жиркевич плакал, получая деньги, и от долгого ожидания денег и временного избавления от нищеты, и от того, что нарушил свои принципы—только дарить в музеи... 3 августа 1922 г. в газете «Правда» появилась статья о поступке «бывшего» генерала под названием «Рабочие на страже Рембрандта». (Еще ранее, в 1919 и 21 годах, он передает в Румянцевский музей коллекцию старинного оружия и орудий пыток.)

Последние годы Жиркевич влачит полунищенское существование на должности архивариуса губфинотдела. Изредка приходят письма от Нестерова *, Кони, скрипача Эрденко. Все чаще, переосмысливая прошлое, он вспоминает о встречах с Толстым...

Передав свой личный архив (дневники, переписку) в Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве, в 1926 г. он уезжает в родную Вильну для улаживания имущественных дел. Но его ждет тяжелый удар — все находившиеся там коллекции и обстановка пропали... И он, чтобы иметь возможность помогать детям, остается в Вильне, вступив в права наследования имущества своей жены. Когда он заболел и моя мама хотела выехать ухаживать за ним, он писал ей: «Не смей приезжать! Я не разрешаю, и мы навсегда рассоримся... Ваша жизнь должна быть в России...». А 13 июля 1927 г. его не стало.

Впервые имя Толстого упоминается в дневнике Жиркевича в 1887 году. «Толстой выступил с речью... Я в восторге от идей Толстого, от его личности. Весь вечер думал об этом и искал в этом утешение и надежду»; «...написал письмо Толстому и получил ответ. Переписка идет об учреждении общества трезвости, борьбы против пьянства. Толстой хочет вести борьбу путем нравственного внушения. Я думаю, что это беспочвенно. Надо сначала улучшить быт, чтобы народ не пил с горя».

В 1890 г. Жиркевич посылает Толстому свою поэму «Картинки детства» (под псевдонимом А. Нивин) и просит сообщить свое мнение. Толстой отрицательно отнесся к литературным опытам Жиркевича. «...Продолжать ли Вам писать? Нет, если мотивы, побуждающие Вас писать, будут такие же, как те, которые побудили Вас написать эту книгу... Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя. ...Мне очень больно думать, что я этим письмом вызову в Вас недоброжелательное к себе чувство, и буду Вам очень благодарен, если Вы ответите мне». Жиркевич спешит ответить:

«Дорогой, хороший Лев Николаевич!.. Спешу успокоить Вас на счет впечатления, которое произвело Ваше искреннее, честное письмо на мое авторское самолюбие. Отчего Вы думаете, что я мог даже озлобиться на Вас за правду, обидеться за нее?! Нет! Если в первую минуту мне стало горько, то только потому, что я ожидал, что книга моя доставит Вам удовольствие; но после перечитывал Ваши откровенные строки, и эта горечь исчезла, уступив место благодарности за правду». Вскоре Жиркевич просит разрешения заехать в Ясную Поляну по дороге из Крыма. На это Толстой писал:

«Больше же всего мне страшно, что Вы нарочно заедете так далеко в сторону и не найдете того, что ищете. Если судьба заведет Вас в сторону, тогда другое дело. Я же с своей стороны всегда рад, если могу быть полезен или хоть приятен человеку, и живые отношения с людьми считаю самым важным делом.

Итак, поступайте, как Вам Бог на сердце положит. Я в деревне» **.

Александр Владимирович трижды посетит Ясную Поляну и подробно запишет об этом в своем дневнике. Записи этих посещений удивляют своей точностью и желанием объективно разобраться в яснополянской драме, которая разыгрывалась на глазах у многочисленных посетителей и вызывала всевозможные толки. Он не станет последователем Толстого, но личность Льва Николаевича будет тревожить и привлекать Жиркевича в течение всей жизни. Находясь под огромным впечатлением от духовной силы и значительности Льва Николаевича, он торопится занести в дневник все, что видел, слышал в Ясной Поляне. Перечитав записанное, он отмечает в дневнике: «Прочел я то, что уже сюда занесено... Все это лишь материал и довольно богатый, а не готовое, систематическое изложение. Но, как материал, все это мне дорого. Быть может, со временем я приведу в порядок все отрывки воспоминания о посещении Ясной Поляны...»

Именно поэтому, готовя эту публикацию, я позволила себе сделать некоторые сокращения и перестановки для связности рассказа и целостности впечатления. Предлагаемые записки ранее не печатались за исключением отдельных фрагментов (См. «Литературное наследство», т. 37—38, М., 1939 г.).

Приношу свою глубокую признательность и благодарность сотрудникам рукописного отдела ГМТ Наталии Алексеевне Калининой, Ольге Александровне Голиненко и Татьяне Георгиевне Никифоровой за помощь в работе и всегда доброжелательное отношение.

Н. ЖИРКЕВИЧ-ПОДЛЕССКИХ

---

* См. «Наше наследие» № 3, 1990 г. Письма М. В. Нестерова к Жиркевичу.

** Письма Л. Н. Толстого к Жиркевичу опубликованы в Полном собрании сочинений в 90 томах (юбилейное издание), тт. 64, 65, 71, 72, 73, 74.

Москва 20 дек. 1890 г. Наконец-то я увиделся с Л. Н. Толстым! Только сегодня, ночью, я приехал сюда из Ясной Поляны, где провел время с 10 часов утра до 11½ часов ночи.

...Уже подъезжая по железной дороге к станции, на которой надо сойти для того, чтобы попасть в Ясную Поляну,— «Козлова Засека», начинаешь входить в сферу обаяния имени гр. Толстого. Публика, сидящая в вагонах, разговаривает о Льве Николаевиче, о его семье, об его последних произведениях, делясь новостями. И тут, в вагонах, происходит откровенно, до цинизма, суд современников, чаще всего пристрастный, основанный на зависти, блудливом любопытстве и сплетне. Так что приятно скрыть от всех этих личностей, что едешь в Ясную Поляну, на поклонение к великому, гениальному человеку, притом даже с его милостивого, предварительного, письменного согласия. Приятно покинуть затем вагон, пеструю эту толпу и очутиться на свежем воздухе для того, чтобы по указанию служащих на станции тронуться по направлению к Ясной. На полустанции (или станции?), где я вылез, не оказалось лошадей. Я оставил вещи мои на вокзале (за ними потом была послана из имения лошадь) и пошел в Ясную Поляну пешком. Кажется, расстояние до нее версты три. Вот и деревня (или село?) Ясная Поляна, находящаяся у имения, хорошо, зажиточно обстроенная, в которой попадаются строения, возведенные из кирпича. Мужики и бабы имеют вид не нуждающихся. Хороший скот, породистые свиньи. Тянет дымком из труб в воздух, слегка лишь тронутый небольшим морозом. «Дома ли Толстой?» — спрашиваю я по дороге раза три встречающихся мужичков. «А кто его знает»,— отвечают почти все они одно и то же... («Как это, думается мне, я там на станции не расспросил?»). Мужички знают, кто из имения в эти дни ездил на станцию. Толстого между этими ездившими не было. Ну, значит, он дома. А если нет? Я никого ведь из семьи не знаю... Лезешь в чужой дом?.. Да, наконец, какого приема надо ждать от самого Толстого?.. А вдруг это знаменитость, надо думать, знающая себе цену, напыщенная, обдающая холодом? Так рассуждал я в первый приезд, шагая по снегу... Но вот и хорошо мне известные по иллюстрациям две побеленные башенки из кирпича, означающие вход в парк имения. За ними обширный, красиво разбитый парк. Через него между деревьями тянется старая аллея, ведущая к дому...

Первое лицо, которое я увидел, была девушка, сидевшая на крылечке в тулупчике, накинутом на плечи, в белом платочке на голове, раздававшая книги крестьянским подросткам. Мне и в голову не пришло, что это кто-либо из членов семьи Толстого. Поэтому я и спросил ее: «Дома ли Лев Николаевич?» — «Папа́ дома, но занят у себя в кабинете. А мама сейчас выйдет, к чаю»,— ответила сидевшая. Отсюда я догадался, что ошибся в наружности. Это была Марья Львовна Толстая.

Лев Николаевич удивительно бодр и подвижен. Услыхав о моем приезде, он сбежал ко мне по лестнице в прихожую с легкостью мальчика, так что я в первую минуту даже не узнал его.

Толстой принял меня радушно, обнял и расцеловал. Я заметил ему, что хотя письмо и имело форму вежливого отказа, но в конце стояло, чтобы я действовал, как Бог на душу положит. «А Бог положил мне на душу взять да и заехать к человеку, который живет не так, как все остальные!» — сказал я.

...Я немного отдыхал с дороги в библиотеке Льва Николаевича, которая помещается внизу, в двух комнатах, разделенных деревянной перегородкой, где, очевидно, останавливаются приезжающие. Между книгами, которые я просмотрел, есть полное собрание «Жития святых» и «Талмуд» на еврейском языке, который знаком Льву Николаевичу. Моя поэма «Картинки детства» торчит наполовину не разрезанная. Сору, пыли всюду множество. На стене фотографии, дагерротипы, портреты, вырезанные из иллюстрированных изданий. Видно, что не красота и симметрия царят здесь, а совсем иное принимается во внимание хозяином. Между портретами — Тургенев, Диккенс, Страхов, Шопенгауэр, известная группа писателей, в которой сам Толстой в молодости[1]. На шкафу отличный этюд масляными красками известного мужика-сектанта Сютаева[2], работы Репина без его подписи. Толстой уложил меня спать и заявил, что с 10 утра до 4 ч. пополудни он пишет. Действительно, я его увидел потом лишь за завтраком в 12 часов. А начиная с обеда до самого отъезда, он почти все время был со мною.

Все рассказы о том, что будто бы Толстой живет богато и тем противоречит сам себе, оказались ложью. Его кабинет в нижнем этаже — нищенский уголок, только сухой и теплый. Ест он мало и только бульон, яйца всмятку, кашу, что сто́ит, конечно, пустяки, а одевается, как простой мужик или рабочий, где же эта довольная жизнь?! Комнаты его семьи, насколько я заметил, тоже не отличаются роскошью (графиня водила меня по дому), а вся усадьба, начиная с въездных ворот, имеет разоренный, запущенный вид... Вообще все в доме Толстых не говорит о роскоши, а лишь о барском, деревенском довольстве. Картин никаких, и только в столовой ряд фамильных портретов, из старых рам предки смотрят сурово на чудачества гениального их потомка...

В углу столовой в Ясной Поляне стоит бюст Льва Николаевича работы Ге[3], мало передающий оригинал. Сам Лев Николаевич выше среднего роста, худощавый, с некрасивыми руками (большие пальцы очень велики и толсты, с широкими ногтями). Одет в темную, рабочую блузу с прорванным боком... Дома ходит в туфлях, подпоясанный широким ременным поясом. У него небольшая правильно оформленная голова, не такая огромная, как на том портрете, который приложен к полному собранию его сочинений. Затылок у него почти совсем плоский. Волосы сильно поседели, особенно борода и большие, торчащие усы. Причесан он очень тщательно, с пробором посредине. Глаза — серые, небольшие, пронизывающие вас насквозь, медвежьи. Широкий в конце нос и выдающиеся скулы делают выражение лица Толстого немного диким, особенно когда он сосредоточенно молчит. Но улыбка приятна, а лицо замечательно ярко выражает его чувства, часто меняющиеся. Я заметил, как он раза два быстро покраснел, когда я в разговоре, без умысла, невольно сообщил ему кое-что о себе, говорящее в мою пользу, точно ему за меня стыдно. Я понял эту краску в лице, как признак смущения за меня, как неудовольствие. Когда он краснеет, то краска переходит у него даже на шею, притом очень быстро. В манерах Толстого все же замечается благовоспитанность, хотя и есть некоторая порывистость.

Перед обедом Лев Николаевич повел меня гулять. Он надел старый полушубок, подпоясался кучерским кушаком, взял в руки дубинку, а на голову надел старую вязаную серую шапку. Пошли мы с ним по дороге в Тулу, и во время прогулки (верст 5 туда и назад) он и развивал передо мной свою теорию об искусстве. Ходит он так быстро и бодро, что я попросил его идти потише, что ему было, видимо, приятно, и он смеялся от души. Но я заметил, что такая быстрая ходьба и его утомляет. Это, впрочем, он объясняет тем, что одет тепло и что день не морозный и безветренный.

Вот подробности моего разговора с Толстым о суде и судьях:

Я. ...Вот я скоро получу место помощника прокурора.

Т. И неужели же вы его примете? Ведь все прокуроры, полиция — все это разбойники в мундирах!..

Я. Мне очень грустно, что вы так смотрите на этот вопрос.

Т. (пылко, воодушевляясь). А мне грустно, что вы идете на мерзость... Что такое прокурор? Человек, который делает все, чтобы погубить ближнего, чтобы заставить его возможно более и чувствительно страдать... Ему надо получать 2000 р. жалованья в год, чтобы пить, есть хорошо, играть в карты, развратничать. И вот он из кожи лезет, чтобы получать эти деньги, а если можно, то и больше...

Я. Но есть же, Лев Николаевич, и между прокурорами порядочные люди!..

Т. Есть, но и эти порядочные люди точно слепые... Кто дает нам право судить?.. Вспомните Евангелие... А мы судим... Это ли не ложь?!.

Я. Но прокурор может отказаться от обвинения, если дело неправое!..

Т. И в этом даже случае он поступает нечестно. Рассудите сами! Ведь преступление создается обстановкой. Преступников, в сущности, нет! Есть несчастные люди, которых коверкает общественный строй... За что же вы их наказываете? Если вы прокурор и откажетесь девять раз от обвинения, а в десятый раз

будете его поддерживать, то вы делаете гадость: в этот, десятый, раз вы заставляете страдать невинного, становитесь его палачом... Но и отказавшись девять раз от обвинения, вы поступили нечестно, так как берете жалованье за то, чтобы бичевать ближнего, даете в этом обещание-присягу и берете за это жалованье... А между тем обещания своего не сдерживаете... Да, наконец, разве прокурору не приходится обвинять лиц, которые гораздо менее преступны, чем, быть может, он сам? Он сам клятвопреступник, обманщик, развратник?! Он грешен против всех десяти заповедей, а между тем он же клеймит ближнего... Не возражайте! Это так, и раз вы станете военным прокурором, вы обрекаете себя на безысходную гадость... Вдумайтесь только в весь ужас вашего положения. Нет, ради Бога, откажитесь от этой деятельности!

Я. Лев Николаевич! Надо сначала попробовать быть честным прокурором, как я это понимаю, а затем уже уйти, если будет невмоготу!

Т. (с гневом, сильно краснея). Иными словами, вам надо непременно положить пятно на свою совесть и носить хоть несколько дней мундир разбойника?! Мне случалось бывать в числе присяжных заседателей и даже защитником на суде по делу одного убийцы-солдата, которого расстреляли[4]. Ничто не может сравниться с тем ужасом, который я вынес из знакомства с правосудием... Несчастного мужичка за какой-нибудь проступок травят, как собаку, и судьи, и прокурор, травят с наслаждением, делая все, чтобы жертва не могла спастись от них. Ведь весь судебный процесс — сплошная пытка подсудимого: прежде пытали в застенках, а теперь клеймят на суде... А кто дал право! Кто?

...Мы встречали баб, мужиков, ребят, все с ним ласково раскланивались. Затем попались нам два мужичка-охотника с убитыми зайцами-беляками. Мужичкам, видимо, было известно, что Лев Николаевич против убийств животных. Они, увидев его и меня, не знали куда деваться и спрятали зайцев за спину. Мы встретились в открытом поле, на дороге, так что скрыться, миновать нас было нельзя. Толстой, поздоровавшись, ничего сначала им не сказал насчет зайцев. А потом как бы невзначай, мимоходом, спрашивает одного из них, назвав его по имени и отчеству: «Что это у тебя за плечами?» Тот начал было отнекиваться, мяться... А Толстой его прямо уже спрашивает: «Зайчик?.. Зайчика убили?» — «Да, видите ли, Лев Николаевич,— стал оправдываться тот,— и сам не знаю, как со мной случилось... Что же станешь делать. Иду с ружьем. Тут выскочил этот самый заяц... Уж не знаю опять, как и что... Только стрельнул... А он и готов, значит, свалился...» — «Ведь есть не будешь? — спрашивает укоризненно Толстой.— Одно, значит, озорство... Нехорошо! Нехорошо...» Немного погодя, поговорив, заметив и у другого мужика зайца, Толстой говорит: «А! И ты тоже?.. Тоже, пожалуй, случайно?» Мужичок только сморкнул носом, хитро усмехнулся и отмолчался. Когда мы отошли от мужичков, Л. Н. загадочно улыбался: видимо, его смешила их растерянность и комичные оправдания.

Он, между прочим, рассказывал мне об одной картине какого-то иностранного художника, где был изображен арестант, которого ведут по площади и над которым глумится праздная толпа. Вдруг глаза Льва Николаевича наполнились слезами. Вообще он замечательно чуток, и правдив, и сердечен. Я не раз видел, как он то быстро и сильно краснел, то готов был расплакаться. И эта перемена настроения является у него вдруг. Он едва не расплакался, когда рассказывал мне о том солдате, которого расстреляли и который сам его выбрал в защитники.

Я передал Льву Николаевичу и его супруге поклон корреспондента «Нового времени» Молчанова. Видимо, этот человек не оставил о себе там хорошей памяти. Лев Николаевич в ответ очень сухо сказал: «Читали ли вы его заметку о посещении Ясной Поляны? Некрасивая вещь!»[5]

Я спросил Толстого, в каком положении находится его общество трезвости[6], против которого я когда-то так восставал в письме к нему. «Оно не развивается,— ответил он как-то уклончиво.— Но толчок все-таки дан: благодаря тому, что я заговорил об этом, пробудился интерес к этому вопросу. Теперь повсюду утверждаются общества с той же целью. Недавно я еще писал в одно из таких, вновь открывшихся обществ». Толстой при этом дал мне прочесть уже отпечатанную, но еще не отосланную на просмотр цензуры статью «Зачем люди одурманиваются», заметив: «Статья самая невинная по содержанию. Но для меня ведь особые цензурные условия!»

Заговорили о «Посреднике»[7] и его изданиях. Я рассказал Толстому, что писал Черткову, спрашивая его, какого рода сочинения нужны «Посреднику», и не получил ответа. Толстой этому удивился и через бывшего у него толстовца, какого-то Попова, просил передать Черткову свое изумление... «Какие же статьи нужны «Посреднику»? — спросил я его. «Хороши все те, которые не противоречат настоящей нравственности,— опять как бы уклончиво отвечал он, добавив: И непременно должен вытекать какой-нибудь поучительный вывод». Вечером он два раза сказал мне: «Вы должны непременно написать что-нибудь для «Посредника» прозой!» Он очень интересовался тем, насколько успешно распространяются грамотность и книжки среди солдат, каков состав офицерства, религиозные взгляды большинства... Он не раз восклицал: «Дают читать всякую дрянь народу и войску и отодвигают развитие народа умышленно!» Но у Толстого манера не расспрашивать, если он получает уклончивые ответы, и разговор наш на эту тему был невелик.

Толстой расспрашивал меня о поэте Фофанове *, о котором рассказывал ему И. И. Горбунов-Посадов[8], об его сумасшествии, об его нужде. Он прочел его стихотворение, за которое был приостановлен «Наблюдатель», и не нашел в нем ничего особенного, кощунственного. О стихотворении И. И. Горбунова «В Христову ночь» Толстой отозвался так: «Мысль хороша и стих силен». Я заметил, что оно смахивает на проповедь. «Это ничего! Все же оно написано честно и горячо». Вообще он о Горбунове очень высокого мнения и любит его как человека... (Такого же мнения о Горбунове и графиня).

Толстой рассказывал мне, что он часто ходит в свою деревню, в одну избу, где останавливаются странники, и расспрашивает их об их прошлом и их нуждах. «Если бы вы могли ходить туда со мною, то скоро убедились бы, что понятия о правде, о совести живут не в интеллигенции, а в простом народе»,— сказал он мне с глубоким убеждением.

Я рассказал, к слову, Толстому о тех зверствах, которые совершает полковник Успенский в Бобруйском дисциплинарном батальоне. Он пришел в искренний ужас, в глазах его часто выступали слезы. «Вы должны непременно что-нибудь написать о Бобруйском дисциплинарном батальоне, даже в иносказательной форме, хотя цензура у нас не дремлет...— сказал мне Толстой.— Возмутительно, что простых, неиспорченных людей заставляют делать беззакония над ближними — сечь их! Отчего сами, присуждающие к телесному наказанию, не приводят его в исполнение?!»

Лев Николаевич расспрашивал меня очень много о моей семье и о записках деда моего Ив. Ст. Жиркевича, издававшихся в этом году **. По его словам, он прочел записки с удовольствием, особенно то место, где описываются приезд имп. Николая в Симбирск и проделки духовенства.

Лев Николаевич очень заинтересовался моим рассказом «В лазарете» ***, о котором я ему сообщил. Сначала он попросил рассказать ему содержание, а потом сказал: «Впрочем, не портите впечатления и не заинтересовывайте!.. Лучше я сам прочту в печати».

Графиня С. А. Толстая произвела на меня впечатление очень неглупой, образованной и энергичной женщины. Графиня была со мной очень откровенна и сообщила мне много интересного про мужа: «...Но во всем виновата эта теория его о непротивлении!.. Письма Льва Николаевича издаются без его ведома еще при его жизни, к нему приезжают выспрашивать его взгляды и потом нагло и

* К. М. Фофанов (1862—1911) — поэт, в доме которого Жиркевич познакомился с Репиным и вместе с ним принял участие в судьбе Фофанова: устройстве его в клинику для душевнобольных, хлопотах о пенсии для жены Фофанова, издании его стихов.

** Ив. Ст. Жиркевич (1789—1848) — недолгое время генерал-губернатор Симбирска и Витебска. Отличался прямодушием, неподкупностью, борьбой с злоупотреблениями, облеченных властью. С 16-летнего возраста участвовал в войне с Наполеоном, состоял адъютантом у гр. Аракчеева. Оставил мемуары о своем времени, печатавшиеся в «Русской Старине» 1874—1876, 1878, 1890 гг.

*** В основу рассказа «В лазарете» положены материалы следствия, бывшие в деле у Жиркевича. По этим же материалам Репиным написаны картина «Дуэль». Рассказ этот под названием «В госпитале» включен Жиркевичем в книгу «Рассказы» (1900).

безнаказанно все искажают в печати. У него даже воруют его неизданные произведения, а потом распространяют в публике. Одним словом, даже сам Лев Николаевич недавно возмутился. Как-то раз, проходя пешком в Москву из Ясной Поляны, он встретил отставного николаевского солдата, который охал и стонал на ночлеге на печке. И занес в записную книжку карандашом рассказ его о битье при Николае Павловиче [9]. Солдат сам звал императора Николая Николаем Палковичем и говорил, что так его звали в войсках за палки... Рассказ задел Льва Николаевича, и он тут же карандашом написал несколько резких соображений. Бывал у него один мальчишка, наглый, заносчивый, испорченный (графиня назвала фамилию). Он, будучи у Льва Николаевича, как-то увидел его записную книжку и списал из нее, без его ведома, этот рассказ, а затем отлитографировал его и стал распространять. Лев Николаевич был поражен и в первое время не мог даже сообразить, как рассказ мог попасть за стены его дома. Но скоро все выяснилось: стало очевидным, что рассказ у него выкрали... Чиновник требовал от Льва Николаевича подписки о том, что впредь он более ничего подобного распространять не будет. Лев Николаевич не дал такой подписки, заявив чиновнику, что не занимается подпольной пропагандой и что свои убеждения он высказывает в тех сочинениях, которые выходят за его подписью. А что касается до его личных убеждений, то до них никому нет никакого дела: он «за них отвечает только перед Богом». О, эта теория непротивления злу! Сколько она наделала нашей семье бед!

Все эти так называемые толстовцы — я их ненавижу и презираю! Между ними лучший и более умный это Горбунов... А все остальные — тунеядцы, дрянь, лентяи... А вы знаете ли, сколько человек их перебывало у нас этим летом?! 260! Все это пило, ело за счет Льва Николаевича и врывалось в нашу жизнь, подсматривая, подслушивая, как живет Лев Николаевич и его семья... Я всегда открыто восставала против них, в особенности против Черткова, который не раз злоупотреблял доверием Льва Николаевича. Но эта теория мужа все разбивает! Вы видели сегодня два экземпляра толстовцев? (Я действительно застал там двух грязных, неряшливых, длинногривых и подозрительных толстовцев.) Вот все такие! Приедут, живут сколько хотят, и вся наша семья ради Льва Николаевича с этим мирится... Вы никогда не позволите себе того, что позволяют в нашем доме толстовцы. Здесь они хозяева, а я, мои дети здесь гости! Чего только не пишется о Льве Николаевиче и, главным образом, об его семье, обо мне, о моих детях?! Вы не поверите. Частной, семейной жизнью Льва Николаевича интересуются более, чем его теориями. И мы не смеем возражать, так как поперек дороги все та же теория! Правда, что сыновья уже написали один раз опровержение в газетах...» [10]

Графиня Софья Андреевна рассказывала мне, что физические страдания Льва Николаевича бывают ужасны (кажется, у него камни в печени) и что он их от нее скрывает, чтобы не беспокоить. Если она его долго не видит, то идет его разыскивать, думая, не притаился ли где-нибудь в припадке. По ее словам, ей стоило огромного труда уговорить Льва Николаевича есть хоть бульон (он из принципа не ест мясо). Сначала она его обманывала, кладя в мясной бульон грибы и уверяя, что ему подается грибной суп. Но он скоро стал замечать и сказал, что готов для нее съедать ежедневно тарелку супу, лишь бы она не лгала...

«Я не ем мяса, потому что это труп, и оно теперь производит на меня впечатление трупа»,— сказал мне Толстой. «Но ведь мясо здорово, питательно?» — возразил я. «Кто вам это сказал? Не наши ли доктора? — ответил Лев Николаевич.— Посмотрите, как здоровы мужики! А они мясо едят только несколько раз в год, по праздникам...»

Во время общего обеда в столовой на одном конце огромного стола обедала семья Толстого (с нею и я), а на другом Лев Николаевич, Марья Львовна и два толстовца. Нам лакей в белых перчатках подавал изысканные блюда. Стол был хорошо сервирован. Толстой же и его собеседники ели из общей чашки какую-то похлебку, и (кажется) у них не было даже скатерти. Во время обеда зашел разговор о Черткове, Владимире Григорьевиче. Графиня и спрашивает меня: «Знаете ли вы, Александр Владимирович, этого идиота?» Слова были сказаны не-

громко. Но один из толстовцев, ходивший со мной гулять по окрестностям Ясной Поляны с длинным посохом в руках, расслышав слова графини, с сердцем, демонстративно встал, отодвинул с шумом ногою стул и вышел из комнаты. Графиня с насмешкою поглядела ему вслед и сказала мне уже громко: «Видите ли, я в своем доме не смею откровенно высказываться!..» Вообще я заметил, графиня игнорирует толстовцев. Толстовцы, в свою очередь, не обращают на нее внимания, точно ее не существует дома. Создается оригинальное положение, против которого сам Толстой не протестует.

Она же сообщила мне, что занята теперь перепиской дневника Льва Николаевича, относящегося к бытности его в военной службе. Оказывается, что Толстой ведет с молодости свой дневник [11] и продолжает его даже теперь (хотя, как она призналась, ей неизвестно содержание теперешнего дневника). По ее словам, дневник Льва Николаевича написан крайне неразборчиво, так что даже сам Лев Николаевич не все там может разобрать. Все рукописи, как он мне сказал, на случай его смерти завещаны им Румянцевскому музею. Кстати, о смерти. Толстой твердо убежден, что проживет недолго, и несколько раз говорил мне в течение дня, что сожалеет о том, что жизнь его прошла наполовину бесцельно, что он только недавно уловил смысл жизни...

Когда мы прощались, Лев Николаевич надписал мне свою фотографию, обнял меня и поцеловал. Он и графиня выразили мне надежду, что видят меня у себя не в последний раз, «если,— как заметил Толстой,— я еще не умру к тому времени, когда вы приедете вторично!»

Было поздно. На дворе царила темнота. При довольно сильном ветре падал мокрый снег. Лев Николаевич, несмотря на все это, заявил мне, что лошадь подана, что сейчас он оденется и свезет нас на ближайшую станцию железной дороги. Я стал протестовать и, между прочим, заявил, что не могу допустить, чтобы автор «Войны и мира», «Анны Карениной», «Детства» и «Отрочества», других любимых мною произведений в качестве кучера вез меня, да еще в такую ненастную погоду. «Вы опять за свое! — с неудовольствием сказал Лев Николаевич.— Забудьте о моих литературных грехах и ошибках! Я был бы счастлив, если бы мог собрать все мои произведения подобного рода, рассеянные по свету, и сжечь их...» Но я не согласился. Так меня и отвез туда яснополянский кучер. На дорогу Толстой дал толстовцу тулуп, в котором тот и поехал со мной в поезде на Москву. На каких условиях был дан этот тулуп — не знаю. Я толстовца о том не расспрашивал.

Толстовец, видимо, приезжал к Льву Николаевичу за советами... Я слышал, конечно, совершенно случайно и проходя мимо, такой вопрос: «Ну, а варенье можно есть?.. Или это тоже слабость?!» Лев Николаевич ответил ему что-то и притом серьезно, наставительно, в роде того, что «конечно, можно!». Эта сцена была комична, так как напоминала мне школу — школьника и его наставника...

* * *

Настоящие мои воспоминания о вторичном пребывании в Ясной Поляне, как и заметки о первой встрече с Л. Н. Толстым и его семьей пересматривались мною, и то, что казалось мне первоначально мелочами из жизни Ясной Поляны, после некоторого промежутка времени, кажется стоящим внимания, тем более что Лев Николаевич в одной из бесед со мною подчеркивал значение именно мелочей в жизни человеческой. Такие мелочи должны быть интересны, а иногда и существенны, когда относятся к таким великим людям, как Толстой... Тут иная мелочь ярче освещает личность, труды такого человека, чем обширные статьи, написанные на основании разных материалов людьми, его никогда вблизи не видевшими.

Быть может, я не всегда сумел передать со стенографической точностью подлинные выражения Толстого и других лиц, встреченных мною в Ясной Поляне. С другой стороны, разве могут самые точные стенографические отчеты передать то, что составляет иногда в человеческой беседе главное — интонацию голоса, выражение лица, жесты, наконец, обстановку, в которой происходила бесе-

да, повод ее возникновения? В этом отношении выше таких отчетов стоят воспоминания, по возможности правдиво, по свежей памяти, добросовестно записанные очевидцами.

12 сентября 1892 г. Я приехал в Тулу по жел. дороге рано утром. При найме мною извозчика в качестве посредника мне деятельно помогал на станции железной дороги бравый жандармский унтер, попутно, хотя и деликатно, выведывавший у меня, бывшего в военно-судейской форме, кто я, откуда и по какой надобности еду в Ясную Поляну. Так как намерения мои были совершенно чисты, то я, усмотрев в допросе жандарма сыск, тем не менее удовлетворил его любопытство. Расстались мы друзьями, и когда я садился в пролетку, то он даже бережно, почтительно подсаживал меня под руку. Когда я рассказал Толстому про эту встречу, то он мне сказал, что отлично знает, что и за ним, за посещающими его, равно как за его перепиской, в Туле учрежден жандармский надзор, а копии же писем тщательно списываются, прежде чем идти по назначению.

Приехав утром, не застал Л. Н.: он теперь в Бегичевке на месте голодовок [12] и приезжает завтра.

13 сентября, утром. Я с Марьей Львовной отправился сегодня в сторожку лесника — за 3 версты. Там умер нечаянно обваренный кипятком ребенок, которого лечила М. Львовна, и она шла взять оставшиеся лекарства. Дорога — парком и лесом, через речку, на которой устроена купальня. Погода — чудная, осенняя. Парк и лес дивно хороши — не налюбуешься видами.

Марья Львовна, несмотря на холодную погоду, была одета легко (в легкое пальто сверх платья, имея на голове косынку, будучи босоногой), тогда как я чувствовал себя хорошо в пальто из толстого драпа. Мы с нею прошли около места, на котором были видны следы сена. Не без юмора, указывая на них, она мне рассказала, что несла на днях лекарство в сторожку для обварившегося ребенка, когда увидела незнакомого ей мужика (из чужой деревни, ее не знавшего). Он старался поднять телегу с сеном, у которой соскочило колесо. М. Львовна захотела ему помочь, подошла, подставила плечо и начала помогать поднимать воз. Но у нее ничего не выходило, как и у мужика. (Одета была она, по ее словам, как простая крестьянка.) Раздосадованный мужик в конце концов прикрикнул на нее: «Пойди прочь. Ее соплей перешибешь, а она туда же помогать лезет...» Странное, грустное впечатление производит Марья Львовна. Ее не назовешь «не от мира сего», но и к «миру» она как бы не пристала. Какая-то затаенная скорбь разлита в чертах ее некрасивого худощавого лица, особенно в глазах. Лицо это — бледно, губы сжаты, бескровны. Она редко улыбается. На лбу, между бровями, изредка намечается у нее морщинка, которой не следовало бы быть в ее годы. И говорит-то она как-то особенно, уклоняясь от сообщений о себе, больше помалкивая. От всей ее миниатюрной хрупкой фигурки, от лица веет чем-то, чего не встретишь в других членах семьи Толстых...

На высказанное мною опасение, не стесняю ли я ее отца, она, с непривычной для нее живостью, ответила: «О, нет... Напротив!.. Папа рад вашему приезду. Военные у нас совсем почти не бывают... А такие посещения, как ваше, сообщают его с внешним миром. Как-то к нам, в Ясную Поляну, приехал жандармский ротмистр. Служба жандарма не примиряется с его совестью. Но и бросить не может. Отец довел его до слез, по-видимому, искренних. Кажется, он писал потом отцу. У нас должны храниться в Яснополянском архиве его письма».

На мой вопрос о том, что это за архив, М. Л. пояснила, что тут, собранные по годам, лежат те письма ко Льву Николаевичу, которые имеют интерес, особенно общественный, духовный... Но, по ее словам, Л. Н. получает такую массу вздорных, бессодержательных писем, что все сохранять было бы напрасной тратой и времени, и места. Например, где-то застрелился гимназист, не осилив тех противоречий с жизнью, которые вызвали в нем сочинения Л. Н. И мать его писала Толстому письмо, в котором «смерть сына кладет на его совесть», как она выражалась в припадке горя. Каково папá получать подобные письма? И разве он виноват, что психопаты, слабые натуры вешаются и стреляются, не осилив смысла, духа его произведений? Отец, конечно, не ответил на письмо. Я его, это письмо, на всякий случай, спрятала у себя (тут М. Л. улыбнулась своей бледной, скорбной улыбочкой). Но иногда папа от души смеется над некоторыми посланиями, особенно, так называемыми им, «дамскими». Чего-чего ему только не пишут дамы!.. Учат его, что он должен есть, помня, что жизнь его принадлежит будто бы не ему одному, а России. Кто дает ему наставления насчет того, как он должен воспитывать своих детей «в духе церкви православной». Одна старушка, услыхав о болезни Л. Н., прислала ему домашний рецепт... Отец поручил мне поблагодарить ее за внимание. Вообще я часто отвечаю за него. Поручает он это иногда и другим лицам... Да вот еще особый род корреспондентов — чудаки, собиратели автографов. От них одно время отбоя не было. Писали заказные письма с оплаченными ответами, даже указывали, что должен был написать им Л. Н. Само собою разумеется, на такую чепуху им не давалось ответа... «Ну, конечно,— сказала М. Л.,— не забывают отца и попы... Часть такой литературы хранится в нашем архиве. Она интересна и рисует отлично эту среду». Я передал Марье Львовне мой разговор с извозчиком насчет якобы церковной религиозности Льва Николаевича, его хождения на поклон к святым местам, в церковь и т. д.

«Да. Про отца среди окрестных крестьян сложились такие взгляды.— Ответила она.— Мы это знаем, не обращаем на это внимания и не пытаемся опровергнуть. К чему? Такие легенды все равно никакими отрицаниями, опровержениями не остановить, тем более что отец действительно еще не так давно ходил с толпой паломников в одну обитель... Он любит подобные путешествия. Ему приятно потолкаться в толпе народа, прислушаться к тому, что там говорится, иногда и самому, при случае, затеять беседу на известные темы. Обыкновенно в толпе, идущей издалека, отца не знают. А это ему приятно. В Москве же к нему, к его фигуре пригляделись на улицах. Стоит ему показаться (какой бы костюм он ни надевал), как его узнают, на него указывают пальцами. Мы ехали с ним как-то утром в трамвае. Тут было много народа, как всегда по утрам: кто на службу, кто в учебные заведения. Так что мест для сидения не было. Мы стояли. Вдруг слышим: «Лев Николаевич, садитесь! Мы потеснимся как-нибудь...» — говорит совершенно незнакомый господин. Мы же думали, что никто нас не знает. При словах господина все, как по команде, взглянули на папу. И произошла неожиданная овация: отца узнали, стали снимать шапки, раскланиваться, давать нам место. Отцу пришлось благодарить. Но хотя нам и надо было ехать далеко, при следующей же остановке по знаку, сделанному мне отцом, мы сошли на улицу. Но бывают еще более неприятные встречи. Как-то отец попал один к Сухаревой башне. Лавочники его узнали и натравили на него мальчишек. Никто не посмел коснуться отца, но свистки вдогонку ему все-таки раздавались. Папа потом говорил: думал, что в него полетят булыжники мостовой... Не правда ли, «приятно» при таких условиях делать по Москве прогулки? В Ясной же Поляне ничего подобного нет».

Когда Т-й и его семья приехали в Бегичевку помогать голодающим, то один священник говорил на станции речь народу, в которой предупреждал не принимать помощи от Толстого, называя его «антихристом». По словам М. Л., в первое время ей очень часто приходилось выслушивать такие фразы: «Иди, иди, матушка, со своим хлебом. Не надо нам антихристового подаяния».— Только потом, когда народ убедился в искренности и плодотворности помощи семьи Толстого, те же лица расспрашивали, отчего отца ее «духовенство зовет антихристом». (Все это передавалось мне М. Л. с неподдельным сокрушением.)

В тот же день, вечером. Лев Николаевич с Татьяной Львовной и Львом Львовичем приехали в $5^1/_2$ часов после обеда из Тулы в коляске, запряженной прекрасной четверкой вороных коней. Как богатый помещик, одет Т-й в приличное, хотя и скромное пальто и мягкую, вероятно, связанную шапку. Я смотрел из окна и видел, как легко, бодро, весело он выскочил из коляски.

Едва приехав, Толстой стал рассказывать мне и другим, его встретившим, о тех тяжелых сценах, которые видел в местах голодовок, где устраивал народные столовые. По поводу этих столовых он ездил хлопотать в Тулу, к губернатору.

Однако когда я стал его расспрашивать, то он замкнулся, махнул рукой и сказал: «Тут ничего не расскажешь!.. Надо самому все видеть на местах...»

Но вот приехала из Москвы в дорожно-нарядном костюме графиня Софья Андреевна, несмотря на седину в гладкопричесанных волосах и морщины, сейчас же стала оживленно сообщать мужу о своих встречах и впечатлениях...

Льву Николаевичу вся эта светская болтовня, видимо, была не по душе: он угрюмо молчал, уставясь в пол. Графиня заметила настроение мужа и перешла на другие темы.

Графиня постарела, осунулась за этот год, что я ее не видел. Она, вероятно, никогда не была красива, что не мешало, надо думать, ей быть очаровательной в молодости, судя по виданным мною в Ясной Поляне ее портретам. У нее большие, выдавшиеся зубы, и это ей не к лицу. Но от нее веет настоящей барыней. Одевается она просто, со вкусом, «к лицу». Речь ее умна, метка, блещет резкими выводами. Вообще это оригинальная, выдающаяся женщина. Насколько я мог заметить, с мужем у нее в смысле идей, симпатий, антипатий и т. д. мало общего. Нет-нет да и зазвучат у графини по отношению к мужу властные, резкие, гневные, осуждающие нотки. Она смело с ним спорит и, не стесняясь присутствием постороннего, не только ему оппонирует, но и высмеивает его... А Толстой при этом как-то съеживается, молчит, поднимает свои сутулые плечи и густо, до слез краснеет.

Кузминские [13] вносят шум и суету в дом Толстых. А все же в Ясной Поляне дышится хорошо: при радушии хозяев каждый делает что хочет и может устроиться так, чтобы видеть других лишь за общими незыблемыми обедами и чаями...

Толстой не напал на меня, как в прошлый мой приезд, за службу мою в военно-судебном ведомстве, а только задал ряд вопросов, в которых чувствовалась ирония. Вот мой с ним диалог:

— Вы продолжаете служить в судебном ведомстве?

— Продолжаю.

— А вообще сколько лет вы служите в войсках?

— Двенадцать.

— Только двенадцать?! А помощником прокурора?

— Второй год.

— Только второй?! И сколько получаете содержания? — и т. д. в том же духе.

За столом он рассказал детям сон о спичках. Сущность сна: Л. Н. просыпается. Чувствует, что откуда-то дует, да так, что отдувает скатерть на столе. Он истребляет коробку спичек, чтобы посмотреть, откуда ветер, но спички не зажигаются... Берет серные спички у Льва Львовича — и те гаснут. Тут он на самом деле просыпается. Вот и весь сон. Но надо было слышать, насколько художествен был самый рассказ о таких пустяках...

Из разговора с Л. Н. я увидел, что он пишет теперь о «войне», занят составлением отчета о помощи голодающим. Чертков прислал ему прочесть один псалом Давида, который Л. Н. тут же прочел и мне вслух, не найдя в нем, по его замечанию, «ничего интересного». Семья встретила Л. Н. с видимой радостью. Ваня — в восторге от его возвращения. Ваня за время, когда я его не видел, подрос и стал еще интереснее, будучи по-прежнему общим любимцем, баловнем и близких, и прислуги. Лев Николаевич тоже уделяет ему много внимания и ласки. Ребенок, однако, производит впечатление болезненного, хилого. У него на лице явные признаки золотухи. Хотя, как и в первый мой приезд, он крайне подвижен и шаловлив. К нему приставлена старушка няня, очень симпатичная русская женщина, насколько мне известно, долго бывшая няней в семье Толстых. По поводу болезненного вида Вани у меня с нею произошел такой интересный разговор. Она объясняет золотушность ребенка тем, что он появился на свет Божий тогда, когда родители его были уже пожилые, уставшие от жизни люди. Вот ее слова: «И граф, и графиня — старики... Им не стыдно, в такие-то годы, заниматься такими делами! А ни в чем не повинное дитя от этого терпит!.. Бесстыдники!..» (Это было сказано мне наедине.)

Графиня мне рассказывала, что у Ванечки удивительное доброе сердце. По ее словам, он не по-детски развит и понимает из окружающего многое, что в его возрасте недоступно детям.

Мой разговор с Т. о Ге, художнике, который пишет распятие Христа. Христос распят, по словам Льва Николаевича, на особом низком кресте, упираясь пальцами ног в землю. По замечанию Л. Н., так и должно было быть в действительности. Я рассказал Толстому о том, как К. П. Брюллов сделал со своим натурщиком, чтобы написать распятие. Мне передавал художник М. Е. Меляков, учившийся у Брюллова, что тот надолго привязывал веревками к кресту голого натурщика, чем вызывал его страдания, за что щедро ему платил. Толстой этим возмущался. Ге пользуется моментальной фотографией с натурщика, привязанного на непродолжительный срок к кресту.

14 сентября. Ясная Поляна. С утра гуляю по парку. Лев Николаевич посылает человека искать меня. Беседуем с ним. По просьбе его пишу прошение двум крестьянам в съезд уездных земских начальников. Крестьяне приговорены к тюремному заключению земскими начальниками за мошенничество и с улыбками сознаются мне в том, что действительно сплутовали. (В тот же день я сообщил Л. Н., что ведь крестьяне — мошенники. Он отвечает: «И я в этом не сомневаюсь. Но виноваты не они, а обстановка. Ведь этот немец Геннке, с которого они хотят вторично взять деньги, изнурял их работой под землей, тянул из них все соки...») Вторично идем с Т. в парк. Тут, около площадки, у ореховой аллеи, происходит забавная сцена (несмотря на проповедь Л. Н. против пьянства, как нарочно нам с ним по пути попадаются пьяные). Едва мы стали выходить на площадку у аллеи, как Толстой с улыбкой удержал меня за руку, говоря шепотом: «Полюбуйтесь!» Я увидел мужика, шедшего через площадку, совершенно пьяного, как бы боязливо озирающегося по сторонам. «Это наш садовник,— заметил Лев Николаевич.— Он не раз давал мне слово бросить пьянство. Но не выдерживает и опять запивает... Теперь ему стыдно было бы со мной встречаться... Вот он и оглядывается по сторонам, в надежде не попасть мне на глаза... Он не подозревает, что я все вижу...» На мое предложение окликнуть пьяницу, уличить его, пристыдить Л. Н. повел меня далее, говоря: «Все равно догадается, что мне его поведение известно...»

За завтраком Лев Николаевич указал мне на елку с тупой вершиной, видную из окна столовой, и сказал: «Видите ли вы эту елку? Часто, смотря на нее во дни моей молодости, я думал: неужели суждено мне дожить до того времени, как она сравняется вершиной с этим окном?! А теперь она уже переросла окно... Да! По росту деревьев можно проследить приближение старости».

M-me Кузминская, несмотря на мои просьбы, начала при Толстом разговор о моем рассказе «Против убеждения». Под таким заглавием рассказ мой был в 1892 г. напечатан в журнале «Вестник Европы». В сборнике же моих рассказов он назван мною иначе: «Розги». В рассказе описывается, как молодому офицеру, принципиально отрицающему насилие над ближним, а тем более телесные наказания, по долгу службы после тяжелых душевных переживаний для примера и острастки подчиненных ему нижних чинов приходится высечь розгами провинившегося молодого солдата.

Лев Николаевич заявил, что он был возмущен этим рассказом. «Позвольте мне объяснить...» — начал было я. «Никаких оправданий! — отрезал Толстой.— Если бы ваш герой засек солдата, то это было бы лучше. Такие личности, как выведенный вами офицер, на все способны». Я заметил, что офицер вовсе не мой герой, но что я не желаю продолжать этого разговора, видя, что он, Лев Николаевич, заранее, предвзято не хочет выслушать моих объяснений. Тогда, с улыбкой, он сказал. «Ну объяснитесь! Я пошутил...» Когда же я изложил ему цель рассказа — поднять, в цензурных рамках, вопрос о телесных наказаниях в войсках, он заметил: «Ну, тогда надо было и написать яснее, а не размазывать! Лучше уж совсем не писать...»

С 6 часов вечера до $9^1/_2$ мы гуляли сегодня с Львом Николаевичем вдвоем за пять верст по шоссе, по направлению к Туле. Тихий осенний вечер. Пахло гниющими, увядшими листьями берез (и вянущим сеном). В двух местах было видно зарево пожаров, скоро угасших, и Толстой заволновался. Где-то в лесу кричал

филии. Много пьяного, по случаю праздника, народа возвращалось из города. Толстой остановил на дороге двух подвыпивших мужиков и стал усовещать их за то, что они выпили. Мне было интересно следить за беседой и умением Л. Н. говорить с простым народом. Мужики были из других мест и не узнали (или вовсе не знали) Льва Николаевича, приняв его за прохожего старика. Мужики в репликах все подшучивали и бестолково спорили. Но один из них привел следующие аргументы в оправдание пьянства, в защиту вина: 1. В церкви допускаются вино и елей. 2. Христос на браке в Кане Галилейской претворил воду в вино: все пили и веселились. 3. Царь водку гонит (акциз). Напрасно Толстой уговаривал их ударить с ним по рукам и дать зарок не пить больше ни водки, ни вина: они отказались. Когда мы разошлись с мужиками, Толстой сказал мне: «И так вот всегда срежут этими тремя доводами!.. Не станешь же зарываться в более подробные объяснения!..»

Заношу еще некоторые подробности этой характерной встречи. Один из пьяных все время называл Толстого «господин купец». Он же более всего и спорил с Львом Николаевичем. Начал беседу сам Толстой, к которому мужики обратились с просьбой указать дорогу им для ночлега. Он стал доказывать им вред, пагубность порока пьянства, отзывающегося даже на будущих поколениях. Тогда один из мужиков и привел ему три довода, загибая после каждого из них к своей ладони пальцы и окончив таким, общим выводом: «Что же, господин купец... По-твоему выходит, что ни церковь, ни Христос, ни батюшка-царь не знают, что делают?..» Когда же Толстой, указывая на меня, бывшего в военной форме, сказал мужикам: «Вот и этот офицер не пьет»,— то один из них, спорщик, с сомнением возразил: «Может ли быть?.. Верно, на словах только и не пьет... А дома, т. е. наедине... того-с!» (и он жестом по шее показал, как в горло льется водка). Толстой убеждал мужиков идти в «соседнее имение» (Ясную Поляну) — переночевать, чтобы их, пьяных, в поле не ограбили. Но я не знаю, воспользовались ли они его предложением. После этого разговора мы продолжали прогулку по направлению к Туле...

Подходя к Ясной Поляне, Толстой восторгался запахом увядавших листьев. Мы встретили какого-то придурковатого подслеповатого пожилого крестьянина, в пальто с огромными карманами. Это оказался старый знакомый Льва Николаевича, как он мне объяснил, сумасшедший, именующий себя «князем Блохиным» и «Романовым». Толстой долго с ним дружески разговаривал и направил его на ночлег в Ясную Поляну. Лев Николаевич говорил с ним серьезно, точно с душевно нормальным человеком, расспрашивал его о том, где тот был, откуда идет, почему так долго не приходил в Ясную Поляну, что несет в котомке за плечами и т. д. Субъект этот, хотя и отвечал на его вопросы, но невпопад, иногда уклончиво, глядя на Толстого сияющими, любовно улыбающимися глазами. Когда мы пошли с Толстым далее (а «князь Блохин», прихрамывая направился к Ясной Поляне), Лев Николаевич рассказал мне вкратце биографию несчастного, добавив: «Это большой мой приятель! Он — юродивый. Ходит по имениям, живет подаянием. Я люблю таких, как он. Иногда у них вырываются удивительные мысли. В них проявляется удивительная наблюдательность. И в доме у нас его все любят».

У самого дома Толстой подробно и точно указал мне положение созвездий Большой и Малой Медведицы на небе. По его словам, ему особенно нравится Большая Медведица. Когда с прогулки мы подходили к дому, все небо было покрыто звездами, дышало ими, переливалось огнями. Лев Николаевич, остановившись, закинув голову, долго любовался этой дивной картиной звездного неба. Я также. В обоюдном нашем молчании чувствовалось слияние наших душ в восторге перед тайнами Божества... Не забуду этой минуты! Вот бы тема для портрета Толстого.

15 сентября утром. После завтрака Л. Н. куда-то ушел. Я пошел пройтись по парку. Недалеко от барского дома есть в Ясной Поляне так называемое «дерево бедных», у которого Толстой обыкновенно принимает посетителей, обращающихся к нему с просьбами, в том числе и крестьян. На этот раз у дерева с ним говорили трое крестьян. Я неожиданно натолкнулся на эту группу, и мне ни-

чего не оставалось, как присутствовать при конце беседы. У крестьян, судя по тому, что я слышал, был какой-то имущественный спор. Отец привел на суд Толстого двух своих сыновей. Сыновья возражали отцу. Подробностей дела я усвоить себе не мог. Но слышал, как Толстой изрек свой приговор в духе миролюбивого прекращения спора, взаимных уступок и любви. По-видимому, обе стороны остались его решениями недовольны. Мужики, надев на головы снятые до того перед Л. Н. шапки, угрюмо, молча пошли в деревню. А Толстой пошел к себе в дом.

Лев Николаевич поразил меня в этот вечер своей памятью. Он наизусть читал многие стихотворения Пушкина, Тютчева («Как океан объемлет шар земной»). В стихотворении Пушкина «Телега жизни» два нецензурных слова, там находящиеся, он изобразил комичным мычанием.

Лев Николаевич, сев к роялю, стал разбирать по нотам Шопена. Хотя пальцы его уже загрубели, но беглости еще не утратили. Читает он ноты хорошо, быстро.

Поздно вечером, когда мы все еще были заняты спором о литературе, а Татьяна Львовна рисовала карандашом в свой альбом портрет Попова, толстовца, пришли сказать, что «князь Блохин» танцует в людской. Мы все, сидевшие в столовой (и Лев Николаевич), побежали (в буквальном смысле этого слова) через двор смотреть на это представление. На дворе было темно, а в помещении освещено. Блохин действительно танцевал с азартом с девками, сбросив с себя пальто, притом так комично, что Лев Николаевич, стоявший под окном, удерживаясь, чтобы не выдать нашего присутствия, покатывался от смеха. Он потом весь вечер без смеха не мог вспомнить, как Блохин, меняя танцевавших с ним девок, хотел во время танцев взять одну из них — свою «даму» за талию, та не давалась, говоря жеманно, конфузливо: «Не надо!!» — «Нет-с, позвольте!» — уговаривал ее Блохин. «Это очень приятно-с!» (нам все было видно и слышно). Толстой удивительно верно передавал потом и выражение, интонацию голоса и выражение придурковатого Блохина, неожиданно для всех оказавшегося галантным кавалером.

16 сентября. После завтрака я, Лев Николаевич, две его старшие дочери, дочь Саша и два сына-подростка по инициативе самого Льва Николаевича отправились на прогулку, которая тянулась почти без отдыха от двенадцати до пяти часов. День стоял чудный, осенний, и Лев Николаевич был в отличном настроении духа. «Ну, уж и заведу я вас в такие места,— говорил он нам,— только держитесь!» И, действительно, завел нас верст за восемь от дома, в густой лес; приходилось ползать по оврагам, переходить ручьи. Я при переходе одного ручья по колено, перенося Сашу Толстую, промочил ноги, но девочку спас от холодной ванны. Лев Николаевич сначала от души смеялся над этим происшествием и заметил мне: «Вы спасли меня от простуды! Я только что хотел идти, ступить на кладку раньше вас, и провалился бы!» Но затем он всю дорогу волновался, чтобы я не простудился, не давал нам поэтому подолгу отдыхать, чтобы мои ноги не остыли, и все говорил: «Простудитесь! А жена ваша потом скажет, что это я виноват со своею прогулкой!».

Что за неутомимый ходок Лев Николаевич! Мы все чуть не падаем от изнеможения, а он идет себе вперед легкой, ровной походкой, шутя преодолевает овраги и косогоры. Всю дорогу по лесу он прошел без шапки, которую снял. (В этой белой, мягкой фуражке он удивительно похож на картину Репина «Пашущий Толстой».) Его широкоплечая, сутулая, все еще мощная фигура, небольшая, характерная голова с лысинкой и торчащими волосами, большие некрасивые руки, которыми он размахивает на ходу, палка в руке — все это мне почему-то напоминало (когда смотришь на Толстого сзади) фигуру какого-нибудь одичавшего лесного человека, бредущего по чащобе.

Толстой несколько раз во время прогулки брал детей за руки и бежал с ними по лесу или по полю, или шел ускоренно. Когда мы проходили вдоль лесной просеки, тянувшейся версты три, то поперек ее лежало несколько больших упавших деревьев. Толстой вздумал сам перескакивать через них и увлек в эту забаву кое-кого за собой. Глядя на скачущего Льва Николаевича, я удивлялся при этом, как много в нем еще сил, энергии, живости, бодрости тела и духа...

На обратном пути мы с Львом Николаевичем говорили о той нужде, о той темноте, наконец, о той беспомощности, которые встречаются у русских крестьян по деревням. Когда мы проходили через какую-то деревню, Толстой мне говорит: «Не хотите ли, кстати, посмотреть, что делается у крестьян, когда к ним в хаты забирается повальная болезнь?.. В этой деревне сейчас больны натуральной оспой мой близкий знакомый крестьянин и члены его семьи. Все беспомощно лежат вповалку. Я посылал за фельдшером, посылаю сюда из имения то, что может облегчить страдания. Мне надо навестить их... Зайдемте». Но я побоялся заразы и не пошел с Л. Н. С ним в одну из изб зашла только Марья Львовна. А мы, остальные, продолжали путь к Ясной Поляне. Через час вернулись и Лев Николаевич с дочерью, наскоро помылся и явился в том же самом костюме, в каком гулял, к чаю, не приняв никаких мер против возможности занести своим близким заразу... Мне теперь досадно, что я не принял предложения Толстого и не зашел к больным: вышло, что я как будто бы только на словах сочувствую страждущим близким.

Возвращаясь вдвоем с Толстым с одной прогулки (прочее общество, слишком уставши, решило отдельно ехать домой на встречной подводе), я заговорил о том, что чувствую, что приездом моим, быть может, стесняю Л. Н. и его семью; что я, вероятно, уже более к нему не приеду и т. д. «Не беспокойтесь,— ответил с доброй улыбкой он.— Я, напротив, с удовольствием и о многом с вами беседовал, художник Ге говорит часто: «Человек всего лучше. И это очень верно!»

В тот же день вечером. Во время обеда опять все сидели за столом на двух концах: на одном (так сказать, «барском») графиня как хозяйка, члены ее семьи, сестра ее Кузминская со своими детьми и я, на другом Л. Н., Марья Львовна и толстовцы. Что такое подавалось Толстому и обедавшим с ним — не знаю. Но Л. Н., попробовав какой-то жижицы, которую ел ложкою, сказал, обращаясь к графине: «Ох, Соня, тут что-то мясным попахивает...»

Весь остальной вечер прошел в оживленных прениях о семье, семейном счастье и супружеской любви. Общество разделилось. Лев Николаевич и Марья Львовна — выше семейной любви ставят любовь к людям. Я, Т. А. Кузминская, графиня отдаем предпочтение семейной любви (любви между супругами, любви родителей к детям), Татьяна Львовна уверяла, что каждый раз, как она хотела выйти замуж, отец представлял ей ее женихов и брак с ними в таком комическом виде, что она разочаровывалась. «Ты, папа,— прямо сказала она Льву Николаевичу,— ничего не имел против, когда женились сыновья, а мешаешь выходить замуж дочерям». Лев Николаевич сконфузился, покраснел, деланно засмеялся и стал отнекиваться.

Я коснулся поневоле своего семейного счастья. Толстой, которому я показывал карточку моей Кати, бывшую со мною, и который нашел между нами, как он выразился, «удивительное, ну просто удивительное сходство»,— прощаясь со мною при моем отъезде, обнимая и целуя меня, сказал: «Так кланяйтесь от меня вашей хорошей жене!» Для того, чтобы стала понятна эта фраза, я должен сказать, что Лев Николаевич и Софья Андреевна много, подробно расспрашивали меня о моей Катюше, о нашей женитьбе, детках; причем я рисовал мою жену с самой лучшей стороны как женщину, супругу и мать. Это их и растрогало.

Пробыв с Львом Николаевичем хотя несколько часов, чувствуешь ум, силу, обаяние его личности, несмотря на то, что он старается не производить на тебя нравственного давления. Усвоив себе его манеру говорить и держать себя, вы скоро, однако, начинаете на себе испытывать невольный гнет его внушительного молчания или уклонения от прямых, категорических вам ответов. Вы приезжаете к нему в Ясную, заранее составив себе программу тех вопросов, которые вы ему станете задавать. Но Толстой — такая величина, такое «я», такая царственная особа, которая не привыкла подчиняться навязываемым программам. Едва поэтому вы начинаете наводить разговор со Львом Николаевичем на заранее намеченную вами тему, как он вырывает из-под ног ваших почву, на которой возможны были бы с ним споры, компромиссы, соглашения, общие выводы. Так было, например, со мною, когда зашла у меня с ним речь о суде, судебном ведомстве, моей службе и т. п. Личное мое мнение, конечно, сейчас же оказалось ничем в сравнении с мнением его, Толстого, которое он и тут вполне не высказывал, но которое вытекало из самой постановки обличающих меня, мою военно-судейскую деятельность, отчасти иронических вопросов. Оказавшись сразу же в неловком положении, я попробовал было сослаться на авторитеты, назвав ряд великих людей, весьма признанных ученых русских и европейских в прошлом. Но у Толстого на все это один насмешливый вопрос-ответ: «Какие же это, помилуйте, авторитеты?!» Таким образом уничтожается и эта последняя почва, на которой я мог бы отстаивать свои убеждения... При такой постановке споров скоро доходишь до полной растерянности, до полного душевного изнеможения. Недаром во время одного из таких кратких, оборванных споров со Львом Николаевичем я дошел до такого нервного состояния, что стал против воли дрожать всем телом. Толстой сейчас же заметил. «Однако какой вы нервный! — сказал он.— Что с вами?» Из окружающих Т. только одна графиня Софья Андреевна говорит мужу (притом довольно часто) в глаза едкую правду, именно на почве его личного «я», без ссылок на какие-либо авторитеты, т. е. усвоив хорошо себе его же систему споров. Тем не менее побывать в Ясной Поляне, как я испытал на себе, очень и очень полезно: тут все время говорит в тебе совесть и не удаются попытки обмануть себя софизмами, компромиссами. «Какое счастье, что я знал Л. Н. Толстого!» — могу я воскликнуть.

Странное впечатление производит Толстой у себя дома: точно он находится только в гостях или в гостинице, на станции проезжей дороги... Такова и манера его держать себя, ни во что, касающееся домашних порядков, не вмешиваясь или закрывая на неприятное ему глаза. Поразила меня его разорванная блуза, на нем бывшая, точно в доме, полном женщин, некому ее зашить, поставить заплату. Или, быть может, он сам этого не позволяет делать?..

Когда поживешь в Ясной, подышишь ее семейным воздухом, приглядишься к ее нравам и порядкам, к типам, окружающим великого Толстого, то видишь тот ад его личной жизни, который отчасти создался благодаря особенности его характера, отчасти образуется независимо от него самого, силою обстоятельств.

...Новые сцены. В столовой свежо. Толстой сидит за разборкой корреспонденции, только что принесенной со станции. Ему помогает Марья Львовна. На плечи Толстого накинут теплый плед. Письма просматриваются самим Толстым, и тут же решается их судьба. «Спрятать!» «В корзину!» «Надо ответить!» Раздаются замечания Толстого вполголоса. И тут же произносятся им слова, не особенно-то лестные по адресу некоторых пишущих. Между письмами попалась бандероль. В ней газета. «Наверное, ругань!» — говорит Толстой. Вскрывается бандероль. В ней статья, подчеркнутая красным карандашом. «Нет! — произносит М. Л., поджимая губы,— статья о вас, папа, хвалебная!» — «В корзину ее! — быстро произносит Толстой.— Я ее читать не стану...».— «А я прочту...» — роняет Марья Львовна и захватывает с собою статью... Толстой не протестует. По уходе Марьи Львовны мы остаемся в столовой вдвоем с Толстым. Он еще более удобно устраивается в мягкое кресло, закутывается еще более в плед и смотрит на меня своими испытующими, насквозь пронизывающими душу, точно тебя ощупывающими, но все-таки добрыми на этот раз глазами. «Значит, от меня ожидается начало беседы? — думается мне.— А о чем начинать, чтобы и себя не уронить, и не показаться такому исключительному собеседнику, как Лев Николаевич, скучным и, чего доброго, ординарным?!» Но и молчать не приходится. «Ну, Господи, благослови!»

...Когда у меня иссяк наконец источник моих вопросов, Лев Николаевич, видя мое неловкое, тяжелое положение, точно сжалился надо мною и сам стал избирать темы, наводить на споры, так сказать, зондировать мою душу, со мною ближе знакомиться. Мне кажется, что все время он ждал от меня какого-то признания, исповеди, что ли, после которой я откажусь, например, от дальнейшей моей военно-судебной карьеры... В конце концов, отбросив и разные вопросы, Толстой стал обходиться со мной только как со знакомым, попутно вытягивая из меня нужные ему для его соображений и планов сведения из военно-тюремной части,

по еврейскому вопросу, о моем общественном положении. И едва я, бросив, перешел на личную мою жизнь, как он стал удивительно ко мне добр и ласков, вникая даже в мелкие подробности моей семейной жизни. Быть может, ему, меня близко не узнавшему, казалось, что я считаю себя крупным литературным талантом, нахожу свою военно-судейскую деятельность безукоризненной, чуждой каких-либо упреков и подозрений... А когда он увидел, что ничего этого во мне нет, то смягчился, понял, что был со мною резок, не прав, и рад был при случае сказать мне ободряющее, сочувственное, доброе слово, притом перед моим отъездом. Но довольно—задним числом роюсь в воспоминаниях, блуждаю мысленно по единственной во всем мире Ясной Поляне, около ее обитателей! Чувствую бессилье набросать общую, верную картину...

* * *

10 ноября 1903 г. Не думал я еще раз посетить когда-либо Ясную Поляну. Но за последнее время в Вильне мне пришлось пережить, перестрадать столько подлостей от представителей гнусного военно-судебного ведомства, в котором я имел несчастье служить, из-за дела об убийстве жандарма Николаева *, я так устал от борьбы с бесчисленными врагами, и явными, и тайными; жестокий, несправедливый перевод мой из Вильны так нарушил душевное равновесие, а разлука с семьей настолько представлялась мне тяжелой, что я по дороге в Москву, чтобы набраться новых сил для продолжения борьбы и желая подышать иным воздухом около великого старца, решил, не спрашивая на то предварительного согласия Л. Н. Толстого и жены его, свернуть несколько в сторону с прямого пути к новому месту службы и проверить свою совесть совестью яснополянского философа-моралиста. Мне казалось, что, выслушав мою исповедь, он поймет меня, мотивы моей борьбы за правду, а поняв, сочувственно, дружески пожмет мне руку.

Приехав утром 8 ноября, я не застал Льва Николаевича, который ездил за 35 верст к старшему брату Сергею, по-видимому, угасающему [14]. Часов около двух приехал и Лев Николаевич. Он немного осунулся и постарел со дня нашей последней встречи, но еще бодр, несмотря на физические недомогания и довольно долгий путь. Когда я заметил ему, что вообще он удивительно бодр, Лев Николаевич ответил: «Принято говорить, что в здоровом теле здоровый дух. А у меня наоборот: чем более я болен, тем моя мысль работает успешнее... Сегодня, например, я плохо спал, мне нездоровилось. А мысли так и скопились в голове».

В Ясной Поляне наружно мало что изменилось. Графиня тоже постарела, но такая же чудная, кипучая, добрая и справедливая «жена гения».

Фруктовый сад разросся. Зато березовая аллея, ведущая к дому, как бы поредела, и когда я въезжал, мне казалось, что старые деревья, кланявшиеся мне при встрече, как старому знакомому, боязливо шептали о скорой своей смерти. Елочки, посаженные в аллее на смену деревьям, которые видел в прошлый раз, заметно подросли. Выросла и та елка, которая видна из окна второго этажа (столовой) и о которой Лев Николаевич когда-то говорил мне, что по росту ее он следит за тем, как уходит, склоняется к закату его жизнь. Из детей Толстых живет теперь в Ясной Поляне только Александра Львовна. За годы, что я ее не видел, она из ребенка-подростка превратилась в красивую, полную, румяную, русского типа девушку. Когда я напомнил ей нашу встречу 9 лет тому назад и то, как я промок, переходя с нею канаву, благодаря подломившейся перекладине, она сказала, что меня не забыла, но такой случай улетучился из ее памяти.

Татьяна и Марья Львовны вышли замуж [15], были бы счастливы в семейной жизни, как говорит Софья Андреевна, если б у них рождались дети. Но у обеих

* Из дневника Жиркевича: «...Целый месяц я не принадлежал себе, погруженный в тайны и разоблачения подробностей возмутительного убийства жандарма Николаева в Виленском военном госпитале. Здорового человека посадили в сумасшедший дом, где его убили служители. Пришлось вырывать и вторично вскрывать труп погибшего. И какой мирок военно-врачебных душонок я открыл! Что за типы, что за бессердечие и подлость!» (27 ноября 1902 г.).

«...Быть может, я и пострадаю по службе или буду вынужден искать другую службу, но не буду молчать, а стану говорить правду о смерти несчастного жандарма Николаева и о порядках Виленского военного госпиталя...» (24 апреля 1903 г.).

постоянные выкидыши, что графиня объясняет мне вегетарианством и уродливой жизнью, которую обе вели благодаря Льву Николаевичу. Все это произносила графиня Софья Андреевна с истинным сокрушением, со слезами в голосе. Она в течение моего пребывания раза три возвращалась к той же теме разбитой жизни дочерей. Графиня передавала мне, что обе дочери вышли замуж неудачно, за первых попавшихся, особенно Марья Львовна, лишь бы вырваться из дому на свободу. Лев Николаевич своими выходками, присутствием толстовцев распугал, по словам графини, из дома «настоящую молодежь»... Я не заношу полностью того, что она рассказывала, чтобы не загромождать дневника лишними подробностями, повторениями. В какой-то записной книжке ряд страниц наполнен обрывками ее жалоб и протестов. Трудно решить, кто здесь действительно прав, кто виноват.

Сам Лев Николаевич погружен теперь в статью о Шекспире [16], в личную переписку, в дела добра, в борьбу с неправдою. Его глаза сверкают, как у молодого, движения его быстры. Только от худобы немного более сгорбился и уши его, огромные, типичные, с волосами, точно мхом густо поросшие, еще более торчат по сторонам удивительно красивого, правильно развитого черепа.

8 ноября. К вечеру Л. Н., чувствуя себя не совсем хорошо, надел желтый халат, туфли, черную ермолку и удивительно стал похож на Иоанна Грозного, как его рисуют на картинах, в монашеской одежде.

Я застал в Ясной Поляне еврея врача Георгия Моисеевича Беркенгейма и Хрисанфа Николаевича Абрикосова [17]. Потом явился Евгений Ив. Попов, толстовец, которого я встречал уже у Толстого ранее, в прошлый мой приезд. Встречи мои с Поповым и Абрикосовым носили в себе характер как бы предопределения судьбы, так как я узнал от них случайно многое об осужденном Егорове *. Егоров — тот самый молодой солдат-толстовец, в судьбу которого я вмешался на основании дела о нем полкового суда, бывшего у меня как помощника военного прокурора на ревизии. У меня в бумагах сохранились документы об этом Егорове, равно как и о том, как я старался спасти его в Бобруйском дивизионном батальоне от розог зверя полковника Успенского, а затем, когда по секретному приказу военного министра его услали в глушь Сибири, на крайний ее Север, старался поддержать материально. Тут недавно во время переписки моей с Л. Н. Толстым оказалось, что и он занят судьбою Егорова. Тогда я стал помогать Егорову через Толстого. Об этом есть следы в письмах ко мне Л. Н., где Егоров скрыт от читающих переписку жандармов под буквой «Е». По словам Попова, это тот самый арестант, который изображен у художника Касаткина [18] в его картине между двумя конвойными. Касаткин и писал с него этюд для этой картины.

Лев Николаевич не сидит, как прежде, особо на конце обеденного стола с толстовцами, а толстовцы перемешаны с остальными гостями, хотя и им, и Льву Николаевичу все-таки подают особые блюда. Поразило меня то, что Толстой уселся играть с доктором и Стаховичем [19] в карты (в винт). Играет он спокойно, не горячась и, по-видимому, интересуясь игрой. По рассказам С. А., он много ездит теперь верхом, и езда эта, видимо, не приносит ему вреда. Он вытирается простыней с холодной водой, пьет морковный сок, вообще лечится. Видимо, графине удалось-таки сломить в этом отношении его упрямство.

Толстой приходил в столовый зал ко мне урывками, но много раз и часто говорил со мной, всем интересуясь и по прежней привычке своей подчеркивая смысл ему сообщаемого. Раза два он уклонился от спора. Не забуду, как быстро вошел он вчера утром в столовую, как горячо со мною говорил вчера вечером!.. Не верится, что это человек, которого еще недавно врачи считали погибшим. Несомненно здесь играет роль бодрость духа, поддерживающая слабость и недуги стареющей плоти.

Графиня очень подробно, сочувственно расспрашивала меня о моей дорогой

* Из дневника Жиркевича: «Ко мне на ревизию попало дело солдата Егорова, отказавшегося принять присягу из-за религиозных убеждений. Свой поступок он обосновал текстами из Евангелия. Его засудили на три года, как за неповиновение начальству. Попробую облегчить его участь в дисциплинарном батальоне. Мне ужасно жаль этого солдата», (21 мая 1896 г.).

Кате, о смерти нашей Варюши *. Раиа, нанесенная ей самой смертью Ванечки, до сих пор, видимо, еще ие зажила. Она передавала мие о том отчаянии, с которым первое время искала по дому умершего ребенка, точно живого...

Одиу иочь я спал в зиаменитом бывшем кабинете графа Л. Н. Толстого (нарисованиом с иатуры на картине Репина, в центре которой Л. Н. Толстой) [20]. В каменные своды комнаты ввинчены огромные кольца: здесь ранее была кладовая с припасами, и вешали ветчину. Другую иочь я спал в библиотеке Льва Николаевича, уступив свою комнату приехавшим Стаховичам.

Будучи у Толстого, я передал ему содержание дела об убийстве в Вильне жандарма Николаева, из-за которого меня убрали иасильствеино из Виленского военного округа. Но, по-видимому, эта история мало его заинтересовала.

С большим интересом выслушал Толстой рассказ мой о моих трудах по военно-тюремной реформе вообще и об общих гауптвахтах в частности **. А как бы радовался Л. Н., если бы я взял да и отказался от дальнейшей службы по-военно-судебному ведомству, хотя этого, по своему обыкновению, мие прямо в глаза он и не высказал! Но не могу же я перекраивать мою жизнь вопреки здравому разуму!.. Не буду же я врать в чью-либо угоду! В это мое пребывание у Л. Н. я заговорил как-то с ним о моих посещениях тюрем... «Что же вы там делаете?» — спрашивает он. «Облегчаю участь, даю юридические советы, борюсь с тюремными непорядками... Раздаю Евангелия...» Толстой иасторожился. «И книги?» — спрашивает он.

«Нет, книг я ие раздаю, т. к. это не разрешается тюремным уставом. Иногда мною устраиваются с узниками особые собеседования, чтения...» — говорю я. «А между ними попадаются и сектанты?» «Да!» Толстой подробио останавливается на том, какие это сектанты, т. е. какого толка. «Нет ли между ними так иазываемых толстовцев, непротивленцев злу?» — спрашивает он. Я ему объясняю, что при моих посещениях гражданских мест заключения я, входя в тюремное помещение, сам нахожусь как бы под надзором тюремного режима и существующих правил. Поэтому мне и неудобио вникать в биографии даже тех сектантов, иа особенности вероучений которых указывает мне само тюремиое начальство. «При таких условиях,— холодно говорит Толстой,— какую же пользу могут принести ваши посещения?» Я опять толкую ему о том, как мне удается благодаря хорошему отиошению с начальством, с администрацией тюрем облегчать участь того или другого арестанта, например, принять от него записку по его делу и иачать по ней переписку, снять тяжелые кандалы с больного, удалить несовершеннолетнего из камеры (по его заявлению), где с ним забавляются по ночам взрослые арестаиты и т. д. Л. Н., видимо, ие удовлетворен моими объяснениями и качает отрицательно головой. Я знаю, что у него на уме: души узников... Он хочет сказать: «А души-то вы оставляете в покое?» И почему-то не высказывается вслух. Мне ясно, одиако, что моя тюремная филантропия в том виде, как я ее понимаю, его не удовлетворяет; но он и не осуждает ее, как бы извиняя.

Заговорили о войне с китайцами [21], о потоплении тысяч китайцев у Благовещенска, о том, что русские солдаты (народ) безжалостно издевались над китайцами. «Ведь это — люди высшей культуры!» — с негодованием воскликнул про китайцев Толстой. Я заметил ему, что русский простой солдат, русский мужик, сами иекультурные, и не слыхивали про высоту, значение китайской культуры. Мужику нашему просто смешно видеть, например, косу у китайца, болтающуюся у того за плечами: он его за нее и потянет, ие подозревая, что задевает того нравствеино. Нельзя и винить народ в темноте, грубости, если он необразован! «Не говорите! — горячо возразил мне Т.— Предсказано, что конец мира будет ознаменован, между прочим, и тем, что иачнутся бедствия, мор и т. п., и что «любовь

---

* В 1903 г. от молниеносной скарлатиик умерла одиннадцатилетняя дочь Жиркевичей.

** В 1901 г. Жиркевич впервые подает в Главный Штаб докладную о необходимости переустройства гауптвахт и мест заключения в России «на началах закона, дисциплины, науки, человеколюбия, евангельских заветов, элементарной справедливости, блага Родины». В дальнейшем он издаст ряд трудов на эту тему: «Военно-тюремные заведения в России и за границей» изд. Гл. Военно-суд. упр. 1904 г., «Пасынки военной службы», Вильно, 1912 г., «Гауптвахты России должны быть немедленно преобразованы...», Вильно, 1913 г.

охладеет». Любовь и охладевает... В русском народе я вижу это охлаждение любви, меня ужасающее. Прежде мужики беглых скрывали, а теперь по деревням их выдают, в Сибири же за ними охотятся, как на зверей. Это ли не охлаждение любви?!»

Он рассказывал мне с удивлением о том, как раио китайский ученый Лао-дзи проповедовал об уничижении. При этом Толстой прочел мне отрывок из своего календаря известного этого ученого [22].

...Мы сидим в столовой вечером. Горит лампа под абажуром. Уютно. Тепло. Графиня Софья Андреевна по обыкновению что-то вяжет. В соседней комнате Александра Львовна щелкает на клавишах «ремингтона». «Вы читаете по-французски?» — спрашивает меня Л. Н. и на мой утвердительный ответ берет книжечку с рассказами Мопассана и читает по-французски один из них, о похождениях какого-то аббата,— произведение, напоминающее о ненормальности писателя, но которое, видимо, Толстому нравится. Не зиаю почему, но, глядя на читающего Л. Н., я плохо вслушиваюсь в довольно-таки бесцветный фантастический, смахивающий на фельетон, выдуманный от начала до конца рассказ [23], т. к. думаю о самом Толстом...

Вот Л. Н. кончает чтение. Он медленно закрывает книгу. «Как вам нравится рассказ?» — спрашивает меня таким тоном, точно ответ мой для него безразличен. «Я читал его уже в переводе,— отвечаю я.— Но вообще мне Мопассан не нравится». «А-а-а...» — протягивает Толстой снова таким тоном, который заранее предрешает судьбу моих объяснений, если бы я с ними вздумал высунуться, т. е. я чувствую, что ему, Толстому, все равно, что бы я ни высказал, у него на Мопассана сложилось свое известное мнение [24]. Так на мнения других стоит ли обращать внимание?!

Л. Н. Толстой объявил мне, что я приехал неудачно, т. к. ему опять требуется уехать через два дня к больному брату, положение которого его тревожит, особенно же удручает настроение. Действительно, едва приехали Стаховичи, он стал собираться в путь, беря с собою и домашнего своего доктора. Мне казалось, что он бежит от светского общества.

Подана была к подъезду удобная прекрасная коляска, кажется, четырехместная, запряженная четырьмя отличными лошадьми. Опять Толстой уселся удобно, в угол, развалясь, одетый в хороший дорожный костюм, имея вид зажиточного барииа-помещика. Я глядел на отъезжающих из окна второго этажа, столовой. Наконец лошади тронулись, и коляска, издавая мягкий стук по аллее парка, скрылась из моих глаз, увезя от меня Льва Николаевича...

На прощанье Толстой обиял меня, еще раз извинившись за то, что должен меня покинуть так негостеприимно — ввиду особо сложившихся обстоятельств. Он был озабочен, угрюм, и глаза его из-под нахмуренных, густых седых бровей глядели как-то особенно сурово. Увидимся ли мы еще с ним? Прошлый раз я думал, что прощаюсь с ним навсегда. А мы все-таки свиделись. Никогда не надо говорить при разлуке «прощай», а лучше уронить более теплое «до свидания».

Перед отъездом из Я. Поляны мне хотелось взять для моего собранья литературных реликвий что-либо из вещей, носившихся Толстым. Но как это сделать? Попросить у него стыдно! Он, пожалуй, промолчит и этим молчанием хуже, чем высмеет... Так я и не увез того, чего желал... Зато облик Л. Н. со мной и не покинет меня, надеюсь, до самой моей смерти...

Какая разница в силе впечатлений! 12 лет тому назад я уехал из Ясной Поляны разбитый, потрясенный настолько, что заболел в Вильне по возвращении, несомненно, на нервной почве. А теперь я снова был там, на все глядел и все слушал сравнительно спокойно. Это, конечно, влияние лет. Да и Толстого как человека и философа я глубже понял за это время, благодаря изучению его печатных трудов. Многие недостатки его мне видны. Ореол славы его меня более не может ослепить. А люблю его сильно, беззаветно, люблю и... боюсь.

Я пробовал занести в эти заметки все то, что попало в мои беседы со Львом Николаевичем и его окружающими. Но вижу, как трудно это в точности исполнить! Да, наконец, просто не хочется вписывать в эту тетрадь многого, что оста-

вило лишь бледное впечатление и не может быть вылито в определенное, ясное, правдивое слово. В жизни важны не слова, а впечатления: они-то и воспитывают душу...

КОММЕНТАРИИ

[1] Сотрудники журнала «Современник» — Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович, Н. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. Фотография С. Л. Левицкого. 1856 г. Петербург.

[2] Сютаев Василий Кириллович (1819—1892) — крестьянин Тверской губ. Толстого интересовали взгляды этого крестьянина-сектанта, отпавшего от православия, они оказали большое влияние на писателя в период религиозных исканий. (ПСС, т. 25, с. 233—235, 834—835). Личное знакомство Толстого с В. К. Сютаевым состоялось осенью 1881 г., после которого Толстой записал в дневнике: «Был в Торжке у Сютаева. Утешение».

[3] Бюст работы Н. Н. Ге. 1890 г. — первый скульптурный портрет Л. Н. Толстого, который ему очень нравился: «Не для того, чтобы Вам сказать приятное, а потому, что так есть — Ваш лучше всех» — писал Толстой художнику 30 июля 1891 г. С. А. Толстая писала в своих записках: «Он (Ге) — усердно лепил бюст Льва Николаевича — сходство есть, а чего-то нет; чего-то хорошего нет: того, что любишь в Левочке и его лице».

[4] Дело солдата Шабунина Василия. 18 июля 1866 г. Толстой выступил в суде в качестве защитника солдата Шабунина, который был предан военно-полевому суду за то, что ударил ротного командира, жестоко обращавшегося с ним. В своей речи на суде Толстой пытался доказать невозможность применения к подсудимому смертной казни, но Шабунин был приговорен и 9 августа расстрелян.

[5] «Новое время», 1890, 7(19) июня, № 5125. Молчанов А. Н. (1847—?), беллетрист, публицист, корреспондент газеты «Новое время», встретился с Толстым 1 июня 1890 г. О своих посетителях этого дня Толстой записал в дневнике: «Корреспондент Молчанов — пустой, и Тульский Баташев и доктор еще пуще... Я очень не в духе» (ПСС, т. 51, с. 47); интервью Молчанова с Толстым было перепечатано в европейских газетах и имело широкий отклик (см. кн. «Интервью и беседы с Львом Толстым», сост. Лакшин В. Я., Л., 1988 г.).

[6] В конце 1887 г. по инициативе Толстого было организовано общество трезвости под названием «Согласие против пьянства». Текст листков с обязательствами вступивших в «Согласие» членов был составлен Толстым (ПСС, т. 90, с. 132).

[7] «Посредник» — русское просветительское издательство. Возникло в Петербурге в 1884 г. по инициативе Л. Н. Толстого. Руководители издательства: В. Г. Чертков, П. И. Бирюков, с 1897 г. — И. И. Горбунов-Посадов. Основная цель «Посредника» — издание доступной для народа по цене художественной, научно-популярной, нравоучительной литературы. В 1892 г. издательство переведено в Москву — книги печатались в типографии Сытина. Л. Н. Толстой направлял работу издательства, редактировал некоторые книги, писал статьи и предисловия, напечатал несколько своих произведений и «Круг чтения». Издательство существовало до 1935 года.

[8] Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864—1940) — писатель, педагог, издатель. С 1897 по 1925 г. — руководитель издательства «Посредник». Автор множества детских рассказов, редактор журналов «Маяк» и «Свободное воспитание».

[9] Статья Л. Н. Толстого «Николай Палкин» (ПСС, т. 28, с. 555).

[10] В мае 1890 г. в газетах появились сообщения, будто бы сыновья Толстого упрекают его в «расточительности», в том, что он слишком щедро помогает крестьянам. Сергей, Илья и Лев поместили в газете «Новое время» (27 мая 1890 г.) опровержение этих слухов.

[11] Толстой начал вести дневник 17 марта 1847 г. и вел на протяжении всей жизни. Дневники опубликованы в Полном собрании сочинений, тт. 48—58.

[12] С сентября 1691 г. по июль 1893 г. Толстой активно занимался помощью крестьянам центральных губерний России, пострадавших от неурожая; собирал пожертвования, ездил по деревням, устраивая столовые, писал статьи в газеты о положении народа. Деятельность Толстого и его семьи имела значительные результаты — были спасены многие тысячи жизней крестьян.

[13] Кузминская (урожд. Берс) Татьяна Андреевна (1846—1925) — сестра С. А. Толстой, автор воспоминаний «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Семья Кузминских часто подолгу жила в Ясной Поляне.

[14] С. Н. Толстой скончался 23 августа 1904 г.

[15] Татьяна Львовна вышла замуж 14 ноября 1699 г. за М. С. Сухотина, вдовца, отца шестерых детей. Брак был счастливым. Дочь Т. Л. и М. С. Сухотиных Т. М. Сухотина-Альбертини (1905 г. р.) живет в Риме (см. ее воспоминания «Моя бабушка» — Яснополянский сб. 1984 г., «Моя мать» — Яснополянский сб. 1986 г.). Мария Львовна вышла замуж 2 июля 1897 г. за внучатого племянника Толстого, князя Николая Леонидовича Оболенского. Брак был счастливым, но бездетным. М. Л. Толстая умерла 27 ноября 1906 г. от крупозного воспаления легких.

[16] С сентября 1903 г. Толстой работал над статьей «О Шекспире и о драме» (ПСС, т. 35).

[17] Абрикосов Хрисанф Николаевич (1877—1957) — единомышленник Толстого, периодически жил в Ясной Поляне и в 1902—1905 гг. был его добровольным помощником. Веркенгейм Г. М. (1872—1919) — в 1903 г. был домашним врачом у Толстых.

[18] Речь идет о картине Н. Касаткина «В коридоре окружного суда».

[19] Стахович Михаил Александрович (1861—1923) — член гос. совета от Орловского земства, помещик, близкий знакомый семьи Толстых. Стахович и его сестры Мария Александровна (1866—1923) и Софья Александровна (1862—1942) часто гостили в Ясной Поляне.

[20] И. Е. Репин «Л. Н. Толстой за работой».

[21] Имеется в виду введение Россией и рядом других держав войск в Маньчжурию в 1900 г. во время восстания ихэтуаней.

[22] См. Л. Толстой. «Круг чтения». М., 1911, т. 1, стр. 107. Лао-Тзе (Лаоцзы) — древнекитайский философ, основатель даосизма. Толстой включил многие высказывания Лаоцзы в «Круг чтения».

[23] Вероятно, речь идет о рассказе Мопассана «В оливковой роще».

[24] Толстой характеризовал Мопассана как «замечательного французского писателя», «даровитого, искреннего, одаренного тем проникновением в сущность предмета, которое составляет сущность поэтического дара».

Публикация и подготовка текста Н. Жиркевич-Подлесских
Комментарии В. Лосбяковой

Анатолий Стреляный

ДВЕ КОРКИ КАРАВАЯ

(В АМЕРИКАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ)

НА ОСТРОВЕ ДОВОЛЬСТВА

Всю жизнь меня не пускали дальше Восточной Европы, да и туда дверь открывали с таким скрипом, от которого не то что солнечной Болгарии — света белого не захочешь видеть. Последний раз, помню, оформлялся в Венгрию, это уже в восемьдесят пятом году. Уж так она меня предупреждала, молодая райкомовская язва с голубыми волосами, что отправляюсь я в идущую по капиталистическому пути страну, уж так давала понять, что видит мое антисоветское нутро! (И ведь не ошибалась, надо отдать ей должное!)

Тогда же я впервые увидел наш международный аэропорт, знаменитый Шереметьевский. Помню, как подействовали на меня уже подступы к нему: гладкая широкая дорога, множество мытых машин, изящно-массивные, не задрипанные автобусы, а потом и весь важно-свободный обиход его: при твоем приближении бесшумно раздвигаются створы стеклянных дверей, вошел — тебя обдает запахом кофе, душистых сигарет и спокойной чистой толпы... А что ожидает тебя в той зоне, откуда нет больше хода назад, а только вперед, в трубу-присосок, ведущую прямо в самолет!

В этой зоне, во-первых, валютные магазины — в них товары, большинство из которых впервые видишь так близко, во-вторых, круглосуточный буфет с армянским коньяком, русской (круглосуточной!) водкой и икрой. За стеклянной стеной виднеется летное поле и чудится мат шевелящейся там обслуги, дальше спит лес в тумане, зябнет серая, полуголодная, зловеще-смирная твоя Родина, а ты здесь, на сияющем острове чужого довольства, и на миг тебя охватывает чувство благодарности за эту нарядность, за чистоту и тишину, за то, что тебя тоже сюда пустили. Да и рубли твои тут что-то стоят, на них дают и выпить, и закусить, и двое мужчин, отходя от буфетной стойки, говорят вон о том, что уже можно возвращаться по домам: приняли в восьмом часу утра по сто граммов из чистых, зеркально-блестящих рюмок, запили боржомом, заели красной икрой — заграница, считай, познана. От этого русского разговора вздрагиваешь: оказывается, из тех, кто здесь первый раз, не ты один испытываешь это желание — вернуться, никуда не слетав. Не ты один боишься, что в какой-то момент от твоей благодарности не останется и следа, а навалится вдруг такая подавленность, которая, может статься, не отпустит тебя уже никогда, так и доживешь с перехваченным горлом, с мыслью: за что? За что тебе эта страна? За какие грехи был тебе недавно Душанбинский (или Харьковский? Может быть, Краснодарский?..) аэропорт — бестолковый, грязный, с пустыми, но почему-то вонючими буфетами, без воды в сорокаградусную жару, по залу ожидания носилась, стуча башмаками, женщина — милицейский майор, бессмысленно и бесстыдно разъяренное, того и гляди выхватит пистолет, существо с мокрыми серыми космами — чья-то мать, может быть, и сейчас — чья-то жена...

Из этого путешествия в Шереметьево (именно с ним, не в обиду Венгрии будь сказано, связалось у меня первое западное впечатление) я вернулся вполне

Читано автором по радио «Свобода».

удовлетворенным, мог от души сказать своим старшим товарищам по партии: спасибо вам, все мне ясно, больше можете не выпускать никуда, черт с вами. А они всего через два года вдруг возьми да и выпусти, причем сразу в Америку. Это был сон, сказка — сказка во сне. Уже и красный паспорт с выпускной визой был на руках, и билет до Вашингтона, и тридцать долларов хрустели в кармане — узенькие зеленые бумажки (вот вы какие!), уже и белолицый пограничник в знакомом Шереметьеве осмотрел меня спереди и сзади, а мне все не верилось... Сзади — в особое зеркало, позволяющее ему, не выходя из своей будки, видеть, не едет ли кто в рай на твоем горбу.

С тех пор прошло два с половиной года. За это время выпускали еще несколько раз. Привычными стали разноцветные самолеты, бесшумные поезда, неощутимые, потому что незлые, толпы на бульварах европейских столиц. Досконально испытан момент перехода из одного мира в другой. Вдруг заложит уши — и тут же делается легко, как после бани: ну вот, ты опять на свободе. А при возвращении домой — одна и та же мысль: впустят ли? Последний раз она мелькает уже в коридорчике пограничного контроля, где затылком чувствуешь то самое зеркало. Впустили — и тут же сердце вздрагивает от легкого укола совести. Думал-то ты минуту назад не о стране — что с нею будет, а о себе — что будешь делать, лишившись Родины, ведь на Западе, это уже знаешь, надо много работать...

В Америку мы летели вдвоем. Моим спутником, мамкой-нянькой, а может, и начальником, поскольку где-то за меня поручился, был Виктор Федорович Лищенко из системы Академии наук СССР, знаток американского сельского хозяйства, плотный человек с простым крупным лицом, ветеринар по образованию, родом из Котовска, где у него оставалась мать. После ветеринарной академии он лет десять служил в нашем посольстве в США. Его обязанностью был сбор сельскохозяйственной информации, но случалось, что и сам, бывая на делянках селекционных центров, выносил за обшлагом горстку особо интересных семян.

Летели мы по приглашению его давнего друга Джона Кристалла, банкира, богатейшего человека, бывшего фермера. Виктор Федорович постарался, чтобы наша поездка пришлась на канун одного важного события. В Политбюро только что[1] появился новый член — секретарь ЦК по сельскому хозяйству Никонов. Готовился его первый визит на Запад в новом качестве. Чтоб не мелочиться, решено было начать сразу со Штатов. Другого такого случая в ближайшие годы может не быть, говорил мне Виктор Федорович. Надо сделать все, чтобы от этого визита был толк. В последние дни он только об этом и говорил, так что я в конце концов проникся уверенностью, что толк зависит не только от Виктора Федоровича, но и от меня, потому как от кого же еще? В последнее время Виктор Федорович отправил в аппарат Никонова ряд докладных, несколько раз был у самого и несчетно — у помощников. Лезет из кожи вон, чтобы там осело, заработало хоть что-то из той информации, которой он располагает, ей, это уж он знает, нет цены. Нет цены, да нет и настоящего спроса, если говорить откровенно. А Никонов человек все-таки свежий, надо постараться вложить в него как можно больше. Работы много — и тонкой. Он должен увидеть в США не что попало, а то, что надо, чтобы он увидел. От того, что приглянется члену ПБ в такой стране, как Америка, может зависеть судьба миллиардных вложений: пойдут они на поворот каких-нибудь новых рек или на газификацию сельских домов.

О Никонове я кое-что знал, раза два слушал его на Старой площади, куда, одно время работая в журнале, обязан был являться по первому зову. Работает по 15 часов в сутки. Агропром вместо шести сельскохозяйственных министерств был, говорили, придуман не кем иным, как им, Никоновым,— придуман для того, чтобы досадить министерскому бабью в шапках. В брежневское время Никонов был где-то первым секретарем, потом кто-то — то ли Горбачев, то ли Лигачев—взял его в Москву министром сельского хозяйства РСФСР. Тут он и обратил внимание на эти шапки: что за черт, за несколько минут до шести,

[1] 1987 год.

когда он только возвращается из ЦК начинать свою смену в министерстве, невозможно пробиться сквозь них к лифтам — валом валят по домам, что ни шапка, то старший специалист, полтораста — двести в месяц ей отдай, а вся ее специальность — набить продуктами сумку, бегая весь день по переулкам, прилегающим к небезызвестному Орликову. Так, мол, родилась у него идея: все шесть сельскохозяйственных министерств слить в одно, назвать его Агропромом, баб посокращать, а мужикам дать прибавку. За эту идею его взяли в ЦК, секретарем, года два он воплощал ее в жизнь: придумывал названия должностей, управлений и отделов, кто кому должен подчиняться, делил помещения и машины, канцтовары и дачи — в общем, горел на работе. Когда закончил, наградили членством в Политбюро, теперь ждут от него результатов, в сознании чего и собирается в Америку.

В очереди к стойке регистрации билетов, потом в накопителе перед посадкой в самолет я невольно присматривался, с кем придется провести день над океаном. Какая, казалось бы, разница, куда рухнуть с десятикилометровой высоты — в Атлантический океан или в зеленое море тайги,— а вот поди ж ты: перед полетами над родной тайгой так не присматривался. Первое, что бросилось в глаза,— в Америку никто не летел один, сам по себе, всяк был в группе, пусть та группа только из двоих, как наша. Была группа молодых научных работников, направлявшихся на стажировку в американские университеты кто на полгода, кто на год. Много лет назад, в 1964-м, в такой группе летел и мой Виктор Федорович, тогда аспирант-ветеринар, стриженный под бокс. По его словам, нынешние, при том что они не такие худые и лучше одеты, в главном не переменились. Те же сосредоточенные лица, ни широкой улыбки, ни громкого возгласа, те же плохие зубы, по которым американские дантисты будут судить о советском образе жизни. Как подумаешь, через что каждому довелось пройти, прежде чем попасть сюда, сколько осмотрительности проявить в выборе друзей, на сколько вопросов ответить, сколько справок, начиная со справки, что не псих, представить! Только один, как знак новой свободы, был с бородкой. Во времена Виктора Федоровича такой был бы отсеян еще на подступах к первой характеристике. Господи, как мало им будут давать на жизнь, сказал Виктор Федорович, как ожесточенно они будут экономить на всем — то есть на еде, ведь больше не на чем! Ему особенно жалко бывает девушек, молодых женщин. Впрочем, их всегда очень мало, в этой группе не было ни одной. Не любит Родина отпускать от себя своих дочерей!..

Была группа Москонцерта — три или четыре лабуха с инструментами и двое певцов: женщина — уже пожилая, с миловидным серым лицом, в ранней молодости она спела однажды в каком-то конкурсе лирическую песню, людям понравились ее скромные манеры, коса — и мужчина — тоже немолодой, с толстым лицом, одетый под студента: в балахон и спецовочные штаны, обладатель самого равнодушного голоса в Советском Союзе, исполнитель военно-патриотических песен. Лабухи вели себя свободно, даже покуривали, глядя на иностранцев, эти же двое были молчаливы, напряжены, словно заняты неотступной мыслью о предстоящей встрече с чужой публикой.

Группа наших школьников, парни и девушки 15—16 лет, провожала своих сверстников-американцев, с которыми провели недели три где-то на юге в лагере *т р у д а и о т д ы х а*. Наши были все видные из себя, сдержанные, солидно одетые, американцы — народ явно не отобранный, рядом с рослой девахой — конопатая замухрышка в кофте до пят, рядом с изящной юной леди из Новой Англии — толстуха-негритянка, висящая то на ней, то на ком-то из русских. Прощаться с нашими они начали задолго до регистрации билетов. Прощаться — то есть реветь навзрыд, так что в самолет входили с мокрыми пазухами. Наши комсомольцы и комсомолки были озадачены, такого взрыва прощальных чувств они не ожидали, стояли, особенно парни, не зная, что делать, иной опасливо косился по сторонам: вдруг кто-то, кому положено, увидев, как орошает ему рубашку рыжая пигалица из Мичигана, подумает, не обрюхатил ли он ее за эти три недели вопреки ясным инструкциям.

В самолете никто и не подумал предложить пассажирам газеты, хотя бы

советские. Я не обратил на это внимания, спасибо, что в самолет впустили, а Виктор Федорович был расстроен, как курильщик, когда он, проснувшись, не находит на месте сигареты. Оказывается, повсюду в мире свежие газеты по крайней мере на трех языках — такая же принадлежность самолета, как летчик и бортпроводница. Виктор Федорович вздыхал: всю жизнь, на каждом шагу, сталкиваться с наплевательским отношением к себе! При ежедневных рейсах Аэрофлота в США даже наше посольство получает московские газеты раз в неделю, а журналы не доходят, бывает, и через полгода.

— Как же оно работает? — удивился я, будто давным-давно не вывел логическим путем, что ни посольство, ни правительство не могут работать ни лучше, ни хуже, чем правление моего родного колхоза «Червона Украина» Великописаревского района Сумской области.

— Так и работает,— сказал Виктор Федорович.

— Как можно в таких условиях работать?

— Как-нибудь можно.

— Но как можно, чтобы как-нибудь работало посольство одной сверхдержавы в другой?

— Это вы еще не были в самом посольстве, не видели, в какой тесноте они там сидят.

Как только самолет набрал высоту, юные американки перестали плакать, уныние, словно по команде, сменилось весельем. Была, впрочем, и команда — ее подала черная толстуха в балахоне, унизанном блямбами значков до подола. Она выбралась в проход и начала песню. Следя за ее черными быстрыми руками и розовым неутомимым языком, мелькавшим в белозубой пасти, часа полтора орал весь класс. Их классная руководительница, отличавшаяся от них сединой в короткой стрижке, с самого начала объявила им, что, поскольку из самолета никто никуда не денется, она забывает об их существовании до самого Вашингтона и намерена вкусить первую спокойную сигарету за все дни этого дьявольского путешествия. Ответом ей были бурные изъявления сочувствия, после чего она действительно отвернулась к окну и отключилась. У американцев постоянно в бегах миллион детей. Нация непосед, целинников. Освоение ихней целины, не нашей, к сожалению, не нашей — славнейшая страница в истории человечества, напомнил мне Виктор Федорович свою теорию.

Мы опять стали перемывать кости начальству.

Он грузиный, вспомнил я про Никонова, у него брюзгливый голос, тяжелый, усталый взгляд. Сельскохозяйственное производство знает, может быть, лучше всех в стране, но в сельском хозяйстве как хозяйстве — настоящий большевик! — не понимает ничего: верит, например, что колхозы и совхозы должны существовать вечно. Большой патриот, поэтому не любит людей печати: чернят прошлое и настоящее, много пишут о закупках зерна у американцев, не понимая, что только победы объединяют любой народ. (Это ж кто у них там вырабатывает такие формулы?) Если пересчитать в зерно те удобрения, что мы поставляем нашим братьям, то получится, что Россия, как при царе, не покупает хлеб, а продает. (Это ж кто-то там и такие пересчеты придумывает?..) «А вам это навроде все равно!» — говорит обиженно-угрожающе на встречах с нашим братом.

— Другого у нас в ближайшие годы не будет, работать надо с тем, кто есть,— напоминает мне Виктор Федорович, когда я с напором произношу это никоновское «навроде». Каждый новый член Политбюро вносит свой вклад не только в порученное дело, но и в русский язык.

Скорее всего другого не будет. А и будет — так не из той ли самой колоды?

Так и проживаешь жизнь, имея дело с людьми, занимающими не свои места. Мы страна людей не на своих местах, и чем выше место, тем ниже, незначительнее на нем лицо — обобщали мы, глядя на соотечественников, послушно, без повторного напоминания пристегивающих себя к креслам. Сколько из них сидят в этом самолете, в этом — особенно, не на своих местах? И сколько из них в эту минуту мысленно задают себе такой же вопрос, посматривая... в том числе и на нас, о чем-то рассуждающих!

ПЕТРУШКИН ЗАПАХ

Первым делом мы идем, почти бежим — так спешит Виктор Федорович — в наше посольство. Оно расположено недалеко от Белого дома, в небольшом, несколько замысловатом, похожем и на замок, и на завод здании. От узкого тротуара оно отделено высокой железной решеткой. Над воротами торчат дозорные трубы с козырьками, держат на прицеле подходы и противоположную сторону неширокой улицы, где обычно собираются демонстранты. Сегодня там раздавали листовку о притеснениях евреев в СССР. Это в связи с пребыванием в Вашингтоне Шеварднадзе, он здесь со вчерашнего дня. На углу квартала возле маленького желтого мотоцикла дежурили два молодых рыжих полицейских с оттопыренными пистолетами на ремнях.

Мы остановились у запертой калитки. Глядя в пустоту, Виктор Федорович четко, уверенно-официально сообщил, кто мы такие и что нам нужно. Прозудело в замке — и мы оказались на территории Советского Союза. Минуя парадный подъезд, Виктор Федорович направился к боковому входу. На полдороге нас перехватил неизвестно откуда взявшийся молодой человек в сером. Так было потом несколько раз. Рослый человек с простым внимательным лицом прохаживается взад-вперед у вас на глазах, вокруг больше никого, а вы его не замечаете, пока он не окажется перед вами с невнятным вопросом, смысл которого — «Вам куда?».

Боковой вход Виктор Федорович выбрал потому, что оттуда можно было попасть прямо к колхозникам, как мы называли в наших разговорах сельскохозяйственный отдел. Ему меньше всего хотелось сейчас встречаться со знакомыми из других отделов.

Сельскохозяйственная часть посольства представляла собою маленькую, заваленную газетами и брошюрами комнату с двумя столами. В ней парился персонал из двух человек, они и встретили нас озабоченно-радушно: советник — пожилой седой человек с красным от повышенного давления лицом, зоотехник по специальности, доктор наук, и его подчиненный, атташе, этот был моложе, крупный, инженер по сельхозмашинам, кандидат наук. Не жалуемые особым вниманием даже в обычное время, они были совсем забыты в эти дни — дни визита Шеварднадзе. О них вспомнили, только когда потребовалось место для кого-то из прибывших мидовцев, к завтрему велели выметаться.

Тяжело, когда накладываются два визита, вздыхал старший, но в его словах чувствовалась и некая общая озабоченность, наступают новые времена, приходит новое начальство, но что ему, новому, надо, что не надо — неизвестно. И жара, мокрая жара американских субтропиков, незаметно изнуряющая человека средней полосы России (из Подольска — если точно, по анкете). Молодой атташе, звали его Павел Павлович, был спокойнее, выглядел беспечным здоровяком: ему осталось тут два месяца, потом — домой, скорее всего на старое место в НИИ механизации. Пробыл он здесь всего восемь месяцев. Не успел оглядеться, как американцы в очередной раз потребовали сократить наш персонал, а кого ж и сокращать, как не *сельское хозяйство*. Было их тут двое, останется один, так что, не ровен час, и комнату отберут, это почти наверняка. Теснота в посольстве страшная, сидят друг на друге.

Оживившиеся при нашем появлении, они еще больше приободрились, когда Виктор Федорович сказал, что скоро снова с ними увидится: он будет в числе сопровождающих Никонова лиц, привлекают его и к подготовке этого визита. Не далее как третьего дня было совещание у Никонова, выяснилось, что, говоря правду, там еще конь не валялся. Откровенность моего спутника не осталась невознагражденной. Он услышал встречные... сказать «жалобы» — будет сильно, но осторожные сожаления, что никто ничего не решает, всяк норовит согласовать не только каждый свой, что было бы еще полбеды, но и твой шаг, а тут еще накладывается визит на визит, повторял советник, но на сей раз с намеком на неодинаковые весовые категории. Никонов с его безнадежным сельским хозяйст-

аом — это не Шеварднадзе с его делами — такими, что и поверить трудно: похоже, что начинается, пусть и длительное, но реальное прощание с оружием.

С Виктором Федоровичем, как только он оказался здесь, произошла неожиданная для меня перемена: он перестал спешить. Когда хозяева, не желая надоедать гостю своими заботами, перевели разговор на домашние дела, он не сделал никакого движения, чтобы вернуть их к тому, что только и занимало его в эту минуту. Нельзя было догадаться о его нетерпении и тогда, когда они, в духе той же деревенской учтивости, стали калякать об американской погоде, о настроениях в здешнем минсельхозе и последних полезных контактах. Виктор Федорович хорошо знал и советника, и атташе, но ему еще не приходилось делать с ними серьезного дела. Торопясь к ним, он беспокоился, правильно ли его поймут. Хотя это и Вашингтон, а не Пенза, для них он все равно столичная штучка. Не заговорит ли в них ведомственное самолюбие, примут ли его п л а н? Вот и присматривается, скрывая нетерпение и ту усталость, о которой я раньше не подозревал и гнуснее которой быть не может, так что непонятно, как ее выдерживают год за годом Громыки всех стран,— усталость от того, что в один день ты попадаешь из восьми утра в шесть вечера.

Наконец, взаимное расположение достигло такой точки, что он перестал играть в прятки.

В общем, вот что, мужики! Такие-то и такие-то соображения по визиту он не смог как следует довести до Москвы в Москве, там в одно ухо влетает, в другое вылетает, поэтому надежда теперь на вас, на посольских. Надо изложить эти соображения в телеграмме и чтобы она еще сегодня ушла в Москву от чьего угодно имени, главное — что отсюда, из Вашингтона. К шифровке из Вашингтона будет не то отношение, что к его докладной из Хлебного переулка.

— Конечно-конечно, о чем разговор! — закивали они.

Виктор Федорович решительно встал и как бы пощелкал пальцами. Внешне он себе такого не позволил, но внутреннее движение было именно такое, и мужики мгновенно: один подал бумагу, другой ручку, Павел Павлович включил вентилятор — началась работа, закипело г о с у д а р с т в е н н о е дело. Среди прочего обсуждали куда ЕГО направить. Кое-что очень интересное и само по себе не секретное находится в закрытых для нас районах. Если попросить американцев, они могут сделать для него исключение. Но это надо затевать что-то вроде переговоров, а кому охота? Это — одно. А второе — за нами появится должок, американцы при случае попросят вернуть: пустить кого-то из них в какую-нибудь из наших закрытых зон, как будто они у нас не все открыты для их спутников.

Набросали черновик, поправили, перебелили, поправили и перебелили еще раз. По газетной привычке я вымарывал все «имеется-является», мужики смотрели на это, как на чудо: без ущерба для смысла текст становился на треть короче — и радостно впихивали на освободившееся место новые «имеется-является». Наконец, советник с Виктором Федоровичем поволокли бумагу к начальству на подпись, чтобы оттуда она сразу попала на стол шифровальщика.

Мы с Павлом Павловичем листали местные газеты.

В течение своих восьми месяцев Павел Павлович времени даром не терял — успел как следует почитать, кое-где побывать, купил и освоил компьютер; деньги, по его зарплате, плочены были немалые, но игрушка оказалась очень полезная: экономит много времени, он теперь загоняет туда всю информацию, в долю секунды извлекает, это не то что рыться в папках. Его начальник тоже купил такую, играет с нею дома в шахматы. Жаль, что купленные здесь компьютеры не разрешается использовать в стенах посольства. Бог знает почему, им тут и по главной вашингтонской улице не рекомендуют ходить — не американцы, конечно, а наши не рекомендуют. Не считается ли, что в компьютер можно встроить какую-то штуку, которая передавала бы за стены все, что в него вкладывается или в его присутствии говорится? — спросил я. Не исключено, пожал плечами Павел Павлович, и мне оставалось самому решать, что́ не исключено: то, что такую штуку можно всобачить, или то, что наши думают, что такую

штуку можно всобачить. Но если ее можно всобачить, тогда американцы должны всобачивать ее в каждый из миллионов выпускаемых ими компьютеров, сказал я. Американцы знают о нас все, но не могут же они заранее знать, какой компьютер будет куплен Павлом Павловичем! И опять он пожал плечами, чем еще больше растравил мое любопытство. Положим, приемно-передающий блок есть в каждом компьютере, но как он включается, оказавшись в стенах советского учреждения? На что реагирует? Может быть, на запах советского учреждения? Или — советского человека? Характеристической чертой чичиковского Петрушки был, как известно, особенный воздух, носимый им всегда с собой, так что стоило ему появиться даже в необитаемой дотоле комнате, и уже казалось, что там лет десять жили люди. Впрочем, и сам Чичиков, вытиравшийся мокрой губкой с ног до головы, практиковал это раз в неделю, по воскресеньям, не в обиду нашим патриотам будь сказано. Когда мы сюда летели, я услышал в очереди на регистрацию билетов негромкий рассказ женщины, время от времени читающей лекции в американских университетах. «Вы знаете, там я не устаю. Студенты — кто в чем, ноги на столах, но два часа проходит, а воздух остается свежим. Потому что душ принимается не по субботам, а утром и вечером, ежедневно меняются белье, рубашки». У себя в МГУ ей уже через час трудно дышать, хотя одеты ее студенты наряднее американцев и ног не задирают.

Тут дело не только в жизненных привычках — разное качество продуктов, объяснил мне Павел Павлович.

Обсуждать н а ш и запахи ему в стенах посольства не очень хотелось, я не сразу это заметил, зато о здешних урожаях и привесах говорил с большой охотой. Рассказывал мне о фермере, который в последние годы берет в среднем двадцать тонн кукурузного зерна с гектара. Я отложил газету, по спине пошло что-то вроде озноба. Что же это за страна?! Двадцать тонн — это двести центнеров. В лучших кукурузных местах Союза если получают на достаточно заметных площадях полсотни центнеров, бывают довольны. В этом году этот фермер возьмет — говорил Павлу Павловичу — двадцать три тонны, убирать будет в конце сентября. Вот бы повезти туда Никонова, пусть бы глянул, а то так и с поста уйдет, не повидав, какой он, двадцатитонный урожай!

Интересовался тут Павел Павлович и молочным хозяйством. Удои растут и растут. Недавно решено провести очередной сброс поголовья коров: страна заливается молоком, мир не может покупать все излишки, беден мир. Зарежут еще миллион буренок, таких, что им цены нет, на каждую у меня в селе молились бы. Это ж какой по счету сброс с шестьдесят пятого года? В том году у нас и у них коров было поровну. Потом мы пошли их обгонять и довели свое стадо до сорока пяти миллионов. Коров у нас стало, как мух. Американцы же резали своих и резали, довели до пятнадцати миллионов и вот не собираются останавливаться. Чем больше резали они коров, тем больше надаивали молока, это естественно, говорю я с видом знатока. Это естественно для американских условий, уточняет Павел Павлович. Вот эту естественность, говорю я со злобой, и надо показывать Никонову, чтобы понял, что дело не в том, чтобы шесть министерств сгонять в одно, а... А в чем дело, Павел Павлович тоже не хочет обсуждать в стенах посольства. Ему вообще, кажется, больше нравится не обсуждать, а сообщать, на то он и атташе.

Освобождающиеся коровники приспосабливают для хранения зерна, это сейчас хороший бизнес, излишков в стране до черта; в этом году могли бы совсем не сеять кукурузы, хватило бы прошлогодней. Поголовье сбрасывается не стихийно, есть правительственная программа. Программа — это деньги, их платят тем фермерам, которые в ней, в этой программе, участвуют, то есть соглашаются резать часть своих коров. Это дело добровольное, но куда девать молоко — твоя забота, государство тебе не помощник, а если сбросишь, опустошишь один из двух своих коровников,— кое-что получишь. Павел Павлович спрашивал одного фермера, не жалко ли тому отправлять на мясо таких замечательных коров, свыкся, поди, с ними, полюбил их, да и семья, дети привязаться ведь долж-

ны были к своим Зорькам! Фермер ответил: «Честно говоря, не жалко». Коммерция есть коммерция, корова не забава. Это у спортсмена-лошадника, наверное, есть привязанность к своему коню, а корова для фермера — молочный станок, источник дохода (тогда и любви к ией больше) или убытка. Вот это тоже надо втолковывать нашим Никоновым[1] — я опять за свое. Американский фермер прежде всего коммерсант, купец по-русски, он хозяйственник, он думает не просто об урожае как таковом — о чем, вы хотите, чтобы думал иаш колхозник, как будто наш колхозник дурак — думать об урожае, хозяин которого не он, а вы, Никонов[2]; нет, фермер думает о доходе, как и положено хозяину. Хозяин и работник здесь в одном лице, но хозяина в этом лице сколько, по вашим прикидкам? — спрашиваю я Павла Павловича. Девяносто процентов, отвечает он.

Фермы тут у самых разных людей, такое впечатление, что страна скоро вся станет заниматься сельским хозяйством. Фермы есть у чиновников министерства сельского хозяйства и Пентагона, у архитекторов и цирэушников. Павел Павлович знаком с одним профессором — у того ферма в 80 милях от Вашингтона, в штате Мэриленд. Мэрилеид — штат дерна, там это важная отрасль агробизнеса, в стране миллиоиы гектаров лужаек для игры в гольф. На свою ферму этот профессор ездит каждый день, после лекций в университете. В прошлом году посторонний доход среднего фермера впервые был выше основного. Другими словами, сельское хозяйство США — это уже хозяйство совместителей или, как их называют здесь, парттаймеров — частично занятых. Пытаемся представить нашего профессора, того же Виктора Федоровича, пока его нет, который ежедневно ездил бы из Москвы под Тулу сеять рапс, сажать картошку, косить сено. А что тут, собственно, представлять, спохватываюсь я. Он и ездит, правда, пока не каждый день, не по своей воле, ну и без всякого толку. Вот и сейчас; только прилетит в Москву, его погонят на капусту в совхоз «Туровский», уже был об этом разговор.

Возвращается Виктор Федорович — подтверждает: да, был разговор. Он патриот, он не согласен, что советская власть — это сплошной мрак позади и впереди, но ее глупость и его, бывает, достает.

Американское полуфермерство—это уже не просто приработок для все большего числа американцев, это образ жизни, отсюда и берется здоровье нации. Медленно, через пень-колоду, но, кажется, выгребает человечество, американская его часть сначала к нормальной жизни — и не через отказ от техники и удобств, а через технику, через удобства, иначе невозможно, иначе — лигачевско-кастровский райком и команда: институт такой-то, профессор такой-то, на капусту в совхоз «Туровский» завтра в семь утра стройся!

Что называется, наработавшись, идем, наконец, с Виктором Федоровичем в гостиницу. Сколько ж это сейчас по московскому? Пять, что ли, утра?

В пять утра по здешнему за нами приезжает Павел Павлович везти нас в аэропорт. Полетим дальше, в Де-Мойн, штат Айова.

На углу, в бледноватом уже свете фар нашей машины, мелькнула пара женских фигур в черных колготках без юбок, с огоньками сигарет — поздние проститутки. Среди них тоже есть парттаймерши, говорит Виктор Федорович. Поспит пару часов и пойдет на свою дневную работу, в контору или в магазин, на лекции, если студентка, или к домашнему очагу, если домохозяйка — матери семейств тоже промышляют. Не все — из нужды или из любви к деньгам. Что все — из нужды — это российское представление, начитались Достоевского и Куприна. Америка — страна деловая, ио искусства для искусства во всяком бизнесе тоже хватает, да и взгляды на бизнес меняются от эпохи к эпохе, вчера позорный сегодня становится пристойным и наоборот. Да чья бы корова мычала! — говорю я. У кого, как не у нас, не только этот, но всякий бизнес считается нечистым? Перестройку начали с того, что, как разбойники, накинулись на самый что ни на есть человечный и притом мелкий бизнес — бизнес труженников: на теплички сельских жителей. У меня с собой газета с безумной, поистине времен «военного коммунизма», речью властителя Адыгеи,

[1] И Стародубцевым.
[2] И Стародубцев.

Хут его, что ли, фамилия. Требует навести порядок иа огородах, чтобы никто не смел сеять что-то одно — лук или помидоры. Раз что-то одно, значит, на продажу, а на продажу — значит... Вот скажите мне, Виктор Федорович, вы чаще встречаетесь с этими бандитами, что́ значит, если на продажу? Виктор Федорович осведомляется (он частенько в таком духе осведомляется), не хочу ли я сказать, что вместе с разрешением тепличного бизнеса должен быть дозволен и вот этот? Ох, Виктор Федорович, что́ мы об этом знаем! Он давно разрешен, более чем разрешен. Минскими валютными проститутками, например, руководит подполковник, известный у них как Петрович, неплохой, говорят, семьянин. Его коллектив городская молодежь называет зондеркомандой. Это все мне известно достоверно, не знаю только, кто у них там комсоргом, штатная или внештатная, но если Виктор Федорович хочет, выясню по возвращении в Союз. Возвращаться я, между прочим, собираюсь, в отличие от некоторых товарищей Петровича по оружию.

Виктор Федорович вздыхает. Он знает, что если я говорю, что мои сведения точные, значит, они точные.

БИФШТЕКС ПО-АМЕРИКАНСКИ

В самолете, на полпути между Вашингтоном и Чикаго, доедаем мясо, оставшееся от вчерашнего ужина.

Ужинали мы в ресторане при нашей гостинице, был подан бифштекс. В жизни не видел ничего подобного, только читал в старом учебнике английского языка: кусок во всю тарелку, в ладонь толщиной, тает во рту. Я потом рассказывал об этом куске в Москве Дудинцевым. Они промолчали — то ли плохо рассказывал, то ли, наоборот, слишком хорошо. Через некоторое время их тоже выпустили на Запад, в Финляндию, где как раз были изданы «Белые одежды». По возвращении Наталья Федоровна сказала: «Я должна перед вами извинить-ся. Я вам не поверила насчет того куска американского мяса — что оно тает во рту. Подумала: сочиняет, как всегда. Но в Хельсинки мы ели такое же».

Несмотря на сочность, съесть такой кусок за один раз невозможно. Старушка официантка, божий одуванчик в брючках, завернула нам остатки в фольгу, придав сверткам форму двух увесистых уток. Кроме этих бифштексов, на ужин у нас были салат и пиво, потом кофе с чем-то сладким, всего на 70 долларов. Ночь в гостинице — полтораста долларов на одного. Все, естественно, за счет нашего благодетеля Джона — банкира Джона Кристалла, пригласившего нас в Америку. Чтобы оплатить наш ночлег и этот ужин, он должен будет продать три тонны кукурузы из тех тысяч, что у него хранятся в амбарах и дозревают на корню. За наши билеты до Де-Мойна он заплатил 400 долларов, еще, стало быть, три тонны. Билеты ждали нас в конверте у портье. Недешево мы ему обходимся, жалел я человека, у которого несколько тысяч гектаров пашни и лугов, десяток или два магазинов и который получает — на посту председателя крупнейшего айовского банка — триста тысяч в год.

В отеле всюду стерильная чистота, тишина, двери с хитроумными запорами, плакатик объясняет, куда звонить, если в комнату будут рваться. После ужина я хотел погулять хотя бы возле отеля — Виктор Федорович не пустил: опасно. Еще было светло, и это был центр города, рукой подать до Белого дома, но прохожих, сколько ни смотрел я из окна ресторана, не увидел ни одного. Номера комнат из соображений безопасности меняют каждые сутки.

Первое, что бросилось в глаза в комнате,— широченная двуспальная кровать. На Западе, оказывается, всюду так, в одноместных номерах такие кровати: вдруг оставишь кого-то ночевать. Кто у тебя остался, когда ушел (вернее, ушла...), никого не касается. Раз ты заплатил за комнату, это твой дом.

Войдя в номер, я сразу же, раньше душа, включил телевизор. Ждал стрель-

бы, визга — Америка ведь. Ничего подобного. На одном канале бойко бубнят новости — сразу видно, откуда взялась наша программа «Время», на другом — про сад и огород, что-то такое же невинное на третьем, четвертом. То и дело врываются тридцатисекундные рекламные вставки с развязно-воркующими голосами дикторов — противнее их только голоса наших международников.

Забегая вперед, скажу, а потом повторю — и может быть, не раз, смотря по настроению,— следующее.

Отправляясь в Америку, я, конечно, знал, что они собой представляют, наши журналисты-международники, врут, даже когда говорят правду. Мне казалось, что мое презрение к ним нисколько не глубже, чем то, которое питает к ним мой брат пастух Федор, потому что глубже некуда. И ошибся. Оказывается, Федя, оно может быть бездонным.

В сквере возле Белого дома повстречали женщину-бродягу. Грубое лицо, на плече большая сумка, где все ее пожитки. Я решил понаблюдать за нею. Заходит в телефонную будку, снимает трубку: «Хэлло, мистер президент, это я. Я вот что хотела вам сказать...» Монетку не бросает, номер не набирает, уверена, что, раз из этой будки виден Белый дом, то имеется и прямая связь с Овальным кабинетом. Побеседовала с президентом, пожурила его, дала кой-какие советы — больше думать о своей душе и хлопотать о мире для всех, пошла в направлении Капитолия. Походила, вернулась, потолковала с н и м еще малость. Так проходят ее дни здесь.

Видели и мужчину-бродягу, на главной улице. До пупа — бородища, разлетающаяся бурка, босые лапы снежного человека, цветастая торба до земли, шел широченным шагом, вольный, беспечный — вылитый Челкаш. Другой, тоже босой и все пожитки у ног, стоял с плакатом, призывавшим жителей и гостей американской столицы верить в Бога только так, как верит он. Возле него остановился старый негр в кожаном картузе, из-под которого торчали пышные, совершенно седые волосы, и затеял с ним богословский диспут. Мы немного прислушались: да, все то же — как понимать слова про птиц, которые не сеют, не пашут, а сыты бывают. Боже, как они были довольны друг другом, несмотря на разногласия! Старик наставительно потрясал своим черным от природы пальцем, проповедник отрицательно махал своим, тоже черным, но черным от незнакомства с водой и мылом.

...Самолет наш был человек на пятьдесят, он показался мне похожим на военный: жесткие сиденья и крутой стремительный взлет, машина прыгнула в небо, почти не разгоняясь, так экономят горючее и землю. С человеком особенно не церемонятся. Хотя — как сказать. Из самолета можно позвонить в любую точку земного шара, кроме моей Старой Рябины, но это не вина американцев. За первые три минуты разговора семь пятьдесят, и доллар с четвертью — за каждую следующую. Надписи предупреждают: в случае аварии сначала позаботься о себе, потом о ребенке, иначе можете погибнуть оба. Этому учат и водителей машин. Когда Виктор Федорович сдавал здесь на права, ему попался как раз этот вопрос: о ком водитель должен больше заботиться, о себе или о пассажирах? Виктор Федорович ответил по-советски: конечно, о пассажирах. Иди гуляй, сказали ему, придешь еще раз.

По утрам в будние дни американские аэропорты заполнены деловыми людьми. Наблюдать за ними для меня было такое же удовольствие, как за толпой на базаре где-нибудь в Ходженте или Исфаре, притом что смотреть особенно нечего: никого нет даже в целых, не говоря уж о дырявых, с бахромой, джинсах или о робе, в какой летел сюда с нами из Москвы обрюзгший заслуженный артист, исполнитель военно-патриотических песен. Все это для школьников и студентов первых курсов, взрослая Америка не такая. Если у тебя расстегнут ворот, если видно, что ты три недели не стригся и не до синевы выбрит, зря слетаешь, ничего у тебя не купят, смету не утвердят, калькуляцию не признáют. Поэтому что ни костюм, то тройка из чистой дорогой шерсти, цвет преимущественно темный, покрой без всяких выдумок, рубашки белые, галстуки, правда, заметные, в цвет глаз, все — в нестоптанных дорогих ботинках, многие — в самых дорогих, на обуви экономить нельзя, это первая заповедь. Все моложавые, подтянутые, ни одного пуза.

У каждого на коленях несколько газет и журналов, среди них обязательно коммерческие, их сразу узнаешь по колонкам цифр и лесенкам диаграмм. Вот, смотрю, сидящий передо мною джентльмен уткнулся... Во что же он уткнулся? Ага, в 1966 году в США было 35 тысяч иностранных студентов, в 1985-м — 343 тысячи. Это же как раз одна из тем наших разговоров с Виктором Федоровичем! У него заноза в сердце с 1965 года, когда, приехав сюда первый раз, обнаружил, что в США, при меньшем, чем у нас, населении, вдвое больше студентов. Как сделать так, чтобы после Никонова сюда приехали ну хотя бы тысяча наших молодых агрономов? Устроил бы он это, и неважно, что считал бы он сам, а мы бы считали оправданным не только этот его визит, но и всю его руководящую жизнь. Как бы ему это втолковать, подсказать пути, через кого, под каким соусом? Китайцев везде полно, в одной Америке счет китайских студентов идет на десятки тысяч, а наших — на единицы. Послать тысячу человек в год. Для начала хотя бы тысячу. Сейчас сентябрь — вот с нового года пусть и едут, кто до весны, кто и на все лето, лучше и на осень, на весь год. Трудно, что ли, договориться, это же не уничтожение ракет! Трудно, что ли, отобрать тысячу человек за три месяца? Да за три месяца я один подберу три тысячи!

Это, наверное, возрастное. Каждый час в Америке был отравлен мыслью, что того, что ты видишь, не видят твои соотечественники, особенно молодые, иногда просто ярость накатывала. Не мне, а молодому агроному из моей Старой Рябины надо увидеть хоть этого стюарда, как солидно он приветлив, как сидит на нем костюм,— чтобы, глядя на него, попробовать вспомнить, когда последний раз утюжил свои штаны, мыл голову... У Виктора Федоровича — своя мысль о молодых. Надо учить молодежь общаться с компьютерами, а для этого надо, чтобы они видели страну, где без них шагу невозможно ступить. Это нужно начинать немедленно, в массовом порядке, иначе через несколько лет мы не сможем читать мировую научно-техническую литературу, это будет катастрофой, вот когда воздвигнется настоящий железный занавес — железный занавес нашего невежества. Надо внушить Никонову, а через него стране, раз уж так устроено, что внушать такие вещи можно только через него: учись безотлагательно, учись говорить на машинном языке, иначе скоро и о свиньях ни с кем в мире говорить не сможешь.

Молоденьких бизнесменов, мальчишек до 25 лет, мне было особенно интересно рассматривать. Их поистине буржуазная, то есть пресная положительность и уверенность в себе удивляли меньше, чем отношение к ним старших. Никакого превосходства: у старших, конечно, опыт, но у этих знания и энергия — не сказать «бешеная» (времена бешеных энергий в Америке позади и, может быть, впереди; сгустки бешеной энергии скорее можно встретить у нас где-нибудь в особо ненавистных Полозкову кооперативах) — нет, энергию молодого американца лучше назвать размеренной.

Один такой настиг нас через несколько дней в глубине Айовы.

— Господа,— сказал нам наш хозяин Джон Кристалл как-то вечером,— тут один парень предлагает мне тысячу долларов, чтобы я свел его с вами. Его долларов я не возьму...

(Интересно, что делал бы я, если бы они были предложены мне, у которого в кармане было тридцать, отстегнутых мне на дорогу Союзом писателей?)

— ...а вы уж примите его, это может быть интересно.

В семь двадцать пять мы были в районном, одном из шести принадлежащих Джону банков, в предназначенной для переговоров комнате за кабинетом управляющего. На столе уже булькали два кофейника, лежали карандаши и блокноты, блестела пепельница. В семь двадцать девять вошел молодой человек, прямой, как карандаш, в темном костюме — ну, и так далее, портрет знакомый. Он поставил на стол свой дипломат, щелкнул замком, выложил два пласта ветчины и предложил пробовать. Такое начало мне понравилось, может быть, несколь-

ко больше, чем Виктору Федоровичу, поэтому, видимо, я первым получил нож. Один кусок представлял собой натуральную ветчину, другой — поддельную, она была изготовлена из прессованной мясной пасты, чем-то сдобренной. Натуральная была чуть-чуть острее на вкус, но годилась и поддельная. Затем молодой человек выложил несколько мешочков с белой мукой. Мягкая, без запаха и вкуса, оказалась сушеной плазмой бычьей крови, более сыпучая — извлеченным из костей белком. Он делает это все из отходов мясокомбинатов Хаммера. Парень наловчился черт знает каким вещам. Вытяжкой из окороковой кости насыщает свежее мясо — и оно становится копченым, можно исключить дорогой технологический процесс. Белковая вытяжка заменяет жир и яйца для тортов. Он может выпускать этих порошков столько, сколько нужно, были бы покупатели. Не устроим ли мы ему сделку с Сов. Союзом? Гарантирует выигрыш, равный пуду мяса на каждую свиную тушу.

Виктор Федорович сказал ему о себе, что он не чиновник и не бизнесмен, а научный работник, но может дать телефоны и адреса некоторых полезных наших людей здесь и в Союзе. Рассказал о рогатках, которые выставит, с одной стороны, советская бюрократия, с другой — американская. Говорил учтиво и обстоятельно, но без особой энергии. Это — по-английски, а мне — по-русски — быстро, напористо, со злым восторгом — что передо мною на столе обыкновенное американское чудо, что я должен не ворон здесь ловить, а вникать и радоваться, что все это вижу, это — двадцать первый век. Перед нами малый, у которого предприятие по переработке вторсырья мясной промышленности! Ничего не пропадает, вся туша идет в дело. Это же фантастический резерв! Наши смотрят, как больше взять с поля, а нужно — как бы меньше потерять. Я должен себе представить, какое оборудование, какие материалы тут используются: стандарты космической промышленности.

Минут через сорок американец встал, выдал нам по ручке с золотым пером, шестьдесят долларов каждая, и откланялся довольный. Сэкономил тысячу долларов и получил информацию, а это главный товар в современном мире.

С полгода назад я позвонил зачем-то Виктору Федоровичу в его институт, спросил, что нового. Кое-что есть, сказал он. Американцы, с его подачи, начинают шить у нас фермерскую одежду, вплоть до рукавиц, на мазй завод по переработке отходов с боен. Он сунулся с этой идеей туда, сунулся сюда — остановился в конце концов на Прибалтике, там не такие растрепы, какие встречаются у нас в средней полосе.

Я заинтересовался заводом по переработке мясного вторсырья.

— С кем вы его ставите? Не с тем ли парнишкой, что не сообразил дать нам вместо авторучек по одной зелененькой бумажке? — спросил я.

— Тот самый. Кое-кому и дают, кое-кто и берет.

— Да лишь бы дело делали, Виктор Федорович!

Мы вспомнили, как ухищрялись тогда направить на этого парнишку внимание Никонова — ухищрялся, вернее, Виктор Федорович, а я только расстраивал его своим занудством, говоря: все это — мертвые пчелы! Надо, чтобы не член Политбюро с его твердым окладом охотился за этим оборудованием, а мужик, желательно беспартийный и не имеющий в мыслях ничего патриотического, думающий не о том, как бы накормить миллионы своих голодных сограждан, а о своей мошне, как бы разбогатеть на их аппетите.

НЕ ОЧЕНЬ БОГАТАЯ АМЕРИКАНКА

В Демойновском аэропорту нас встречала Элизабет Гарст, племянница нашего благодетеля Джона,— сильно загорелая худая женщина в широком платье из грубой ткани. Сев за руль, она включила ограничитель скорости, чтобы, заболтавшись в неблизкой дороге, случайно не превысить положенные 65 миль, за превышение — чувствительный штраф, и повезла нас к себе в Кун-Рэпидс. Это фермерский городок на полторы тысячи домов в глубине Айовы.

Везла так: правая вытянутая во всю длину нога на педали газа, согнутая левая стоит на сиденье, в ее колено Лизавета упирается локтем руки, в которой сигарета.

Дорога идет степью, движение шестирядное, но ни пыли, ни дыма. То и дело вспыхивает и долго не гаснет, колеблется, дразнит и мучает глаза солнце, отбитое зеркалом какой-нибудь машины. Нас обходят сверхтяжелые грузовики-вагоны, редко один, обычно два, три, пять идут вплотную друг за другом, чтобы никто и не помыслил вклиниться, нарушить своей мельтешней страшную ровность их движения. Когда они, заслонив белый свет, с ревом пронесутся мимо, то несколько минут тишины потом кажутся дорогим подарком, легковушек с их шуршанием просто не замечаешь.

Справа и слева зелень бесконечных, на сотни километров, полей, а навстречу — кажется, прямо с неба, летят на тебя огромные голубые щиты с надписями городов: ныряешь под один щит, а уже надвигается другой, угадывается и третий. Наверное, не случайно выбран и этот ликующе голубой цвет их, и размеры, это забота не только об удобстве, но и настроении человека за рулем: чтобы его не покидало ощущение, что мир велик, щедр и безопасен, что ли?

Нашей приятельнице тридцать шесть лет, она не замужем, хотя и любит детей. Раньше создавать семью было недосуг: училась, путешествовала, нарабатывала себе цену; сейчас она, как экономист-консультант, стоит от ста до двухсот тысяч долларов в год. В Кун-Рэпидсе у нее свой дом, возле дома шестьсот акров недавно купленного леса, но жить сейчас вынуждена в столице штата. Там легче найти себе пару. Недавно она совершила кругосветное путешествие, это заняло год.

— Первый вопрос, который мне задавали индийцы, был: «Вы замужем?» — вспоминает она.— Семья в индийской культуре занимает очень важное место. Стихийных браков почти нет, все устраивают старшие. Невесту представляют жениху только перед свадьбой. Все утверждают, что счастливы в семейной жизни. Западную личную независимость они считают чепухой и верным способом свихнуться.

После путешествия она решила, что пора заводить ребенка, а ребенку нужен отец. В этом ее убеждает пример сестры, которая воспитывает своего без мужа и должна сама зарабатывать на жизнь. Сестра говорит, что, согласно статистике, у Лизы в ее годы больше шансов быть убитой террористами, чем выйти замуж. Она же, Лиза, считает, что под лежачий камень вода не течет. Впрочем, оголтелость в преследовании любой цели ей так же чужда, как и слепая покорность судьбе. Как только найдет мужа или должна будет прекратить поиски, она вернется в Кун-Рэпидс.

Все это она выкладывает в первые полчаса нашего знакомства, спокойно, по-товарищески, на своем более чем американском языке — такая крутая каша во рту, что о половине слов надо догадываться. В ней нет никакого жеманства, и я признаюсь ей в своем опасении, не состоит ли она в кругу Анджелы Дэвис или как там ее. Лиза не знает, кто такая эта Анджела, приходится объяснять. Это, мол, была такая американская коммунистка, член вашего ЦК, черная, с огромной шапкой курчавых волос, за ее свободу что-то с год боролось все прогрессивное человечество, потом она явилась в Москву праздновать свое освобождение. Ступает на советскую землю, народ приник к телевизорам — батюшки, да она же голая! Все, то есть, на ней: и лоскуток юбки, и свитерок, но под свитерком эти штуки трясутся от волнения — и невооруженным глазом видно, что ничто их не поддерживает, никакой амуницийки! Наш дорогой Леонид Ильич в ней души не чаял, часто потом вспоминал мужественную женщину.

Нет, смеется Лиза, она не коммунистка, а либералка, просто жеманницы у них в Америке, как и вообще на Западе, уже перевелись. Падает их число и на Востоке, особенно на Дальнем, в Японии, например, их тоже нет, а скоро не будет и в Южной Корее, и на Тайване. Виктор Федорович сомневается:

— Ты это не можешь так точно знать, с тобой ведь они не кокетничают.

— Мнение интересное, но недостаточно обоснованное,— отвечает она.— Женщины это свойство замечают друг в друге не хуже мужчин, а презирают его больше.

Мы живо и не совсем бескорыстно интересуемся, где, по ее наблюдениям, эти достойные презрения особы еще есть. Она задумывается.

— Мне кажется, я могла бы встретить жеманных женщин в некоторых местах России. Хотя в России я не была.

Я говорю, что далеко забираться ей бы не пришлось, могла бы найти их и в Москве — скажем, среди газетчиц, которые выступают за древлее благочестие и многодетность.

Ничего страшного, успокаивает меня Лиза, пусть манерничают, лишь бы страна в целом не теряла времени, использовала его для образования и улучшения жизни. Она так меня успокаивает, что я вдруг чувствую себя задетым, тоже патриот, елки зеленые! Россия, говорю, все-таки не Азия, а Евразия, в ней и от Европы немало, мы страна контрастов: промышленная слабость — и сильные инженеры, ордынец Лигачев и либерал Сахаров.

Елизавета считает, что за хозяйственной свободой не прошлое, как уговаривают себя некоторые наши передовые экономисты, а будущее. При этом она приветствовала бы стопроцентный налог на недвижимость. Наживай сколько хочешь, полный простор, но после твоей смерти все пойдет в казну для бедных — твои дома, заводы, земля. Без этого полная свобода будет бесчеловечна и опасна. Одни будут не по дням, а по часам богатеть, другие — так же быстро беднеть и опускаться. Таков закон ничем не ограниченного рынка. В принципе есть два пути, чтобы общество не взорвалось. По одному пока идет весь мир, кроме социалистического, но у того не путь, а тупик,— мир идет по пути сдерживания активности капитала, неукротимого по своей природе. По другому пути пока не идет никто, но он, полагает Лиза, был бы лучше: отбирать у человека не свободу наживаться, а — после его смерти — плоды этой свободы.

— Тогда какой интерес будет у него гонобиться? — говорю я.

— Свободно хозяйствовать — удовольствие само по себе. Больше свободы — больше удовольствия. Острейшие ощущения! Вы не верите в свободу,— с сожалением посматривает она на меня,— в производительность свободы.

— Виктор Федорович, наоборот, считает меня анархистом.

— Тогда он просто коммунист. У нас тоже многие не верят в свободу.

У Элизабет был знаменитый дед, фермер Росуэл Гарст, друг Хрущева, главный кукурузник Америки. Был он человек большой жизненной силы, ловкий, любознательный. Когда она училась в университете, эксплуатировал ее нещадно. Постоянные звонки: «Сходи в библиотеку — выясни для меня то-то». Ослушаться нельзя, а интересуют его всякий раз такие вещи, что надо на неделю зарываться в книги.

— Таким способом он, стало быть, сделал вас специалистом? —говорю я.

— Вы знаете, я только недавно это поняла.

— Да? Такая практичная американская девушка, фермерская кость...

— Это было невозможно — заподозрить педагогическую игру. Он действовал очень напористо: вынь да положь.

С Виктором Федоровичем они давние приятели, он бывает в Кун-Рэпидсе каждый год.

— Ну так, Виктóр,— говорит она ему.— Главная моя новость такая, что я решила затеять собственное дело. Хочу выяснить, такая ли я умная, как себе кажусь.

Вторая причина та, что она, по ее словам, не очень богата.

— Ну да,— замечает он мне по-русски, вполголоса.— Пара миллионов — не богатство.

После смерти Росуэла главная его недвижимость— первый в мире калибровочный завод не смог существовать самостоятельно, его вместе с селекционным центром откупили английские нефтепромышленники. Выручка, как думает Виктор Федорович, была поделена между наследниками, так Лизка стала миллионершей.

...не очень богата, но имеет предчувствие, что в ближайшем будущем должна стать очень богатой. Вот во исполнение этого предчувствия она и затевает дело. Хочет открыть торговлю сухими травами и цветами. В Европе это развито, взяли от японцев, в Америке еще новинка, а в Айове вообще пока никто не подозревает, что засушенный бурьян можно продавать, а главное — покупать как украшение.

— Как приедем ко мне, покажу вам свой план, хотите?

У нее уже нанято три работника, один из них за двадцать тысяч в год — на место управляющего будущим магазином. Торчать самой за прилавком ей неинтересно, она должна быть свободной. Бизнес, возле которого хозяин неотлучно, не может стать по-настоящему большим. Надо ездить, летать, иметь досуг для размышления, да и просто для жизни, которая не сводится к бизнесу, хотя у многих — сводится. Дорого стоит торговая площадь, нет денег на большую рекламу, но она нашла выход: помещение снимает в торговом центре самого богатого района столицы. Люди будут ходить за покупками мимо ее магазина, расчет на их любознательность. Три недели Лиза училась в Чикаго дизайну, это обошлось во столько-то, но она все-таки не родилась художницей, поэтому будет нанимать профессионала, который оформит ей магазин и витрину. Бизнес не терпит любительства.

— Виктор Федорович,— говорю я, очнувшись.— Нам эту страну никогда не догнать.

— Только ли эту! — вздыхает он.

Себе на зарплату она выделяет 24 тысячи, это мизер. Чтобы жить, как привыкла, здесь, в Де-Мойне, ей надо сорок тысяч. В Нью-Йорке, между прочим, потребовалось бы сто сорок. Правда, в Нью-Йорке и она стоила бы больше. Здесь домашний фермерский банк готов платить ей за ее советы по 800 долларов в день.

— Ого! — сказал я.

— Некоторые адвокаты берут по двести в час,— сказала она.

Для того чтобы начать дело, нужно, прикинула она, сто тысяч долларов. Пятьдесят тысяч непосредственно в дело и пятьдесят — в резерв и на случай, если придется делать новые вложения. Она идет на большой риск, потому и надеется на успех. Лиза все понимает в советской системе, но одно ей недоступно. Как люди могут верить в социалистические обязательства? Если кто-то объявляет, что он добьется большого успеха без какого бы то ни было риска, это его дело, может быть, у него такая игра, мало ли сумасшедших. Но как ему верят окружающие? Не могут же быть все сумасшедшими!

Она специально ездила в Европу, терлась в цветочных магазинах. Планы все время менялись. Сначала собиралась выращивать цветы и травы на месте, в Айове, на своей земле — у нее и земля есть, не только лес. Потом ей показалось, что будет выгоднее ввозить готовый товар из-за границы. Но тут ее стали беспокоить угрызения совести. Дед настойчиво завещал детям и внукам, ей особенно: пробуйте новые культуры, Айова еще не сказала своего последнего слова, да будет вечно расширяться номенклатура плодов нашей земли! На сегодняшний день она пришла к тому, чтобы делать и то, и это: часть трав и цветов завозить из Европы, часть выращивать на месте и — вот очень интересно! — собирать дикорастущие в степи (благо, треть пашни сейчас в залежи, национальный резерв) и в своем лесу — тут он ей и пригодится.

У меня уже шла кругом голова от обилия подробностей такого пустякового, с точки зрения жителя голодной страны, дела, как торговля сухим быльем, а Лиза только начинала.

Дом Лизы стоит на северной стороне городка, за ним начинается пустынная лесистая местность. У дома высокий цоколь и два этажа. Одна веранда выходила на лес, другая — на реку. Река темная, быстрая, по берегам лоза и камыши. Купаться и ловить рыбу в ней еще нельзя: не совсем чистая. В цокольном этаже дома — обширное помещение со стойкой и столами, как в кафе. Лиза сдает его жителям городка и округи для праздничных обедов и вечеринок. Во дворе — очаг с казаном литров на полтораста и вертелом, на который может быть насажена свиная туша, это целая машина. Здесь же гигантский — о, Америка! —

пустой овин, лет ему, наверное, сто и простоит еще столько же. До своего кругосветного путешествия Лиза держала в нем пару лошадей, сама за ними ухаживала. Под высокой крышей, где сплетение могучих балок и стропил, устроены необъятные полати со столами. Сюда пирующие могут перебраться в случае дождя. Эту усадьбу Лиза купила у отца. Дарить что-либо ценное даже детям, будь то дом или земля, невыгодно, таковы налоговые порядки. Свой лес (орех и дуб) она сдает отцу для пастьбы его скота.

По случаю нашего приезда Лиза пригласила на вечер гостей. До их появления мы успели все как следует осмотреть, даже сходили к соседям. Это была пожилая пара, у них дом поменьше, об одном этаже, в углу двора автомобильный и тракторный хлам: старику иногда удается что-то восстановить и продать. Это, кажется, единственный дом в Кун-Рэпидсе, окруженный забором. На калитке табличка: «Застрелю всякого, кто войдет». Мы вошли, но хозяин почему-то не стал стрелять, хотя оружием была увешана целая стена низкой бревенчатой горницы. От потолка тянуло теплом: в прокладке устроено электрическое отопление. Дед оказался учтивым, преисполненным достоинства. Он был чисто выбрит, на нем были тщательно отутюженные брюки и ковбойка, начищенные башмаки. У него сорок акров леса, в лесу олени и дикие индейки, до последнего времени держал две пары лошадей. В октябре исполнится 50 лет его бизнесу, о чем Лизавета напишет статью в районную газету. Когда мы вышли за калитку, она шепнула, что эта пара — очень бедные люди, такие бедные, что не покупают мяса, вынуждены питаться той, к счастью, обильной, дичью, которую старик приносит с охоты. Она, разумеется, разрешает ему охотиться в ее лесу.

Пока мы были у охотника, на поляне перед ее домом появился большой фургон-скотовоз, возле него какие-то мужчины и женщины весело, но не шумно седлали лошадей. Они дружно, очень приветливо, но тоже не шумно поздоровались с Лизой, она помахала им рукой. Это был клуб конников из соседнего графства, от них сюда километров сорок. На выходные они приезжают со своими лошадьми тренироваться, их она тоже пускает в свой лес бесплатно, за это они перегоняют, бывает, ее скот с пастбища на пастбище, это им очень нравится: чувствуют себя настоящими ковбоями.

До гостей все еще было время, и Лиза повела нас на чью-то выморочную усадьбу недалеко от своего дома кое-что нам показать. Это «кое-что» находилось в покосившемся сарае, до которого мы пробивались сквозь бурьян в человеческий рост. На двери была проволочная завертка. Мы вошли — и нас обдало запахом сенника. В сарае было сухо, жарко, сквозь щели падал свет, в нем стояла цветочная пыль. От стены до стены были натянуты тонкие бечевки, а на них висели бесчисленные пучки трав и бурьянов. Каждый пучок был снабжен биркой: название, дата, еще какие-то цифирки.

— Моя работа,— сказала она.— Я должна знать уйму вещей. За сколько дней высыхает каждое растение. Как долго сохраняет товарный вид. Трудоемкость сборки. Это чтобы правильно платить рабочим-сборщикам.

— Лиза,— сказал я, глядя на нее во все глаза.— Сколько дней вы с этим возились?

— Три недели от зари до зари.

— Спина болит?

— А посмотрите мои руки!

— Виктор Федорович! — сказал я.— Мы никогда не догоним эту страну.

Вернувшись из кругосветного путешествия, она написала книгу, размножила ее в ста экземплярах и раздала друзьям и родственникам. Получили по экземпляру и мы.

Пока она возилась на кухне, сидели в гостиной, читали. Том так и назывался «Кругосветное путешествие Элизабет Гарст, книга для друзей и родных».

С первых строк мы узнали, что у нее было двадцать тысяч долларов, и она почти всё истратила. Носила их в виде дорожных чеков в маленькой сумочке на шее. Там держала и паспорт. Передвигалась не только на самолетах, поездах и автобусах, но также на верблюдах, баржах, грузовиках, мотоциклах, велосипедах, лодках, рикшах и пешком. Все свои вещи весом около двенадцати килограммов

носила в рюкзаке. Пользовалась своей простыней и полотенцем, стирала все сама. Где не было гостиниц, останавливалась... идет перечисление разных пристанищ. В Ладакхе ночевала в молитвенной комнате местного учителя-буддиста. «Он молился в моей комнате»,— пишет она... В этом месте Виктор Федорович ухмыльнулся:

— Ну, американка! Ее пустили, можно сказать, в церковь — и для нее это уже не церковь, а «моя комната».

«Он молился в моей комнате по восемь часов во всякое время суток, распевая, звоня в колокольчик и разбрасывая рис. Спать было трудно, но зато было очень интересно».

Клопы ее кусали только дважды.

Большинство народов ей понравилось. Австралийцы — «жизнелюбивы, решительны и мужественны» — называли ее девочкой. Правда, «в Айрес Роке, религиозном центре аборигенов, белый гид рассказывал отвратительные расистские анекдоты и давал подробную инструкцию, как избить аборигена».

Индия тоже ей понравилась, но там популярны фильмы с участием Чарльза Бронсона, напичканные сексом, поэтому у мужчин неверные представления о западных женщинах. «Это очень раздражает. Мужчины приставали ко мне в среднем три раза в неделю».

Французы доставляли ей немало хлопот своей неорганизованностью. «Если я считаю, что человек просто должен делать свое дело, то французы ждут, чтобы их уговаривали делать их работу при помощи всяких изысканных маневров и неясных намеков. Официант не подаст счет, пока не попросишь».

Кроме дневника, писала письма своим в Америку. «Надеюсь, что кукурузу уже посеяли, со сбытом семян все хорошо, и коровы благополучно отелились... А я в Бирме. Бирма на седьмом месте среди самых бедных стран мира. Это социалистическое государство полицейского типа. Люди недовольны своим правительством и боятся его».

«Хорошо дома! — восклицает она на последней странице, выразив благодарность всем, кто не забывал ее на родине, присматривал за ее домом, особенно матери, Мэри Гарст, которая оплачивала ее счета.— Приятно сознавать культуру, которая тебя окружает, быть с друзьями. Я устала от трехразового питания в общепите и от двухразовой смены одежды... На следующий день после приезда я обедала в китайском ресторане. Мне предсказали, что скоро я снова предприму большое путешествие. Надеюсь, это не сбудется».

В конце книги — этой книги для родных и друзей! — шло несколько страниц сплошной цифири. Элизабет поясняла читателям: «У меня с собой были фотокопии социально-экономической статистики Всемирного банка для каждой страны. Часть этой статистики содержится в приложении».

Нет, мы их не догоним!

Гости были, по нашим понятиям, недолго, часа два с половиной. Журналистка районной газеты с мужем, банковский служащий с женой, холостой бородатый фермер в очках. Лиза выставила самогонное виски, оно намного дороже казенного, за него можно угодить в тюрьму, нарушение федерального закона не шутка, но подавать его в избранном кругу считается шиком. Был довольно шумный, потому что русско-американский, разговор, темы все обычные. О плюсах и минусах цивилизации... В Гондурасе нет панков и рокеров, но нет и дорог, нет школ. Все, конечно, выступали за расширение общественных фондов. В любви к ближнему не клялись, указывали на выгоды такой политики: чтобы все люди были хорошо воспитаны и образованны, чтобы не видеть сумасшедших на улице, пусть им комфортабельно живется в домах скорби.

Фермер Стив все время держался за поясницу. На днях неудачно потянулся за свиньей, придется обращаться к врачу. У него тысяча свиней и 300 акров земли, есть один работник. Элизабет приглашала их обоих, но работник постеснялся идти в гости с хозяином. Стив вспоминал приезд Хрущева в Кун-Рэпидс. Были толпы людей, продавали много вареной кукурузы, за початок брали полдоллара. Весь день над школой (он учился в предпоследнем классе) висели вертолеты.

Проводив гостей, Лиза села на кухне, собираясь с силами для мытья посуды.

Руки (в одной — забытая сигарета) висели вдоль тела. Мы, подумалось, сейчас уйдем, а она остается одна в большом доме, на отшибе, в лесу — хоть и собственном, но в лесу все-таки. У нее нет ни ружья, ни пистолета. Статистика показывает, что вооруженные гибнут чаще, чем безоружные. Виктору Федоровичу захотелось как-то ее развеселить.

— Госпожа банкирша,— сказал он, опускаясь перед нею на корточки.— Я фермер из Котовска, штат Одесса. У меня беда. Без меня появился один «зеленый» и распропагандировал моих свиней. Отказываются принимать корм. Решили кормиться святым духом.

Она подняла голову, на лице ее появилась важность всезнания.

— Это проблема. Наш кредит тут не поможет. Но я дам вам совет. Вы своих свиней не переубедите — нет пророка в своем отечестве. Нужен специалист по рекламе.

— Авторитет побивается авторитетом?

— Правильно, господин фермер. Так устроены и люди.

Ей, видимо, хотелось как-то отблагодарить за сочувствие.

— Бросайте, Викто́р, устраивать советско-американские отношения. Без вас нормализуются. Вы ведь ученый, исследователь.

Я вспомнил, как она сочувствовала сестре, что та вынуждена сама зарабатывать себе на жизнь. Как это согласуется с ее, Лизиной, теорией равенства полов и с уверенностью, что человеку свойственно трудиться для удовольствия?

— Так для удовольствия же, а не для куска хлеба! — спокойно сказала она.— И потом, неужели я была бы вам интересиее без противоречий, без сучка и задоринки, гладкая, как доска?

Полностью лишенных жеманства женщин все-таки нет, оказывается, даже в Америке, с облегчением убедились мы с Виктором Федоровичем и стали прощаться с хозяйкой.

Окончание следует

Маргарита Федотова

КРАСНОДАРСКИЙ СЛЕД

Внеочередной третий Съезд народных депутатов СССР, несомненно, войдет в историю страны — на нем был избран первый Президент Советского Союза. Вспомнит ли кто-нибудь, что за несколько часов до этого события на Съезде прозвучала речь, послужившая внезапному взлету еще одной политической карьеры? Речь произнес Иван Кузьмич Полозков. Она касалась деятельности государственно-кооперативного концерна АНТ. Об этом концерне мы и до сих пор мало что знаем. Одни утверждают, что он предпринял последнюю попытку насытить внутренний рынок товарами, заработав валюту продажей «неликвидов». Известный экономист и публицист Отто Лацис, например, обратил внимание на сообщение Н. И. Рыжкова о том, что именно глава правительства «подписал распоряжение о создании государственно-кооперативной организации АНТ, что разрешения на внешнеторговую деятельность даны в общей сложности 14 тысячам организаций и что решение о бартерных сделках через АНТ считает правильным». АНТ отчислял в государственный бюджет 97 процентов дохода от экспорта и 99 процентов дохода от импорта. Имущество АНТ принадлежало не его членам, а государству. Вся его деятельность велась под контролем компетентного государственного органа с участием представителей правительственных организаций — от Совмина до МВД и прокуратуры. АНТ закупил и подготовил к закупке для экспорта неликвиды, сырье и материалы, после реализации которых на внешнем рынке страна в ближайшее время получила бы товаров на сумму 35 миллиардов рублей. Такова одна точка зрения. Иван Кузьмич Полозков решительно ее отвергает и придерживается взгляда прямо противоположного.

Так как в выступлении Ивана Кузьмича вполне отчетливо отражены его политические симпатии и антипатии, высказаны мысли, которые и составляют основу того, что теперь называют «программой Полозкова», то уместнее всего предоставить слово ему самому. Откроем стенографический отчет Съезда:

«Мы обращались за помощью к руководству ЦК, правительству, в КПК при ЦК КПСС, Комитет народного контроля СССР, Министерство обороны, Прокуратуру СССР, чтобы пресечь этот грабеж нашего Отечества. Вы знаете, нам никто не захотел помогать. Одни не захотели откровенно, другим, как нам виделось, вообще ни до чего дела нет, третьи отказались, так как им не по силам. И только публикация в газете «Советская Россия» явилась тем информационным взрывом, который потряс весь наш народ от мала до велика. Спасибо ее редактору товарищу Чикину за мужество и гражданственность.

Сказанным я подчеркиваю, что положение у нас сейчас таково, когда вроде бы все мы в ответе за страну, но никто конкретно. А это не что иное, как коллективная безответственность, как круговая порука, как всепрощение. Это уже было, это не ново, именно это привело нас к той черте, у которой мы оказались. Теперь давайте рассмотрим другую сторону этого же примера. Как появился на свет божий АНТ и ему подобные, которых сегодня сотни в каждой области и республике, перед грабительскими действиями которых блекнут даже самые громкие дела бывших взяточников и казнокрадов Краснодара, Ростова, Москвы.<...>

Получается, что теперь этот грабеж стал как бы законным. Мы все свидетели того, как рождался Закон о кооперации, а теперь из средств массовой ин-

формации мы узнали, почему его именно таким и с такой настойчивостью пробивали народные депутаты Тихонов и Собчак, почему этих спрутов защищают «Московские новости»[1]. <...>. Почему этих спрутов защищают журналисты...

Председательствующий. Тихо, тихо, товарищи: есть председательствующий, есть президиум. Пожалуйста, товарищ Полозков.

Полозков И. К. ...«Московских новостей» и «Известий»? Деньги, оказывается, вещь заманчивая, а корысть всегда была небезобидна. Парламентско-журналистское кооперативное лобби, как бы это ни пытались сегодня отрицать, налицо. У него сейчас угодный ему Закон, средства массовой информации, деньги, а значит, и реальная власть. Тот, кто становился на пути этой международной и отечественной мафии, испытал уже и испытывает ежедневно пресс массированного давления, шантажа и угроз, вплоть до физического воздействия.

Но трагедия в том, что ограблены миллионы трудящихся, и им сегодня негде искать защиты в нашем становящемся правовым государстве. Негде и не у кого. <...>

...В стране создана и уже действует на основе торгово-закупочной кооперации такая социальная база, на которой растут, как на дрожжах, различного рода политические течения, находят приют любители легкой наживы, в обнимку с этими новыми советскими буржуа выходят на арену политической власти уголовники, национал-социалисты и другие «исты»...»

Привожу столь обширную цитату не столько из желания дать пищу уму читателя, сколько из соображений практических. Так как дальнейшее повествование в основном состоит из разного рода документов и свидетельств, мы получим полную возможность сопоставить с реалиями жизни суждения Ивана Кузьмича о природе мафии, беззащитности ограбленных трудящихся, социальной базе, на которой уголовники объединяются с разного рода «истами», и т. д.

Как ни парадоксально, говоря о сотнях «спрутов» в каждой области и республике, Иван Кузьмич не устает выдавать себя чуть ли не за главного защитника кооперативного движения. Защита, правда, своеобразная. В крае, где годовые потери от порчи плодоовощной продукции на полях и базах официально оцениваются в 320 — 390 тысяч тонн, за год было закрыто более 600 кооперативов, в том числе 150 торгово-закупочных. Исполняющий обязанности прокурора РСФСР указал на незаконность множества решений местных властей. Краснодарская фемида, однако, смотрит на дело иначе. Заместитель прокурора Валерий Гребень считает, например: «Надо смотреть дальше и глубже. Почему мы слепо должны следовать закону, который не отвечает интересам народа?»

Когда в разговоре с Иваном Кузьмичом я коснулась выводов прокуратуры РСФСР о беззаконном закрытии кооперативов, он, нимало не смутясь, воскликнул:

— Сотни кооперативов? Да они сами закрылись. И знаете почему? Потому что открыли их неумехи...

Возвращаясь же к третьему Съезду, должна с печалью отметить, что на журналистской галерке Дворца съездов (где и я представляла свой журнал «Сельская новь») выступление первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС восприняли скорее как политический курьез, чем как политический вызов. Это ошибка. Думаю, АНТ потребовался Ивану Кузьмичу как повод для обличения политических оппонентов, подновления антикооперативной кампании и сведения счетов с мало симпатизирующей ему прессой. «Кто это?» — «Откуда?» — «Ну и ну!» — пересмеивались коллеги. «Ты еще узнаешь, кто это»,— пообещала я одному из них. (За последние годы мне не раз приходилось выезжать в командировки на Кубань — жалобы оттуда шли пачками.) И надо же — как в воду смотрела! Иван Кузьмич, более тридцати лет терпеливо и незаметно перешагивавший с одной ступеньки аппарата на следующую, за какие-то полгода превратился в столь заметную фигуру, что интервью вынужден начинать фразой: «Не так уж я плох, как меня пытаются изображать...» Он и мне это сказал, когда я подошла к нему в

[1] Позднее Полозкову пришлось в комиссии по этике Верховного Совета СССР принести извинения депутатам Тихонову и Собчаку з свои необоснованные обвинения.— М. Ф.

кулуарах третьего Съезда с вопросом, кто был инициатором знаменитой «помидорной войны» — сноса теплиц на приусадебных участках.

— Во-первых, не связывайте, пожалуйста, все плохое в крае с моим именем,— сказал тогда Иван Кузьмич.— Ей-богу, я не так плох! Во-вторых, я стал первым секретарем Краснодарского крайкома только в 1985 году, а теплицы сносили, как мне говорили, при Медунове... Ну, может, и при мне были отдельные случаи. Но никто из честных тружеников не пострадал. Наказывали спекулянтов, тунеядцев...

Ответ, прямо скажем, лукавый. Хотя после Медунова Краснодарскую партийную организацию некоторое время возглавляли сперва В. Воротников, а за ним Г. Разумовский, Иван Кузьмич все же не был в ней незначительным лицом. Как-никак секретарь по идеологии. Главное же в другом. С 1985 года «помидорная война» отнюдь не затихла. Скорее, наоборот. Искоренение «частнособственнических пережитков» было в полном разгаре, о чем свидетельствовала и почта с Кубани, и ее пресса.

«Дорогая редакция, пишет вам читатель журнала «Сельская новь» Матюшин Сергей Михайлович из Краснодарского края. Я и моя жена — пенсионеры да еще и работаем в колхозе, я постоянно, жена — летом (сезонно). Имеем приусадебный участок 0,15 га. Из них 0,08 га занято постройками и садом, на остальной площади выращиваем овощи и кукурузу для своего хозяйства, имеем корову, теленка и птицу. Свою семью и семью сына полностью обеспечиваем сельхозпродуктами. Сыну начали строить отдельный дом и, чтобы ускорить строительство, в этом году решили вырастить побольше помидоров, чтобы осталось и для продажи на рынке. Для рассады я смастерил тепличку из реек и накрыл пленкой...

И вот в дни работы 27-го съезда нашей Коммунистической партии по селу ходила комиссия в составе: участкового милиционера, юрисконсульта колхоза и члена комиссии из сельсовета, которые предупреждали, чтобы все владельцы теплиц немедленно явились в сельсовет, иначе теплицы будут разрушены. Через три дня мы с тов. Новак В. А. зашли к председателю сельсовета тов. Стародуб В. Д. Она нам говорит: «А! Пришли нарушители». Я спросил: «А что мы нарушили?» Она говорит, что теплицы построены без согласования с районным архитектором и что овощи в таком количестве выращивать нельзя, так как это уже рассматривается как нажива, обогащение.

Я тогда зачитал председателю сельсовета... ответ читателям «Сельской нови» кандидата экономических наук Л. В. Никифорова (заведующий отделом Института экономики АН СССР.— М.Ф.)... Там ясно сказано, что объем товарной продукции определяют владельцы ЛПХ, а не кто-то со стороны и что размер теплиц 20—25 кв. м установлен только правительствами Белоруссии и Украины...

...Возможно, есть новые постановления нашей партии, которые для тружеников села еще не опубликованы, и мы их не знаем?..» (Краснодарский край, Северский район, село Львовское).

Как вскоре убедится читатель, привожу отнюдь не самое вопиющее из писем. Важно, мне кажется, обратить внимание на то, какие надежды связывали люди с XXVII съездом «нашей Коммунистической партии», ясно в то же время сознавая, чьими постановлениями регламентируется жизнь «тружеников села».

Речи Ивана Кузьмича Полозкова на этом съезде надежд, конечно, никто уже не помнит. Приведу короткую цитату и из нее.

«В крае, как известно, были допущены отступления от ленинских норм партийной жизни. К руководству порой выдвигались люди, политически незрелые, лишенные классового чутья, склонные к угодничеству и очковтирательству...

Центральный Комитет КПСС оказал помощь краевой партийной организации. Мы освободились от работников, которые так или иначе скомпрометировали себя. Пошли на замену и тех руководителей, у которых хозяйственные дела шли вроде бы и неплохо, но морально-психологическая атмосфера была ненормальной...

Все случаи негативных проявлений предаются широкой гласности. Одним

словом, складывается определенная системность в работе с кадрами. Удалось добиться такого положения, что теперь каждый партийный комитет в состоянии дать принципиальную оценку любому нарушению Устава КПСС, нравственных норм и требований закона. И люди это знают».

Из приведенных слов следует: к XXVII съезду КПСС с «медуновщиной» на Кубани было покончено, край очищен от беззакония, кадры обновлены, и жизнь с приходом к руководству И. К. Полозкова нормализуется.

Что же, однако, «знают» и о чем в это время пишут в Москву люди?

«Мы, жители селений Афипсип и Панахес Адыгейской автономной области Краснодарского края, к вам обращаемся. То, что сейчас происходит у нас, не знаем, каким словом назвать. Что-то вроде земельной реформы, тепличной реформы. Если бы вы видели эти бесконечные сходы граждан уже третий месяц, угрозы в адрес землепользователей, постановления, решения!.. Тружеников села называют кем угодно: хапугами, мошенниками, стяжателями. То, что они выращивают,— это нетрудовой доход. За теплицы наказывают, штрафуют. Хотя и не теплицы даже это, а пленочные укрытия. Есть случаи в селах, когда руководители сами, собственноручно разрушают укрытия.

А теперь вопрос поставили так: в случае вывоза нами излишков карать будут «по всем законам». Только не знаем, по каким именно.

В чем причина, вы спросите. Истинная правда, что у нас ежегодно хозяйства не выполняют план по сдаче сельхозпродуктов, поля некоторых хозяйств зарастают сорняками, скот падает и много недоделок. Причина не в овощах, не в огородах жителей села, а в неумелых и нерадивых руководителях. В одном месте они проваливают хозяйство, их пересаживают в другое. Много у нас менялось руководителей, а дела все ухудшались. Есть у нас прекрасные рисоводы, механизаторы, учителя, врачи... Но нет никакого настроения у людей: все грозят да грозят, землей упрекают. Молодежь уезжает в город — ведь негде им работать. В совхозе имени Хакурате что на ферме, что в тракторной бригаде — низкая оплата труда. Нет ни газа, ни душа, ни бани, до сих пор в тазах моемся. Население своими силами и средствами провело водопровод, но до него и сейчас ни у кого дела нет: трубы постарели, месяцами течет куда-то драгоценная вода. Нет дорог, единственная асфальтированная — центральная.

Немало нужно денег, чтобы жить по-человечески в таком селе, где обо всем должен ты сам позаботиться. И тут нас выручает земля. Научились выращивать хорошие урожаи овощей. Большим подспорьем в последние годы стали пленочные укрытия: овощи созревают намного раньше. Но теперь на сходах только и слышим о запрете на вывоз да о снятии укрытий, сносе теплиц любых размеров. Что такое? Кому верить? В центральной печати читаем о том, что нужно содействовать населению в реализации излишков сельхозпродуктов, в том числе овощей, читаем и о продаже готовых теплиц индивидуального пользования... А тут все наоборот. В сезон овощей машины с помидорами загоняют в разные заготпункты. Если собрался на рынок, грузить приходится ночью, а то и за поселком. Вроде бы право есть, но почему его надо осуществлять воровски? Кто сможет довести смысл законов и постановлений до наших руководителей? Мы прекрасно понимаем, что в советском обществе нет места тунеядцам, ворам, стяжателям, пьяницам. С ними нужно вести беспощадную борьбу. А с работником села нужно считаться, нужно, как говорится, находить общий язык, заботиться о его благе. Надоели слова: оштрафуем за теплицы, лишим работы за вывоз овощей, лишим диплома...

Как жить в селе дальше?»

Но, может быть, все-таки эти и подобные письма отражали, как сказал мне позднее Иван Кузьмич, «отдельные случаи»? Увы, нет. И не потому, что таких писем было много: Кубань — обширный край и может продемонстрировать множество «отдельных случаев». Но нет. Достаточно познакомиться с решениями местных властей, с краснодарской прессой тех (как, впрочем, и последующих) лет, чтобы убедиться: никакая это не случайность, а твердое следование линии крайкома, райкома, парткома. Власти того самого совхоза, с письмом откуда вы только что познакомились, опубликовали, например, такой декрет: «Афипсипский сельский Совет и администрация совхоза имени Хакурате предупреждают жителей Афипсипского сельсовета о том, что в соответствии со ст. 20, ч. 4, ст. 32, ч. 6 Земельного кодекса РСФСР земельные приусадебные участки не могут быть использованы для выращивания монокультур с целью реализации. В случае высаживания монокультур земельные приусадебные участки будут полностью изъяты в фонд совхоза». Беззаконие, разумеется, полное, выдумка,— а куда крестьянину податься?

Надо сказать, местная пресса откровенно и напористо проповедовала и проповедует то, о чем уважаемый Иван Кузьмич ныне предпочитает умалчивать и от чего даже открещивается. В белореченских «Огнях Кавказа» зам. редактора А. Алейников писал, например: «...Занятие огородничеством с целью наживы — уродливое явление, чреватое моральным перерождением честного труженика в частника и торгаша. Потому подлежит решительному искоренению». Ведь превратив огород в источник дохода, он (честный труженик? частник?) «пользуется всеми благами, что дает советскому труженику государство: почти бесплатно ест хлеб наш насущный, пользуется копеечным общественным транспортом, бесплатной медицинской помощью, социальным страхованием и пенсионным обеспечением... Да все разве перечислишь...» (8.02.86 г.)

Знакомый голос, не правда ли? Впрочем, похоже, тогда на Кубани другого голоса было не услыхать. Корреспондент краевой газеты Н. Карабанов (9.02.86 г.) бил тревогу: «Паутина стяжательства опутала многих жителей станицы Ивановской». Приведу выдержки и из этой статьи. «На стяжательские аппетиты отдельных граждан раньше особого внимания не обращали. Приусадебный участок положен. Он выделяется колхознику, чтобы тот выращивал для себя огородную продукцию. В дополнение к той, что получает из общего котла. Однако семена стяжательства попали в благодатную почву. Вскоре «деловая» активность ивановцев на приусадебных участках приняла угрожающие размеры, увлекла и тех, кто раньше не помышлял за счет той же капусты заметно увеличить свой личный бюджет...» Секретаря колхозного парткома, как сообщал корреспондент, тревожит, что «некоторые коммунисты тоже не устояли перед соблазном поживиться на огороде». «Из 224 членов партии каждый четырнадцатый занимается огородничеством в недопустимых размерах. Следует причислить сюда и одиннадцать депутатов Ивановского сельского Совета, активно использующих свои приусадебные участки для получения дополнительных доходов, не связанных с общественным трудом».

Между тем к нам, в «Сельскую новь», шли из тех самых мест иные вести.

«...Живем мы в станице Ивановской, все работаем, кто в колхозе, кто на производстве, но в данный момент, несмотря ни на что, мы все «спекулянты и стяжатели», а стяжателей, как передал наш местный радиоузел,— 870 дворов. Вот уже месяц, как новый председатель (он у нас два месяца работает) ведет со всеми нами непримиримую борьбу. Дело в том, что у нас многие выращивают капусту на своих приусадебных участках. Кроме капусты, каждый сажает еще не менее десяти наименований овощных культур, но предпочтение отдает все-таки капусте. Ее выращивали и двадцать лет назад наши родители, так что мы умеем ее выращивать. Но делать это, оказывается, нельзя. Почему — непонятно.

Он, председатель, видимо, тоже читает ваш журнал, поэтому он не стал перепахивать огороды, как он это делал в соседней станице Мышастовской, где он работал председателем сельского Совета. Он сделал по-другому. Зная Устав колхоза и полномочия общего собрания, он буквально протащил среди многих вопросов вопрос об ограничении высадки овощей (ранних)... И горе тому, кто ослушается: не председатель приказал — общее собрание.

Теперь каждое утро и вечер слушаем объявления по радио: посадил чуток побольше — лишить земельного участка! Половина дворов лишена участков. Ставит условие: выдерни капусту, перекопай редис — отдадим землю. Вот так и делают... Исключения не составляют ни ветераны войны, ни инвалиды, ни пенсионеры. Весна на улице, работы в огороде уйма, и руки не поднимаются. В воскресенье, 23 марта, 106 человек были в правлении на «беседе», а в понедельник ве-

чером читали по радио «приговоры». На несколько человек передали дело в прокуратуру — они продолжают обрабатывать землю, которой их лишили. Что делать? Может, ранние овощи никому не нужны? Так в колхозе их не сажают, им сейчас некогда, каждую субботу и воскресенье ходят по дворам, считают капусту. Самое большое преступление — посадить что-то под пленку. Почему? Может, солнечная энергия лимитирована? Помогите, пожалуйста, разобраться, приезжайте к нам».

В редакции решили: надо ехать. Собрали письма (с частью из них вы ознакомились) и отправились вдвоем: ведущий научный сотрудник (ныне зав. сектором) Института экономики АН СССР Тамара Евгеньевна Кузнецова и я. Объехали девять районов. Что сказать? Что факты подтвердились? Мало. Проявления произвола, беззакония, глупости сплошь и рядом опирались, как ныне говорят, на «правовую основу», она же — власть бумаги. Например, в подтверждение правоты властей в станице Ивановской нам предъявили «Выписку из протокола общего собрания уполномоченных колхозников». Думаю, ее стоит процитировать. «Довести в личных подсобных хозяйствах колхозников и граждан, пользующихся землей колхоза, производство овощей и бахчевых на одного члена семьи не менее 150 кг в ассортименте: плодов 70, картофеля 110 кг. Установить предельную норму распределения земли под ранние овощи не более 0,03 га, в т. ч.: капуста — 0,004 га, томаты — 0,008, огурцы — 0,005, лук — 0,003, морковь — 0,003, свекла столовая—0,002, прочие овощи—0,005 (из них под пленкой 0,01), под цветы—0,005, под ранний картофель не более 0,02 га...»

Не «Выписка из...» — Кодекс! Кодекс строителей казарменного коммунизма...

В адыгейском совхозе имени Хакурате (письмо его жителей приведено выше) рабочие собирают по 33 центнера томатов с гектара. По 33 центнера собирают они и на собственном приусадебном участке — только не с гектара, а с десяти соток. Директор совхоза А. И. Хачак рассказал нам, что половину плана по овощам район выполняет за счет личных подсобных хозяйств, это самые дешевые овощи.

— Чем же помешали вам помидоры на подворьях?

— Мне лично — ничем. Да и совхозу они не помеха. Уборка риса в сентябре, а помидоры созревают в июне — июле. Просто собрали нас в райкоме партии и приказали: запретить. А раз приказали — выполняй.

В совхозе познакомились мы с братьями Малиш. Люди еще молодые, но уже отцы семейств. Оба строятся. «Лучшие мои механизаторы»,— сказал о них директор. Лучшие механизаторы (проверила по документам за семь лет) больше двух тысяч в год домой не приносили; выпадали месяцы с оплатой в 40, 60 рублей. Вот и проживи с семьей да стройкой без огорода. А огороды отрезали. Я написала об этом статью и получила официальный ответ, будто прокуратура края подобные нарушения закона в 1986 году решительно пресекла. Осенью 1987 года один из братьев, Нурбий, прислал мне письмо.

«Те огороды, у кого отрезали, заросли амброзией, а в августе этого года вызвали в сельсовет по повестке всех, у кого отрезаны огороды. Там присутствовал заместитель прокурора района Чале К. Х. Я зашел в кабинет председателя сельсовета, и мне сразу задали вопрос: почему ты обработал в этом году две сотки лишних? Как вы знаете, у меня было 0,25 га, ушел из совхоза — отрезали 10 соток (Нурбий уходил от обиды, но деться некуда, дом-то его отрезан от шоссе бездорожьем! Да и земля тянула. Вернулся.— М. Ф.). Пришли, отмерили, сказали: до столба линии электропередач. И я обрабатывал до этого столба. Ну, я объяснил все как было, а прокурор все писал... Я обратился к председателю сельсовета с вопросом: кто должен косить амброзию в отрезанном огороде (семена летят...). Ответ: «Ты сам будешь косить». И до сих пор амброзия не скошена не только у меня, а у всех. А теперь вопрос: кому выгодно?

Не думайте, что я прошу, чтоб вернули отрезанный огород. Нет. Хоть что хотят пусть делают, но я не возьму обратно. Администрация совхоза пугает своих рабочих этими огородами: уйдете с совхоза — заберем огород. Это первое. Второе и самое главное. Дорога, которая соединяет три населенных пункта сельсовета (около 10 тысяч жителей), отрезана от города. Чтобы дойти до первой автобусной остановки с Панахеса, надо прошагать 5 км, с Псейтука—13 км. Дорогу закрыли, автобус сняли... Вот так и мы перестроились. Везде улучшается, а у нас каменный век. Пенсионерам сельсовет выделил по 2 кубометра дров на зиму, а надо не менее 10 кубометров. Печное топливо завезли только начальникам. Тут можно писать целый роман. Но я уже никому не верю...».

В феврале 1988 года Нурбий и другие, упомянутые в моей статье пострадавшие от беззакония люди, получили новые судебные повестки, извещающие, что они оштрафованы на суммы от 150 до 250 рублей за то, что якобы обработали «лишние» сотки. Между тем землю братьям Малиш так и не вернули.

Таковы нравы, и со временем, как видим, они изменяются мало.

В июле этого года Иван Кузьмич Полозков (уже не кубанский лидер, а первый секретарь ЦК Компартии РСФСР) выступал перед москвичами в зале издательства «Наука» с разъяснением своей программы. Возник, естественно, вопрос и о том, когда же наконец крестьянин избавится от своего крепостного состояния. Иван Кузьмич возмутился:

— А вы спросили у крестьянина, хочет ли он раскрепощения? Я встречался с сельскими тружениками и всегда задавал вопрос: кто хочет стать фермером, самостоятельным крестьянином? Не было таких! Если и есть такие, то они сейчас пропадут, так как нет социальных, правовых, материальных и экономических гарантий...

Тут я вспомнила о братьях Малиш и со вздохом подумала: «Да, это уж точно, пропадут». А Иван Кузьмич продолжал:

— К нам на Кубань приезжает много делегаций фермеров. Наши колхозы ничем не хуже американских ферм, считают они, но никак не могут понять, чье это все — в наших колхозах.

И опять я вздохнула: где уж им, американцам, понять; у них под свеклу столовую по 0,002 да под цветы по 0,005 га не отводят, не додумались. Но тут из зала вдруг крикнули:

— Тогда где зерно и мясо?

— Не сбивайте меня!.. Потенциал колхоза еще не исчерпан!..— совсем рассердился Иван Кузьмич. А потом посоветовал: — Проследите за тенденцией американских ферм. Сегодня по размерам они равны нашим средним колхозам. Да, мы у них покупаем. Но у нас помидоры некому собирать. Наши студенты поехали работать в Австрию, а техники у нас для уборки нет и рук нет... Сейчас надо закреплять тех, кто живет в селах...

Так и сказал: закреплять.

Нынешней изобильной осенью зеленый огурец на московских рынках стоил восемь, а то и десять рублей за килограмм. В магазинах же огурцов вовсе нет. И вот я вспомнила еще одно письмо с Кубани. Прислал его Александр Михайлович Мещеряков (инвалид Великой Отечественной войны, 45 лет трудового стажа).

«Ныне на сходке объявили, что теплицы можно иметь лишь обогреваемые биотопливом, то есть парники. Может, не нужно заниматься ранними культурами и вообще выращиванием овощей, но привычка к труду благородная просит трудиться в меру сил. Не бегать же мне, как горожанину, по окраине в целях сохранения здоровья! Я могу еще шевелиться на огороде и приносить пользу себе и добрым людям. Разве лишние государству те килограммы, которые я сдам заготовителям или городам на рынке? В 1985 году мы со старухой сдали 1270 кг огурцов на сумму около 700 рублей. А в 1986 году огурцов не продали и не сдали ни одного килограмма...

Так почему же власть имущие не хотят принять наш посильный труд в общую копилку нашего государства? По моему глубокому убеждению,— потому что продукция «частника» появляется на рынке раньше, а они, при всей своей оснащенности техникой, людьми, научными кадрами, химическими препаратами,— не могут организовать производство, а чаще не умеют и не хотят, и им остается одно — запретить «частнику» выход на рынок под любым предлогом».

Что и говорить: бездарный чиновник никогда не любил афишировать бессилие своей власти. Но есть и другая сторона проблемы. Откровенно политическая. В интервью «Правде» (6.08.1990 г.) Иван Кузьмич Полозков обозначил ее вполне ясно: «Таково вообще свойство частного капитала: как только появляются свободные деньги, их владельцы начинают претендовать на свою долю власти. Чем больше денег, тем крупнее требуемая доля».

Нет, не огурцами-помидорами не желает поступиться Иван Кузьмич. Их все равно убирать некому. И даже не принципами своими — на них тоже мало охотников. Иван Кузьмич Полозков не желает поступиться главным: властью.

Похоже, что жесткая связка, о которой он не устает напоминать: «частный интерес» — «власть»,— след не столько высшего партийного образования, сколько практического опыта, извлеченного из жизни,— краснодарский след. Власть и выгода здесь давно уже ходят «в обнимку» всюду, где есть возможность распоряжаться тем, что «не понятно чье». Ограбленному труженику при этом действительно некуда и не к кому идти с жалобой, вот и пишут в Москву. Эта почта ужасает не только безысходностью, постоянством рефрена: «Письмо мое на место прошу не пересылать — бесполезно»,— но какой-то особой кучностью, что ли. Вдруг начинают доноситься вопли из одного района, иногда даже из одного хозяйства, и порой, как ни бьешься, куда ни рассылаешь запросы и просьбы, годами не можешь добиться толкового ответа, что же там, собственно, происходит. У меня скопилась, например, целая связка писем из Выселковского района. За судьбой некоторых своих корреспондентов я наблюдаю уже не первый год и, сколько могу, пытаюсь помочь им. Но помочь удается редко. Наберитесь терпения: хочу привести с некоторыми сокращениями довольно длинное письмо Татьяны Алексеевны Карнаух, телятницы колхоза «Искра». Подробности его раскрывают устройство механизма той власти, которая более всего и гнетет человека труда.

«...В 1985 году доярки написали жалобу в ЦК КПСС о том, что на ферме есть лишние коровы. А жалобу написали потому, что со всех животноводов срезали зарплату. Когда приехала комиссия по этому поводу, то лишних коров скотники Рывун Вл. и Чернышов Вл. угнали далеко в поле. А доярок закрыли в автобусе главный зоотехник Шерештан и председатель колхоза Залата и заставили написать опровержение, что на ферме лишних коров нет, пообещав дояркам выплатить за сверхплановую продукцию.

Лишних коров погрузили на машины и отвезли на мясокомбинат... Дояркам выплатили за сверхплановую продукцию, и больше никому (то есть другим животноводам.— М. Ф.) не платили... И тогда я написала жалобу в краевой комитет профсоюзов, что я работала с марта 1984 г. по декабрь 1985 г. без выходных дней, праздничные вдвойне не оплачивали, неправильно начисляли зарплату, премиальных по итогам соцсоревнования не выплачивали, премиальные за сверхплановую продукцию не выплачивали, премиальные за зимовку тоже не платили. С проверкой с края приезжал т. Кузыченко Е. С., который выявил, что зоотехник фермы Сахарова В. И. получала премиальные по итогам соцсоревнования, ставила фиктивные подписи в ведомости и деньги присваивала себе не только за телятников, но и за доярок, скотников. Она получала большие суммы денег. В актах перевески расписывалась сама, а те акты, где я расписывалась, исчезли. Кузыченко сказал, что здесь уголовщина и должен разбираться ОБХСС...

После проверки, сделанной Кузыченко, мне начислили за сверхплановые привесы, но начислили неправильно. С марта 1984 по март 1987 года недоплатили 4000 рублей... И вот 22 февраля 1987 года я на отчетном колхозном собрании рассказала о тех махинациях, которые творились на ферме, о том, как я работала, а за меня кто-то получал мои заработанные деньги и присваивал их себе.

После проверок ОБХСС Выселковского района выявили, что заведующий фермой Атмаджев собирал деньги за молоко, которое продавалось прямо на ферме, и в колхозную кассу не сдавал, а присваивал их себе. Учетчица Белова Е. И. занималась припиской молока, она ежемесячно приписывала 7—8 тонн молока на телят, но телята это молоко не видели. Только за 1986 год было приписано 103 тонны молока на 45 000 рублей. За приписку молока никого не наказали, потому что таким образом выполняли план по молоку, и в конце года специалисты получали большие премиальные. На январь 1987 года колхоз имел 7 000 000 долга.

Против зав. МТФ Атмаджева, учетчицы Беловой и зоотехника фермы Сахаровой было возбуждено уголовное дело. Нас всех, телятников, как свидетелей, вызывали на суд три раза, но суд так и не состоялся. А судили, когда всех свидетелей отослали домой... Так они остались безнаказанными.

А вот меня, после того, как я выступила на собрании с разоблачением, решили убрать с фермы, меня же оклеветав в воровстве молока... Сделали это так. У нас, как я писала, прямо на ферме продавали молоко своим работникам. Все, кто брал молоко, подходили к учетчице Беловой и говорили ей, чтобы она записала, кто сколько взял, а заведующий Атмаджев говорил, в какой день должны приносить деньги за молоко, и деньги получал сам. За купленное молоко мы даже нигде не расписывались. И вот по такому порядку 14.03.87 г. купила я семь литров молока. Когда я налила молоко в банки, ко мне подошел Атмаджев и сказал, что я молоко украла. Я ему сказала, что я записала у Беловой при свидетелях... Но Атмаджев на другой день вызвал милицию и возбудил уголовное дело. Из нарсуда мое дело отправили в колхоз «Искра» на товарищеский суд. Товарищеский суд состоялся без меня. Председатель товарищеского суда т. Деркач С. П. приехал ко мне домой, зачитал решение суда и сказал мне: если кто будет спрашивать тебя, ты скажешь, что на суде была.

В марте 1987 г. я набирала телят в профилактории. Был массовый растел коров, телят приносили из корпусов и из базов с улицы, где стояли коровы. Была большая скученность телят, в маленьких станочках по 3 и 2 телка, солома на подстилку не подвозилась,—а это видели и главный врач, и главный зоотехник, но мер никто не принимал. Ветеринар фермы Алманова колола телят (делала им уколы.— М. Ф.), я даже не видела чем. А когда я у нее спрашивала: «Чем ты колешь?», она мне отвечала: «Не твое дело, чем надо, тем и колю»... И вот у меня за 10 дней пало 40 телят. И мне никто не показал документов, по какой причине идет падеж. Но я в профилактории набирала все время без падежа, и даже семимесячных телят выхаживала...

25 марта того же года собрали совет фермы и выгнали меня с работы, перевели из телятниц в бригаду № 2 разнорабочей. Но в бригаду я работать не пошла, так как выгнали незаконно, а выгоняли с работы уже в третий раз.

Как удалось получить согласие других колхозниц на мое изгнание? А вот как. Атмаджев ходил по корпусам и говорил, будто я написала заявление председателю колхоза, что на ферме доярки воруют молоко и комбикорм, хотя это неправда. Этим занимались зоотехник и учетчица. А кроме того, Атмаджев и Сахарова написали заявление (обо мне), а всех животноводов зазывали в кабинет и говорили, чтобы расписались,— Сахарова объясняла, что, мол, это за телят, вы их получали как премиальные. И все, не читая, расписывались. Но телятница Позднякова З. А. расписываться не глядя не захотела, а прочитала. Там было написано, как я, Карнаух Т. А., плохо работала, и доярки получили от меня плохих телят, больных...

И вот результат — я третий год без работы. Учетчица Белова стала работать лаборантом на МТФ № 2, Сахарову повысили в должности — зоотехник-селекционер. Сидит в конторе колхоза. Атмаджев рассчитался и уехал. А приписанное молоко — более 100 тонн — «раскидали» на всех доярок, и в результате дояркам за тот год не заплатили за сверхплановую продукцию. Им молча пришлось платить за чужие грехи, чтобы не иметь мою участь. Все они работают, а меня выгнали с работы, потому что я мешала заниматься махинациями.

...Ездила в Москву 4 раза, была в Комитете советских женщин, в приемной ЦК КПСС, приемной Верховного Совета СССР, ЦК профсоюза, прокуратуре РСФСР, газете «Сельская жизнь», в «Советской России». К кому бы ни приходила на прием, все очень любезно меня встречали, обещали помочь. Но как только уезжала домой, все мои жалобы отсылали в край или район. Из края и района приезжали представители и ехали ко мне домой, а не в контору разбираться Возле двора накричат на меня и уезжают...

4 января 1988 года начали писать за меня жители станицы Балковской в газету «Сельская жизнь». Приезжал корреспондент Ю. Н. Семененко, разговаривал с людьми. Мне он говорил, что я во всем права и что должны восстановить на работе и выплатить за прогулы не за три месяца, а за все время... Но в газете он не выступил... И вот после того, как начали писать в мою защиту жители, меня восстановили на работе — 11 мая 1988 года. При среднем заработке 420 рублей мне начислили 600 рублей за три месяца. А те 4000 рублей, что недоплатили (за сверхплановые привесы),— сказали, что нет документов, их спалили, а мы проверяем только по документам.

Когда я вышла на работу, то заведующий Троян сказал: у меня для тебя работы нет. Я два дня ходила то в контору, то на МТФ — так мне работы и не дали... А везде, во все инстанции отписывают, что все требования Карнаух Т. А. по ее труду удовлетворены.

Мои требования никто не удовлетворил...

В мае 1988 года пришел ко мне домой парторг колхоза и начал меня просить, чтобы я не требовала те деньги, которые мне недоплатили. Войди, говорит, в наше положение: мы тебе их выплатить не можем. Если мы тебе выплатим, то и другие будут требовать. 19 октября 1988 года приехала комиссия: ревизор из крайагропрома и юрист из Выселковского РАПО. Ревизор из края разбираться не стал. Когда он вышел из кабинета, юрист из района сказала, что они хорошо видят все махинации, но помочь ничем не могут, так как здесь замешано все начальство. Мы, говорит, в этой бухгалтерии сидели целый месяц, выявили большие приписки молока на сотни тысяч рублей, приписки в стройцехе на сотни тысяч рублей. Возбудили уголовное дело, но его закрыли. А ты хочешь, чтоб мы тебе выплатили 4000 рублей. Разбираться никто не будет.

Я также обращалась к депутату Верховного Совета СССР т. Кондратенко Н. И. Когда он был кандидатом в депутаты, то обещал помочь и разобраться, а когда стал депутатом, свои обещания забыл вспомнить.

В мае 1989 года приезжала комиссия из крайисполкома под руководством инструктора Смолькина С. П. Но как они разбирались, я не знаю. Меня никто не приглашал и с тем решением, которое они мне прислали по почте, я не согласна... В августе 1989 года из краевого центра в колхоз снова приехал юрист профсоюза Кузыченко Е. С. И с парторгом колхоза пожаловал ко мне домой, и начал он упрекать, что я не гостеприимная, даже на чашку чая в дом не зову, а я сказала: какой у меня чай, если я три года не работаю? Затем он мне сказал, что читал в газете «Правда», что к 2000 году будет 6 000 000 человек безработных. Вот, говорит, ты — первая из тех безработных. Сели в машину и уехали...

22 ноября 1989 г.».

Факты, изложенные в письме Т. А. Карнаух, подвергнуты многократной и пристрастной проверке столькими лицами и организациями, что даже перечислить их нет возможности. Язык официальных ответов своеобразен. Стотысячное воровство он называет «фактами злоупотребления служебным положением», а покупку семи литров молока на ферме — «хищением». Но постепенно (по документам из прокуратуры республики) картина все же начинает проясняться. Молока Татьяна Алексеевна не крала. Телят не морила. Из колхоза исключена незаконно. Деньги за вынужденный прогул ей выплатить обязаны. Правда, как все это делается, вы уже знаете. А ведь таких безработных, как Т. А. Карнаух, только из Выселковского района мне известно семеро. Впрочем...

«Дорогая редакция «Сельская новь», я к вам обращаюсь с большой просьбой, помогите нам. Мы работаем на свинотоварной ферме в качестве кормачей 15 лет. Мне осталось до пенсии всего один год доработать, и вот наша трудовая деятельность окончилась большой неприятностью. Уже наши глаза не смогли на все безобразия смотреть, которыми занимаются руководители нашего хозяйства к-за им. Чернявского Выселковского района. Мы больше всего зависели от главного зоотехника тов. Кондради Егора Егоровича, который у нас на глазах все чудеса творил. Вот такой пример, который происходил ежедневно. Делаем забой свиней на мясо, он подъезжает на колхозной машине и без веса кинет в машину заднюю часть и уехал, или живых брал по одному, по два, а потом в конце меся-

ца их по актам списывали, ставили диагноз заболевания и списывали или приписывали нам — мы платили. Но когда это терпение лопнуло,— мы все же работаем от привеса, и не стали давать,— у нас пошла неприятность, и они решили нас убрать...» И так далее, все, как с Карнаух. А в конце: «Помогите нам! Коваленко».

Из этого же колхоза имени Чернявского прислали копию жалобы в прокуратуру РСФСР, подписанную тридцатью колхозниками. Суть их обращения: «Если мы, механизаторы, получили за свой труд гроши, начальство же нашего небольшого колхоза, с долгами около 7 миллионов рублей за прошлый год, разделило между собой 69 тысяч премиальных». И далее: «...Председатель пообещал вернуть незаконно присвоенные 69 тысяч. Однако и после обещаний деньги не возвращены. Следующая встреча колхозников нашего колхоза была с народным депутатом СССР, председателем крайисполкома Кондратенко Н. И., который приехал разобрать коллективные жалобы, посланные колхозниками на Съезд народных депутатов. Он потребовал от начальства вернуть деньги и обещал прислать для контроля краевую комиссию. После месячного перерыва все вернулось «на круги своя»...».

Избиратели из Выселковского района имя Николая Игнатовича Кондратенко в письмах поминают часто. Не могу сказать: добрым словом. Чаще — суровым. Видимо, это его не удивит. «Люди устали от обещаний и разговоров, сбиты с толку, раздражены и злы. Они не хотят мириться с тем, что происходит в стране»,— так говорил Н. И. Кондратенко на II Съезде народных депутатов СССР. Что же делать? Как устроить жизнь по-новому? На эти отнюдь не риторические вопросы Иван Кузьмич Полозков на XXVIII съезде КПСС дал ответ краткий и непонятный: «Действовать. Действовать и еще раз действовать». Николай Игнатович, выступая перед народными депутатами, был куда определеннее. Он попросил у Съезда разрешения «хотя бы разок скомандовать».

Кто знает, может быть, у него еще появится такая возможность. После перемещения Ивана Кузьмича Полозкова в Москву сессия Краснодарского краевого Совета народных депутатов избрала Н. И. Кондратенко своим председателем. Иван Кузьмич Полозков обрел достойного преемника. Центральная печать сообщила об избрании кратко. Лишь вездесущий «Коммерсант» познакомил читателей с «программным выступлением» председателя Совета. Чему же оно было в основном посвящено? Битве за урожай? Борьбе с частником? Искоренению неформалов? Ни за что не догадаетесь. Главная тревога, как сообщает «Коммерсант», теперь совсем о другом.

«Считаю трижды преступным...— заявил Николай Игнатович,— не говорить теперь о сионизме... Разве нет сионизма как политического течения, самого коварного, самого вредного, самого мерзкого, самого фашистского?.. Только лишь отличается от фашизма хитростью и лукавством. (Аплодисменты собрания.) Я бы о крае не говорил, потому что нет в крае этой проблемы... Но меня больше тревожит обстановка... в высших эшелонах. Вы сами понимаете, если вы прочитаете наставления сионизма...— катехизис есть, наставления о подрывной работе в СССР!.. О сионизме будем говорить спокойно... Народ будет сберегать сам себя от этого злого, мерзкого и коварного политического течения».

Тревога Николая Игнатовича столь велика, что он пообещал: «Даже если партия уйдет в подполье, я буду коммунистом».

Думаю, страхи Н. И. Кондратенко все же несколько преувеличены. Ведь и в «высших эшелонах» теперь не без просвета.

Наталья Иванова

НАУКА НЕНАВИСТИ

КОММУНИСТЫ В ЖИЗНИ И В ЛИТЕРАТУРЕ

«Наши деды били этих дворян...»

Лето 1990 года было жарким отнюдь не по погодным условиям. Фактическая война на границе Армении и Азербайджана; сотни человеческих жертв межнациональных столкновений в Оше; обвалы и взрывы в шахтах (и опять — жертвы, только уже не националистически-звериной агрессивности, а чудовищного состояния техники); эпидемия захватов и угонов гражданских самолетов с заложниками-пассажирами; дерзкие побеги уголовников при разгильдяйстве стражи... Газеты и телевидение постоянно прибавляли информацию об очередных (но не ставших оттого привычными) событиях: наводнение в московском метро; убийственный вирус, возникший в метро ташкентском; смерть от чумы в Гурьевской области; эпидемический очаг холеры в Ростовской; отравление воды в Уфе фенолом... И надо всем кровным, отечественным кошмаром, который оттенялся какими-то даже для нашего, ко всему, казалось бы, притерпевшегося сознания, экзотическими вещами — то введением карточек на хлеб в Тарусе, то «табачными бунтами» в Ленинграде и Москве,— повис общепланетарный кошмар: угроза глобального военного конфликта. Хусейн, похожий одновременно и на Сталина, и на Гитлера, гладил по головке дрожащего английского мальчика, а население Израиля уже примеряло противогазы на случай химической атаки, зловеще обещанной со стороны Ирака. Напряженность возрастала день ото дня; и, слушая «сводки с полей», люди опять вздрагивали от фронтовой лексики: опять шла «битва за хлеб», опять считались «потери». Нет, не спокойное, не мирное стояло лето от Рождества Христова 1990-е.

На фоне этой стремительно раскручивающейся пружины событий то, что происходило в Кремле на заседаниях Российской партийной конференции в конце июня, может сегодня показаться сугубо умозрительным. Партийные работники, составлявшие большинство из делегатоа этой конференции, самозванно переименовавшей себя в съезд, соревновались в аргументации по поводу «социалистического идеала», до хрипоты отстаивали идею «коммунистической перспективы», спорили о формулировке «демократического централизма», примеривали к слову «социализм» один эпитет краше другого, последними словами кляли средства массовой информации. Одни делегаты кричали, что «мы проиграли битву за социализм», пугали себя и окружающих «буржуазным перерождением»; другие — например, главный редактор «Советской России» В. Чикин, пытаясь накинуть петлю на идею суверенитета России, который буквально в нескольких шагах здесь же, в Кремле, декларировался российским парламентом, — предлагали: «...Надо подумать нашему ЦК, чтобы буквально с первых шагов, когда мы его образуем, создать отдел, который бы занимался проблемами нашего парламентского действия»,— то есть, проще говоря, взять Ельцина и его команду под партийный контроль. Идеология и жизнь стремительно разбегались по противоположным направлениям. И тем не менее от газет и телеэкранов мы не отрывались, испытывая своего рода мазохистские чувства,— становилось даже интересно, до какого края этот отрыв идеологии от жизни может дойти.

Но одна немаловажная черта конференции-съезда, увы, была близка к ней, к жизни. Агрессивность. Агрессивны были многие ораторы по отношению к руководству «апрельского» призыва и по отношению ко всем новшествам переживаемого нами за последние годы периода. Но самое главное — и самое печальное — состояло в том, что крайне агрессивен был зал: затаптывал, шумел, обрывал, не давал высказать мнения, которое большинству сидящих в зале было «не по нутру». Агрессивность носила явно устрашающий характер. Но вот какая поразительная вещь: чем больше зал набирал в агрессивности, призывая к укреплению «авангардной роли в обществе», тем все более скептичными становились ответы на социологические опросы, публиковавшиеся во время работы

съезда в «Известиях», «Комсомольской правде», «Московских новостях», «Московской правде» и других изданиях. А после того как были обнародованы результаты выборов и лидер новой партии занял место в президиуме съезда, начался просто-таки скандальный по масштабам «исход» из рядов КПСС, сопоставимый только лишь с нарастающей в геометрической прогрессии эмиграцией из СССР.

Почему столь сильной была и идеологическая, и даже психологическая реакция людей — того самого народа, которым постоянно заклинали сами себя многие из оратороа, как они выражались, «плоть от плоти народа»? Вот, например, секретарь Кемеровского обкома прибег в своей идеологической речи даже к образному, художественному, можно сказать, сравнению (это единственный пассаж его выступления, с которым трудно не согласиться): «Жизнь наша — бурное море, и наша партия — как корабль в бурном море». Правда, сразу вслед за этим «образом» не лишенный поэтической струнки секретарь (видимо, если у И. К. Полозкова хобби — это рисование, о чем он скромно поведал залу, то у А. Г. Мельникова — чтение Ветхого Завета) «извинился» вот за какое сравнение: «...У нас (у партии.— Н. И.), как на Ноевом ковчеге, собрались «чистые» и «нечистые», сидят на веслах слева и справа». Развивая эту метафору, хочу заметить, что число «нечистых» в обществе, видимо, намного превысило ожидаемую цифру; и тут уже на все общество была брошена тень «оболваниаания» известно кем — «желтой прессой», всякими там, с позволения сказать, газетами, поддерживающими тех, кто «плохо выговаривает слово «российская» (из выступления Н. Тюлькина), в противоположность «краснодарской сотне» (еще один впечатляющий образ из выступления И. Полозкова). Ораторы, отстаивающие «чистоту», ответили «нечистому» обществу, почувствовавшему наконец возможность идти путем демократических преобразований, наклеиванием ярлыков, зловещие последствия которых хорошо знакомы со сталинских времен: «сгущается тень ликвидаторства», «тень злой митинговщины», «провокационных законопроектов», «ликвидаторы беззастенчиво действуют по старой методике» (В. Чикин). Желали они «предельно слиться с трудовым народом», «вывести» его, народ, к «осознанному строительству своего будущего» (В. Чикин), «не уступать авангардных позиций новым политическим силам, нарождающимся на волне демократизации» (А. Мельников); поэтически живописалась отчаянно трудная работа партаппаратчиков: «Партийный актив, преданные делу партии люди сбились с ног, объясняя и разъясняя противоречивые решения центра, и, получив клеймо аппаратчика... начинают разбегаться»,— а упрямый народ никак не отвечал взаимностью, не ценил партийной о нем заботы и всячески норовил обрести независимость, выйти из-под опеки «сбившихся с ног». Как в старом анекдоте: осталось уговорить губернатора...

Звучали на конференции-съезде и вполне трезвые слова: «Авангардная роль не может быть провозглашена» (Г. Гришук, зам. директора Воронежского объединения «Электроника»), но они тонули в демагогии, упорно поворачивающей к «светлому прошлому» тотального господства партийного аппарата. В целом нельзя было не подивиться железобетонному упорству сложившихся (слежавшихся?) стереотипов. В общестае уже несколько лет, причем совершенно с разных сторон, и «справа», и «слева», идет, скажем, историческое переосмысление гражданской войны, а генерал Макашов, определяя людей, отстаивающих общечеловеческие ценности, как «слабоумных», «слепых» или даже «злоумышленников», под бурные аплодисменты делегатов заявляет: «Наши деды били этих дворян на всех фронтах гражданской войны». Генерал пугал «идеологическим противником», который только и знает, что «вбивает клин между рядовыми и офицерами», то есть опять-таки между народом и руководством! А. Т. Ляпакова, зам. директора школы из Вологодской области, прямо взяла на себя роль народовещательницы, пугающей перспективой русского бунта. Вот тут чуть остановимся: это выступление характерно слиянием «национального» и «партийного» начал: «Пора прекратить внушать русским комплекс вины и национальной приниженности, подрывать национальное самосознание... Надо почувствовать, что гнев на сердце копится, терпению есть предел».

Телевидение не показало, аплодировал ли учительнице генерал, а генералу — учительница. Но я почему-то в этом не сомневаюсь. Ибо пафосом обоих выступлений было: да, рубали, и если надо, рубать будем! И никто из «бурно аплодирующих» не содрогнулся в этот момент военизированного шквала агрессивных эмоций, не представил себе воочию тот тяжелейший урон, который нанесла гражданская аойна России.

Как же формировалось это сознание, позволяющее и сегодня с легкостью необычайной манипулировать «терминологией» (помните знаменитое стихотворение М. Волошина) гражданской войны,— «ликвидировать», «боевитость», «без боя сдавая свои позиции», «руководство КПСС обрекло ее (партию.— Н. И.) на положение безоружно сидящей в окопах под массированным огнем»?

Формировалось оно не только «на фронтах идеологической борьбы», но и советской литературой, изучавшейся в программах школ и институтов. В отличие от литературы «абстрактного гуманизма» она отстаивала другие ценности. Какие? Об этом речь пойдет дальше.

«Откройте артиллерийский огонь!»

Литература, как известно, в течение десятилетий рассматривалась официальной идеологией как приводной ремень политики партии и была особым предметом ее неусыпной заботы. Весь вопрос в том, когда же эта забота началась.

В последние годы в либерально-марксистских кругах получило широкое распространение мнение о том, что в работе Ленина «Партийная организация и партийная литература» речь идет о партийной публицистике. Ленинский текст эластично поворачивался в угоду той или иной злободневной концепции: если надо — ужесточался: если время либеральное — либерализировался. Однако, вчитываясь в знаменитые строки, я не обнаружила никаких указаний на подобное ограничение. Ленин пишет не о публицистах, не о журналистах, а именно о «литературном деле». «...Для социалистического пролетариата,— замечает он,— литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных. Долой литераторов-сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы». Соотнести эти слова и лозунги с публицистикой не представляется никакой возможности. «Литераторами-сверхчеловеками» Ильичу могли представляться символисты, декаденты, писатели-ницшеанцы, но никак не журналисты. Ограничение смысла этих слов исключительно журналистикой является не чем иным, как «прогрессистской» тактикой (залучим Ленина в союзники), а тактика оборачивалась очередным «прогрессистским» самообманом, за который неоднократно «прогрессисты» и бывали наказаны историческим поражением.

Полагаю, что гораздо более близок к ленинской мысли был автор статьи «За высокую идейность советской литературы», открывавшей сборник статей журнала «Звезда», а спешном порядке и для самобичевания выпущенный в 1947 году вскоре после известного постановления ЦК. Сборник назывался просто: «Против безыдейности в литературе». «Ленин и Сталин,—писал открывающий его А. Еголин,— создали учение о партийности литературы, о литературе как составной части народной задачи революционного преобразования жизни». И дальше: «Положение о партийности литературы основано на марксистско-ленинском учении об обществе и формах общественной идеологии... Принцип партийности способствует правдивости художественного творчества, помогает выражению ведущей тенденции современной эпохи». Ленинские положения в точности подтверждают эти слова: «Идея социализма и сочувствие трудящимся,— замечает далее Ленин в указанной статье,— будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине[1], не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся...» (разрядка здесь и далее моя.— **Н. И.**).

Да, были правы все-таки Еголин и стоящий за ним Жданов, а не наши «шестидесятники»: «Ленинизм признает за нашей литературой огромное общественно-преобразующее значение». (Жданов А. А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград»).

Что это означало на практике — «общественно-преобразующее»?

Прежде всего революционную борьбу. Если в революции осуществлялась борьба пролетариата с враждебными классами, то в уподоблявшейся ей советской литературе — «борьба с враждебными, реакционными течениями: с эпигонами декадентства, символизма, с литературными группами «Серапионовы братья», «Перевал», прикрывавшими свою реакционную сущность лозунгами независимости литературы от политики». Тезис об обострении классовой борьбы прямо накладывался и на литературу, и в 1947 году утверждалось: «Было бы ошибочным считать, что борьба с реакционными течениями и сегодня является для нашей литературы пройденным этапом» (А. Еголин).

Превосходство советской литературы над всеми остальными литературами всего мира обосновывалось ее «высокой идейностью». А советские писатели постоянно обязывались «неустанно будить в читателе желание воспитывать в себе лучшие черты», «вести беспощадную разоблачительную работу», выполнять «ответственные задачи передовых борцов на идеологическом фронте».

Эта «борьба на фронте» обосновывалась тем, что, мол, «в истории мирового искусства не было случая, чтобы старые художественные школы добровольно и мирно уступали место новой литературе». Это потрясающее по откровенности и цинизму навязывания литературному мировому процессу революционизма «наблюдение» принадлежит Л. Плоткину, тому Плоткину, о котором Ахматова, по воспоминаниям современников, говорила: «Плоткин на мне построил дачу...» Тот же автор в конце статьи «Проповедник безыдейности — М. Зощенко» трижды называет своего героя «антисоветским». Поэзия Ахматовой названа еще похлестче: «антинародной». Зощенко причислен к вредителям: «В последние годы он продолжал вредную свою работу, морально и духовно разоружая советский народ а его грандиозной восстановительной и созидательной работе».

Распространение лексики гражданской войны на литературу стало привычным с начала 20-х. Маяковский: «...Поэт тот, кто в нашей обостренной классовой борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения пролетариата», «советский писатель должен быть активным бойцом, активным работником на фронте нашего социалистического строительства». С особенной интенсивностью аналогичные метафоры насыщают выступления Н. Островского. «Я ведь боец того самого батальона «инженеров человеческих душ»... На линии огня взвод передовых мужественных бойцов... Их оружие не заржавело. На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг тихого Дона большевиков-казаков Шолохов и вывел в бой балтийских революционных матросов Всеволод Вишневский... Есть в этом взводе еще десяток хороших бойцов... А где же остальные? Ведь в батальоне около трех тысяч штыков». Горького Н. Островский по военной терминологии именует «командиром», а советского литератора «бойцом», призванным крепить в человеке «новые чувства» и «законы». Какие? Ненависть к врагам. «Любовь к родине, помноженная на ненависть к врагу, только такая любовь принесет нам победу. А для того, чтобы ненавидеть, надо знать подлость, коварство, жестокость кровавого врага,— и писатели должны об этом рассказать». Задачи литературы постоянно сужались. Н. Островский, характеризовавший себя «художником и коммунистом», недаром обращался к критикам (на обсуждении своего романа «Рожденные бурей» 15 ноября 1936 года): «Откройте артиллерийский огонь!» Фронтовая лексика пропитала сознание, она была неотделима от пафоса переустройства общества и формирования «молодых товарищей, руководимых большевиками».

Боец идеологического фронта, литератор обязан был, конечно же, бороться с религиозным «дурманом». Серафимович в сборнике «О писательском труде» (1953 г.) делится воспоминаниями о своей работе: «Победила Октябрьская революция. Москва, уже своя, красная, родная... Я участвую по мере сил и разумения в этой невиданной в мире борьбе-строительстве... обличаю антисоветских попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном». Отметим, что это «обличение» совпадает по времени с бессудными расстрелами тысяч священников по всей России. «Борьба с антисоветским попом», видимо, не дает писателю полного удовлетворения. Он задумывает большое эпическое полотно о том, как «крестьянство пошло в нашу... революцию»: «Крестьянин... являлся собственником: у него и коровка, и лошадка, и землица, и изба. Крестьянин этот являлся хозяйчиком... и это коренным образом отличало его от рабочего». Своей целью Серафимович ставил разоблачение и преодоление «строя мысли... мелкого собственника»,— так же, как и Горький (в беседе с молодыми писателями, опубликованной в том же сборнике): «...Ведь мы еще недавно жили в стране тысяч церквей, монастырей, церковных школ... В наши дни становится заметен рецидив религиозной эмоции. Его причина и пропагандист — кулак, оторванный от земли, лишенный власти над человеком... Мистическая догматика превращается в контрреволюционную политику, и это весьма интересный материал для писателя». Тем более важно показать, «как исчезает в нем (в крестьянине.— **Н. И.**) его стихийное, полумистическое отношение к земле теперь, когда десятки, сотни тысяч крестьян принимают физическое участие в обновлении земли, в процессе извлечения из недр ее различных сокровищ».

Год данного выступления Горького — 1934-й. К этому году от организованного голода и в ссылке погибли миллионы крестьян.

В «Железном потоке» Серафимович живописал «борьбу против контрреволюционного казачества» (Комментарий Л. А. Гладковской к шестому тому собр. соч. А. Серафимовича. М., 1959). Художественный способ работы автор определил как систему «перекрестных допросов», наверняка отдавая себе отчет в зловещем смысле этой терминологии.

Шпион Николай Ставрогин и наглость как творческий метод

А. Толстой, выступая тоже перед молодыми писателями, настойчиво нацеливал их, «осовременивая» образы Достоевского, приобщая их к самому злободневному сюжету (дата выступления — 30 декабря 1938 года). Николай Ставрогин, по его словам,— «тип, который через пятьдесят лет предстал перед Верхов-

[1] Опять — точное указание на адрес: именно художественное творчество.

иым судом СССР как предатель, вредитель и шпион». В качестве основы искусства А. Толстой утверждает «наглость художника» — думаю, что это определение следует рикошетом вернуть аатору, столь бесцеремонно «осовременившему» классическое наследие.

Речь А. Толстого примечательна своей направленностью на «врагов». «Над нашим искусством «потрудились» вредители всяких «фронтов»; «тайной задачей «руководства» РАППа было опорочение советского искусства перед советским народом и перед всем миром. Вредительство мешало нашей литературе достичь тех мировых результатов, которые она должна была достичь и которых она несомненно достигнет»; «Удары сознательных вредителей и бессознательных головотяпов[1] всяких марок и стилей — подхалимов и прочее — наделали в искусстве серьезные опустошения»... Коммунистический граф не мог не знать последствий таких обвинений — отчеты о «судах» над всяческими «Ставрогиными» постоянно печатались в центральных газетах; он произносил свои яростные инвектиаы в апогей уничтожения и самоуничтожения интеллигенции, в том числе и писательской. Его речь целиком можно отнести к жанру публичного доноса, жанру, распространенному а конце 30-х годов, да и не только тогда. Выступление А. Толстого было, видимо, сочтено принципиально важным не только для молодых и было перепечатано в «Ноаом мире» (1939, № 2).

Какова же была позитивная программа литераторов, добровольно приняаших на себя роль «винтиков» и «приводных ремией» партийного дела?

Свой долг они усматривали в создании произведения-идеологемы.

А. Фадеев в 1932 году в докладе на собрании литературных кружков Замоскворецкого района доверчиво делился с начинающими авторами своим литературным опытом: «Тогда (работая над первой повестью «Разлив».— **Н. И.**) еще я не понимал, что в основе произведения должна лежать продуманная идея. Я думал, что задача художника состоит в том, чтобы скомпоновать, сложить тот или иной материал действительности». Но от этих «иллюзий» он быстро избавился и уже учил создавать литературиое произведение по новому методу: гражданской войны, в которой происходит... «отбор челоаеческого материала»! В «переделке» же людей важнейшую, осноаополагающую роль играют, по Фадееву, «передовые представители рабочего класса — коммунисты, которые ясио видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых и помогают им перевоспитываться». Разбирая одно свое произведение за другим, Фадеев в каждом отдельном случае четко определяет схему-идеологему, лежащую в осиове каждого из них. Если мы аспомним слова Н. Островского о «новых чувствах» и «законах», обязательных для нового героя советской литературы, то уаидим перекличку с ним А. Фадеева, который утверждал пафос новой моральиости, а точиее—аморальности передового героя-большевика: «Попутно мне хотелось развить а романе («Разгром».— **Н. И.**) мысль о том, что нет отвлеченной, «общечеловеческой» вечной морали. Ленин требовал от каждого сознательного рабочего, каждого коммуниста и комсомольца такого понимания морального, когда все поступки и действия направлены в интересах революции, исходят из иитересов рабочего класса. Неморально все то, что нарушает интересы революции, интересы рабочего класса». В связи с сугубо прагматическим пониманием моральности объяснял Фадеев и собствеино авторскую шкалу моральной ценности своих героев. Персонажи делятся иа «годных» и «враждебиых» или, во всяком случае, «негодных для революции».

В тридцатые годы советская литература (то есть литература, идеологически ангажированная именно советскостью) продолжила линию, откровенно сформулированную еще в 1923 году в дневнике Д. Фурмаиовым: «Писать надо то, что служит, непременно прямо или косвенно служит движению вперед». Наиболее четким аоплощением идеологизированного сознания, «маяком» этой литературы иа долгие годы стал Пааел Корчагин, чей образ экстраполируется, например, Б. Полевым на ход мирового революционного движения («Он воевал в Корее, где один из самых отважных батальоиов был назван солдатами его именем. Он партизанил по вьетнамским джунглям. Он помогает вчерашним китайским кули, вдохновленным и организованным Коммуиистической партией Китая...»).

С самого начала романа авторский взгляд разделяет действительность полярно на черное и белое; имеино фроитовое, военное мышление яаляется оргаиизующим весь материал. Оцеики однозначны, иитерпретации исключаются. Роман «Как закалялась сталь» можно рассматривать как своего рода знаковую систему. Появляющийся на первой же странице отец Василий («обрюзгший человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников», «Маленькие злые глазки точно прокалывали...»), коиечно же, будет сопровождаться авторской неприязнью, если ие сказать, неиавистью, а Павка, иагло обманувший его и нашкодивший, должеи выглядеть истинным героем.

В точности следуя той же схеме, хозяин станциоиного буфета, «пожилой, бледный, с бесцветными, вылиившими глазами», очевидно отвратителен, хотя он роаным счетом еще не успел ничего плохого совершить. Так же и официанты —

[1] Заметнм, что А. Толстой в полемическом использовании политнческой лекснки выступает эпигоном Ленина и Сталина.

«сволочь проклятая», по мнению Павки. Оценки героя всегда и полностью совпадают с авторскими, вернее, герой служит рупором авторским идеям и оценкам. Приговоры их всегда окончательны и обжалоаанию не подлежат. Павка, ие задумываясь, обманет, украдет, и это, с точки зрения революционной этики, моральио. Морально и убийстао машинистами немецкого солдата («Ломом двинуть его разок — и кончено»). «Все происшедшее», то есть убийство, вызывает восхищение Жухрая: «...А те трое — молодцы, это пролетарии,— с восхищением думал матрос, шагая... к депо». Идеалом революционного самосознания является для автора Жухрай: «Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Пааел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов — это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков».

Между революционными пролетариями и враждебными им по классу всякими адвокатскими сынками и бывшими гимназистками Н. Островский помещает «обывателей». Обобщенный портрет измученных гражданской войной мирных жителей дается с нескрываемым презрением и отвращением («Соаершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых постелей», «обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям», «Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет... Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела» и т. д.). К «обывателям», правда, отиосилось подавляющее большинство населения России, это и был тот самый народ, за счастье которого вроде бы и шла борьба, но ни Жухраю, ни Павлу, ни самому автору это ие приходило в голову. Рита Устинович (еще один рупор авторских идей) объясняет: «Наша задача... неустанно проталкивать в сознание каждого наши идеи, наши лозунги». И вся короткая, в неистовом напряжении прошедшая жизнь Павла, его жертва в структуре романа-идеологемы освящает эти лозунги, подпитывает их живой кровью.

В «Железном потоке» А. Серафимовича, в главе XXIX, эпизодом проходит расстрел совсем юного офицера. «...Блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески...» — этого достаточно для смертного приговора. «Он затравленно озирался огромными, прелестными, как у девушки, глазами, и иа громадиых ресницах, как красиые слезы, дрожали капли крови». А. Серафимоаич — все-таки художник, и по описанию грузина чувствуется двойственность авторского отношения, даже симпатия. Мальчик пытается объясниться: «Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меия мать...» «— но в ответ получает только лишь жестокое: «В расход!». Какова же реакция окружающих после выстрела, ознаменовавшего бессудный расстрел? «Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычиого. Заиграла гармошка, затренькала балалайка». Жестокая смерть не является жертвой — в отличие от смерти «своих», «красных». Так же, как и смерть молодого казака, смерть священника. Информация о «вражеской» смерти окружена у Серафимовича насмешкой и весельем.

«— К нам в станицу як прийшлы, зараз буржуазов всих (казаков.— **Н. И.**) дочиста пид самый кореиь тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

— У нас поп,— торопливо, чтоб не перебили, отозвался веселый голос,— тильки вин с паперти, а воны его трах! — и свалывся поп. Довго лижав коло церкаи, аж смердить зачав,— ннхто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтобы не перебили. И все засмеялись».

Воспитаиие в молодом советском читателе, на формирование внутреннего мира которого и была нацелена эта литература, ненависти к «врагам», *привычки к виду чужой смерти*, даже возбуждение в нем радости, веселья, положительных эмоций по случаю смерти «буржуаза», попа, казака или золотопогонного юноши, подкреплялось воспитанием жертвенности ради достижения светлого будущего, для которого следует, если необходимо, не задумываясь отдать жизнь собственную.

Особеино впечатляющим было то обстоятельство, что жертва должна быть непременно молодой. Лучше даже совсем юной. В целях плаиомерного цементирования юной советской нации, в недрах которой должны были исчезнуть все традиционные национальные различия. Действие повести Аркадия Гайдара «Военная тайна» происходит в пионерлагере в Крыму, где выплавляется этот новый народ, новая нация — из детей башкир и русских, евреев и украинцев, поляков и татар,— в раствор обязательно подмешивалась ритуальная «ангельская» кровь — жертва, которой освящалось «правое дело». Таков Алька, герой-жертва в «Воеиной тайне», мальчик, которому отдано авторство идеологического «зерна» повести — сказки о Мальчише-Кибальчише и ужасном Буржуине. Алька, сын погибшей в застенках Румынии красавицы коммунистки Марицы Маргулис и инжеиера Сергея Ганина, младше всех остальных. Но он наделен автором иеобычайной классовой зоркостью и мудростью — раньше бы сказали

«не от мира сего»,— а также всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Смерть Альки от рук «вредителей», которые пытаются разрушить дело отца-инженера,— организующий, идейный центр повествования. Он *должен* погибнуть, чтобы «враги» были окончательно разоблачены. Чем большим обаянием окружен его образ, тем сильнее должно быть воздействие на юного читателя его смерти.

Отец Альки воевал в гражданскую, и его посещают довольно-таки красноречивые воспоминания.

«...Изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

...И тогда всем стало так радостно и смешно[1], что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девчонок...» В этом сне-воспоминании вслед за расстрелом является Сергею и его будущая жена, мать Альки. Итак, рождению Альки предшествует «скорый расстрел», это тоже символично.

Атмосфера повести с самого начала, несмотря на веселый крымский пейзаж и щебетанье отдыхающих ребят, скрывает второй смысл. Читателю внушалось чувство бдительности, внушалось, что даже в такой радостной жизни где-то в тени обязательно прячутся вредители и шпионы, которые только и ждут, как всадить пулю в хорошего человека. Тревожный фон постоянно присутствует — во-первых, страна извне окружена врагами, в тюрьмах Польши, Австрии, Румынии сидят коммунисты; во-вторых, измена шевелится в прямом смысле слова под любым крымским кустом.

О чем думают, о чем мечтают, во что играют дети Гайдара в середине 30-х годов?

«Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя».

«Кругом измена! Все в плену... Держи знамя! Бросай бомбы!»

«— А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет,— ответил Владик.— Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездою и с маузером... Как Дзержинский... У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата».

«Собрали бы отряд и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы на белых и не изменили, не сдались бы никогда».

«...Грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает». Прислушиваясь к песням и разговорам детей, пионервожатая Натка с удовлетворением отмечает: «А много нашего советского народу вырастает». И она была совершенно права.

[1] Та же модель психологического поведения, что и у героев Серафимовича.

«...Причастен к общегосударственной жизни»

Казалось бы, на большом историческом расстоянии от детей 30-х годов находится сегодня достойнейший писатель, фронтовик. Во время Великой Отечественной, в 1943 году, ему было девятнадцать — значит, он ровесник Альки. Серьезную драму переживает сегодня сознание человека поколения, ощущающего себя прежде всего *советским*. Честно воевавшего против фашизма, верившего в освободительную миссию Советской Армии, воспитанного на идеях интернационализма, преданности делу партии. «Те, кто рекомендовал меня в партию,— пишет он,— сложили свои головы как патриоты и как коммунисты. И если бы сейчас, в атмосфере многопартийности, которая у нас складывается, я взял бы на себя роль инициатора создания какой-то новой партии, то я бы ее назвал КВЛ — коммунисты военных лет».

Игры и мечты детей рождены прежде всего романтическим подражанием отцам, действовавшим в гражданскую. Отцы вступили в новый этап борьбы — с вредителями; гражданская война не кончается — ни в жизни отцов, ни в сознании детей. Новая, счастливая жизнь рождается только на полном разрушении традиционной культуры. То, чем начинается «Как закалялась сталь» — ненависть к «попам», завершает «Военную тайну»: «Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец».

«Удивительно светлый дворец» — явный образ коммунистического будущего, ради которого именно в эти годы были уничтожены десятки древнейших церквей по всей Москве.

И после этой смерти часовенки, как после бессудных расстрелов (и у Гайдара, и у Серафимовича) следует реакция веселья и смеха: смеется «веселая девчонка», «тихонько улыбается» Натка да еще и мальчик, который «рассмеялся и убежал».

«Каждый порядочный художник,—

утверждал Фурманов в дневнике,— непременно причастен к общегосударственной жизни». Эта непременная «причастность» за 30—40-е годы в литературоведении и критике была стократ подчеркнута.

Но если в 20-е годы партийно-государственная ангажированность *выбиралась* Д. Фурмановым или Н. Островским, то впоследствии она декларировалась как *единственно* возможная система взаимоотношений художника и власти. А произведения Д. Фурманова, Н. Островского, А. Серафимовича в учебных пособиях рассматривались как исключительно важные образцы подчиненности интересам партийного дела.

«После опубликования постановления ЦК партии,— пишут авторы «Семинария» по творчеству Д. Фурманова и А. Серафимовича, изданного Ленинградским университетом в 1957 году (отв. редактор доцент А. Г. Дементьев),— в критике заметно возрастает интерес к основным проблемам советской литературы, к творчеству крупнейших советских писателей».

Какие же темы для работы предлагает «Семинарий» студентам, например, по роману «Мятеж»?

«Об изображении руководящей роли партии большевиков в гражданской войне как об основной идее романа «Мятеж».

«Идея советской государственности в произведении».

«Торжество национальной политики Коммунистической партии — основная идея романа».

«Значение романа в разоблачении происков англо-американских империалистов на Востоке».

В конце 40—50-х годов интерпретация романов еще более настойчиво идеологизируется. Дальнейшей идеологизации подвергается и русская классика. «...Надо, чтобы юмористические рассказы писали не такие пошляки, каким является Зощенко,— учил А. Еголин,— а чтобы они создавались высокоидейными писателями. Великие русские юмористы и сатирики, как Гоголь, Салтыков-Щедрин и Чехов, были высокоидейными людьми...» Чуть ли не большевиками, хочется добавить к умиляющему безбрежностью и безответственностью обобщений выводу. Но вернемся к творчеству классиков соцреализма. Их большевики-комиссары, говоря современным языком, были функционерами, это были чаще всего революционеры-профессионалы, прошедшие через гражданскую войну. Гайдар попытался в «Военной тайне» продолжить такой характер в условиях мирной жизни. Партийным функционером стал старый товарищ Сергея Ганина по фронту. Теперь этот товарищ отдыхает в привилегированном санатории, в замечательных условиях. При этом у автора и у героев не возникает и тени сомнения в заслуженности особых партийных привилегий. Система уже сформирована, и бывшие комиссары (еще перед 37-м годом) расположились в ней уверенно и спокойно.

Административно-командная система функционирует налаженно: чтобы получить необходимый ему для проведения работ динамит, инженер Ганин едет в санаторий к Гитаевичу и там по старому знакомству получает от него подпись на нужной бумаге...

Но даже в мирной жизни, повторяю, постоянно акцентируется мысль о готовящейся измене, и гибелью Альки она подтверждается. Значит, действительно надо быть особо бдительным, действительно кругом кишмя кишат изменники и шпионы. Повесть активно возбуждала священную ненависть (своего рода постреволюционный «джихад») по отношению к классовым «врагам», подпитывала и раздувала это чувство, не давая ему угаснуть в расслабляющей курортной обстановке.

Особым значением в такой прозе наделялся образ коммуниста-руководителя. Необязательно он стоял в центре повествования, но к нему устремлялись все идеологические нити в повествовании, видимые и невидимые. «Кожух и Левинсон, Чапаев и Клычков, Глеб Чумалов и Давыдов, Макаренко и ряд других ярких художественных образов, созданных в 20—30-е годы, воплотили в себе черты *передового человека, вожака масс*, активного борца за новую жизнь...» (Идеи и образы художественной литературы.— Ученые записки АОН при ЦК КПСС, М. 1958.)

Герои четко делились на тех, кто представляет *массу*, которую надо вести, и *вожаков*, осуществляющих эту миссию. Вожаки, «передовые *представители народа*», заняты «воспитательной работой по *приобщению народа* к идеям социализма». Оставим в стороне безграмотность этого высказывания — увы, главная мысль писателей, авторская интерпретация роли «вожаков» переданы абсолютно точно. «Вожаки», по убеждению прозаиков, как бы вышли из народа, чтобы вести и учить его. Но если в период раннего, становящегося тоталитаризма у Фурманова, Серафимовича, Н. Островского связь с народом еще была окутана романтической дымкой общего похода, общих испытаний, жертв и побед, если иерархическая система (вождь и массы) как бы оправдывалась экстремальными условиями, то у их эпигонов, писавших в 40—50-е годы (период позднего сталинизма), эта связь, как и сами характеры «вожаков», вырождается.

Буйная эстетика общего революционного порыва, похода, преодоления, борьбы сменяется внешне тихой (удары — под поверхностью) обстановкой кабинетных битв.

Автор открыто любуется деятельностью и образом жизни вожака нового типа.

Homo apparatus

«Первый секретарь возвратился в свой обком два дня назад с нетерпеливым желанием работать, работать и работать». Какова же эта работа? «Заседание бюро обкома окончилось в половине шестого. Вопросов было много, потому что, пока Василий Антонович отдыхал в санатории под Москвой, некоторые из наиболее важных дел откладывались до его возвращения». С первых же страниц мы понимаем, что если раньше у вожаков в руках были идеологические связи, то у этого «вожака» в руках находятся все связи государственные. «Не скрывая удовольствия, пожал Василий Антонович большую, сильную руку председателя областного исполкома Сергеева... в шутку спросил командующего военным округом... генерал-полковника Люлько, как у него дисциплина в войсках; секретарю обкома комсомола Сереже Петровичеву пообещал рассказать что-то очень интересное о комсомольцах». А вот на сцене появляется и прокурор. «Прокурор просил извинения, но дело у него к Василию Антоновичу такое, с каким ему бы не хотелось тянуть: не может ли Василий Антонович принять его еще сегодня?» Все нити и ниточки области, на которой уместится целое европейское государство, тянутся в кабинет с хорошо натертым паркетным полом, письменным столом, крытым зеленым сукном, а главное — с «белым аппаратом линии, которая могла немедленно связать Василия Антоновича с Москвой» (Вс. Кочетов. «Секретарь обкома»).

Василий Антонович Денисов — функционер новой формации, пришедший на смену «комиссарам в пыльных шлемах» и чуть морщащийся от их настойчивых напоминаний о собственных заслугах. «Это правда, что революцию он... не делал, что в годы ожесточенной борьбы против троцкистов, против уклонистов всех мастей отнюдь не был на передовых позициях· по молодости своей он и не очень-то знал тогда, где эти позиции». Василий Антонович — порождение аппаратной работы и относится к верхушке пирамиды, он аппаратчик, а быть при этом еще и революционером совершенно необязательно, более того — нежелательно: «...Для историка существует только прошлое, «как было». А я практический работник, Соня, мне важнее настоящее, понимаешь, настоящее...» Однако этот «практический работник» с белым аппаратом правительственной связи в восхищенном представлении собственной жены, а также автора вырастает в фигуру гигантских масштабов, этакого демиурга, без которого остановилась бы жизнь. Прошу прощения за обширную и кажущуюся ныне пародийной цитату, но кочетовский текст как нельзя лучше саморазоблачается цитированием. Итак, секретарь обкома заснул, но заснул не как обыватель, в домашней постели, а в кресле, где его не оставляют государственные заботы: «...И во сне его беспокоит все то же и то же, чем он занят днем. Он обходит заводы, он объезжает поля. На заводах не всегда ладно с выполнением плана, работам на полях мешают дожди. Где-то кто-то свернул с партийной дороги; где-то не хватает строительных материалов, ахолостую работает один научный институт, для второго неудачно подобран директор; в области с каждым годом все больше рождается ребят, а мест в яслях, в детских садах недостаточно; какие-то иностранные туристы задержаны на территории военного городка — что они там делали со своими неизменными фотоаппаратами?». Этой монументальной фигуре, буквально шагающей через поля, которым мешают дожди, через институты с неудачными директорами, уже не требуется соблюдение пропорций и точность в деталях — глядеть-то на нее положено снизу. Но неряшливость автора, шьющего одежду на своего одомашненного гиганта белыми нитками (это в литературе позднего сталинизма ритуально: любящая жена, дети, какая-то семейная драма, внук-сирота — искусственное прибавление теплоты домашнего очага к железобетонному, вернее, гипсовому персонажу) очевидна. С одной стороны, автор романа заявляет, что в конце 30-х годов (время «ожесточенной борьбы против троцкистов, против уклонистов всех мастей») его герой «не был на передовых позициях», а через несколько страниц — что еще «в самом начале тридцатых годов» он был делегатом от организации комсомола технологического института на городской комсомольской конференции, и первые его слова, сказанные будущей жене в фойе этой самой конференции, звучали так: «Социализм строим, девушка, все силы надо собрать в кулак и бить по наковальне сегодняшнего дня, а не размазываться, не расплываться по векам».

Как складывается, как формируется характер аппаратчика? Должны же в детстве, когда другие дети играют в прятки и салочки и мечтают стать врачами или инженерами, у будущего «делегата от организации» быть свои особые мечты? Безусловно. Но реальность превзошла все мечты будущего первого секретаря обкома. И Вс. Кочетов успешно раскрывает душу героя перед читателем: «Мечты казались пылкими, несбыточными. Но думалось ли маленькому лобастому Ваське, который с почтением и удивлением смотрел своими серыми сердитыми глазами на каждого приезжающего из города, на каждого «представителя», думалось ли ему в ту пору, что вот когда-то и он сам станет «представителем». И ведь стал! Жена восхищенно размышляет о нем: «Двадцать семь лет человек этот на ее глазах день за днем щедро, не скупясь, раздает себя людям... И теперь вновь горячо и страстно строил социализм, нет, уже коммунизм».

Испытанием для него стал XX съезд. «Несколько недель они (с женой.— **Н. И.**) чувствовали себя физически больными, как будто от сердца каждого из них был отхвачен больной, очень важный, пульсирующий кровью ломоть»(?), но очень быстро этот совершенный в своем роде homo apparatus нашел позицию, оправдывающую Сталина: «Нет, я его (характерно это «его». Сталина по имени, как божество, не называют.— **Н. И.**) судить не могу... Отдельно взятый, я мал для этого», и далее развивает мысль, увы, до сих пор близкую сердцу не только не желающим «поступиться принципами», но и многим либеральным марксистам: «много лет, как настоящий солдат партии (опять фронтовая лексика.— **Н. И.**), беззаветно шел за Центральным Комитетом... несмотря ни на какие ошибки отдельных личностей, партия ни в малейшей доле не утратила и не может утратить своей революционной ленинской сущности». Сравню со словами фронтовика: «Мне было горько на митинге 15 июля, когда толпа скандировала «Долой КПСС!»... освистывать память фронтовых друзей позволять нельзя... Память о них нужна сегодня, потому что дело перестройки, разумного переустройства жизни требует к себе такого же беззаветного отношения». Как ни странно, как ни печально, как ни хотелось бы мне избежать этой параллели, но она не просто напрашивается, она, что гораздо хуже, реально существует. Идея беззаветного отношения объединяет homo apparatus с простым солдатом партии, отдающим свое вольномыслие на алтарь идеи («если ты в партии идеи, надо до конца делать дело, в которое ты веришь». Не жизнь выше идей, но идея все-таки остается в сознании многих людей фронтового поколения выше жизни, даже — жизней. И если партия, состоящая из людей, несколько, скажем так, загрязнилась, то не идея виновата, а опять-таки люди: «Все силы, которые у меня есть, я употреблю на то, чтобы партия, в рядах которой я состою, была бы достойна отданных за ее идею жизней».

Справедлив образ А. Ципко: «Наркотизация мышления приобрела глобальный характер» («Хороши ли наши принципы?» — «Новый мир», 1990, № 4). Ципко относит сказанное к эпохе военного коммунизма, ко времени Павки Корчагина, но это определение распространимо на советского человека в принципе. «Мы связываем десталинизацию с возвращением к «первоистинам». Об этом пишут и говорят не только лидеры партии, но и люди «неангажированные», включая многих наших «свободных художников». Вот в чем закавыка... В марксизме, в его чистых глубоких принципах («идея»! — **Н. И.**) ищут панацею от нынешних бед представители довольно-таки различных политических направлений и убеждений. И сталинисты типа Нины Андреевой, и антисталинисты, как, скажем, О. Лацис, Г. Лисичкин, А. Бутенко. И демократы, считающие себя подлинными европейцами, интернационалистами, и государственники, называющие себя патриотами России... Люди борются, хватают друг друга за грудки. Но при этом все одновременно торопятся присягнуть на верность марксизму, а заодно и застолбить за собой право выступать в качестве его единственного верного толкователя». Романтическая вера в нового, советского человека до сих пор не позволяет увидеть «изначальную ложность самой идеи насильственной переделки человеческой природы». Ципко совершенно точно замечает, что в связи с наркотизацией мышления и патологизацией сознания, взращенного на ложной догме, «студенты 30-х — 40-х годов были большими ортодоксами, нежели студенты 20-х». Именно из этих молодых «ортодоксов» 30-х — 40-х годов и ведут свое происхождение партфункционеры Кочетова.

Тип романтика 20-х вырождается — как в жизни, так и в литературе, которую можно обозначить, в отличие от прозы позднего сталинизма, как литературу загробного сталинизма. сталинизма post mortem своего кумира, которого «не мне судить». Литература загробного сталинизма тоже имеет свою систему героев, взращенных на классовой борьбе и апологии классовой ненависти. И сколь бы мы ни объявляли ее мертвой, сколько поминок по ней мы бы ни справляли[1], она все-таки благодаря сложившейся инфраструктуре окололитературных связей продолжает публиковаться и имеет свою достаточно широкую аудиторию. Недооценка этой ситуации чревата неточным, искаженным в удобную для нас сторону восприятием действительности.

Большинство демократов и либералов было буквально шокировано работой Российской партконференции, самовольно объявившей себя Учредительным съездом РКП и избравшей своим лидером Ивана Кузьмича Полозкова. Для аналитика общественных процессов в этом избрании, как и в самом ходе работы конференции, оттолкнувшей многих даже вполне правоверных своей агрессивностью и непониманием положения в стране, стало очевидным нарастающее влияние «наркотического сознания», соединяющего теперь две линии: партийную «идей-

---

[1] В этом отношении характерно среди других появление статьи Вик. Ерофеева «Поминки по советской литературе», статьи острой и даже местами блестящей, но несправедливо смешавшей в одно вещи несовместные: и действительно мертвые, догматические явления и литературу «либеральную», разработавшую целую систему эзопова языка для разговора с читателем на запрещенные цензурой темы.

ность» и национал-патриотизм. Общество, десятилетиями подвергавшееся идеологическому облучению, в том числе и той литературой, о которой говорилось выше, не в состоянии перешагнуть сразу в новую ступень свободного от догм и стереотипов сознания и избавляется от них долго и мучительно, при этом долго и мучительно болея совсем, казалось бы, неожиданными болезнями. Но это «поле сознания» продолжает «удабриваться» идеологическими нитратами и сегодня. Только в речах и выступлениях того же И. Полозкова эти нитраты присутствуют почти в очищенном виде, а в прозе, скажем, П. Проскурина, в которой можно обнаружить героев, родственных по своему сознанию вышеупомянутому товарищу, они предстают в смешанном виде беллетризованных идеологем.

«Безошибочным чутьем мудрого политика»

После объемистых книг «Судьба» и «Имя твое», появившихся в эпицентре застойных времен и обеспечивших их автору чуть ли не первое место в ежегодных планах изданий и переизданий, романов-эпопей, в которых живописались страсти роковые как в классовых схватках, так и в любовных столкновениях и союзах (свобода автора в этой сфере была почти головокружительной; я думаю, что его прозу смело можно квалифицировать как идеологизированную эротику времени застоя[1], ибо здесь читатель, пробирающийся сквозь «части», «книги» и «тома», найдет все, вплоть до инцеста), П. Проскурин уже в новое время, как говорится, тряхнул старыми героями и продолжил свое бесконечное повествование новой книгой («Отречение». «Москва», №№ 9—10, 1987; №№ 7—9, 1990).

В предыдущих томах эпопеи, действие которой открывается о многом говорящей нашему сердцу датой — 1929 год,— Проскурин разрабатывал сюжет и систему образов по известной схеме: борьба классов на деревне (бедняков с кулаками, а также вредительство замаскировавшегося дворянина), партийная линия, которую надо исполнять и проводить в жизнь (то есть высылать «кулаков» и крепить колхоз), перегибы, мудрые указания товарища Сталина; энтузиазм председателя колхоза Захара Дерюгина, жестоко и несправедливо (из-за беззаконной его любви к красавице Мане) снятого со своего поста и через нестерпимые душевные муки расставшегося с партийным билетом.

«Когда-нибудь наше время будут рассматривать с изумлением! — говорит в середине 30-х с пафосом директор завода Чубарев, затем случайно арестованный и по ходатайству секретаря обкома Брюханова быстрейшим образом выпущенный на свободу.— Непостижимое время». Классовая борьба не только не затихает, но, по известной «концепции», все усиливается. Замаскировавшийся «белый», Родион Анисимов, в те же годы (!) заявляет: «Борьба есть борьба», а его жена читает ему нотации: «Они борются, а ты просто двуличный человек». Доносы сочиняют на порядочных людей либо такие, как Анисимов, либо распутные бабы, стремящиеся избавиться от собственных мужей (донос, таким образом, есть явление случайное). Классовая борьба в деревне особо обостряется в связи с успехами колхозного строительства, о которых поведано так: «За последнее время в колхоз пришли почти поголовно все; из трехсот хозяйств в единоличниках оставалось восемнадцать; да и то троих из них колхозники сами не принимали. Жизнь для Захара Дерюгина вошла в ровный, не дающий остановиться и обдуматься поток». Для того чтобы собрать крестьян в колхоз, годны, по мнению «положительного» проскуринского героя, любые средства: «Не пойдут добром, хитростью взять, сами потом спасибо скажут». Что же касается упорствующих, то тут ответ один: «А контру затаившуюся сыщем, я ее из-под земли достану; мы всяких видели — и крашеных и перекрашенных, а потом их в расход водили, за нами не заржавеет». Самым сильным ругательством из уст Захара Дерюгина звучит «паразит классовый». О последствиях организованного голода начала 30-х годов читаем: «Захар понимал, что положение с хлебом, с семенами в стране сложилось тяжелое, особо на юге, на Украине и на Волге, и что борьба за семена достигла болезненной остроты; повсюду кипели массовые чистки, и Захар почти физически ощущал вставшие стеной на стену противоборствующие силы». Апофеозом книги является съезд колхозников, на котором присутствовал Сталин.

Сталин представлен в романе как фигура исключительно мудрая. Если ему, по мнению Проскурина, и присуща «без-

---

[1] «...В глазах стояла крутобедрая девка с высокой ждущей грудью, и как-то сразу отошли все дела и заботы, и был он насторожен и гибок, словно молодой зверь, учуяв где-то рядом дразнящий запах»; «...Хороша поднялась девка у Поливанова, вся за последний год налилась, тронь, так и брызнет соком, и глаза бесстыжие ждут»; «...Стянул сапоги, жадно вдыхая в себя густой яблочный дух; ...сразу нашел ее и лег рядом на теплую перину, и едва успел дотронуться до ее разгоревшейся груди, как уже больше ничего не помнил...» Можно отметить у Проскурина и «нимфеточный» мотив, хотя и вызвал потом Набоков у Проскурина известный термин «некрофилия»: « —Я тебя еще парнем любила,— призналась Маня потом, оглаживая его несмелой рукой, словно узнавая его тело. — Чудеса ты рассказываешь, тебе тогда лет двенадцать всего и было,— отозвался Захар, прихватывая вспотевшей подмышкой ее прохладные пальцы».

кость и беспощадность» — но «ума», а не сердца, ибо эта «беспощадность» помогает ему «саркастически обличать потуги пигмеев-политиканов проскочить за счет народа в вечность». Эта беспощадность продиктована прозорливостью: «С прозорливостью крупного политика он видел реальные причины и силы, заставляющие именно так, а не иначе поступать того или иного врага» (там же). Враги кишмя кишат вокруг, и потому Проскурин — повторю еще раз, в конце 60-х, во время ресталинизации страны, оправдывает даже сталинскую жестокость против народа, хотя, казалось бы, только и делает, что клянется народом, его интересами: «Где только мог, Сталин стремился подтолкнуть этот рост», да, «безжалостной рукой», но «отсекая лишние, по его мнению, ветви с невиданного еще в мире дерева, он хотел еще и сам увидеть цвет и плоды его и в то же время — безошибочным чутьем все того же опытного и умного политика понимал, что любой неверный шаг в сторону от Ленина может оказаться роковым».

Образ Сталина обрисован в «Судьбе» особо любовно; Проскурин не скупится на утепляющие и оживляющие детали: «уверенная фигура Сталина, размеренно и четко движущаяся по небольшой комнате с простой, удобной обстановкой», «добрый прищур внезапно потеплевших глаз», и даже «толстые его усы прияняли какой-то домашний, добрый вид». Характеристика Сталина автором поднимается на невиданную душевную и духовную высоту, мазки его внутреннего мира набрасываются широко, крупно и с нескрываемой любовью: «укоризненно-понимающий взгляд Сталина», «испытующий взгляд Сталина», «Размеренный... глуховатый голос снова захватил Петрова силой убеждения и редкой искренностью».

Как же смог автор, по его собственным словам, всегда стоящий на народных позициях, с таким преклонением, если не сказать сильнее, живописать образ тирана, уничтожившего десятки миллионов, открывшего геноцид против этого народа? Над парадоксом пока лишь задумаемся, чуть отложив ответ. А пока скажу лишь, что и «жестокость» Сталина Проскурин оправдывает:

« — И, пересаживая что-нибудь, необходимо точнее придерживаться социальных швов, хотя травмы, кровоизлияния в соседствующие ткани неизбежны...

— Разумеется, все это необходимо, Иосиф Виссарионович. Поймут ли нас? Такая трудная логика!.. Да, повороты истории иногда жестоки,— сказал Петров негромко, словно рассуждая сам с собою.

— Это жестокость революции, она необходима, чтобы выжить,— нахмурился Сталин».

«Не нравится» и автору, и собеседнику в Сталине лишь одно: почему «он не хочет пресечь это безудержное славословие в отношении себя...». То есть не Сталин виноват и не режим, упроченный им; не было у него преступлений — виновато лизоблюдское, подхалимское окружение, да и то — в «славословии», то есть в пресловутом «культе».

Решения XX съезда не были отменены, но уже в послехрущевское, в брежневское время, когда Проскурин писал свой роман, из них был выхолощен подтекст, остался только прямолинейно-поверхностный текст, который и был истолкован Проскуриным буквально — именно как осуждение «культа», а не самого сталинизма, а еще пуще того — системы. Нет, и система, и сам Сталин, и Ленин «образ живого лица» которого просветляется в душе Захара в мертвецкой Мавзолея, составляют для Захара (и для автора) полное и гармоническое единство народа и идеологии, выраженное через витиевато украшенное нагроможденными эпитетами, спотыкающимся, ковыляющим синтаксисом,— видимо, так представляет себе автор самосознание русского крестьянина, похожее более на сознание чувствительной барышни — слово-эмоцию: «Лицо Ленина, которое он увидел из-за плеча остановившегося Савельева, поразило, почти испугало его, неожиданная боль в горле перехватила дыхание; он будто понял, проник к самым истокам самого себя и внезапно обнажившимся и беспомощным откровением сердца[1] прикоснулся к самому важному в себе, и это важное было то, что он жив и должен жить и идти дальше. Он осторожно перевел дыхание; лицо Ленина в его вечной успокоенности словно дрогнуло и приблизилось к нему, и теперь Захар мучительно видел в нем самые малейшие черточки, и в то же время другим, внутренним зрением, через удивительную глубину этого образа живого лица[2] Ленина, покоившегося в непреодолимом удалении от его (чьей? вопрос остается без ответа.— Н. И.), увидел свою жизнь, от первого ощущения сильных и теплых материнских рук до холодка конных атак и горьковатого, пахнувшего кровью и смертью ковыля степей Приазовья...».

Итак, автор вернул нас в ностальгическое время гражданской войны, любезное герою своей классовой определенностью. Но надо сказать, что жестокость гражданской войны и классовых схваток в деревне отчетливо связывается Проскуриным с национальным характером — по крайней мере его герои в своих «схватках» и «боях» вполне естественны; и голову Захару могут равно проломить, что из-за красивой девки, что из-за насильственного переселения с хутора.

---

[1] Вчитываясь в эти строки, я увидела несомненный генезис прозы позднего Ю. Бондарева. Нет, не от Л. Толстого ведет происхождение его стилистика, а от прозы загробного сталинизма

[2] Разрядка П. Проскурина. Намеренная многозначительность избыточного словесного ряда умножается еще и за счет графических украшений.

Свой роман-эпопею Проскурин писал долго, очень долго; времена менялись, и партийно-классовая сущность идеологии загробного сталинизма (в отличие от стилистики, остающейся неизменной со своим пристрастием к невероятному многословию и гипермонументализму) претерпела определенные изменения. Идеология партийности постепенно, но верно вступала в симбиоз с идеологией националистической, с идеологией происхождения «по крови». Правда, еще в первой части своей многотомной эпопеи Проскурин уже осторожно закладывал в будущую идеологическую постройку краеугольные камни возрождения идеи великорусского мессианства — еще в середине 30-х годов один из персонажей говорит Сталину: «И кроме того, мы принадлежим к народу с великой духовной культурой, и здесь в конце концов проявится смысл и цель революции». И еще: жена бывшего белого офицера, патриотка, благожелательно относящаяся к Захару, пытается излечить мужа от классовой неприязни при помощи аргумента, получившего широкое распространение ко времени конференции Российской компартии: «Одна партия, одна власть, один народ». Примечательно, что эта формула дворянки-патриотки, стоящей в шкале авторских пристрастий гораздо ближе к истине, чем к собственному мужу, в той же середине 30-х настойчиво зазвучала на немецком языке...

Легко ли было автору в конце 80-х связать воедино т о г о Сталина, тот апофеоз колхозной жизни и классовой борьбы — с н о в о й концепцией, разделяемой ныне Проскуриным,— с идеологией национал-патриотизма?

По всей видимости, должно было последовать глубокое и серьезное переосмысление всего прежде написанного. Покаяние (хоть и не принимает Проскурин со товарищи-заединщики этого слова). Очищение — простите, мол, читатели дорогие, не ведал, что писал, не знал, что воспевал.

Заединство или плагиат?

Но Проскурин обошелся без этой нравственной переделки, нравственного нового рождения.

Как бы и ничего не случилось — он п р о д о л ж а е т свою бесконечную цепь эпопеи романом «Отречение», но находит чрезвычайно удобный, как ему, видимо, представляется, ход: многомудрого Сталина делает управляемым, и г р у ш к о й в руках сатанинских сил в лице Кагановича и иже с ним. В образе классового врага меняется только знак: теперь это тоже враг, но только не враг народа, а враг русской нации. А атмосфера н е н а в и с т и, нагнетание ненависти остаются прежними.

Но что народ? Что же Захар, осуществлявший раскулачивание? Еще в первой книге ему бросает обвинение пойманный с поличным кулак Федька Макашин («Убить меня хотел, Федька? На гулянки вместе ходили... Сволочь ты»): «А ты, когда на Соловки людей с малыми детьми отгружал в скотские вагоны, про гулянки поминал?» Захар отвечает ему в «непримиримости»: «Зря злобствуешь, Макашин. Твоя песня кончена». Что же теперь, когда Захар на старости лет, уже прадедом, вспоминает свои «деяния», просит ли он у таких, как Макашин, у сосланных им на верную гибель баб с детишками прощения, кается ли перед Богом, которого теперь герои Проскурина то и дело поминают с большой буквы? Нет, ответ (даже не ответ, а о п р а в д а н и е) опять на удивление прост: «Жизнь была такая, его убивали, и он убивал, и в гражданскую... Много ли он понимал в начале тридцатых? Дурная кровь играла, силы много, ума не надо. На съезд в Москау послали тоже, что ж такого?»

Сталин же — с особым сочувствием, проникновенно выписанная трагически одинокая фигура, желающая добра. «Оглушенный опрокинувшимся на него беспредельным одиночеством» после смерти любимой жены — душераздирающая картина. А вредили и народу, и самому Сталину некие «они», «нукеры», то есть Бухарин и остальная «свора»: «Они всегда боялись его, льстили ему и потому все глубже и осознаннее ненавидели... Жадная, ненасытная свора, каждый с комплексом (неужто проскуринский Сталин, которому принадлежит этот внутренний монолог, Фрейда читал?! — Н. И.), недополучил, недобрал, отодвинут... Зачем такие остаются?» Действительно, зачем? Можно сделать так, чтобы и духу их на земле не было... Но сделать это бедному, страдающему Сосо чрезвычайно трудно: «...Он тут же стал думать о скрытых мировых силах, пытающихся удерживать под своим неустанным контролем его самого и направлять его планы и действия в нужную только для них сторону», думать «о степени своей зависимости от тех же могущественных международных центров; им для России давно уготована участь колонии, неважно, каким путем это будет достигнуто, через изнурительные войны с соседями или через внутреннюю, еще более опустошительную, обессиливающую революцию...» В концепции этой нет ровным счетом ничего нового по сравнению со схемой В. Белова. В романе «Год великого перелома» Сталин и психологически, и физически, и по своим «внутренним монологам» на удивление идентичен проскуринскому. Впрочем, время удивления уже миновало. Когда-то прекрасный прозаик В. Белов парил на недоступной П. Проскурину высоте «Привычного дела» и «Вологодских бухтин», отличаясь от нынешнего своего заединщика прежде всего подлинным, богатейшим русским языком; теперь же, после того как и письма в инстанции подписывали вместе, и «врага» общего обрели, и на романы-идеологемы Белов перешел, язык и стиль почти сравнялись — но, увы, не в сторону горячо мною любимого раннего Белова.

Это отнюдь не единственный случай поразительных совпадений. Если бы не трогательное идеологическое заединство, я бы даже осмелилась предположить плагиат. Впрочем, судите сами: приведу два отрывка из внутреннего монолога одного на двоих героя.

«Сталин день и ночь держал в уме всех членов Политбюро, Оргбюро, Секретариата и Контрольной комиссии: он тасовал их, словно колоду карт, раскладывал, как пасьянс, сопоставлял, приравнивал друг к другу и противопоставлял, комбинировал всевозможные группировки» (В. Белов — «Новый мир», 1989, № 3, с. 9).

«...Целиком захваченный сейчас очередной перетасовкой руководящего аппарата, в сотый, тысячный раз сортировал в голове нескончаемую колоду карт, обозначавших конкретные, определенные лица; карты располагались несколькими витками вокруг него, и каждая имела свое место, была помечена тайным, известным только ему знаком. Он по многу раз передвигал эти карты из внешнего круга во внутренний и наоборот, некоторые он изучал особенно тщательно, откладывал их в сторону, вновь и вновь возвращался к ним, по-разному группируя отдельно и вместе, вновь смешивал и рассыпал, нейтрализуя одну другой самыми парадоксальными соотношениями в зависимости от значения каждой карты; его мозг, настроенный на одну волну, без устали просчитывал сотни вариантов» (П. Проскурин.— «Москва», 1990, № 7, с. 80).

Нет, все-таки Сталин у Проскурина «погениальнее» беловского — старая любовь не ржавеет.

И еще: талант, даже бывший, все-таки ощутим: для того, что породило многоречивый поток во втором случае, В. Белову хватило гораздо меньше слов. И уж никогда бы его перо не вывело «соотношений в зависимости от значения». Впрочем, время покажет, как далеко зайдет наметившаяся образная и устоявшаяся идейная близость этих авторов [1].

Мы прочтем у В. Белова и о «силах зла» (у Проскурина — «сатанинские»), и про некие «они», у которых Сталин оказался в унизительной зависимости: «Казалось, все силы зла ополчились на эту землю. Вступая на пустующий императорский трон, знал ли угрюмый Генсек, что через несколько лет, в день своего пятидесятилетнего юбилея, он швырнет им под ноги сто миллионов крестьянских судеб? За все надо было платить, даже за наркомовскую фуражку, а тут неожиданно подвернулась аж Мономахова шапка» («Новый мир», 1989, № 3). Но если В. Белов прочно стоит на избранной им позиции по отношению к «классовой борьбе» и здесь, и в «Канунах», начало и продолжение которых давно опубликованы, то у Проскурина «концы» с «концами» не вяжутся; он выбирает самое простое — если не сказать примитивное — решение: поменять (пока в подтексте) эпитет к войне «гражданская» — на «национальная». Поэтому и взрыв Храма Христа Спасителя описан как злонамеренно н а ц и о н а л ь н о-враждебная акция, организатор которой — еврей Каганович — н а м е р е н н о расставляет для осуществления своего замысла р у с с к и е фигуры. А само разрушение этого храма рассматривается как нарочитое «подавление» национального духа...

В первых книгах эпопеи революция, Ленин, коллективизация, индустриализация — все эти понятия были овеяны даже романтическим духом; а враги-ненавистники всему этому вредили. Теперь знак меняется на полностью противоположный. Все опять-таки очень просто: Проскурин меняет свои плюсы на минусы.

«Шайка, самая настоящая шайка международных авантюристов-демагогов... Обманом захватили власть в огромной стране, ненавидят и презирают все русское... Они воплощают чужеродные теории на русской почве» — этот проскуринский единомышленник И. Шафаревича является отцом (и вдохновителем) героя-идеолога, академика Обухова («это был редкий случай, когда сын с отцом представляли нечто единое в духовном плане»). «Революции? Лучше скажи вражеской оккупации, тотального разрушения культуры, истории порабощенного народа!» Ни отцу, ни сыну, ни самому автору, передающему все эти филиппики с несомненным сочувствием, увы, не дано столкнуть эту «идею» с Захаром Дерюгиным из первых книг эпопеи,— что же касается читателя, то если кто и помнит начало, от которого отделяют многие тысячи велеречивых страниц, то смутно; критика же, взявшего на себя труд осилить ныне все части этой эпопеи подряд, от первой страницы до последней, ждет глубокое изумление крайней непоследовательностью автора.

Впрочем, в одном он остается последовательным: в настойчивом повторении уроков ненависти.

---

[1] Еще раньше о том же высказался В. Распутин: «Серьезный отзыв вызвали страницы о Сталине, о технологии и психологии власти. Однако, читая, я ловил себя на мысли, что не менее, а, быть может, более интересно бы для литературы было исследование психологии власти таких могущественных при Сталине, но теневых фигур, как Каганович» («КО», 1988, № 14).

Их было чрезвычайно много в первых книгах.

Ненависть к «кулаку» и ненависть «кулака».

Ненависть «белого» и ненависть к «белому».

Ненависть к «вредителям».

Ненависть жены к мужу.

Ненависть братьев к сестре.

Примеры можно множить и множить.

Как правило, эта ненависть, даже идеологическая, выходит на проскуринские страницы в физиологическом облике. У бывшего белого офицера была неприятная манера складывать руки, да и сами руки были какие-то не такие. Не вызывающие доверия. «... Она видела его неспокойные, точно ищущие что-то, узкие, сильные кисти рук, которые он по старой привычке заложил назад, за спину». Ясно, что у человека с правильным происхождением таких рук быть не может.

«Кулаки» вообще глядят зверовато. «Горящие из-под спутанных косм глаза» «кулака» Федьки Макашина тоже горят-то ведь не чем иным, как классовой враждой. У него же Дерюгин отмечает «застывшее в кривой усмешке лицо с темными проваливающимися глазами», — понятно, что его ведет «слепая нерассуждающая ненависть».

В «Отречении» примеров физиологического возбуждения неприязни (а также ненависти) тоже хватает.

Только теперь опять-таки меняется знак.

Теперь «раскулаченные» физически хороши и привлекательны, а «комиссары» и «начальники» — отвратительны.

Ненависть как постоянный эмоциональный фон повествования остается, она просто меняет свои адреса.

Из сферы социальной она перемещается, повторяю, в национальную.

Трагические перипетии в жизни народа объясняются опять-таки происхождением персонажей. Только уже не классовым. К чему изучать историю, выискивать по крупицам документы, собирать конкретные данные, когда все так просто? Сталин управляется Кагановичем, «вышедшим из бедной еврейской семьи... и теперь вершившим делами огромной страны, всегда им ненавидимой и ненавидимой с каждым годом все больше». Почему ненавидимой? Других причин, кроме происхождения из «сатанинских сил», автор, естественно, не указывает, — еврейства Кагановича, «умело и ловко направляющего действия и самого Сталина», для него достаточно. Первым эту идею выдвинул В. Распутин, раздраженно отзываясь о романе А. Рыбакова «Дети Арбата». Так что и здесь у П. Проскурина, можно сказать, идейный плагиат.

Но что же представляет тогда собою этот «самый Сталин», если он столь безвольно отдается воле всяких кагановичей (по В. Распутину и П. Проскурину) и яковлевых-эпштейнов (по В. Белову)? Что, если не слепую, ничтожную во всех отношениях личность, которой напыщенные сцены в обреченном Храме Христа Спасителя могут придать лишь помпезное псевдовеличие? На кого они, эти напыщенные дурновкусные сцены, рассчитаны, если читатель уже запомнил (многажды Проскуриным повторено), что Сталин «избран тайными мировыми силами для окончательного разрушения России и расчистки места под иное, всемирное и вечное строительство», что это, как не еще один плагиат (теперь уже с фальшивки «Протоколов сионских мудрецов»), калька с люмпенской фашистской идеи «всемирного иудо-масонского заговора»?

От Петра Лукича до Ивана Кузьмича

«За такие колоссальные фигуры, как Сталин, должны браться люди и огромного художественного дарования типа Шекспира или Достоевского», — постановил Проскурин в одном из своих интервью 1988 года.

Но я обнаружила другой источник проскуринского вдохновения. Не Шекспира. И не Достоевского. Однако — не менее любопытный.

Проскуринского Сталина в мгновения физического нездоровья и мучительной боли в руке («придерживая больную, нывшую к непогоде руку у самого локтя» — помните «ужасную болезнь гемикранию, при которой болит полголовы», у булгаковского Пилата?) навещает некий странный посетитель, умеющий проходить сквозь стены. «Медленно повернув голову, он увидел у дальнего окна смутную фигуру в темном одеянии, ниспадающем длинными складками с плеч, высокий чистый лоб, внимательные и грустные глаза». Больной руки Проскурину показалось недостаточно — он еще более смело вступает на булгаковскую тропу, правда, со своей, проскуринской лексикой: «У меня и без тебя голова трещит», — сказал Сталин.

Пилат был излечен от головной боли бродячим философом Иешуа — «...Мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет... Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный...» (М. Булгаков).

А Сталин после жалобы на боль неведомому посетителю, которого он называет то «пророком», то «учителем», почувствовал вдруг «непривычную странную бодрость, даже юношескую свежесть — его тело окрепло, голова прояснилась и боль из руки ушла» (П. Проскурин).

Иешуа с Пилатом и посетитель со Сталиным говорят одинаково непринужденно — на «ты»: «Благожелательно поглядывая на Пилата», — это Иешуа; «Дружески сказал гость», «с приятной улыбкой» «ответил гость, от которого исходило тихое успокоение», — это у Проскурина; здесь гость просто даже шпарит по Евангелию — мол, «каждому воздастся по делам его» — куда уж прозрачнее теперь имя пришедшего!

Иешуа говорит о Марке Крысобое — «добрый человек»; гость Сталину о Кагановиче — «прими его, он принес радостные вести».

Сталин впивается «в лицо ночного гостя вспыхнувшими, рыжеватыми, словно у рыси глазами», — Пилат «круто, исподлобья... буравил глазами арестанта». В облике Сталина подчеркивается угрюмство и одиночество, а жестокость его фраз сдабривается «долей надежды и ожидания», — Проскурин почти буквально, эпигонски карикатурно повторяет рисунок булгаковского характера: «Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». Сталин у Проскурина мечтает о «собеседнике», с которым можно было бы о многом поговорить, — у Булгакова Пилат и Иешуа в финале «о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться». Улыбаются глаза у Иешуа, — улыбаются они и у сталинского посетителя.

Более того: «Ненавижу этот народ!» — вырвалось у проскуринского Сталина, — «помимо воли, он должен был сейчас кому-то пожаловаться», а вот и булгаковский Пилат: «Ненавистный город», — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб».

Проскурин не только почти след в след копирует великую булгаковскую сцену, уподобляя Сталина Пилату, с которого, по его мысли, тоже повторенной (такова уж творческая манера Проскурина) за Палиевским, вина снята, ведь виноват-то во всем первосвященник Каифа, а Пилат — что Пилат? Он лишь умыл руки и подчинился решению синедриона. Он идет гораздо дальше: Сталин у него уподобляется одновременно и Пилату, и... чуть ли не самому Иешуа. «Ты хочешь угадать, — продолжает незнакомец...— кто из них первый одарит тебя иудиным лобзанием?»; и оправдывает его действия: «Ты взвалил на себя непосильное человеку», «Сам того не сознавая, ты уже принесешь благоденствие человеческому роду»... Сталин у Проскурина предстает жертвой всемирного масштаба, измученным своей великой ролью человеком, страдальцем, которого остается... только лишь пожалеть всем сердцем. Ведь это его вся окружающая «свора» желает подчинить и использовать. И автор оправдывает и жестокость, и ненависть Сталина, отделяя судьбу страдающего народа от его, Сталина, воли.

Поэтому в сюжетной схеме романа мучения высланных в тайгу крестьян и «мучения» Сталина имеют один источник — в тех самых «мировых силах зла», «сатанинских силах», которые управляют и народом, и Сталиным.

Таков идеологический незатейливый узор, упорно вышиваемый Проскуриным для того, чтобы увести Сталина от исторической вины за все чудовищные злодеяния. В этот центон сгодилось все: и Булгаков, и Белов, и В. Распутин, и Палиевский, и Хрущев, и миф о «всемирном заговоре».

Помните, А. Толстой учил молодых «наглости»? Уроки эти были хорошо усвоены — и не одним поколением советских «инженеров человеческих душ».

Если Сталин и его таинственный посетитель есть не что иное, как пародия из Булгакова, то еще более «наглым» (повторяю термин А. Толстого) является использование в тенденциозно искаженном виде самой реальной действительности.

Останавливаться подробно я на этом «сюжете» не буду; скажу лишь, что в «Отречении» изображена история некоего «инакомыслящего» академика и его жены, восставшего против власть имущих со своими идеями. Академика и его жену «п р е с л е д у ю т»: совершают в их квартире обыск; забирают бумаги и статьи; отключают телефон... «Так! — сказал он с некоторой сумасшедшинкой, и в его взгляде промелькнуло нечто от молодости... помедлив, он резво устремился к телефону.

— Иван! — предостерегающе воскликнула Ирина Аркадьевна...

— ...По-прежнему отключен... Нечем дышать. Они совершенно прекратили доступ кислорода».

Если вы полагаете, читатель, что сцены с резвым академиком, пытающимся «добиться приема у Суслова, затем у Андропова», который «звонил и в приемную самого Леонида Ильича», а затем распивал чаи в споре с неким начальником, отличающимся чрезмерной бровастостью, имеют отношение к А. Д. Сахарову — единственному члену академии, тогда действительно противостоявшему всей системе и действительно репрессированному этой системой, — то вы глубоко ошибаетесь. Академик, изображенный с поистине проскуринской силой проникновения в сложнейший интеллектуальный мир — а перу нашего автора равно доступны что крестьянин, что академик, что Сталин, что «учитель» («о чем-то неотступно размышляя»; впрочем, можно и уточнить, о чем: «И кому нужно будет братство, равенство и прочий бред, если земля совершенно облысеет?»), — озабочен только экологией. Ни права человека, ни лагеря и тюрьмы, ни преследования людей по политическим мотивам, ни психушки его не волнуют — так отчего же он назван «инакомыслящим»? А автор все нагнетает страсти: «последний мирный ужин» в академическом доме, «попавший в опалу

биолог с мировым именем», «сумасшедший в академическом сане»... И что в конце концов у него ищут и какие бумаги арестовывают? Что за детектив с «пакетом», который он слезно просит сохранить,— как перед казнью? Что за комедия, что за маскарад?

Фарс и маскарад, а точнее будет слово «спекуляция»,— неприличны прежде всего потому, что за этим «детективным» сюжетом стоит драматическая жизнь и судьба реальных Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Боннэр. Никакие другие «академики» и их жены в брежневское время не преследовались. К тому же проскуринский «академик» вырастил достойного себя ученика, который рьяно убеждает его объединять усилия с отчимом-функционером по... национальному признаку: «К тому же он русский человек, пора наконец нам объединяться!» Итак, идеология объединения наконец найдена. Что ж, можно ли сказать, что Проскурин и его герои-единомышленники благополучно похоронили классовые ценности и перешли к национальным? Нет, такой вывод был бы неточным: перед нами скорее стремление объединить и те, и другие.

И тут от прозы, извините за выражение, художественной, но насквозь идеологизированной, мне придется перейти к прозе идеологической, но с уклоном в художественную образность.

Я имею в виду интервью, данное в августе сего года газете «Правда» первым секретарем Российской компартии И. К. Полозковым, твердо стоящим на позициях «классовых». «Партия... в трудный час всенародных испытаний сумеет надежно защитить классовые интересы людей труда»,— утверждает Иван Кузьмич. Окидывая взглядом поистине фантастические результаты за семьдесят с лишним лет господства этой партии, я еще раз подивилась отчаянной смелости этого человека, упорно не желающего «поступиться принципами». Как же он собирается защищать эти интересы? Да известно как — «гарантиями снабжения», то есть, переводя на наш обычный язык, распределением, как оно и было все эти десятилетия. Но не затем, чтобы вступить в бесплодный (уже ничего не объяснишь радетелям народным) спор с первым секретарем, процитировала я его выступление в газете «Правда». Ассоциация с прозой Петра Лукича Проскурина возникла вот по какому поводу: Иван Кузьмич Полозков (уж не вслед ли за прозаиком?) в течение интервью от «классовых» терминов с грациозностью партфункционера перескочил к... новозаветным образам! И здесь — о чудо! — опять появился тот, чье имя не стоит называть всуе даже в партийной газете... Хотя это и придает всему интервью особую пикантность, как выразился бы Петр Лукич, «живинку». «А интересы фарисеев, менял и торговцев, изгнанных Иисусом из храма, но реабилитированных впоследствии папой римским,— звенит на партийном амвоне начальственный голос,— пусть защищает другая партия».

Не знаю, как вам, читатель, а мне больше всего в этом удивительно плюралистичном по словарному составу тексте больше всего понравился политический эпитет в религиозном окружении — «реабилитированные», произнесенный с явным негодованием.

Уж он-то, И. К. Полозков, в отличие от римского папы, разных там торговцев, менял и прочих кооперативщиков не «реабилитирует» никогда, будьте уверены.

Хотя папа римский в защите от Ивана Кузьмича действительно не нуждается, ради справедливости приведем письмо читателя, откомментировавшего интервью: «...Никаких менял и торговцев, изгнанных Иисусом, он не реабилитировал. Для каждого, знакомого с деятельностью Ватикана, ясно, что речь идет совсем о другом: были сняты обвинения с евреев (как народа) в распятии Христа. Из контекста высказываний И. Полозкова получается, что им-то, «реабилитированным», и отказывает он в праве состоять в одной с ним Российской коммунистической партии» («Огонек», 1990, № 35). Вкупе с любимым полозковским выражением — «краснодарская сотня», гнев Ивана Кузьмича против либерального папы свидетельствует о четкой направленности убеждений, которые тот же огоньковский читатель квалифицирует так: «Судя по интервью, ему весьма импонирует слово «лидер». Но после прочтения едва завуалированных погромных сентенций на ум приходит нечто иное...»

Уроки агрессивности, ненависти, глубоко заложенные в почву сознания не только нашей советской историей, но и литературой соцреализма, в том числе и ее классикой; семена, заботливо взращенные эпигонами, продолжают давать свои всходы — и в текущей журнальной прозе, и в действительности. Поэтому меня отнюдь не удивил ни ход работы самозванного «съезда» Российской компартии, ни результаты выборов, ни содержание нового романа Проскурина. Это все звенья одного процесса. Он, процесс этот, исторически завершается, на глазах меняется политическая карта мира, каждый час звонит колокол о конце эпохи, унесшей десятки миллионов жизней, о том, что *так дальше жить нельзя*, но забывать о том, что всякое движение вперед сопровождает реакция отдачи, тоже опасно. И об этой реакции — как художественной, так и идеологической — напоминает роман Проскурина, еще раз попытавшийся «оживить» и «утеплить» легенду об одиноком, непонятом, величественном диктаторе, а на деле нарисовавший не легенду, а карикатуру на булгаковского Пилата.

Но появление этого романа сегодня, как и выборы Полозкова, и его, Полозкова, речи и выступления,— показатель еще одной старой связи. Связи «партии»

(то есть правящей олигархии) и заботливо выращенной ею советской литературы (именно советской, а не русской литературы советского периода).

Ю. Буртин в своих заметках «Мертвое и живое» («ЛГ», 1990, № 34) точно определил природу этой связи: «Обеспечить себе сколько-нибудь длительное существование такой строй способен был, лишь окружив себя, помимо колючей проволоки, идеологическим туманом, лишь систематически и целенаправленно мистифицируя общество, лишь подменяя в сознании масс то реальное представление о действительности, какое давал повседневный опыт... «легендой» о ней. Над созданием, поддержанием, а когда нужно, и частичной модификацией этой легенды, над ее эффектным втеснением в умы десятки лет не покладая рук трудился огромный пропагандистский аппарат... Весьма заметная роль отводилась художественной литературе, и потому уже издавна, по крайней мере с середины 20-х годов, она стала предметом «постоянной заботы партии и правительства».

Уточнение мое сводится только к дате начала этой «заботы» — как я пыталась доказать, «забота» эта началась еще со знаменитой ленинской статьи.

«Легенда», о которой сказал Ю. Буртин, сегодня действительно модифицируется ревностными апологетами уходящей в прошлое «заботы».

В свете всех обнародованных документов и материалов, воспоминаний и свидетельств продолжать настаивать на легенде об «изумительном» и «непостижимом» времени 30-х годов, о засиявшем колхознику и рабочему изобилии, о построении «социализма», а то и «коммунизма» уж никак невозможно. И в исторический момент крушения всей этой литературной и не очень литературной мифологии, целенаправленно манипулировавшей сознанием не одного поколения советских людей, наркотизировавшей массового (такова была непременная установка) читателя, ему подается легенда новая, но не менее мистифицируемая: о «всемирных злодейских силах», «сатанинском заговоре», о «фарисеях и менялах», на которых надо быстро направить массовое недовольство,— в общем, о «врагах нации», быстренько сменивших классовую легенду о «врагах народа». И как, увы, не ново, что среди создателей этой подновленной легенды оказались рядом и литератор, расцветший на болоте застоя, и партийный функционер.

Советуем прочитать

Борис Чичибабин. Мои шестидесятые. Киев, Днипро, 1990; Колокол, М., Известия, 1990.

Почти два десятилетия стихи Б. Чичибабина существовали, не встречаясь с читателем. В свое время эти стихи — устно или в разнообразных самиздатовских вариантах — распространялись по всей стране; имя автора было одним из символов стойкости и неподкупности честной отечественной литературы. Но как **сегодня** будет воспринята его поэзия современниками? «Ужасно боюсь этой работы,— говорится в авторском вступлении к «Моим шестидесятым».— Я уже немолодой, привык, что пишу для какого-то узкого круга друзей, единомышленников...»

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу...

В вышедшие наконец книги вошло, вероятно, лучшее из созданного поэтом за годы вынужденного молчания: «Ленину больно», «Федор Достоевский», «Сними с меня усталость, матерь Смерть» и многие другие, как уже знакомые по публикациям в периодике, так и новые для читателя стихи. Уже только поэтому появление их — событие заметное и значительное, свидетельствующее о том, что наша литература все-таки возвращает себя в нормальное, здоровое русло.

Михаил Сокольский. Неверная память. Герои и антигерои России. Историко-полемические эссе. М., Московский рабочий, 1990.

Персонажи и события этой книги в общем-то хорошо знакомы современным читателям, все больше и больше интересующимся родной историей. Но, поскольку суждения автора, как сказано в аннотации к работе, «во многом спорны и подчас запальчивы», эти знакомые люди и события предстают в неожиданном свете. В коротком правлении императора Петра III М. Сокольский находит немало прогрессивных черт, подчеркивая особую роль в этом личного секретаря императора Дмитрия Волкова. И напротив — знаменитый Александр Невский и его отец Ярослав, как считает автор, ради укрепления собственной власти вступили в сговор с татаро-монголами и способствовали захвату ими других русских земель. М. Сокольский даже называет Александра Невского «монгольской марионеткой». Необычен взгляд автора и на отношения Древней Руси с Литвой, крестьянские войны в России, роль в нашей истории Лжедмитрия I...

С нетрадиционными взглядами М. Сокольского, конечно, можно спорить, но трудно не согласиться с исходными тезисами, на которых автор строит свои исследования, в частности с его высказыванием о России: «Нет второй такой страны в мире, в истории которой было бы столько нерушимо установившихся ложных репутаций, столько образов, непростительно искаженных и в народной, и в ученой памяти, столько вознесенных к звездам имен предателей и трусов и столько забытых или оболганных титанов». Читатель, наверное, согласится с тем, что «психологическую предпосылку сталинизма» автор книги видит в «ряде тяжелых событий и трагических выборов Средневековья».

Редьярд Киплинг. Рассказы, стихотворения. Пер. с англ. Составитель А. Долинин. Л., Художественная литература, 1989. Редьярд Киплинг. Рассказы. Стихи. Сказки. Составитель Ю. Кагарлицкий. М., Высшая школа, 1989.

Две книги Р. Киплинга, опубликованные в нашей стране в прошлом году, стали хорошим подарком всем почитателям таланта классика английской литературы накануне 125-летия со дня его рождения. Ушло в прошлое время, когда имя Киплинга было символом апологии колониального разбоя, пугалом и примером вражеской пропаганды. Мы вспомнили, как ценили Киплинга русские художники слова (среди них — А. Куприн, К. Симонов, В. Луговской и др.).

Новые сборники произведений автора «Маугли» и «Книг джунглей» отличаются удачным отбором материала, дающего представление о многогранности таланта и особенностях стиля «железного Редьярда». Особенно интересно читать его стихи и баллады о Востоке и Западе сегодня, когда рушится стена между культурами, когда утверждается приоритет общечеловеческих интересов. Киплинга создала Индия, а он воссоздал ее в своих книгах красочно и достоверно. В «Казарменных балладах», «Простых рассказах с гор», «Трех солдатах» и других стихотворных и прозаических сборниках пряный дух Востока ощутим не только благодаря этнографической экзотике: умелое использование сочного диалектно-разговорного языка составляет одну из отличительных особенностей киплинговского стиля. Писатель понимал, что его искусство шокирует чопорную Англию, но менять стиль не хотел. Ведь жизнь — это не светский салон, его герои несли свое бремя, преодолевая грубую действительность, собственную слабость, и им часто было не до хороших манер.

К счастью, «русский» Киплинг благодаря переводам М. Лозинского, С. Маршака, К. Симонова, И. Грингольца и других мастеров своего дела более близок к оригиналу, нежели это обычно происходит (увы!) в переводческой практике.

Конечно, имперский мессианизм был религией Киплинга, и он проповедовал свои идеи с жаром апостола. В то же время его герой — это и рядовой чиновник, и солдат Томми Аткинс, и матрос, борющийся со стихией. Противоречия Киплинга порождены самой жизнью. И нет никакой нужды их скрывать или сглаживать. Давно пора издать Киплинга полностью и без купюр.

Л. Е. Белозерская-Булгакова. Воспоминания. М., Художественная литература, 1989.

Книга второй жены М. А. Булгакова Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой (1895—1987) знакомит с незаурядной судьбой женщины, литературно одаренной, обладавшей тонким художественным вкусом. Впервые опубликованы ее увлекательные записки «У чужого порога» — о пережитом в эмиграции в Константинополе, Париже и Берлине, откуда она вернулась на Родину в 1923 году. Непосредственные, живые, тогда еще устные рассказы об этой поре помогли Булгакову, ставшему ее мужем в 1924 году, при создании пьесы «Бег».

Жизни с ним посвящены известные ранее читателю лишь частично мемуары «О, мед воспоминаний...». Здесь, помимо любопытных бытовых сцен, воссоздана творческая лаборатория Мастера, названы прототипы некоторых его произведений, приведены детали биографии, портреты родных и близких. Тот факт, что именно Любови Евгеньевне посвятил он роман «Белая гвардия» и повесть «Собачье сердце», без лишних слов раскрывает отношение к ней писателя.

Мемуаристка делится впечатлениями и о других знаменитых современниках — Бальмонте, А. Н. Толстом, Есенине, Маяковском. Небольшой этюд «Так было...» написан в память об академике Е. В. Тарле, с которым ряд лет сотрудничала и была дружна Белозерская-Булгакова. Открытость, человеческое обаяние, светлое, жизнелюбивое мировосприятие отличают ее манеру письма.

Уткур Хашимов. Войти и выйти... Роман. Перевод с узбекского Эрвина Умерова. М., Советский писатель, 1990.

Как она была ослепительна долгие десятилетия — эта надежда миллионов на всеобщее счастье!.. Как торопила, подгоняла, нередко заставляла проходить мимо горя, страданий, мук.

«—Папа! Смотрите, толстая тетя уснула на земле!

— ...Это она распухла от голода. Не смотри туда, Робия-джан. Идем быстрее. Скоро поезд. Он доставит нас в Ташкент».

Было именно так: «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка...» А на шестнадцатом году Советской власти люди на улицах умирали от голода. И не в России, где голод к тому времени стал уже не в диковинку. В Узбекистане, земля которого родит дважды, а то и трижды в год, если к ней относиться по-человечески, с любовью.

Значит, не туда летел наш паровоз. И читатель вместе с героями романа преодолевает расстояние между правдой и ложью, чтобы понять, куда же паровоз летел на самом деле.

Герои романа — жители кишлака Ногай-курган, приютившегося невдалеке от узбекской столицы. И читатель «выслушивает» на протяжении повествования сбивчивый, на разные голоса взволнованный «коллективный» рассказ о более чем полувековом пути их жизни — с 1933 года до наших дней. Коллективный — потому что рассказ этот ведется от лица многих, в у каждого своя боль, ибо в большинстве своем трагична, полна драматизма судьба каждого из героев.

Мудрец сказал: «Увы, не успел войти в одну дверь, как тотчас выхожу в другую...» Кто-то из героев, преодолевая это расстояние, творит добро. Кто-то достраивает дом, именуемый Жизнью, а кто-то разворовывает кирпичи из стен этого дома. Но все эти дела, благие и неблаговидные, остаются у второй, последней двери, и по ним оценивается прожитая жизнь. Войти и выйти, остаться человеком в памяти людей — гуманистическая идея романа писателя Хашимова.

И. И. Шкляревский. Глаза воды. Стихотворения и поэмы. М., Современник, 1989.

В новой книге Игоря Шкляревского все та же искренность, порой сентиментальность при обращении к главной теме его лирики: взаимоотношения человека и природы, их необходимое единство. Воспоминания о детстве, думы о будущем и размышления о жизни предков — все это включает в себя новый сборник «Глаза воды», в котором собраны стихи и поэмы разных лет, а также новые стихотворения.

Общение с природой дает поэту энергию для творчества — он словно живет с нею одной жизнью, растворяется в ней. Природа говорит стихами, а поэту отводится роль летописца природы — он лишь записывает разговоры трав и деревьев, молчание камней, журчание вод.

Вода смотрела мальчику в глаза,
в ней отражались облака и птицы,
и не было на берегу людей...

Вокруг него дрожали отраженья:
какой-то мальчик, птицы, облака.
Оцепенев, он смутно вспоминал
себя — еще до своего рожденья,
смотрел на убегающую воду
и радостно ее не понимал...

Когда читаешь стихи из нового сборника И. Шкляревского, не покидает чувство то ли какой-то потери, то ли грусти, словно уходит что-то, обрывается какая-то связь. Объясняют эти ощущения слова самого поэта, которыми он предварял свою «Красную книгу» (1986): «Там, где умирает природа, я замечал у людей пустые глаза. Умерла поэзия Рейна,— отравились сомы и русалки, уже не напьешься из Дуная...»

Нет ни в одном стихотворении И. Шкляревского прямого и уже никем не слышимого призыва «Берегите природу!», но в каждой строке его лирики — боль и страх перед будущим природы, предостережение о ее возможной гибели.

Морис Бежар. Мгновение в жизни другого. Мемуары. Москва, в/о Союзтеатр СТД СССР, 1989.

Имя выдающегося балетмейстера, создателя бельгийской труппы «Балет XX века», Мориса Бежара хорошо известно любителям балета в нашей стране.

Автор выбирает свободную форму для своих воспоминаний, он «презирает» хронологию, точность описаний. Его книга — это мозаика, складывающаяся в прихотливые узоры, для него важны «мгновения острого счастья». И несчастья, добавим, тоже. «Лоскутное одеяло» его воспоминаний — это и детство, и первые уроки танца, и легенда о «бедном художнике», и, конечно, его балеты, балеты, балеты.

Бежар — человек XX века и человек вечности, вечного прекрасного мира. Недаром в книге много своеобразных «путешествий во времени», в которых автор как бы встречается с Ницше, с Людвигом II Баварским, с матерью Бодлера. На страницах воспоминаний мы увидим и имена тех, чье творчество служило источником вдохновения для великого хореографа: Гофмана и Гете, Вагнера и Бодлера, Стравинского и Бетховена.

Полны любви строки, рисующие портреты современников — друзей Бежара: Феллини, Нино Роты, Марни Казарес, Хорхе Донна.

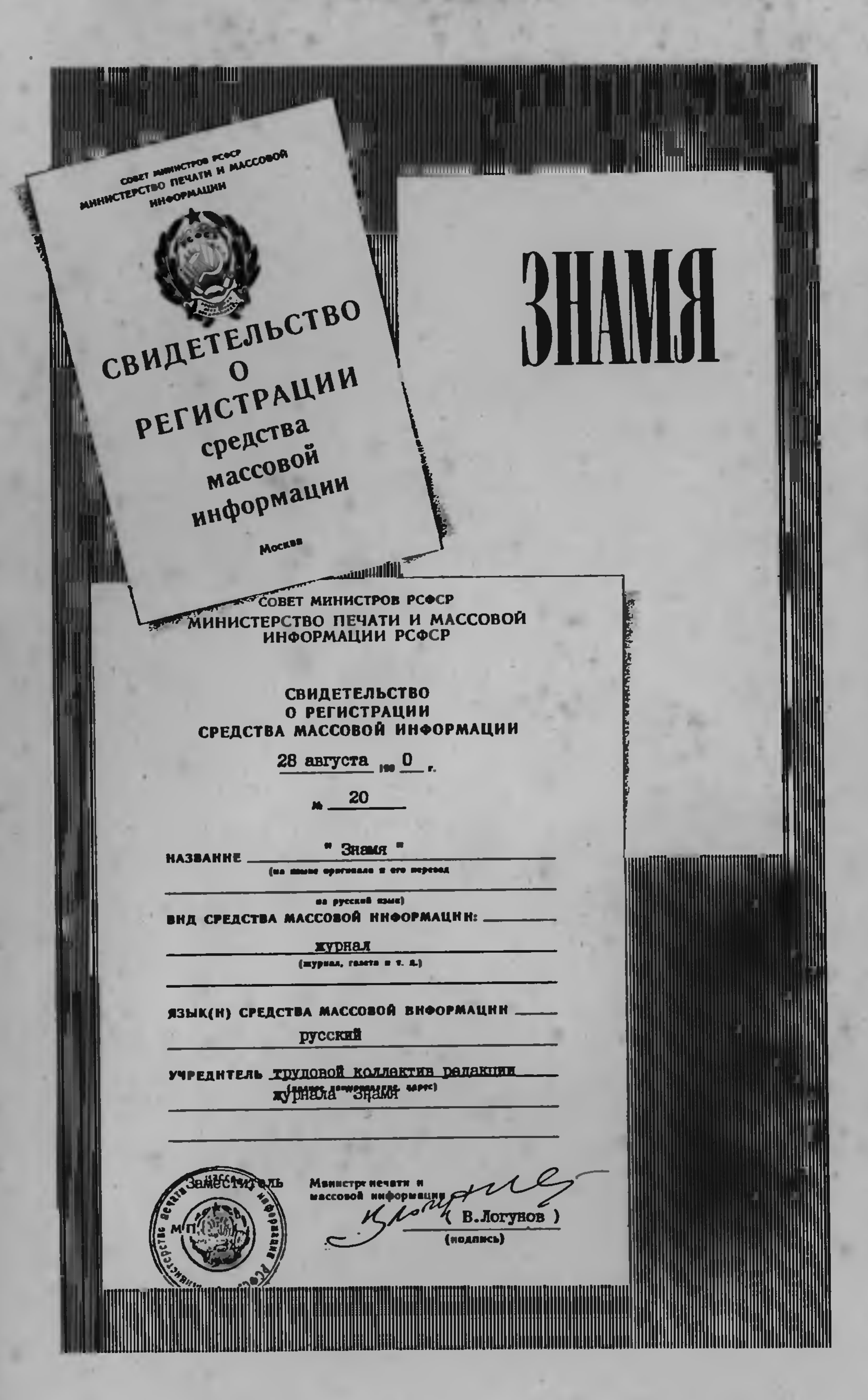
А сцементировано все это обаянием личности Бежара, его иронией, парадоксальной мыслью, его вкусом, любовью и преданностью танцу — балету XX века.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 10.09.90. Подписано к печати 08.10.90. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 869 экз.). Заказ № 2815. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24


СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ средства массовой информации

Москва

ЗНАМЯ

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

28 августа 199 0 г.

№ 20

НАЗВАНИЕ " Знамя "
(на языке оригинала и его перевод на русский язык)

ВИД СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: журнал
(журнал, газета и т. д.)

ЯЗЫК(И) СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ русский

УЧРЕДИТЕЛЬ трудовой коллектив редакции журнала "Знамя"

Заместитель Министра печати и массовой информации (В.Логунов)
(подпись)

М.П.